

Н О В Ы Й  
М И Р

7

Н О В Ы Й  
М И Р

7

1960

1960

# Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVI

№ 7

Июль, 1960 г.

---

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ЕФИМ ДОРОШ — Четыре времени года, киноповесть	3
СЕРГЕЙ ПОЛИКАРПОВ — Два стихотворения	80
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Летний Север, стихи	82
АЛЕКСЕЙ КОЖЕВНИКОВ — Видение, повесть	84
ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ — Стихи разных лет. Перевели с чешского В. Николаев и М. Кудинов	105
ВАЛЕНТИН РОШКА — Осенние дубравы... Стихи. Перевел с молдавского Юрий Левитанский	109
В. ТУШНОВА — В марте, стихотворение	111

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. ГАЛЛАЙ — Через невидимые барьеры. Из записок летчика-испытателя. Окончание	112
---	-----

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР — Сестра моя Болгария	142
--------------------------------------	-----

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

АРТЕМ АНФИНОГЕНОВ — Арктика минувшего года	181
--	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

Академик С. СТРУМИЛИН — Рабочий быт и коммунизм	203
А. ХАВИН — «Срочно требуются...»	221

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*Обсуждаем проблемы современного романа*

В. СУРВИЛЛО — На путях романтики (статья третья)	229
М. ТУРОВСКАЯ — Герои безгеройного времени	240

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ С С С Р»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	250
<b>Ю. Буртин.</b> Поэзия деревенского детства.— <b>Г. Владимов.</b> Образы и комментарии.— <b>И. Питляк.</b> Остановить мгновенье! — <b>А. Меньшутин.</b> Книга о Блоке.— <b>Г. Белая.</b> «...Насколько едина маленькая планета...».	
<i>Политика и наука</i>	268
<b>Н. Крутикова.</b> Новое издание биографии В. И. Ленина.— <b>Л. Ерихонов,</b> кандидат филологических наук. Борцы за свободу Болгарии.— <b>А. Бельская.</b> Западный Берлин как он есть.— <b>С. Обручев,</b> член-корреспондент Академии наук СССР. Ценное издание.	
<b>Трибуна читателя</b>	
О РАССКАЗАХ Е. ДРАБКИНОЙ	279
КОРОТКО О КНИГАХ	283
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ	286
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

ЕФИМ ДОРОШ

★

## ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА

*Киноповесть*

**К**аждый год, обязательно летом, но очень часто и весной, и зимой, и осенью, я приезжаю в эти места... Я когда-то напечатал в газете статью про здешнее озеро, как оно умирает, и с тех пор подружился с человеком, которому суждено вернуть озеру его молодость.

Мой друг — мелиоратор.

Бывает, что мы приезжаем с ним в феврале.

Сквозь крупный косой снег, падающий из темного неба, летит в своих развевающихся одеждах и трубит в длинную трубу крылатый, вырезанный из жести архистратиг. Кажется, вот-вот оставит он шпиль монастырской башни, железный шатер и серые кирпичные стены которой облеплены снегом. Башня стоит на крутом берегу. Гладкая, хорошо убитая дорога, местами уже переметенная, идет в гору, к подножию башни, откуда она как бы проваливается в белую мглу закрывшей озеро метели.

Из этого наполненного кипящим снегом провала, один за другим, наклонившись вперед, волоча за собой санки с привязанной к ним пешней, выходят на дорогу тяжело одетые рыбаки. У рыбаков мокрые от снега лица, исхлестанные ветром.

Рыбаки идут вдоль монастырской стены.

Стена возвышается над рыбаками — промерзшая, с налипшим на нее снегом, с прямыми узкими прорезями, которые заставляют вспомнить далекую старину, когда на головы врагов низвергалась отсюда кипящая смола.

Рыбаки останавливаются на углу, возле столба с белой табличкой: «Остановка автобуса». Впереди лежит просторная, заваленная снегом площадь, где за сугробами, под пластами снега на крышах едва видны маленькие темные домики.

Рыбаки снимают негнущиеся, сшитые из овчины рукавицы, достают папиросы, закуривают. Дым и пар изо рта клубятся подле заиндепевших воротников. По временам в сторону летят крупные неяркие искры.

Тихо подкатывает красный с желтым автобус.

Из автобуса вместе с мужчинами, женщинами и детьми, одетыми в тяжелую зимнюю одежду, выходят корреспондент газеты и мелиоратор.

— Здравствуйте, Алексей Ксенофонтыч! — здороваются с мелиоратором рыбаки.

Мальчик лет пятнадцати, самый молодой из рыбаков, подшитым валенком притаптывает окурки и с хрипотцой говорит мелиоратору:

— Скоро станешь озеро чистить? Рыба глохнет!  
Косо летит мохнатый снег, будто пенастоящий, для новогодней елки.

Зимой мы и не взглянем на архангела Михаила.

А вот ранней весной, едва мы с моим приятелем сойдем с автобуса, как сразу же, не сговариваясь, посмотрим вверх, на монастырскую башню.

В беспокойном, как бы дымящемся небе, медленно поворачивая на северо-восток, мчится впереди сонмища низких туч и трубит тревогу воевода небесного воинства. Теплый юго-западный ветер шлет вслед жестяному архистратигу редкие и крупные капли первого весеннего дождя.

Мгновенно покрывается темными пятнами железный шатер башни. Темнеет от дождя и сама башня и уходящая от нее стена, где торчит из расселины трясущаяся на ветру мокрая березка с тонкими ветками. Струйки воды вытекают из прорезей в стенах.

Торопливые потоки пробиваются сквозь пористый, оседающий в воду стекловидный снег, скатываются по обледенелой, желтой от навоза дороге. Вода уносит с собой навоз и прошлогодние сухие тростинки.

Серое озеро лежит внизу в трещинах и разводьях.

И оттуда, с озера, навстречу весенним ручьям, впереди качающейся пелены дождя, закрывшей противоположный берег, встают и движутся льдины. Свинцовые, шершавые, поблескивая на изломе, обнажая белую, скользкую и почти прозрачную подводную часть, льдины, надвигаются друг на друга, обламываются, тонут, лезут из воды. Береговая полоса занята льдом, но сзади, гонимые ветром, наползают новые и новые льдины.

Полая вода поднимает лед, несет его к стене старинного трехэтажного каменного дома, который стоит на берегу озера, среди вытянувшихся вдоль крепостного вала деревянных домишек. В плоской и толстой стене дома зияют маленькие окна. Под всей его громадой наподобие тоннеля тянутся невысокие ворота. В каменную трубу ворот, темную и сырую, медленно входит разлившееся озеро. Тяжелые льдины еще лежат на земле, а ледяное крошево, колыхаясь и шурша, втягивается под низкие ворота.

Открывается окно, обращенное во двор дома. Девушка лет шестнадцати выглядывает из окна, смотрит вниз. Ей видна отсыревшая стена с железными козырьками подоконников, испачканных птичьим пометом. Мокрые сараи идут от углов дома к земляному валу, примыкающему ко двору. На склоне вала лежат опрокинутые лодки.

Девушка видит, как из ворот во двор течет вода. Неторопливые ручейки текут среди куч золы и картофельных очисток, между обломками кирпичей, брошенных в грязь, возле смерзшегося, с приподнятыми краями почерневшего снега.

Вода заполняет пространство между домом, сараями и крепостным валом, поднимается, покачивая искрошившийся лед.

И тут девушка кричит:

— Наводне-е-ние!..

После весеннего паводка озеро входит в берега.

Входят в берега и все восемнадцать речек, впадающих в озеро. Возвращается в свое русло и девятнадцатая река, которая из озера вытекает.

Одуванчик, выросший в трещине башенного шатра, держит на конце безлистного стебля свой непрочный, составленный из пушинок шар.

Самолет пролетает над башней — маленький открытый самолет сельскохозяйственной авиации. На борту самолета — корреспондент газеты.

Тихое озеро поблескивает под самолетом.

Из воды островками густо торчат высокие тростники. В иных местах, приближаясь к берегу, тростниковые островки почти смыкаются, — извилистыми полосками или округлыми пятнами проглядывает из чащи вода. Тростник стоит и на берегу озера и вдоль устьев впадающих в него рек.

Темные заросли тростника вокруг озера перемежаются светлыми злаковыми лугами. Кочки круглятся среди топи, зияют бочаги, оставшиеся от половодья. Местами лоснится наклонившаяся осока. Черный береговой ил, истоптанный скотиной, пестрит лужицами, налившимися в следы от копыт.

Плоские берега озера, постепенно возвышаясь, уходят к далекой гряде холмов, замыкающих горизонт.

В начале лета с кем-нибудь из летчиков, подкармливающих посевы, я летаю иногда над исполинской чашей, которая многие тысячи лет назад вырыта была последним ледником и вся до краев наполнена водой.

Я пытаюсь вообразить, как выходила из воды эта широкая полоса земли вокруг озера, чуть приподнятая в сторону обступивших ее холмов.

Это длилось несколько тысячелетий.

Потоки талой воды ранней весной, летние ливни и нескончаемые осенние дожди из года в год приносили в ледниковое озеро миллиарды песчинок и частиц почвы. Они откладывались на дне, соединялись с отмершими водорослями и остатками животных организмов. Озеро мелело, зарастало тростником, рогозом, которые, отмерев, в свою очередь ложились на дно. Так образовался могучий слой озерного ила — сапропеля.

Дно по краям озера обнажалось, зарастало травами и кустами. И озеро все дальше отступало от коренного берега — современной гряды холмов.

На редкость плодородна земля между этими холмами и нынешним озером, если бы не избыток воды.

Заболоченной луговиной идет мелиоратор. Голенища его сапог плотно обтягивают толстые икры, хорошо развившиеся за тридцать лет хождений по болотам. Приземистый, в просторном коломанковом костюме и полотняном картузе, он шагает неспешной походкой, приминая молодую траву. Вода выступает наружу прямо из-под его сапога.

Чем дальше идет мелиоратор, тем выше вода.

Жесткая осока хлещет по сапогам. Все труднее выдирать ноги из вязкого грунта. С каждым шагом из глубины болота к темной поверхности воды поднимается клубящаяся илистая муть, долго не оседает.

Плечистый парень косит впереди осоку.

Мошкара, как бы танцует в воздухе, висит над парнем, тянется за ним черной колеблющейся сеткой, липнет к его потному глянцевиному телу. Парень только плечами поводит, чтобы вспугнуть надоедливую мошку.

Если бы не вода, то здесь росла бы не осока, которая годится только для подстилки коровам, а картошка или сеяная трава. Но озеро очень

мелкое, оно не способно принять в себя лишнюю воду из окрестных болот. Случается, оно заливает и давно осушенные культурные земли. Это можно видеть поздней осенью...

Мелкий частый дождь с тихим шуршанием падает с неба.

Тростник на озере почти до самой вершины залит водой. Торчат из воды макушки не совсем облетевших ольховых кустов — жесткие их листья падают в воду. Вода кипит у входа в реку, вытекающую из озера. Воде тесно здесь, она выплескивается на берег, подступает к дорожной насыпи.

Река выходит из берегов, заливая луг, течет между стогами сена. Между рядами еще неубранного картофеля появляется вода.

Кормившийся в ивовых кустах лось перестал жевать ветку, втянул ноздрями воздух, повернулся и зашагал прочь, а вслед за ним, завихряясь вокруг каждого прутика, бурля и посвистывая, течет ивняком вода.

Падает и падает в поблескивающее водное пространство плотный, тяжелый дождь. Намокшие стога сена, недвижимо темневшие посреди воды, колыхнувшись, медленно трогают с места, плывут, постепенно разваливаются.

Исчезает в воде и высокое булыжное шоссе — только белые перила моста видны и еще столбик с желтой табличкой, на которой написано: «Река Вёкса».

Струйки воды текут по стеклам окон, за которыми ничего не видать, хотя на дворе день. Человек, одетый в синий плащ, подходит к окну, коротким толчком открывает его, и в комнате становится светлее. Он говорит своим товарищам:

— Как же все-таки спасти сено?

Видно по всему, что и он и его товарищи, не снявшие плащей и брезентовых дождевиков, здесь не живут. По всей вероятности, они приехали из районного центра и зашли к мелиоратору, который тут квартирует, — он один одет по-домашнему, на ногах у него старые подшитые валенки...

— Как спасти сено? — спрашивает мелиоратор. — Очень просто.

Он стоит возле открытого окна, рядом с человеком в синем плаще.

— Чтобы спасти сено, — продолжает мелиоратор, — надо выкачать из озера сапропель и намыть его на берег. Озеро станет глубоким. Оно сможет принять всю эту воду.

— Так это когда еще будет, — говорит человек в синем плаще.

— Если не делать сейчас, никогда не будет...

Серый дым от папирос вытягивается в открытое окно.

Над размокшей землей как бы пар стоит. Из луж, в которые непрерывно падает дождь, летят во все стороны брызги. Дождь расшибается о железные крыши, и мельчайшие капли воды летят вверх, навстречу новым струям.

Ветер выгибает тонкие и голые деревья на шоссе, мокрый асфальт которого блестит в просветах между стволами. Ветер несет через площадь намокшую газету от какого-то там октября тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, ворочает ее, лепит и лепит к сырой стене монастыря.

Так идет время...

Мой друг мелиоратор изучает почвы, и реки, и грунтовые воды, готовит проект очистки озера и осушения заболоченной приозерной котловины.

А я живу тут же, бываю с ним в его городской конторе в большом доме на берегу озера, брожу по болотам, ночью в деревне, и разрознен-

ные картины обыденной жизни, на первый взгляд далекие от работы мелиоратора, идут неспешной чередой, складываются в некую повесть, обнаруживая при этом свою зависимость от всего, чем занят в здешних местах мой приятель.

\* \* \*

В самом начале лета, часу в седьмом утра, во дворе трехэтажного дома на берегу озера пожилая рыхлая женщина чинит сети. Женщине слышно, как наверху, скорее всего на третьем этаже, где открыто окно, сипловатый, но чем-то приятный женский голос поет под аккомпанемент расстроенной гитары. И хотя там же, должно быть, негромко подвывают собаки, все же можно разобрать слова:

О бедном гусаре... замолвите слово,  
Ваш муж не пускает... меня на постой...

Пожилая женщина говорит старику, вышедшему из дверей дома:  
— Манька Собачкина гуляет! С утра!  
— Я ей давеча говорю,— отзывается старик,— ты бы хоть гардероб купила, все-таки у тебя дочь-невеста растет. А она смеется. «Куда его,— говорит.— Если война будет, так с гитарой я и пешком уйду».

Но женское сердце... нежнее мужского,  
И может быть, сжалитесь вы надо мной.

Уже и на озере слышен огрубелый, но грустный голос, в котором угадывается тоска стареющей одинокой женщины.

Мальчик лет шести, в одних трусиках, загорелый, весь в пятнах солнечного света, покачивается в лодке близко от берега, слушает песню.

Я в доме у вас... не нарушу покоя,  
Нежнее меня... не найти средь полка...

— Мамка гуляет! — с восхищением кричит мальчик и гребет к берегу. Медленно ворукает он весло, наваливаясь на него всем телом.

Но если свободен... ваш дом от постоя,  
То нет ли хоть в сердце у вас уголка?

Песню слышит и девушка, идущая берегом озера. На ней белое платье. Она идет с выпускного школьного вечера — это та самая девушка, которая однажды весной, случайно выглянув из окна, крикнула, что началось наводнение. Должно быть, она всю ночь танцевала и новые туфли ей несколько тесны, поэтому она идет, чуть пошатываясь, спотыкаясь. А берег озера порос мягкой травой, прохладной от росы. И девушка, остановившись, сбрасывает туфли, проворно стягивает тонкие чулки. Босым ногам ее хорошо — и она улыбается, непроизвольно позевывая. Она идет и словно спит на ходу.

Но если свободен... ваш дом от постоя,  
То нет ли хоть в сердце у вас уголка?

Слова эти, пропетые нетвердым, пьяным голосом, доходят сквозь дрему до сознания девушки, она узнает этот сорванный, прокуренный голос.



— Мама! — вскрикивает девушка с тревогой и пускается бежать.

А в трехэтажном доме, на самом его верху, в полупустой комнате, возле столика, на котором среди остатков еды поблескивает почти опорожненная бутылка водки, сидит с гитарой на коленях сравнительно молодая женщина. У нее худое лицо и синяки под глазами. Ее темные, жесткие и редкие волосы плохо причесаны, свисают плоскими прядями, едва схваченными на затылке гребешком. Худые руки с как бы вывихнутыми локтями лежат на гитаре.

То нет ли хоть в сердце у вас уголка?

Эту строчку женщина поет с пьяной слезливостью и упрямством.

Собственно, она уже и забыла, что это строчка из песни.

Она как бы обращается к двум большим молодым овчаркам, которые лежат перед своей хозяйкой на полу, подняв острые волчьи морды, и тихо подвывают. Тяжелые собачьи хвосты преданно постукивают по половицам.

Женщина все больше пьянеет, и собаки, тревожась, принимаются рычать, влаивать — собаки не любят и опасаются пьяных, даже хозяев.

Слышно, как на лестнице, приближаясь, шлепают бегущие босые ноги.

Овчарки настораживают уши и поворачивают морды в сторону двери. У них оскаленные пасти — мокрые длинные языки вывалились наружу, висят, чуть вздрагивая. Овчарки встают с негромким рычанием, затем вдруг начинают отрывисто, радостно лаять, помахивая толстыми своими хвостами.

— Мама! — говорит появившаяся на пороге девушка. — Ну зачем ты!

— Пришла! — говорит женщина и наливает рюмку. — С окончанием тебя!

— Не надо, мама...

— Отца твоего поминую... Сегодня ему тринадцать лет.

— А вчера зачем?

— Один знакомый угостил. Ты уж большая, Клава, школу кончила, должна понимать. Я не какая-нибудь, я трудящая, а только скучно мне. Женщина выкрикивает:

Вот окончилась война,  
И осталась я одна...

— Надо бы уж про это забыть, — говорит Клава. — Не все же пьют. Тут вбегает давешний мальчик с озера.

— Мамка! — кричит он. — Дай на мороженое!

Мальчик едва приметно толкает локтем сестру, доверительно шепчет:

— Проси и ты, Клава, чего-нибудь. Она, когда загуляет, добрая.

— Алеха, — запинаясь, говорит женщина, — а твоего батьку когда будем поминать?.. Хороших-то поубивали, а он живет. Водку жрать научил меня, собаками заниматься, а сам, зараза, взял и к другой убежал...

Тем временем на лестнице, все усиливаясь и приближаясь, слышатся резкие, с перерывами удары, словно кто-то коротко изо всех сил стучит по ступенькам концом тяжелой палки. Собаки мгновенно кидаются к двери — в комнату, постучавшись, входит инвалид с торчащей из штанины алюминиевой трубкой. Клава едва успевает остановить сатапеющих овчарок:

— Раскатай, назад!.. Угадай, ко мне!

— Вы бы их как-нибудь по-русски кликали,— вежливо и снисходительно усмехнувшись, замечает инвалид.— Например, Джек... Или Джим.

Он осведомляется, тиская снятую с головы кепчонку:

— Гражданка Собачкина здесь живет?

И вдруг мать Клавы, совсем уже пьяная, иступленно кричит:

— Клюковкина я, а не Собачкина!.. Клюковкина Мария!

Инвалид, смешавшись, объясняет: «Это жильцы во дворе мне так называли». Он пятится, испуганный, поглядывая на собак — их едва удерживают за ошейники Клава и ее братишка. Он пытается сказать, что не было у него намерения обидеть гражданку и что он готов извиниться...

Но женщина гонит его.

За спиной Марии темнеют давно не беленные, в рыжих потеках стены и обитые рваной клеенкой двери. Обеими руками она ухватилась за железные перила лестничной площадки, истерически вопит: «Клюковкина!»

В какое-то из мгновений, кажется, без видимой причины, она вдруг замолкает, растерянно и жалко улыбается, причем эта судорожная улыбка, маскирующая внезапный страх, столь очевидно не адресуется к инвалиду, что тот сразу же оглядывается. И вот он видит, как по лестнице медленно поднимается юноша — недавний подросток, который как-то зимой требовал от мелниоратора, чтобы тот скорее чистил озеро. Паренек тщедушен, но, видать, крепок. У него в руках тяжелая ивовая корзина, накрытая аккуратно нарезанным мокрым тростником. Он опускает корзину к ногам и, не глядя на Клаву, говорит ей: «Снесешь на базар». Девушка отвечает: «Сейчас. Только переоденусь». Алеха при этом кричит: «И я с тобой, у меня тоже рыба», и поднимает с каменного пола брошенный им, когда он торопился к матери, кукан с десятком плотичек. Паренек меж тем спрашивает инвалида:

— Вам чего, гражданин?

— Васенька,— лепечет испуганная Мария.— Мы тут, сынок...

Но парень и не смотрит в сторону матери. Он провожает взглядом сестру, неохотно взявшую корзину, затем снова обращается к инвалиду:

— Вам щенка, что ли?

— Угадал, браток,— почему-то подобострастно улыбнувшись и даже несколько заискивая, отвечает инвалид.— У меня, понимаешь, жена... Взял я щеночка, а она его дверью задавила. Ну, мне и говорят, что у вас есть продажные. Только ты не беспокойся, теперь-то я его сохраню.

— А мне плевать, хоть с кашей его ешь. Пошли в сарай.

И он идет вниз по лестнице, так и не посмотрев на мать, виновато искавшую его взгляда, а инвалид, словно оробев, тихо следует за ним.

Они выходят во двор, где пожилая женщина чинит сети. Все еще открыто окно на третьем этаже, но теперь там тихо — и собак не слышать. Старик, ходивший куда-то с кошелкой, вернулся домой. Он глядит вслед пареньку, зашедшему вместе с инвалидом в один из сараев, и кивает на окно:

— Сынок-то — сразу прекратил веселье.

Женщина замечает не без некоторого сочувствия:

— Она ему волю дала, а он взял две.

Старик входит в один из двух подъездов, расположенных по обеим сторонам ворот, затем возвращается, уже без кошелки, и отпирает железную, лабазного типа дверь, над которой прибита вывеска учреждения.

Из сарая, поладив с инвалидом, идет домой паренек.

Инвалид остановился посреди двора на солнцепеке, поглаживая прижавшегося к его груди щенка, говорит:

— У вас тут прямо «На дне» Горького.

— Ты, молодой человек, еще не знаешь, где оно дно и каково там горько,— неспешно возражает пожилая женщина и кладет сеть на колени.

Она рада поговорить.

— Я тут родилась. И было нас всего у матери десять человек. А живая — одна я. Мать в прядильную бегала. На нянков не было капитала. Стала она поить детей маковым отваром — чтобы спали, покуда она на фабрике. Дети от этого росли тихие, нежные, как ангелы. Только скоро умерали.

— Что же ты — здесь родилась, здесь и квартируешь всю жизнь?

— Я от своего класса отбилась.

— Перешла в капиталисты?

— Нет. Наш рабочий класс, которые с прядильной, все в буржуйские квартиры переехали. Или в собственные дома. Тут теперь одни набеглые живут. А я вышла замуж за вольного рыбака и осталась с ним возле озера.

— Мужние сети чинишь?

— Нет. Муж помер. Людям работаю.

— Маковые ангелы!— говорит инвалид, поднимаясь по склону вала.

В сорок пятом году, когда в одном из последних сражений войны он потерял ногу, ему едва ли сравнялось девятнадцать лет. Он молод, и не очень культурен, и немного выпил с утра, и с женой поругался.

— Маковые ангелы!— повторяет он, похлопывая пригревшегося щенка.

Он шагает крепостным валом, где среди лопухов протоптана стежка.

— А паренек этот,— рассуждает он,— если назвать его по-немецки,— охбауэр, кулачок.— По малограмотности он переименовал немецкое «гох», что значит «высокий, знатный», в междометие «ох», которое произносит, покачивая головой, укоризненно, однако же не без некоторого восхищения.

С высоты вала открывается вид на утренний городок в начале лета.

Под чистым солнечным небом чуть поблескивают просыхающие от ночной росы красные и зеленые крыши. Между домиками — деревянными и каменными — стоят на солнце сады. Серые заборы тянутся от дома к дому. Над канавами, вдоль подметенных земляных тротуаров, зеленеет молодая трава.

Пожарная каланча виднеется вдали, и гостиный двор, и дом с фронтоном, осененный красным флагом, и коробчатый дом начала тридцатых годов.

Все это внутри вала, а с наружной его стороны, где стоит трехэтажный каменный дом, простерся топкий берег с высокими грядами огородов и кочковатыми сенокосами, позади которых, теснясь к валу, вытянулись в линию все те же деревянные уездные домики с резными оконными наличниками.

Блестит озеро, на котором нет и морщинки.

Лодки привязаны у берега к причальным кольям. Узкие портомойные мостки то здесь, то там возвышаются над водой. На мостках еще никого нет, и на озере тихо, только трещит одинокая моторка запоздалого рыбака.

Инвалид, присвистнув, выкрикивает частушку:

Городок наш стоит в яме,  
Окруженный фонарями..  
Городок мы наш прославим —  
На углу фонарь поставим.

На втором этаже деревянного двухэтажного дома из-за тюлевой занавески и стоящих перед нею горшков с геранями высовывается голая рука, закрывает окно. В соседнем одноэтажном домике подходит к окну заспанная девушка, с любопытством смотрит вверх, на гребень вала, где между лопухами и чертополохом шагает веселый певец.

Инвалид заметил девушку. Он поет еще веселее и громче:

Городски наши девчата  
Сильно мажутся духам...

В этот поздний для районного городка утренний час голос инвалида чуть ли не в каждом доме возле крепостного вала будит девушку или юношу.

Сильно мажутся духам,  
А гуляют с пастухам.

Вместе с солнцем и утренним воздухом частушка врывается в кабинет секретаря райкома партии, который как раз открыл окно. Высокий, в черном кителе с отложным воротником, — однажды осенью, когда разлилось озеро, он и еще несколько районных работников обсуждали с мелиоратором, как спасти затопленное сено, — секретарь как бы размышляет вслух:

— Сегодня они будут спать до вечера... А завтра...

Он говорит это, присев на подоконник. За его спиной, в раме окна, зеленеет крепостной вал, шумит базар возле белых соборных стен по ту сторону вала, синие с золотыми звездами главы круглятся в небе.

— А завтра они поедут сдавать в институты.

Так отвечает секретарю добродушный человек, расположившийся в одном из двух кресел, поставленных впереди письменного стола. В другом кресле, хитровато помалкивая, сидит мелиоратор.

— Или ты против Конституции? — шутит незлобивый человек.

— Чего-то я все-таки не пойму, — продолжает рассуждать секретарь райкома. — Если все станут инженерами, то где мы возьмем рабочих?

— А ты что?.. Цека? Наверху, брат, знают что к чему... А нам с тобой сено надо убирать.

— И кто останется в таких старых маленьких городах, как наш?

Голос секретаря звучит несколько элегически.

— Да уж кто поплоче, — с невозмутимой трезвостью своей рассуждает собеседник секретаря райкома. — В промкомбинате нашем работать или на усадьбе овощи выращивать — для этого не надо кончать институт.

Мелиоратор, все время молчавший, только в глазах его, как говорится, сидят лукавые «беси», — мелиоратор вдруг произносит смиренно:

— Позвольте полюбопытствовать...

Нарочитая эта смиренность, и то, как повернулся он всем своим крижистым корпусом к хозяйину кабинета, и пауза, кажется, для того лишь сделанная, чтобы вопрос не застиг человека врасплох, — все это отдает вежливостью разночинных университетских аудиторий старого времени.

— А если бы все эти молодые люди остались в городе, — спрашивает мелиоратор, — вы бы им что могли предложить, какую работу?

— Завод надо строить,— вздыхает секретарь.

— Озером надо заняться!

— Мы люди маленькие,— бодро говорит добродушный человек.

Мелиоратор поднимается с кресла — румяный, одетый в белую от стирок парусину. Он говорит, приготовившись надеть белый картуз:

— У нас в гимназии батька был — законоучитель. Однажды, когда он рассказывал нам о бесконечности Вселенной, я поделился с ним следующим своим соображением. «Батюшка,— рассудил я,— ежели взять во внимание Вселенную, то мы, люди, всего лишь козявки». «Это ты козявка!— рассердился поп.— А я — тварь божья». Разрешите откланяться.

Надев картуз, мелиоратор идет прочь.

Секретарь райкома смеется:

— Здорово он тебя, Метелкин!..

В победно сдвинутом на затылок картузе, заложив руки за спину, выходит из темного подъезда на освещенную солнцем улицу мелиоратор.

Истертые плиты провинциального тротуара выглядят белыми. Чернеют проемы в белой аркаде гостиного двора. Посреди булыжной мостовой, запряженный в полук на резиновом ходу, медленно шагает богатырский соловый конь. Вышедший на прогулку белый с красным гребнем петух копается в навозе.

Мелиоратор останавливается с пожилым человеком в сапогах.

— Александру Ивановичу!— говорит он.— Как дела?

— Да ничего.

— Ничего-то у нас и своего хватает.

— Помаленьку косим, помаленьку торгуем.

Улицей движется длинный, красный с желтым автобус. Навстречу ему идет тяжелый самосвал.

И вот петух, оказавшийся между двумя машинами, испуганно вскрикивает, мечется, хлопает крыльями и вдруг белым комком перьев взмывает кверху.

— Гляди,— говорит Александр Иванович, и его красноватое, обветренное лицо с большими навывкате глазами приобретает озорное, мальчишеское выражение.— Гляди! Обстоятельства и петуха заставляют летать.

— Хорошо, если бы обстоятельства и кое-кого из начальства тутошнего научили летать,— говорит мелиоратор.

— К этому идет,— замечает Александр Иванович.

— Так ведь рожденный ползать, говорят...

— А не полетит,— с внезапной жесткостью перебивает мелиоратора Александр Иванович, покраснев до малиновости,— колесами его раздавит.

К тротуару подкатывает грузовая машина.

— Домой?— спрашивает мелиоратор.

— Нет. Я еще на мельницу заеду, на кирпичный, потом в баню.

— Легкого пару!..

Уже из кабины грузовика Александр Иванович говорит:

— Приходил бы и ты. Часикам к шести.

Мелиоратор шагает улицами городка, раскланиваясь с каждым встречным. Все теснее становится на тротуаре — близок рынок, откуда уже возвращаются заботливые хозяйки и вышедшие на утреннюю прогулку старики.

Не обходится и без обычного вопроса:

— Скоро ли станешь озеро чистить, Лексей Ксенофонтыч?

Это спрашивает у ворот рынка маленький бритый старик.

- Скоро.
- Будет благодать, только надо подождать. Так, что ли?
- Истинно, Евдоким Василич... Рыба-то есть ли?
- Собачкиной Марьи девчонка тут ходит с рыбой.

В глухом проулке между забором и рыночными палатками Клава торгует рыбой. Пустые ящики громоздятся здесь штабелями. В сыроватую землю впечатаны растоптанные бумажные стаканчики из-под мороженого. Здесь тенисто, прохладно — девушка поеживается в своем легком стареньком платьице, поверх которого надета короткая и тесная, вытершаяся на швах шевитовая жакетка. Корзина с рыбой тяжела, не каждая покупательница соглашается нагнуться, а Клава не очень высока ростом, и ей приходится поддерживать корзину коленкой.

Высокая молодящаяся женщина, худая, черная, с высокой прической и красными клипсами, почему-то вырядившаяся в длинное черное платье, осторожно, двумя пальцами, берет рыбу, переворачивает, выбирает.

— Бедняжка, ты даже не отдохнула после выпускного вечера! — говорит она сочувственно, жалостливо, что, впрочем, не мешает ей деловито и озабоченно рыться в корзине. — Удивляюсь твоей матери...

Клава молчит, покусывает губу. Бледное от бессонной ночи лицо белеет в тени забора. Редкие веснушки видны на чуть вздернутом носу.

Рядом топчется Алеха. Пестрый кот умильно жметя к нему, тянется к потускневшим, измятым плотичкам на кукане, должно быть, давно уснувшим. «Ладно, — рассуждает мальчик, — все равно покупателя настоящего нет, ешь уж задаром». Он рвет с бечевки рыбку за рыбой, кормит кота.

Из-за палатки вдруг появляется мелиоратор.

— Клавка! — восклицает он. — Караси-то есть у тебя?

— Есть!.. Есть, Алексей Ксенофонович.

— А велики ли?

— Да уж, конечно, по лаптю.

Девушка мгновенно оставляет привередливую покупательницу, обидевшую ее своим сочувствием. «Клавка», — укоризненно говорит при этом мелиоратор, а женщина снисходительно улыбается. «Ах, — вздыхает она, — что вы хотите от провинциального воспитания». Она брезгливо вытирает платочком пальцы, идет прочь, забавно торжественная в своем длинном вечернем платье.

— Кто это? — удивляется мелиоратор.

— Светки Метелкиной мама, — торопится ответить Алеха.

— Про-вин-цио-наль-ная... дура, — отчетливо произносит Клава.

Невдалеке, за вокзалом, с нарастающей силой гудит тепловоз — поезд приближается. Мелиоратор достает из брючного кармашка часы и говорит, взглянув на них: «Девятичасовой московский... Пошли рыбу жарить».

Слышно, как поезд замедляет ход, потом останавливается.

На вокзале, перед билетной кассой, высокий плечистый парень с фанерным чемоданом на спине и привязанным к нему мешком на груди, тесня стоящих впереди людей, которыми забито узкое, ограниченное железными перилами пространство, ведущее к окошку, протягивает зажатые в кулаке деньги. Он несколько ошалел от боязни опоздать на поезд, и нет в нем сейчас той красивой, спокойной силы, с какой он ходил по заболоченному лугу, выкашивая осоку. Он то наклоняется влево, надеясь отсюда достать до кассы, то справа, изогнувшись, тянется со своими деньгами. Немолодая женщина в ситцевом платочке просит его:

— Может, останешься... Лень, а Лень!

— Поеду,— отвечает парень.

— Налог, вишь, сняли...

— На костюм все равно не заработаешь.

— Сено, вишь, посулились давать... Я уж и телочку сторговала.

— И штиблет не купишь,— стоит на своем парень.

— И деньги сулят,— говорит женщина.— Как на производстве.

Наконец, оказавшись перед окошком, парень покупает билет.

Он спешит к поезду, открывает одну за другой тяжелые, на пружинах, двери, пускается бежать по перрону, разыскивая свой вагон. И только у подножки вагона, когда проводница проверила билет, он успокаивается, снимает кепку, вытирает ею потный лоб, целует женщину, все время бежавшую за ним,— мигающие его глаза смотрят тоскливо, растерянно. Он говорит женщине:

— Вы, мам, уток моих поберегите. Приеду в отпуск — поохочусь.

Дежурная по вокзалу бьет в колокол. Свисток.

С площадки тронувшегося вагона парень машет рукой матери.

— Тетка Поля! — окликает женщину крепенькая бойкая молодайка, выносившая к поезду жареных кур.— Ты чего тут? Или провожала кого?

— Алеху в Донбасс проводила.

Молодайка считает только что вырученные деньги, распрямляет смятые пятерки и трешки, аккуратно складывает их, сует за пазуху.

— Чем ему тут не житье! — лениво замечает она.

— Так ведь молодой. Одеться хочется.

Молодайка покупает мороженое, одну пачку протягивает тетке Поле.

— Ешь.

— Где-то у меня тут был хлеб,— говорит тетка Поля, роясь в корзине, в которую воткнута ватная стеганка, достает обломанную краюху, принимается равнодушно есть, откусывая то от мороженого, то от краюхи.

Мимо перрона, где-то на третьих путях, медленно движется товарный состав с тесом на платформах, с бревнами, углем, сеялками... Тетка Поля, нехотя жуя хлеб с мороженым, рассеянным взглядом провожает поезд и говорит со вздохом:

— Ни заработать у нас... Ни гвоздя купить, ни доски. Что повалилось, то и лежит — хоть в колхозе, хоть у колхозника. Жить нечем.

— Ну и переезжали бы в город,— пожимает плечами молодайка.

— Это я-то? Из своего дома?!

Взгляд тетки Поли останавливается меж тем на эмалированной миске, которую, уперев ее в бок, держит молодайка. В миске, полуприкрытые белой тряпицей, лежат непроданные куры — на диво жирные.

— Где хлеб, там и дом,— говорит молодайка.— Мы вот переехали.

— Укрупняют нас,— продолжает размышлять вслух тетка Поля, в то же время с интересом разглядывая кур.— С Александром Иванычем укрупняют. Деньги, вишь, суляются каждый месяц давать, как на производстве. Сено.

Говорит она медленно, не столько с молодайкой, сколько сама с собой. И вдруг с необыкновенной живостью спрашивает об удививших ее курах:

— Чем это ты их кормишь так?

— Рыбьим жиром.

— Чем?

— Рыбьим жиром. С аптеки.

— Так ведь кто ж их есть станет!

— Больно наплевать. Покупатель-то проезжий.  
Тетка Поля с некоторым испугом смотрит на молодайку.

Издалека доносится приглушенный, щемящий гудок тепловоза.

Во дворе трехэтажного дома на берегу озера, на большом розовом валуне, Клава чистит карася — широкая, черная с медью рыбина со вспоротым кровотоющим брюхом скользит в руках девушки, красных от холодной воды, облепленных чешуей.

Кошки, выгибая спины и шипя друг на друга, ходят вокруг Клавы.

Алеха сидит тут же, давит рыбы пузыри.

И опять где-то далеко гудит тепловоз.

— А я мечтала, как уеду с этим поездом учиться,— говорит Клава.

Напротив, возле открытого окна своей конторы, склонившись над столом, мелиоратор листает бумаги в папке. Он возражает Клаве, должно быть, не первый раз:

— На стипендию ты не проживешь, а отсюда,— кивает он вверх, в том направлении, где на третьем этаже зияет голое, без занавесок, окно,— отсюда помощи ждать нечего. Да и какой из тебя к шуту зоотехник, если ты, кроме ваших собак, никаких домашних животных близко не видела.

Алеха, оставив свои пузыри, говорит с сожалением:

— А я-то думал, хоть ты из нашей семьи будешь ученыя...

Помолчав некоторое время, он озабоченно размышляет вслух:

— Васька все с рыбой...

Потом, еще помолчав, говорит, как о предрешенном, со вздохом:

— И мне этой дорожки не миновать.

— Ты, брат, фаталист,— смеется мелиоратор.

— Чего?!

Алеха встает. Он смотрит в дальний угол двора, где в тени сарая врыт в землю стол, и спрашивает несколько сердито:

— Здесь, что ли, завтракать припасать? Здесь,— решает он.— На воле-то поваднее.

Он вприпрыжку бежит в дом.

А мелиоратор продолжает рассуждать:

— Есть и еще сторона в этом деле — немаловажная, я бы сказал

Он покидает свое место за окном и выходит во двор, останавливается у порога конторы. Клава тем временем моет карасей, разводит огонь между двумя поставленными на ребро кирпичами возле подножия вала — в мелкой траве здесь всюду чернеют проплешины, валяются кирпичи.

Бежит из дома Алеха, тащит сковородку и захватанную бутылку, заткнутую свернутой туго бумажкой. Он говорит:

— Масло-то у нас кончается.

Мелиоратор, отвлекшись от своих мыслей, предлагает:

— Возьми-ка денег... Сбегаешь в лавочку.

— Не надо,— говорит Клава.— Я потом водички добавлю.

Глаза ее слезятся от дыма. Она вытирает их, пачкает лицо сажей.

— Сейчас вся партия взялась поднимать деревню,— рассуждает мелиоратор.— А институт?... Подождешь годика три. Зато у тебя настоящий диплом будет.

Клава льет масло на раскалившуюся сковородку, укладывает рыбу.

— Так я же не против,— говорит она.

Тут вмешивается Алеха, притащивший хлеб, вилки, ковш с водой.

— Чудно! — говорит он.— Люди — из деревни, а она — в деревню.



— А захочет ли еще Александр Иванович взять меня?.. — раздумчиво спрашивает Клава. — Да и сумею ли я в колхозе.

Сквозь редкий, начавший рассеиваться пар проступает лоснящееся розовое лицо и круглые голые плечи белотелого, седобородого старика. Борода у старика круглая, и щеки круглые, и плешь круглится посреди легкого венчика белых волос. Словно благодуществующий после трудов Саваоф, старик восседает на мокром, скользком банном полке, лениво похлестывает себя по плечам, по жирной груди березовым веником. Он ищет, с кем бы поговорить.

А напротив истово парится угловатый, красный Александр Иванович. Потное малиновое тело его блестит, будто отлакированное. Ему еще не до разговоров, он деловито работает веником, словно подрядился.

— В баньку к нам пожаловали? — умильно осведомляется старик.

— К кому это... к вам? — бурчит Александр Иванович.

— В город... В город... Хороша, говорю, городская банька!

— Давно ли ты из деревни убежал! — перестав хлестаться, говорит Александр Иванович. — А тоже... — Он передразнивает: — «В город. К нам».

И принимается снова нахлестывать веником спину.

Старик, уставившись на Александра Ивановича, спрашивает:

— Эт-то... кто убежал?

Он удивлен и несколько растерян. Видать по нему, что он привык, чтобы его почитали. Да и человек он, в сущности, добродушный, смирный. От нечего делать, от полноты чувств он завел разговор с соседом, не имея в виду ничего серьезного, а тут — нá тебе! — эдакое грубиянство.

— Я двадцать лет в городе, — освобождаясь от остолбенения, начинает он вдруг кричать. — У меня дом на Подозерке! Мы... Я... Мы...

— Вона! — Александр Иванович, утомившись, откладывает в сторону веник. — Так ты еще в коллективизацию сбежал. Не понравилось!

— Мы... Мы... Метелкин я! — выговаривает наконец старик. — Сын у меня в исполкоме. Небось слышал?!

Александр Иванович наслаждается покоем, поглаживает бока.

— Как не слышать! — говорит он. — Известный прохвост.

Старик озирается вокруг. Большой, розовый, пышный, он неуклюже поворачивается из стороны в сторону, словно призывает стены в свидетели. Он никак не поймет, что это за озорник вдруг взялся здесь — жилистый, поджарый, с красной, будто выдубленной кожей.

— Какие люди уважают его! — говорит старик рыдающим голосом.

— Прохвосты и уважают.

Подхватив шайку, старик бежит прочь. Он чуть не сшибает в дверях мелиоратора, который входит в парильню, прикрывшись свежим березовым веником. Оглянувшись, мелиоратор спрашивает Александра Ивановича: «Чего это он?» — «Я тут дружеский шарж устроил», — смеется Александр Иванович. Мелиоратор, открыв кран, подставляет шайку. «Ты как, уже кончил?» — осведомляется он. «Да нет, пожалуй, еще попарюсь».

Мелиоратор окатывает кипятком банный полок.

— У меня к тебе просьба, — говорит он. — Тут девчонка одна...

Шумит падающая вода — она скатывается с мостков портомойни. На мостках, широко расставив босые ноги, стоит, нагнувшись к воде, женщина, полощет в озере рядом, вытаскивает его, бьет им по мосткам.

Выпрямившись, откинув со лба волосы, женщина кричит подружке:

— Маньки Собачкиной Клавка... Слыхала?.. В колхоз уезжает!

Подружка отзывается с соседних мостков. Она стоит на коленях посреди ватного одеяла, разостланного на мостках. Большим куском мыла намыливает она изо всех сил одеяло, поднимает голову, кричит:

— Так она ж уже кончила школу! Кто это ее на прополку посылает?

— Не на прополку! — вмешивается третья женщина.— Насовсем!

Женщина стоит на мостках во весь рост, отжимает синеватое белье. Намокшее платье облепило ее. Озеро лежит позади — все в сияющей мелкой ряби.

Первая женщина приготовилась окунуть рядом, она возмущается:

— Это вместо института? А!.. Да чтобы я свое дите — в деревню!

С самых дальних мостков, не разобрав, кричит четвертая женщина:

— Кого не приняли в институт?.. Еще ж экзаменов не было!

— Какие тебе в колхозе экзамены!

Это, тоже не все расслышав, выкрикивает первая женщина.

Она опустила рядом в воду, кидает его из стороны в сторону, бьет по мосткам, и вода бурлит, плещет, с хлюпаньем выплескивается на мостки.

Женщины энергично полощут.

Вторая женщина, поднявшись, выжимает одеяло. Она говорит:

— От такой матери не то что в колхоз — на край света убежишь.

И опять вмешивается в разговор третья женщина, с третьих мостков. Она выполоскала уже белье, подняла корзину, собралась уходить.

— Что это ты, — говорит она, — бог знает с чем равняешь колхоз.

— Было бы хорошо, не бежали бы, — вступается первая женщина.

— Я и говорю, чего им в колхозе не жить! — снова не расслышав как следует, однако вроде бы соглашаясь в чем-то с другими женщинами, кричит с дальних мостков четвертая женщина.— За корову теперь не платить!..

— Нет уж, — настаивает на своем первая женщина.— Мы в навозе...

— Пускай уж дети наши, — перебивает подружку вторая женщина.

Они стоят на мокрых мостках, в подоткнутых мокрых платьях, облепивших животы, бедра, груди. Вены вздулись на икрах. Волосы липнут к потному лбу.

Матери — они хотят своим детям счастья.

На крыльце большого дома в селе стоит с чемоданчиком у ног Клава. Мимо идут люди. Одни из них поднимаются на крыльцо, входят в дом, другие выходят из дома. Дом высок, низ у него кирпичный, с железными ставнями на маленьких окнах, а верх — деревянный, рубленый, весь в кружевной резьбе наличников, с красным флагом, прикрепленным к резному теремку на крыше.

Люди идут по своим делам, не обращая внимания на Клаву.

Должно быть, она стоит здесь уже давно. Она прислонилась к точечному, в глубоких трещинках столбику, засунула руки в карманы жакетки и равнодушно поглядывает на истертые доски крыльца, усеянные подсолнечной лузгой, на кованые скребки с присохшей к ним грязью, торчащие по бокам нижней ступеньки, на гусей, которые ходят вокруг, пачкают сухую, жесткую, окаменевшую землю.

Внизу, под бугром, поблескивает небольшой пруд. Разбитая булыжная дорога возвышается над прудом. Метрах в ста, за бревенчатым амбарчиком, возле дорожного столба, на котором уныло повис погнутый железный указатель, булыжник упирается в синеватый асфальт автомобильного шоссе, протянувшегося поперек. Лакированные автомобили, цветные, сияющие, хотя и запыленные, проносятся мимо.

Задумавшись, Клава глядит на автомобильную дорогу.

— Цивилизацию наблюдаете, девушка? — говорит парень в новеньких резиновых сапогах с щеголевато вывернутыми краями голенищ, появившийся вдруг на крыльце. — Так сказать, бросаете прощальный взгляд...

Парень усаживается на перилах крыльца. Маленький длинноухий песик, косматый, с репейниками на ушах, садится у ног парня.

— Рекомендую, — говорит парень, — собака испанских королей.

Искоса взглянув на песика, Клава улыбается.

Гуси нагло лезут на крыльцо, хрипловато гогочут, стучат клювами, роются в подсолнечной лузге, ищут семечек.

Конечно, собаке неметается разогнать гусей; запрокинув голову, она не спускает с хозяина глаз, сторожит, когда же он ей кивнет.

Но парень нарочито не замечает этого.

— Законодательница полей? — осведомляется он у Клавы. — Зоотехник? Медицинский работник?.. Как, неужели коллега — учительница?

Клава помалкивает, не переставая, однако же, улыбаться, и тогда парень, точно он решил пойти с козыря, слегка кивает своей собачке.

Боже милостивый, что тут начинается!

Во все стороны летят перья, гуси, кинувшись от крыльца, издают сдавленный, разногласый вопль. От неожиданности вскрикивает и Клава. Гуси с сердитым гогогом улепетывают к пруду.

Песик носится вокруг гусей, загоняет их в воду — он весь накренился, уши его мотаются из стороны в сторону, метут землю. Пруд почти весь полон гусями, уже и воды не видать. Все меньше и меньше становятся круги, по которым бежит песик. Наконец, когда уже и одного гуся не осталось на берегу, он с удовлетворением уходит от белого среди черной земли пруда, изредка оглядываясь.

Всплеснув руками, Клава смеется доверчиво, будто она дома.

— Все-таки это не чистый спаниель, — говорит она.

— Ну вот, наконец вы заговорили! — добившись своего, восклицает парень. — Кто же вы такая? Поскольку вы девушка — значит, не охотник. А в собаках разбираетесь. Я же сказал — зоотехник. Или ветеринар.

На крыльцо выходит Александр Иванович, председатель колхоза.

Пренебрежительно посмотрев на парня, он говорит:

— Шел бы ты, Глебка, в бригаду. Газету бы людям почитал.

— У меня транспортных средств нету, — огрызается парень, однако на всякий случай сползает с перил, вытягивает руки из карманов брюк.

— Не хвор и пешком сходить.

Александр Иванович неторопливо идет с крыльца, а из ворот дома тем временем вылетает серый жеребец, запряженный в двухколесную тележку. Конюх, повисший на длинных ременных вожжах, едва оставивает его.

Александр Иванович берет вожжи не глядя, говорит Клаве:

— Садись, девушка. На квартиру отвезу.

Клаве он представляется черствым, грубым. Ей стыдно перед Глебом, что председатель предложил подвезти ее. Она молчит, покусывая губу.

— Вы скажите — куда, я сама дойду, — решается она сказать.

Но Александр Иванович протягивает руку за ее чемоданом.

— Полно! Давай садись.

И Клава садится в тележку. Жеребец трогает с места. Александр Иванович вскакивает на ходу, поерзав, усаживается удобнее. Белая пыль, поднятая колесами, встает позади подпрыгивающей, качающейся тележки.

С крыльца вдруг сбегает Глеб, кричит вдогонку председателю:

— Вы не имеете права! Я не подчиняюсь колхозу!

Он весь напрягся. Ноги его расставлены, а кулаки сжаты. На вытянутой шее вздулись желваки. Светлый жесткий чуб топорщится из-под кепки.

Песик недоуменно смотрит снизу вверх на своего хозяина.

Сухая колеистая дорога с торчащими кое-где пучками пропыленной травы бежит из-под колес тележки. Тележку мотает из стороны в сторону, и Клава, невольно поддавшись этому убаюкивающему покачиванию, дремлет. Изредка, когда встряхнет ее на ухабе, девушка вскидывается, не то сонным, не то сердитым взглядом смотрит на зеленое, отросшее уже клеверное поле, уставленное коричневыми стогами, на белесую, будто выцветшую спелую рожь и красноватую еще яровую пшеницу.

Местами трактор пылит, перепахивает клеверище.

За кучами соломы, разбросанными по жнивью, вдоль стены волнующихся хлебов движется комбайн со сбитым набок полотняным зонтом.

Дорога идет в гору, вся земля по обеим ее сторонам вплоть до близкого, поднятого высоко горизонта кудрявится от молодого овса, густо перевитого горохом.

Клава очень уж нарочито отвернулась от Александра Ивановича, и тот, продолжая, должно быть, начатый разговор, спрашивает девушку:

— Ты что? Уж не обиделась ли за Глебку?

Резко поворотившись вдруг, Клава говорит:

— Как не стыдно с учителем так разговаривать!

— Лодырь он. И не учитель, а избач.

— Все равно. Тем более, не у вас он работает.

— Это еще не причина лодыря гонять.

Разговаривая, Александр Иванович словно ищет что-то по сторонам дороги, потом останавливает лошадь, идет в овсы. Он возвращается оттуда с полной полой стручков гороха, подставляет ее Клаве, говорит:

— На вот, почавкай.

Клава смотрит на него с удивлением, нерешительно берет горох.

Александр Иванович, надавливая на стручки, вылуцивает горошины, ловко кидает их в рот, торопливо ест, по-мальчишески наслаждаясь.

Меж тем дорога поднялась на гребень и пошла под изволок.

Отсюда далеко видно на все стороны. Желтеют хлеба, картофельные поля темнеются своей сочной ботвой, кое-где испещренной не отцветшими еще цветами. Выгоревшее почти до белизны жнивьё, тронутое зеленью сорняков и заваленное ворохами незаскороданной соломы, перемежается паровыми полями — серыми, сиреневыми, коричневатыми. Зияют овраги, кудрявые от ивняка, лещины и ольхи.

Далеко, в зеленой складке земли, открылась деревенька.

— Нам сюда? — спрашивает Клава.

— Нет. Свиарник у нас под Ведомшей.

А где она, Ведомша, этого председатель не сказал.

С пригорка на пригорок бежит пыльная дорога. Стучит копытами жеребец. Клава замечает, что между колеями здесь растет мелкая жесткая мурава — езды мало. Она оглядывается — едва синее родной городок.

И солнце уже низко — от жеребца с тележкой, от стогов сена и куч соломы, от редких деревьев в полях протянулись длинные тени.

Опять виднеется деревня впереди.

Деревня стоит посреди зеленой земли. Избы едва видны за густым вишенником. Церковка с колоннами, со шпилем на колокольне белеет возле кладбища. Длинный кирпичный двор под черепицей, с двумя серебряными силосными башнями вытянулся поодаль, на выгоне.

— Это, что ли, Ведомша?

— Полно, девушка. Выползово это. Тут у нас коровы.

Дорога уже сплошь поросла кудрявой мелколистной травкой, почти накрывшей неглубокие здесь колеи, рядом с которыми, перекрещиваясь, тянутся оттиснутые в мураве следы велосипедных и тележных колес.

Снова оглядывается Клава, но города уже не видать.

Солнце садится впереди, и редкие ракиты на обширном лугу выглядят плоскими, черными. Жеребец простучал по измочаленным доскам моста, блеснула, отражая закат, зеркальная вода узкой тихой речонки.

За взгорбком встали по бокам дороги дома еще одной деревни.

— Ведомша? — спрашивает Клава.

— Нет еще, — отвечает Александр Иванович.

Он чем-то озабочен. Он провожает взглядом человека на велосипеде, который катит в сторону от дороги по зеленоющей среди жнивья тропинке, в вечерние поля, пустынные и темные под оранжевым небом.

— Куда это он поехал? — как бы размышляет вслух председатель.

— А вам не все равно? — неприязненно говорит Клава.

— Ни жилья там нету, ничего...

Клава пожимает плечами.

— Комбайн там нынче работал, — рассуждает Александр Иванович. — Обязательно он украл рожь, спрятал, а теперь, темкой, едет за ней.

— Как вы можете каждого подозревать? — возмущается Клава.

— Я не каждого, девушка, — насмешливо возражает Александр Иванович. — Колхоз ихний недавно к нам присоединился, для них колхозное добро все равно что чужое. А ты, если думаешь в деревне жить, все примечай — как облако зашло, что животное делает, куда человек идет...

Он молчит некоторое время, смотрит туда, где впереди клубящегося хвоста рыжей пыли едет велосипедист, свернувший с затравенной межи на сухое жнивье. Потом он говорит, спрашивая не Клаву, а как бы себя:

— Ну зачем, скажи на милость, ехать ему сейчас в поле?

Жеребец меж тем стал сворачивать влево, к темнеющей поодаль от деревни длинной бревенчатой постройке с чуть прогнувшейся посередине замшелой соломенной крышей. Но председатель погнал жеребца вперед.

— Вот она, твоя Ведомша, — показывает он кивком на деревню.

— Почему же вы не свернули? — поворачивается к нему Клава.

— Я тебя на квартиру поставлю вон туда — в Тряслово.

Тележка, миновав поворот, катится по высокой сыроватой траве, охлестывающей ось и ступицы. Дорога здесь совсем одичала, будто вернулись те давние времена, когда первый поселенец срубил дом возле протянувшейся к дальнему озеру трясины.

Впереди наползает туман. Он как облако, нависшее над лугом.

Две промятые в траве колеи тянутся впереди, уходят под полосу тумана, над которой темнеет вдаль лес. Ближе, на фоне леса, теснятся крыши деревеньки — оттуда слышится разноголосое торопливое блеяние.

— Тут тетка одна живет, — говорит Александр Иванович, — просторно у нее: сын из колхоза убежал, покуда мы объединились. У нее и будешь жить, а на работу будешь бегать в Ведомшу. Недалеко здесь.

Мягко стучат в траве копыта жеребца.

Александр Иванович чуть презрительно, однако не без сочувствия показывает на первобытное разнотравье, в котором пропала дорога.

— Гляди, — говорит он Клаве. — Дожились они тут, что и дорогу потеряли. Ни они никуда не ездили, ни к ним никто не ездил.

Сквозь туман проступает большая изба с приткнувшимся к ней сбоку двором под односкатной кровлей. Ободранная ветла, теряясь вершиной

в тумане, осеняет двор. Ворота двора распахнуты, внутри него черная тьма.

— Тут и станешь жить,— говорит Александр Иванович.

Осадив жеребца, он соскакивает на землю, стучит в высокое окно.

— Тетка Поля! Эй, тетка Поля!

В черном провале ворот вдруг появляется коза.

«Ме-э-э-э... Ме-э-э-э...» — как бы обращается она к приезжим.

Зябко поживаясь, стоит с чемоданчиком Клава. Стучится в окно Александр Иванович. Жеребец тянется к вдовьему стожку сена, темнеющему рядом с двором, тащит за собой легкую, позвякивающую железками тележку.

А костлявая, большебрюхая и рогатая коза словно дразнится:

«Ме-э-э-э... Ме-э-э-э...»

Тут откуда-то из-за дома, с усадьбы должно быть, отзывается певучий женский голос: «Кто-й там? Чего надо?» С охапкой мокрой травы выходит та самая женщина, которая недавно провожала сына.

Холодное раннее утро в середине лета. Запотевшие окна и мокрые крыши. И еще резкие тени от встел на заросшей травой широкой и пустынной деревенской улице.

Выскочив из ворот темного двора, Клава жмурится от яркого утреннего света, обеими руками трет глаза.

В тишине утра время от времени возникает певучий негромкий звук, несколько печальный, берущий за сердце,— это бригадир, скликающий на работу, бьет болтом по вагонному буферу, подвешенному к дереву.

Клава еще не совсем проснулась.

Впереди, за редкими избами, простирается зеленая низменность. Дальше, возле горизонта, поблескивает узкая оловянная полоса.

— Тетя Поля! — кричит Клава. — Что это там?

— Там? — отвечает тетка Поля. — Чему ж там быть, болотина там.

На ней чистый фартук, сапоги вымыты, деревянные грабли лежат на плече — она собралась в поле, подгрести за комбайном, который уже стрекочет в ржаных полях, тускло желтеющих между деревенькой и лесом.

— Нет... За болотом,— продолжает спрашивать Клава.

— За болотом? — удивляется тетка Поля. — Знамо, озеро.

— А вон там лес, правда? — показывает Клава налево.

— Лес. Чему ж там еще быть? Речка там еще есть — Пига.

— И купаться можно?

— Мы в печке паримся...

— А вон там — Ведомша? — показывает Клава направо.

Обширная долина лежит в той стороне, и отсюда, с того места, где стоит Клава, хорошо видна в полях деревенька Ведомша. Клава вдруг пускается бежать. Тетка Поля провожает ее недоуменным взглядом — чему, мол, радуется, коза!..

Негромко и прерывисто звенит вагонный буфер на дереве.

Соседка тетки Поли, вышедшая из избы, заметив, что та смотрит вслед убегающей вприпрыжку девушке, любопытствует: «Это еще что за диво?» — «Постоялка,— отвечает тетка Поля. — На свинарнике, говорит, станет работать». — «Зоотехник!» — догадливо кивает головой соседка.

Под высоким небом среди полей бежит Клава.

Тетка Поля, уразумев, о чем толкует соседка, возражает:

— Нет... В свинарки, говорит, определилась.

— Этакая миникюрненькая, городская!..

— Небось послали,— решает тетка Поля. — По мобилизации.

— Неужли своей волей, — соглашается соседка.

Маленькая торопящаяся фигурка видна в полях.

Обширно небо над нею, и широко вокруг земля. Легкие облака грозятся в небе, бросают на землю летучие тени. Белеют извилистые дороги. Серые деревеньки с зелеными купами ветел стоят возле дорог.

И уже не видать девушки, только тени бегут по земле, и приглушенно, извещая о начале рабочего дня, гудит по деревням железо.

На проселочных дорогах, окутанные пылью, покачиваются и ныряют в ухабы грузовики. Хвосты пыли тянутся за автомобилями на шоссе. Пылят комбайны. Гривка почти прозрачного дыма от паровоза, теряя клочья, стелется над вагонами и платформами нескончаемо длинного товарного состава.

То было лето больших работ и больших ожиданий.

Месяцев за десять до этого, в сентябре тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, пленум ЦК КПСС обсудил состояние дел в деревне, к тому времени довольно тяжелое. По докладу первого секретаря ЦК Никиты Сергеевича Хрущева пленум принял решения поистине революционные.

Многое менялось...

В подробностях обыденной жизни угадывался отзвук этих перемен.

Два деревенских жителя идут железнодорожными путями к вокзалу. Один из них, с корзиной и мешком, связанными вместе и переброшенными через плечо, говорит, кивнув на приближающийся товарный поезд: «Погоди, пропустим». Товарищ его, согласившись, замечает однако: «Дли-ин-ный».

Но поезд вдруг, не дойдя до вокзала, останавливается, медленно, как бы не доверяя, начинает пятиться на запасный путь, и деревенские жители с удивлением глядят на это диво — давно уже товарные поезда не приходили в районный городок. «Гляди-ко, — говорит один другому. — Лесу привез!» — «Может, и гвоздей и стекла», — отзывается приятель.

И оба они, любопытствуя, пускаются бежать к поезду.

С товарных платформ, подпрыгивая и роняя лепешки медной коры, катятся по наклонным балкам тяжелые, будто литые, сосновые бревна.

А на вытопанной луговине за деревенской околицей девушки в брезентовых рукавицах и низко надвинутых от солнца косынках, построившись цепью, разгружают машину — бросают друг дружке кирпичи.

Звенит подвешенный к дереву буфер в Тряслове. Поет отрезок железной балки на столбе посреди Ведомши. Высокой скороговоркой частит колокол еще на какой-то деревенской улице. Стоном отзывается на удар снятый с бороны диск перед полевой будкой трактористов...

В то лето слово уже становилось делом.

\* \* \*

Подкованными сапогами считая ступени, идет из колхозной конторы председатель. Навстречу ему степенно шествует благообразный старичок с торчащим из кармана складным метром — однажды он встретился мелиоратору по дороге на рынок. Позади старичка идут два плечистых парня и мальчонка лет пятнадцати.

— Лександру Иванычу! — приподнимая картуз над поблескивающей плешкой, здороваются старичок. — Хоть и не звал еще, а материал,

слышали, прибыл — мы и пришли... Давай рядиться, коли не передумал.

Александр Иванович идет с бугра, на котором стоит контора.

Старичок со своей артелью поспешает за председателем.

— Дорого просишь,— говорит Александр Иванович.

— Не дороже денег,— отшучивается старичок.

— И стряпуху вам дай и квартиру,— продолжает председатель.

На эти его слова старичок возражает с достоинством:

— Бывалоча, хозяин после работы в трактир водил.

Александр Иванович останавливается возле луговины, где на траве стоят штабеля красного кирпича, желтый песок лежит кучами и по пружинящим, беспорядочно сваленным доскам бегают ребятишки. Похоже, что Александр Иванович не склонен рядиться с артелью, что он только разговоры разговаривает. Словно для того, чтобы время выиграть, он говорит:

— Да вам, чай, и не сладить!

— Шутник! — вежливо смеется старичок.

И оба парня вслед за ним смеются старательно.

Замешкавшись, хихикнул вдруг после всех и рассеянный мальчонка.

А председатель, с удивительным для взрослого человека почти детским хвастовством, произносит, наслаждаясь своей осведомленностью:

— Шпрос!

И, выждав секунду, спрашивает:

— Слышал такое слово?

— Шпроц,— пренебрежительно говорит старичок.

Оба парня подобострастно заржали, но он обрывает их взглядом.

— Шпроц,— тянет он, стараясь при этом сообразить: договорился ли председатель с другой артелью «шабашников» или просто цену сбивает.

Решив, должно быть, что нет, не договорился, он заявляет:

— Двор-то мы тебе без шпроцу ставили, доволен остался...

— То двор, а это теплица.

Старичок, понимая, что суть в ином, досадливо отмахивается:

— Ты дело говори. Мы с тобой не парень с девкой...

— Как же ты без шпросу стекло поставишь? — смеется председатель.— Шпрос — горбылек, а в нем паз для стекла.

Тут как раз, взревев от натуги, выныривает из колдобины и сворачивает на луговину грузовая машина, в кузове которой тесно стоят люди. Она идет, покачиваясь, и молодые ребята, стоявшие в кузове, выпрыгивают на ходу, кличут тех, что остались: «Давай, приехали!» Машина останавливается; хлопнув дверцей кабины, к председателю спешит пожилой деловитый человек. Председатель в свою очередь торопится к нему навстречу.

— На квартиру поедем? — спрашивает он еще издали, от радости забыв поздороваться.— Или сперва строительную площадку посмотрим?

Один из парней, посмотрев на старичка, говорит:

— Инженеры!.. Тоже шабашки сшибают!

— Дура,— багровеет старичок.— Шефы это.

И, повернувшись, идет прочь. Парни вышагивают следом за ним.

Плетется сзади мальчонка, запрокинув голову, шуруется на облака.

Плоская земля, зеленая, желтая и коричневая, стелется под облаками. Сухая, в глубоких рывтинах, проселочная дорога пылит под сапогами старичка, парней и мальчонки.



Руки у старичка заложены за спину, пальцы сплетены, только оба больших пальца быстро вертятся один вокруг другого, по временам меняя направление. Но вот они вдруг останавливаются, замирают.

Старичок оборачивается к парням.

— Прости, брат,— смиренно говорит он тому, которого обругал.

И опять вышагивает впереди артели искателей легкого счастья.

Внезапно старичок принимается петь. Голос у него слабый, но чистый. Он поет тихо, как бы про себя. Нечто тайное, скрытое от людей угадывается в том, как поет в поле благообразный бритый старичок.

Господи! Услышал я слух твой и убоялся...

Пустынны вокруг поля, только комбайн виднеется в отдалении да стадо бредет пересохшим, пылящим жнивьем, изредка понукаемое бичами пастухов. Слышно еще, как далеко, у горизонта, постукивают колеса поезда, сдавленно и тоскливо вскрикивает тепловоз. Грачи, вспугнутые стадом, поднимаются со жнивья, взмывают кверху, рассаживаются на провисших проводах линии высокого напряжения. Пляшет в воздухе мошка.

И дико и странно звучит среди всего этого однообразный напев:

Господи! Соверши дело твое среди лет...

Предвечерние тени лежат на земле. Поблескивают крылышки мошкар. Вполголоса, бесстрастно и ровно поет старичок:

Среди лет яви его; во гневе вспомни о милости...

Рыжеватые облака мелко кудрявятся за спинами шагающей артели.

На письменном столе секретаря райкома зажжена лампа. Белеет стопка бумаги. Остро отточены карандаши. Закладки торчат из книг. Плотны сдвинуты портьеры на окнах, но сквозь редкую ткань виден свет угасающего дня. И грузовик погромыхивает на разбитой мостовой. И подгулявший обыватель, должно быть пробирающийся домой, выкрикивает в соседней улице: «Я иду, иду, иду!.. Собаки лают на беду!» Но тут уж ничего не поделаешь, да и не могут эти неподвластные секретарю обстоятельства отвлечь его от освещенной электрическим светом бумаги. Он вызывает секретаршу и велит ей идти домой. Он садится в кресло.

Извинившись, входит в кабинет мелиоратор.

— Позволю себе отнять у вас минут десять.

— Всегда рад! — Секретарь встает из-за стола.

— Есть возможность получить деньги на котловину... Технику...

— Прекрасно.

— Нужны овощи, молоко, а мы их можем давать.

— Разумеется.

Мелиоратор, хотя и видит, что секретарь стоит, все же усаживается и, наклонив голову, хмурясь, что бывает с ним, когда он даже мысленно вступает в борьбу, достает из внутреннего кармана пиджака блокнот.

— Я только что из Москвы,— говорит он.— Вот телефон. Звоните сейчас же. Это мой бывший ученик, и, по счастью, как раз ему поручено подготовить проект постановления. Вам нужно договориться о встрече.

— Алексей Ксенофонтович! — деликатно перебивает секретарь.

Но мелиоратор продолжает говорить о своем. Взгляд его, из-под наспуленных бровей устремленный в пространство, как бы сверлит все на пути. Мелиоратор приводит главный довод:

— Если мы опоздаем, нас не включат в титул.

Секретарь улыбается мягко и снисходительно.

— Милый Алексей Ксенофонович... У меня диссертация...

Он почти нежно проводит ладонью по книгам на столе, с сожалением оглядывает карандаши, нетронутую бумагу, так заманчиво освещенную лампой. Он вздыхает о потерянном уже для научных занятий вечере.

— Диссертация? — с профессиональным интересом восклицает меиоратор, затем добродушно и грубовато выговаривает секретарю: — Да вы бы гнали меня. Я бы уж с Метелкиным как-нибудь, хотя и не люблю его.

Темным и сырым свинарником, ухватившись за рукояти одноколесной тачки, идет Клава. Она идет к распахнутым далеко впереди воротам. Руки девушки расставлены и напряжены — ей трудно удержать в равновесии тачку. Неширокая ее спина обтянута сереньким халатом. Резиновые, забрызганные жидким навозом сапоги скользят по грязным, мокрым, хлюпающим в жиже доскам настила. Бывает, что нога соскользнет в щель между досками, жижа брызнет из-под сапога, област голые смуглые икры, круглящиеся над вывернутыми голенищами. Клава дальше катит тачку.

Под соломенной двускатной кровлей перепархивают воробьи.

Справа и слева от девушки тянутся столбы с облезшей побелкой.

Между столбами, вставленные в пазы, возвышаются загородки из некогда побеленных, кое-где с налипшим на них навозом, изгрызенных свиньями досок. Такие же загородки идут и от столбов к низким бревенчатым стенам. В стенах, под самой кровлей, прорублены небольшие, в четыре стеклышка окна. Свиной почти не видать — они на выпасе, вероятно. Лишь за иными загородками, в черной тени, среди вязкой, источающей влагу грязи, розовеет исполинская глыба — боров или супоросая матка.

Воробьи падают из-под кровли, склеивают присохшие к пустым корытцам остатки корма.

Клава катит вихляющуюся тачку.

Она выкатывает ее из ворот, опускает рукояти, согнутой в локте рукой медленно проводит по лицу. Она покраснелась. Капельки пота держатся над бровями, над верхней губой. Лицо чуть осунулось, огрубело, как это бывает от крестьянской работы.

Клава смотрит на приземистый, будто вросший в грунт свинарник. Ночью был дождь, и слежавшаяся соломенная кровля лоснится от воды, а на серых бревнах, сверху, возле пазов, темнеют расплывшиеся мокрые пятна.

Она обводит равнодушным взглядом простершуюся вокруг равнину.

В полях уже нет хлеба, и кое-где среди белесого жнивья протянулись коричневые полосы свежей зяби. На холодноватой зелени, в лугах, городками стоят стога сена. Речка поблескивает посреди ржавого болотца. Жестяными выглядят темные листья ольхи на берегу речки.

Плотная синева лежит в провалах между белыми облаками.

— Клавка! Уснула, черт!

Клаву окликает крупная девушка с широким лицом и почти белыми, мелко завитыми, пышными стриженными волосами, которые не умещаются под косынку. Ветерок облепил халатом ее большую грудь, всю ее прямую, почти без талии фигуру.

Кучи свежего навоза, курьясь легким парком, лежат вокруг.

Клава, будто очнувшись, берется за рукояти тачки, с ходу бегом катит ее к одной из куч, опрокидывает набок, вываливает навоз.

Девушка обнимает Клаву за плечи.

— Уморилась?

Она тискает ее, щекочет.

— Мало у тебя всего... Ровно и не девка. Тут запас нужен.

Клава отбивается, в некотором смущении говорит:

— Глупости... Нужна механизация.

— Худо ли, — соглашается девушка. — На скотном как хорошо!

Девушка поднимает порожнюю свою тачку, Клава берется за свою.

Они стоят лицом к свиарнику, со стороны которого дует и дует легкий утренний ветерок, треплет волосы, прижимает халаты к телу. Позади полого опускается земля, постепенно переходит в просторную низменность, и видно, как по зеленой обочине, рядом с дорогой, где места-ми, среди черной грязи, голубеет вода, торопливо шагает человек. По-другам не видать его, они лениво переговариваются, наслаждаются минутами отдыха.

— Давай потребуем и мы, Женька, — говорит вдруг Клава.

— Чего? — удивившись или не совсем уразумев, говорит Женя.

— Подвесную дорогу, как на скотном.

— Вона! У нас не производство... У нас колхоз.

— Ну и что? — не понимает Клава.

— На производстве — там деньги государство дает...

Клава не унимается, настаивает на своем. Она говорит:

— И нам даст. Я читала. Можно взять ссуду.

Женя степенно и несколько презрительно возражает:

— Ишь ты! Эдак проживешься... с ссудами. Нет хуже — занимать.

— Ты как-то по-обывательски рассуждаешь, — вспыхивает Клава.

— Пускай, — добродушно соглашается Женя.

Она вдруг оглядывается, замечает идущего в гору человека.

— Никак Глебка идет, — говорит она.

Потом, словно собравшись с мыслями, спрашивает Клаву:

— Ты почему пошла работать в колхоз?

Клава опускает тачку, как будто тачка мешаает ей ответить.

— А куда мне было идти? — говорит она. — На почту штемпелем по письмам колотить? Или в промкомбинат — делать малиновый напиток?..

— Там зато зарплата, — рассудительно замечает Женя.

— Ну и что! — с девчоночьим задором выкрикивает Клава.

— Как что? — удивляется Женя.

Она тоже оставляет тачку. В некотором смущении говорит:

— На производстве — знай работай...

Затем, внезапно ожесточившись, продолжает:

— Приходилось тебе по три раза огурцы пересевать, а они так и не уродят?.. Видела ли, как заплывает грязью картошка, как ее потом в земле морозом схватит?.. Слыхала, как иной дуролом, чтобы выполнить план, не оставит в колхозе и зернинки — обсемениться нечем?..

Клава, глядя подруге в глаза, произносит с твердостью:

— Я сказала глупость. — И сразу же, встревоженная, несколько наивно спрашивает: — Ты уйдешь из колхоза?

— С чего бы это я ушла! — пожимает плечами Женя.

— А учиться ты не хочешь? — деловито спрашивается Клава.

Женя, на ходу оборотившись к ней, смеется:

— Скоро за одного неученого трех ученых станут давать. Право!

Потом она говорит с обычной своей рассудительностью:

— Что свиарке требуется, я и так знаю. Совещания еще бывают.

— Не век же тебе свиаркой быть?

— Почему? Мне нравится.

Насупившись, приподняв крупные пухлые губы, над которыми золотится мягкий пушок, Женя сосредоточенно думает. Загар почти не коснулся ее лица, оно только обветрело. Чуть скуластое, с небольшими, расставленными широко глазами, оно выглядит сердитым. При этом видно, что Жене едва ли больше восемнадцати лет и она похожа сейчас на школьницу — бывают такие рослые, рано развившиеся физически десятиклассницы.

— Отчего это, — рассуждает она с некоторой запинкой, — отчего это все учатся, чтобы переменить рабочую специальность? Наш Александр Иванович так и говорит: диплом у них вроде продовольственного аттестата.

Женя как бы размышляет вслух, спрашивает и утверждает:

— А если просто так учиться? Работать свиаркой и все знать — про звезды, про машины, про разные страны, про всякие растения. Учиться — для удовольствия. Вот как на гулянку ходишь или как песню поешь.

И вдруг она с живостью вскрикивает:

— И впрямь Глебка. Он чего-нибудь занятное наплетет.

— Почему это вы все его Глебкой зовете?

Клава спрашивает об этом сухо, с оттенком осуждения.

— А он деревенский наш, — говорит Женя. — Из Ведомщи. — Тут же, переменяв тон, Женя добавляет не без лукавства: — Можешь Глебушкой его звать...

На возвышенность, где стоит свиарник, поднимается Глеб — давешний избач. Он останавливается в том месте, где довольно крепкий еще, несмотря на недавний дождь, проселок теряется в истоптанной свиньями грязи. Долговязый, в накинутом на плечи ватнике, растопыренном упертыми в бока руками, в сдвинутой на затылок плоской кепке, парень напоминает некое исполинское жесткокрылое насекомое. Он иронически разглядывает грязь, и лужи, и кучи навоза — похоже, что он здесь впервые, — втягивает ноздрями воздух, морщится, укоризненно говорит:

— М-да, девчата...

— Так ведь свиньи, — говорит Женя.

— Свинья, между прочим, самое чистоплотное животное, — глубоко-мысленно изрекает избач, перекладывает из правой руки в левую пачку газет и протягивает руку Клаве. — Глеб. Работник министерства культуры.

С той же серьезностью, деловито пожимая руку, Клава отвечает:

— Клавдия. Работник министерства сельского хозяйства.

Женя оторопело смотрит на них, потом, догадавшись, смеется.

— Один ноль в пользу Клавки.

Смешавшись, Глеб ищет, как бы ответить половчее, но в это время в воротах свиарника появляется огромный хряк с ощеренной пастью, с почти исчезнувшими в щетине свирепыми подслеповатыми глазами. Он озирается, приподняв рыло, посапывает, грозно всхрюкивает, затем решительно идет в сторону Глеба, и Глеб, взвизгнув, начинает вдруг кричать:

— Уберите свинью!.. Уберите!..

Клава прыскает со смеху, а Женя, осуждающе посмотрев на подругу, берет хряка за ухо, ласково похлопывает его по крутому боку, поворачивает к свиарнику, некоторое время идет рядом, затем провожает легким шлепком в зад, и хряк, семеня копытцами, неторопливо бежит в свиарник.

— А теперь,— будто ничего не произошло, будто он переходит к следующему номеру программы, тоном завязанного массовика говорит Глеб,— а теперь мы с вами прочитаем передовку из нашей газеты «Колхозный путь».

Здесь его останавливает Женя.

— Не надо. Мы ведь грамотные.

Но Глеб, любуясь своим голосом, читает:

— «Откорм свиней и нагул крупного рогатого скота...»

Слышно, как в полутемных рубленых сенях певучий и чуть печальный голос диктует Клаве, устроившейся за столиком возле забранного кованой решеткой окошка. За черной решеткой, за мелкими стеклами окна светлеется серенький, клонящийся к вечеру непогожий день. По временам редкие капли дождя вразнобой стучат по стеклам. Если приглядеться, то видно, что на полу посреди сеней сидит тетка Поля. Она сидит возле большой кучи зерна, вытянув босые ноги, поглаживает зерно, запускает в него горсть и затем, приподняв руку, как бы процеживает сквозь пальцы. При этом она диктует Клаве:

— Коровы наши никогда столько не доили. У нас и встарь, бывало, корове одна стряска шла — посыплют солому сенцом, и все. А уж при колхозах, как пошли у нас председатели бедовые, так и соломы досыта не едали. Теперь нашим коровам, благодарение богу, и силос идет, и сенцо. И титьки им моют с мылом и смазелином смазывают, словно они барыни.

Тетка Поля умолкает, сдвинув платок, чешет за ухом.

— Словно барыни,— повторяет она раздумчиво.— Написала?

Заправив под платок выбившуюся прядь волос и потуже стянув концы под подбородком, тетка Поля, собравшись с мыслями, продолжает диктовать:

— И вышло у нас не вавилонское смешение языков, как говорил брат Феофил, боголюбимый наставник, а очень даже хорошо. С того укрупнения, дорогой наш сын, Алексей Григорьевич, мы только и начали жить.

Похоже, что тетка Поля вдруг чем-то обеспокоилась. Искося вскинув глазами, она говорит Клаве:

— Неладно я сказала. Ты, слышь, девка, не пересказывай.

— Чего это вы? — недоумевает Клава.

— Про Феофила...

— Какое смешное имя! Кто это?

— Старичок один.

Тетка Поля озадачена: неужто Клава не помнит, чего писала?

— Ну-тка,— говорит она,— прочитай.

Клава держит письмо у самого окна, быстро читает:

— «По сравнению с прошлым, значительно вырос надой. Объясняется это не только тем, что коровы получают обильный и разнообразный корм, но и культурным уходом, соблюдением гигиены. Теперь любой Фома-неверный убедился, что зажиточная жизнь возможна только в укрупненном колхозе».

— Как в газете,— с тихим восхищением говорит тетка Поля.

Сплошной поток воды торопливо катится вниз по стеклам. Лист тополя, темный и мокрый, на мгновение прилип к стеклу, но его тут же смывает.

— Пиши дальше,— говорит тетка Поля. И уже другим тоном, печально, нараспев, начинает диктовать: — Выдали нам авансу по два кила... Даже не верится.

Ладонь ее при этом кругообразно оглаживает зерно, и на крутом, выпуклом боку пшеничной кучи постепенно образуется широкое и неглубокое кольцо.

— Даже не верится,— повторяет она.— С самой войны не давали.

Кто-то стучится в окошко, пытается протереть стекло.

— Клавка! — зовет резкий женский голос.— Выдь на минуту.

Клава снимает со стены стеганку, сует босые ноги в сапоги.

— Я сейчас,— говорит она тетке Поле и поспешно идет из сеней.

Широко распахнуты вовнутрь ворота двора. В раме ворот виден еще светлый, клонящийся к вечеру дождливый день. Слева от ворот двора тянется к дороге бревенчатая, испятнанная дождем стена, а в стене — окошко, и под окошком, накинув на голову стеганку, стоит женщина.

— Клавка,— оборачивается она, услышав, как скрипнула в глубине двора дверь, и, чуть раздвинув борта стеганки, между которыми блеснули ее глаза, бежит навстречу Клаве.— Мы вечеринку собираем. Пойдешь?

— Не знаю, Вера,— говорит Клава.

Вера невысока ростом, однако крепка, подобрана, в короткой юбчонке, обтянувшей бедра, в блестящих резиновых сапожках на каблучке. У нее небольшие смуглые руки. Когда она опускает стеганку на плечи, видно, что у нее загорелое широкоскулое лицо с тупым подбородком, коротким прямым носом и большим, ярко накрашенным ртом. Подбородок у нее с ямочкой. Над невысоким лбом лоснятся черные гладкие волосы, расчесанные на прямой пробор.

— Глебка будет,— говорит она.— Еще мальчики.

Она говорит негромко, торопливо, словно что-то обещает.

— Огурцов у тетки Поли попроси, яиц, а вина мы припасли.

— Я не пью,— решительно заявляет Клава.

— И с мальчишками не целуешься? — прищурившись, говорит Вера.

Клава молчит. Обеими руками свела она под подбородком борта стеганки. А Вера меж тем говорит напористо, требовательно, со злостью:

— Ну куда деваться в такую погоду? Книжки читать?

Водяная пыль садится на обветрившееся за лето лицо Клавы, на ее выцветшие кос-где волосы. Она смотрит, как срываются по временам листья с деревьев, как падают они в забрызганную грязью мураву, на раскисшую землю.

Земля деревенской улицы!

Летом Клава ее почти не замечала, пробегая по горячим, крепко убитым тропинкам, по густому низкошерстному ковру, составленному из кудрявых, шекочущих босую ногу растеньиц — муравки, гусиной лапки, ромашки. Разве что коснется щиколотки прямой и твердый султан подорожника или же посреди сырой луговины нога вдруг оступится на жесткой и скользкой щучке.

Теперь только ее и видишь — осеннюю уличную землю.

От ворот двора и до далеких изб и плетней напротив, едва различимых в дымке дождя, простирается черная, с резко зеленеющими и в то же время тронутыми желтизной лужайками, мокрая, истоптанная сапогами людей, истыканная копытами лошадей, исполосованная колесами земля. В каждой низинке, в колее, в круглой ямке, выбитой копытом, в продолговатом отпечатке сапога, даже в едва приметных, протянувшихся цепочкой вмятинах, оставленных на вершине взгорбка пробежавшей здесь собакой,— всюду стоит вода. Там, где воды хоть с ладонь,

вскипают и лопаются пузыри. В следах же собак и гусей между разъединившимися, будто отдельно стоящими замурзанными растеньицами, вода лишь поблескивает. Комья густой грязи, вывернутые пешеходом или телегой, валяются повсюду на высоких местах, оплывают под струями дождя.

— А если у меня от книжек голова болит! — говорит Вера.

— Не пойду я, — решается сказать Клава.

— Чего ж ты станешь делать? Работать сейчас нечего. Кино сегодня нет. Спать еще рано. С теткой Полей про Леньку ейного разговаривать? Так он далеко — невелика сласть.

Скрипит дверь, ее толкнула тетка Поля, вышедшая из избы с корытцем, упертым в бок, и бадьей, оттянувшей руку. Вера, воровато глянув на нее, накидывает стеганку на голову, торопливо, сбивчиво шепчет:

— Если надумаешь... К Чупронихе... Можешь не приносить...

Она поворачивается, чтобы уйти. Тетка Поля оглядывает ее подозрительно, говорит про себя: «Никак Верка!» И вдруг, поставив на площадку лесенки корытце и бадью, настигает выбежавшую на улицу Веру злым окриком:

— Эй ты, шлюшка!.. Я ж говорила, чтобы ноги твоей!..

Клава недоуменно уставилась на тетку Полю. А Вера меж тем останавливается, скинув на плечи стеганку и поворотив лицо к тетке Поле, говорит:

— Чего всполошилась? — Подбоченившись, она вскидывает голову: — Увела бы я твоего теленка... Да только он далеко.

Вера плачет, но этого никто не видит. Она идет широкой, раскисшей, изжелта-зеленой деревенской улицей, посреди которой чернеет извилистая наезженная полоса грязи. Никого сейчас нет на улице, только кое-где возле завалинки, защищенные от дождя выступающей вперед стрехой, сидят нахохлившиеся, озябшие куры да еще вышагивают со стороны пруда в гору раскинувшие крылья желтоклювые гуси.

Всхлипывая, однако не опуская головы, торопливо идет Вера.

Она идет прочь из Тряслова, а вслед ей, протирая ладонью запотевшие окошки, с любопытством глядят деревенские женщины. Иные, не утерпев, даже распахнули окна и высунулись наружу. Но всем им видно лишь, как бойко семят обутые в блестящие сапожки ноги, как горделиво приподнялась презревшая дождь маленькая, гладко причесанная голова и чуть растопырилась накинутаая на плечи стеганка.

Вера идет под гору, выходит в поле.

Здесь, быстро оглядевшись по сторонам — никого сейчас нет на этой размокшей земле, под этим серым клубящимся небом, сеющим дождь, — молодая женщина наклоняется к чистой лужице, налившейся в затравенелую колею. Она ловко черпает пригоршней воду, смывает слезы и краску, утирается подолом юбочки, достает из кармана стеганки зеркальце, губную помаду и карандаш для бровей. Накинув стеганку на голову, она придерживает ее левой рукой, в которой зажато зеркальце, протирает его ребром правой ладони и, поворачивая лицо, чтобы увидеть то брови, то губы, принимается энергично работать карандашом и помадой.

И вот уже из-под стеганки выпархивает крикливая частушка:

Через речку не был мост,  
Я спросила перевоз...

Мелкой, но твердой походкой идет Вера мокрыми полями. Наплакавшись, она кричит всему свету:

Меня миленький, манюшечка,  
На ручках перенес...

Вера идет в сторону Ведомши, а навстречу ей, вихляясь по грязи, шагает Глеб. Увидев издали Веру, он прибавляет шагу, торопится, выходит на скользкую траву обочины, но здесь идти еще неудобнее — и он снова ступает в грязь.

— Ну как? — не успев подойти, кричит Глеб. — Придет она?

Вера вплотную подступает к парню.

— Брось, Глебушка... Зелено яблочко. Бери поспелее.

— Да иди ты! — пятась, скользя по грязи, отбивается Глеб.

А в избе у тетки Поли, в углу перед окном, за столиком, застланным цветастой скатеркой, на которой лежит газета, Клава дописывает давешнее письмо. Окна на две трети закрыты накрахмаленными марлевыми занавесками. Керосиновая лампа стоит на столе перед Клавой, освещает лишь ее лицо да бумагу. Стены избы теряются в сумраке, из которого проступает огромная белая печь. Возле печи на полу поблескивает самовар. В зеркале видна и тетка Поля, сидящая на кровати в дальнем углу, где дверь. Как и давеча, почему-то печально, тетка Поля диктует:

— Многие наши деревенские, что поужезжали, ворочаются назад. И даже городские девчата — образованные, благородные — приезжают работать напостоянно. Приезжай и ты, дорогой наш сын, Алексей Григорьевич Дудин.

В зеркале видно, как тетка Поля встает с кровати. «К сему», — продолжает она диктовать и подходит к Клаве. Она протягивает руку: «Дай-ка я распишусь». Выводя подпись, она шепчет: «Апол-ли-на-рия... Серге... Серге-евна...» Затем, достав с печи подойник, она говорит: «Пойду козу подою. Ты уж посумерничай». И, взяв со стола лампу, идет из избы.

— Интересно, какой он! — размышляет вслух Клава.

Она стоит перед стеной, где над комодом во множестве висят фотографии. Почти нельзя разобрать сейчас изображенных на карточках людей, рисуются лишь прямоугольники рамок да какие-то пятна на них, но Клава уже не один раз видела широколицего, густоволосого парня на нескольких фотографиях, и ей легко вообразить его. Он смотрит сейчас на нее во всех возможных ипостасях: в спортивной шелковой майке, облепившей мускулистую грудь; в летней матросской форме, подчеркивающей некоторую детскость доброго его лица; в тесном, готовом лопнуть воротничке с большим галстуком.

— Разве узнаешь по карточке?..

Клава идет к зеркалу, разглядывает неясное свое отражение.

— Образованные, — улыбается она, — благородные.

Льетесь и льется дождь на темные, мокрые, дымящиеся поля.

Светает ли, смеркается ли уже, или же это день выдался таким ненастным? Из Ведомши, должно быть с работы, идут Вера и Клава. Они идут мимо взрыхленного поля, по которому неряшливо раскидана почерневшая картофельная ботва; только в нескольких недавно распаханых плугом бороздах желтеет невыбранный еще картофель. Женщины с ведрами, наклонившись, движутся вдоль этих борозд, поглядывают на небо, торопливо вытирают рукавом со лба не то пот, не



то воду. Картофелины со стуком падают в ведра. Женщины выглядят маленькими, прямоугольными и большеголовыми в своих облепленных грязью сапогах, намокших толстых платках и стеганках.

Клава тоже выглядит невысокой, прямоугольной и большеголовой в широкой стеганке и толстом пеньковом платке. Мокрое лицо ее покраснелось от ходьбы, она с наслаждением дышит холодным воздухом сырых полей, насыщенным запахами рыхлой земли, увядающих трав и ботвы, свежей озими, волглых листьев, которыми завалены поросшие ивняком и ольхой овраги. Глаза ее блестят, когда она говорит своей недоумевающей подруге:

— Я здесь как дурочка... Всему радуюсь.

— В городе-то, чай, лучше.

— Мне было плохо,— коротко говорит Клава.

— Скучно тут. Только и радости, что вечеринку соберем, потанцуем.

— Нет. Мне и без танцев хорошо. Сегодня будем капусту рубить.

Вера оборачивается к подруге, смотрит на нее с удивлением:

— И впрямь дурочка.

В поле надсадно ревет груженный картофелем грузовик, покачиваясь, раскидывая вокруг землю, выбирается с полевой дороги на проселочную. Из кабины выглядывает чумазый парень, вместе с шофером он весело кричит:

— Верка!

— Давай садись, Верунчик!

Молодая женщина пренебрежительно отмахивается, и грузовик уходит.

— Ты почему не села? — спрашивает Клава.— Тебе ж далеко.

— Да ну их!

Вера молчит некоторое время, потом объясняет:

— На картошку не сядешь — мокро. А в кабине — тискаться станут.

Она продолжает говорить сердито, отрывисто:

— Меня обманул один... Мне еще семнадцати не было. Ольгуньки моей отец. Вот и лезут с тех пор. Сладкая я им сделалась. А замуж, сволочи, никто не берет. Мне и не надо. Хоть бы их не было. Только скучно бывает. И всякий тебе указчик. То я на лошади работала, мешки ворочала, то меня на свинарник. А с мужем... Знаешь, как наши бабы говорят: «Я за мужа завалюсь, никого я не боюсь». Где-нибудь на стройке я бы его нашла.

Эти последние слова она произносит мечтательно.

Клава, смущенная и растроганная этой исповедью, вдруг вспоминает:

— Что это тебя тетка Поля ругала?

— Сталоверка она,— смешавшись, отвечает Вера.— Или штунда.

— А что это такое? — ничего не заметив, спрашивает Клава.

— Ну, в церкву не ходит. Книжки какие-то с Феофилом своим читает.

— Так и мы с тобой не ходим в церковь.

— Нет, я хожу,— возражает Вера.— В праздник обязательно хожу.

— Ты ж комсомолка!

— Что ж такого? Убудет меня, если я в церкву постою? Красиво там.

— Комсомолке нельзя в церковь,— убежденно говорит Клава.

— Почему? — спрашивает Вера.

— Нельзя.

— В городе вон какие люди ходят,— возражает Вера.

Клава молчит. Глаза ее выдают тот мучительный поиск мысли, когда память силится ухватить где-то услышанную или вычитанную исти-

ну, кажется, начисто изглаженную временем. Внезапно, как бы сами собой, складываются слова:

— Только слабые ходят в церковь... несчастные.

— А я и есть несчастная, — просто, не споря, говорит Вера.

Клава, чтобы хоть чем-то утешить подругу, говорит:

— Хочешь... Когда вы опять соберетесь... Я приду.

— Давай в субботу, — предлагает Вера.

— Только я пить не стану. У меня мама... запойная.

Подруги выходят на дорогу. Клаве надо налево, Вере — направо.

Дорога разбита колесами грузовиков; вся она в глубоких, по ступицу, колеях и рытвинах, в как бы поставленных стоймя пластах сырой земли, в разлившейся жидкой грязи и лужах, поблескивающих по низким местам. Она течет дегтярной рекой среди белесого жнивья, лиловой зяби и зеленых озимей, среди тронутых ржавчиной заболоченных пастбищ, облетевших кустов лещины, ивы, ольхи и одиноко стоящих старых ветел с торчащими из ствола прутьями.

Вере тоже хочется быть откровенной, и она говорит:

— Тетка Поля сердится, что я Леньку ее хотела на себе женить.

Несколько смешавшись, Клава спрашивает:

— Как это?

— Обыкновенно, — смеется Вера.

Каждая из них идет в свою сторону по жесткой траве обочины.

Дождь перестал. Ветер гонит аспидные облака, между которыми проглядывает холодный, режущий глаза свет. Клава загребаёт ногами хотя и мокрые, однако шуршащие, свернувшиеся коричневатые листья, нападавшие с каких-то обтерханных кустов, торчащих вдоль дороги. Она идет медленно; нарочито сворачивая то вправо, то влево, чтобы захватить сапогом кучу побольше. Она двигает кучу впереди себя, и куча все увеличивается.

— Ты как, сдельно берешь или поденно?

Это спрашивает пастух, подогнавший к дороге стадо. Старик смеется, показывая глазами на листья, осыпающимся холмиком почти до половины закрывшие сапог девушки. Клава, рассмеявшись, ударом носка раскидывает листья. Пастух держит в руках козью ножку, не совсем уверенно спрашивает:

— Спичками... не разживусь?

И, не дождавшись ответа, вздыхает:

— Кабы парень!..

Клава достает из кармана ватника коробок.

Пастух суетливо хватается за него, трясушимися от нетерпения руками зажигает спичку, закрыв горстью огонь, прикуривает, и серый дымок, взявшись от жарко потрескивающей, постреливающей искрами тлеющей махорки, завиваясь, поднимается вверх. Пастух говорит:

— Свинарка? — И кивает в сторону свинарника возле Ведомши.

— Ага. Откуда вы догадались, дедушка?

— А чего девке спички таскать? Только на ферме они ей и нужны. Черные с белыми пятнами, мокрые коровы подошли к дороге.

Пастух, откашлявшись после затяжки, осведомляется:

— Время-то сколько?

— А у меня, дедушка, нет часов.

— Значит, не деревенская. Деревенские девчата все с часами.

— Я из города.

— Я и говорю, — наслаждаясь курением и радуясь возможности поговорить, рассуждает пастух. — Я и говорю — городская. Раньше го-

родских на картошку пригоняли, а теперь — свиней кормить. Очень даже прекрасно.

Клава не слышит, как ораторствует пастух.

Подпрыгивающей, веселой походкой она идет домой, в Тряслово. Деревенька открывается впереди, на мокром косогоре. Лес темнеет далеко за косогором. Клава бежит вверх по склону, останавливается вдруг, оборачивается, смотрит на разбитую, исчезающую в полях дорогу.

Теперь уже до зимы не попасть в город!

Потоки воды со стуком падают на увязший в грязи грузовик, в кузове которого желтеет промытый дождем картофель. Вся дорога разрыта бившейся здесь машиной, кое-где торчит втоптаный колесами, уже заплывающий хворост, светлеются на изломе расщепленные грязные доски.

Шофер и его напарник, сплошь покрытые корками серой грязи, устало сидят в кабине, курят, равнодушно поглядывая поверх опущенных боковых стекол. Шофер вдруг оживляется. Он увидел идущую домой Веру.

— Верка! — кричит шофер. — Верунчик!

И другой парень, напарник шофера, тоже кричит:

— Верочка!

— Чего вам? Сказать, чтоб трактор прислали? — спрашивает Вера.

— Скажи, милоч.

— Ладно уж, мальчики, загорайте. Небось умаялись.

Вера идет вдоль заросшей прутьяком канавы.

В хорошо натопленной избе с запотевшими окнами похрустывает в шайке капуста под острым лезвием тятки. Шайка стоит посреди избы. На чисто вымытом полу валяются зеленые капустные листья. Белые ободранные кочны громоздятся грудкой возле лежанки. Тетка Поля рубит капусту, затем перетирает ее солью, берет новый кочан. Она слегка подбрасывает его, будто хочет определить вес, тискает, чтобы услышать, как поскрипывают туго свернутые листья. Тетка Поля легко ступает в своих толстых шерстяных носках.

Клава лежит на печи, грудью на ситцевой подушке, подняв голову.

Девушка грызет кочерыжку. Она смотрит на тетку Полю и говорит:

— Интересно как.

Тетка Поля недоумевает:

— Али у вас дома капусту не тяпали?

— Нет.

— Как же вы без шей-то? Картофельный суп, чай, надоест.

— А мы в магазине покупали.

— Квашеную капусту? — ужасается тетка Поля. Она даже откладывает в сторону тятку. — Эдак денег не напасешься...

И снова похрустывает в шайке капуста: храк... храк... храк...

Как покойно дремлет под это похрустывание. От нагревшихся на кирпичах ватников по всему назябшемуся, уставшему за день телу растекается тепло. Хорошо босым ногам под ветхим ватным одеяльцем. Пахнет свежестью от холодных кочнов капусты.

Такой вот и представляешь себе деревенскую пушкинскую осень.

— Тетечка Поля, — вкрадчиво говорит Клава, — расскажи сказку.

Тетка Поля с удивлением смотрит на девушку.

— Чего это ты! — говорит она. — Ай пригрезилось?

— Расскажи. Ну что тебе стоит, — просит Клава.

— Я уж и забыла. Внуков у меня нет, а сын, вишь, вырос.

— Мне никто никогда не рассказывал сказок.

Стремглав затворив за собой дверь, будто за ней кто гонится, входит соседка, невысокая, плотная Лизавета, женщина не без галантереино-

сти, сказавшая как-то про Клаву «миниюрпенская». Остановившись у порога, она деликатно здоровается: «Здравствуйте вам!» Тетка Поля, отведив, приглашает: «Проходи». Однако Лизавета не так воспитана, чтобы с первого приглашения пройти в избу. «Я уж здесь»,— говорит она и остается стоять. «Проходи, проходи»,— говорит тетка Поля.

Помолчав некоторое время у дверей, гостя усаживается на лавку, распускает платок, вежливо осведомляется: «Капусту тяпаете?» Затем, опять помолчав, она сообщает то, ради чего, собственно, и пришла:

— Трактор завтра дадут... Хворосту привезти...

— И я б поехала,— отзывается тетка Поля.

— Вот я и пришла... Давай вместе.

— И я, и я с вами,— говорит Клава.— Мне завтра в ночь идти.

Тетка Лизавета умильно покачивает головой: «Заботница какая... От родной дочки не дожدهшься!» Тетка Поля говорит с несколько нарочитой деловитостью: «Эдак и вовсе хорошо. Наберем поболее».

Клава размышляет:

«Я никогда не бывала в это время в лесу».

Трещит хворост под гусеницами трактора, за которым тянутся огромные сани. В санях, закутанные в шали, стоят Клава, тетка Поля и тетка Лизавета. Сумрачно. Трактор движется просекой, прорубленной в густом чапыжнике, где тесно переплелись искривленные ветки и сучья.

Позади трактора виднеется кочковатая равнина и темное озеро.

Прибрежная часть озера вся в черных островках тростника.

Водяная пыль, висящая в воздухе, и расстояние, которое все увеличивается, постепенно скрадывают кочковатость равнины, очертания берега, черноту тростниковых зарослей, черту, отделяющую озеро от неба.

Трактор идет вверх, в гору.

По сторонам просеки встает жердястый серый осинник, уже весь облетевший. Вся земля между деревьями плотно выстлана темными листьями. Местами зеленеют мокрые мохнатые елочки. Кое-где стоит березка, над белым стволом которой как бы клубится коричневатый дым, так часты и тонки ее обвислые ветки. Встречаются и старые ели с крупными золотистыми шишками. Рябинка вдруг вспыхнет.

Как удивительно пахнет лес об эту пору!

То ли потому, что поздней осенью, когда уже все отцвело и каждая травинка замерла до весны, особенно радуешься любому проявлению жизни в природе, то ли оттого, что осенние дожди обостряют все запахи, то ли еще по какой причине, до которой не додуматься, но только, кажется, никогда не пахнет так лес, как в ненастный день в конце осени.

Пахнет мокрой землей, намокшим палым листом, и слежавшейся сырой хвоей, и какими-то все еще зелеными, торчащими из воды былинками, и мохом, и отсыревшим валежником. Пахнет и живой хвоей, напитавшейся водой, и особенно деревом — мокрым деревом березы, сосны, осины...

А как тихо!

Если не считать, конечно, низкого рокота мотора, погромохивания гусениц и шороха, с каким окованные железом широкие полозья саней волокутся по влажной земле или по скользкой, кочковатой, выцветшей траве. И сухие сучья, попав под гусеницы, впечатываются в землю с треском.

И еще в этой тишине можно услышать шум торопливого ключа, бегущего, поблескивая, по ступенчатому черному склону обрывчика под корнями старой ели. И всплеск от упавшей в лужу тяжелой шишки.

— Ой, что это? — вскрикивает Клава.

— Векша,— говорит тетка Поля.

По широким лапам елки бежит к вершине рыжая белочка.

Скопившаяся между иглами дождевая вода сыплется частыми каплями.

Недвижно стоят кусты лещины, ветки которой похожи на пучки длинных, гладких и гибких хлыстов. И вдруг они мгновенно вздрагивают. За кустами с невероятным треском, словно сокрушая все на своем пути, вымахивает и грузно взмывает вверх, в еловую чашу, черная тень.

Трактор резко останавливается. Тетка Поля вскрикивает: «Господи, боже мой!..» Тракторист, выскочив из кабины, исчезает в чаще. Тетка Лизавета со всей авторитетностью говорит: «Леший!» А Клава с удивлением спрашивает:

— Что это?.. Что это?..

— Леший,— стоит на своем тетка Лизавета.

— Вроде бы поздно им,— с сомнением говорит тетка Поля.— Они на Ерофея пропадают. Так-то вот и проваливаются. Кусты ломают. За зверьем гоняются.

— Ой, тетечки! — смеется Клава.— Вы это что? Seriously?

— Может, отсталый? — рассуждает тетка Поля.

— У нас вон журавль отсталый зимовал,— говорит тетка Лизавета.

— Бывает,— говорит тетка Поля.— Заболеет и отстанет от своих.

Клава во все глаза смотрит на обеих женщин.

— Вы это про что? — спрашивает она недоуменно.

— Про леших,— говорит тетка Лизавета.

— Да разве они бывают?

— А почему бы им не быть? Журавли вон бывают? И зайцы. И волки. Девушку, что называется, оторопь берет — всерьез это они!

Но тут из чащи выходит тракторист.

— Экий глухарище! — говорит он.— Кабы знатье, ружьишко бы взял.

Тракторист закуривает. Плотный дымок лезет ему в глаза. Тракторист разгоняет дым рукой и говорит: «Сушняку здесь!.. Дальше и ехать нечего». Женщины идут в чашу леса. На плече у каждой связка веревки.

Колоннами стоят мокрые, лоснящиеся стволы сосен с пучками темной хвои на редких изогнутых ветках. А вокруг теснятся береза с елью. Между белыми стволами топорчатся коричневатые вороха сушняка.

Клава выдергивает из кучи деревце.

Среди сосен похаживает благообразный старичок, тот самый, который однажды встретился мелиоратору возле рынка, потом пытался взять у Александра Ивановича подряд на постройку теплицы.

Старичок постукивает топором по соснам, делает зарубки.

Клава оборачивается на стук, с удивлением говорит:

— Евдоким Васильевич!.. Как вы сюда попали?

— Как люди, так и я. По земле, милая, по земле...

— Нет, правда, что вы тут делаете?

— Лесок, вишь, выбираю.

— Да я не об этом... Вы где-нибудь тут работаете?

— Без работы не проживешь. По соседству в колхозе двор делаем.

— А из города вы давно? Маму мою не видели?

— Давно, милая, давно.

— И обратно не скоро?

— Да уж до санного пути. Какая тенерь езда... Да и незачем.

— Значит, не видели мою маму?

— Почему не видел? Видел.

— Ну, как она там?

— Все так же, Клавдия,— говорит старичок, делая ударение на «и». При этом он вздыхает, чем дает понять, что, мол, всячески сочувствует девушке, у которой такая мать, однако господь терпел и нам велел.

Клава выдергивает из кучи еще одно деревце, она берет его, как и первое, за комель и, будто впрягшись, тащит деревья к дороге.

Позади шарообразной кучи хвороста, перехваченной веревкой, стоит тетка Поля. Конец веревки она положила на плечо, держится за него. Она разговаривает с Евдокимом Васильевичем, благообразным старичком.

Евдоким Васильевич делает на дереве зарубку и говорит:

— В субботу, бог даст, и соберемся, сестра Аполлиария...

Тетка Поля теребит намокший конец веревки, мнется.

— Может, лучше у Лизаветы,— говорит она.— У меня жиличка.

— У Лизаветы тесно,— говорит старичок.— Неповадно у Лизаветы.

— Комсомолка, вишь, жиличка моя.

— А нам и комсомолки бояться нечего. Мы худого не делаем.

Но тетке Поле, хотя и говорит она: «Так-то так», все же не совсем по себе — она и обеспокоена словами Евдокима Васильевича и перечить ему не смеет. Вздохнув, она перебирает руками веревку, поднимает хворост на спину, сгибается под его тяжестью. Она устраивает вязанку удобнее, встряхивает ее, и капли сыплются на нее дождем.

— Ушлю я ее куда ни то,— говорит тетка Поля.

— Как знаешь, как знаешь,— отвечает Евдоким Васильевич.

Тетка Поля тяжело поворачивается, покачиваясь под тяжелой вязанкой, идет прочь. Хворост на ее спине задевает ветки деревьев, и с них с шумом падает вода. Или это опять припустил дождь? Тетка Поля идет медленно, и так же неторопливы ее мысли.

Алеху надо женить. Не то его Верка приберет к рукам. Мне уж тогда его не видать. И в Донбассе если он женится, опять мне его не видать. А с Клавой они бы у меня жили. И была бы она мне дочкой. У нее все равно что нет матери. И благородная она. И рукодельница. И образованная...

Позади тетки Поля похаживает среди сосен старичок.

Тетка Поля оборачивается, смотрит на старика, качает головой.

— То-то и лихо, что образованная.

Два всадника остановили коней над приозерной поймой. На всадниках брезентовые плащи с поднятыми капюшонами. Брезент намок, травянистый его цвет потемнел, и плащи выглядят железными.

Всадники остановились рядом с раскисшей дорогой, на твердой дернине,— должно быть, они и прискакали сюда не по дороге. Дорога спускается вниз, в пойму; она теряется здесь среди зыбкой черной земли, на которой, резко светлеясь, торчат рядами крупные беловатые кочны капусты.

Капустное поле обширно. За полем простирается к озеру заболоченный луг. Один из всадников, тронув лошадь, двинулся было к капустному полю, и пока под копытами лошади лежит дернина, пусть и перенасыщенная водой, лошадь идет, но как только достигает канавы, за которой чернеет пашня, никакая сила уже не способна заставить ее сойти с места. «Брось! — кричит второй всадник, и по голосу можно узнать в нем Алексея Ксенофонтовича, мелиоратора.— Брось, Александр Иванович, дорогой, коня испортишь». Председатель колхоза соскакивает на землю, прыгает через канаву в сухой бурьян, делает несколько шагов и вдруг, резко наклонившись влево, оседает, словно у него подвернулась нога. Потом его начинает кренить вправо, он топчется на месте, выдирая

из размокшей почвы то одну ногу, то другую. Он возвращается назад, тяжело ступая в своих облепленных грязью сапогах. Через канаву он перепрыгивает уже не так легко, некоторое время, наклонившись, стоит на ее заросшей бурьяном бровке, молчит, черпает горстью воду и сосредоточенно моет сапоги. Потом он вытирает руки сорванным пучком высушенной травы.

Всадники едут прочь, в гору. Пар мотается возле морд лошадей. С капюшонов льется вода, и перед глазами Александра Ивановича и Алексея Ксенофонтовича висит как бы завеса. Алексей Ксенофонтович говорит:

— Пропала капуста.

— Уберем,— возражает Александр Иванович.

— Где ж ты ее уберешь, когда ни подойти к ней, ни подъехать?

— Морозцем схватит землю, мы и уберем. Ничего ей не сделается.

— А если снег?

Александр Иванович молчит. Потом он спрашивает: «Заедешь к девочке?» — «Если можно»,— говорит Алексей Ксенофонтович. Они берут правее. Теперь уже не капустное поле за их спинами, а темнеющие среди воды кочки заболоченного луга. Впереди же, из-за бугра, торчат крыши Тряслова.

Лошади скачут вверх по крутому склону, косматому от свалывшейся бурой травы. Блеснет вдруг подкова. Изредка из-под копыт летят комья земли. Слышно, как Алексей Ксенофонтович размышляет вслух: «Как там она, Клавка?» Александр Иванович, занятый своими мыслями, помалкивает. Потом и он говорит, но про другое: «Вроде холодает». Все больше крыш впереди. От дворов тянутся прясла, между которыми мокнут пустые, оплывшие грядки, облетевшая кривая груша или яблоня. Проулком, образованным двумя линиями прясел, всадники неторопливой трусцой въезжают в деревню.

Возле дома тетки Поли всадники останавливаются.

Ворота двора заперты. За стеклами окон плотно сдвинуты белые занавески. Александр Иванович, не сходя с коня, стучится в окно. «Девочка должна быть дома. Когда в Ведомшу мы заезжали, я спрашивал. Свинарки сказали: ночью она дежурит».

Из проулка напротив, скользя по грязи, выходит женщина. Она ведет на веревке бычка — должно быть, она ведет его на убой к кому-нибудь из соседей, у которых в семье имеется способный сделать это дело молодой мужчина. Она останавливается и смотрит, как стучится к тетке Поле председатель колхоза. Насмотревшись вдосталь, она спрашивает:

— Чего надо?

— Хозяева где? — говорит Александр Иванович.

— Мы, собственно, к Клавдии,— говорит Алексей Ксенофонтович.

Женщина почему-то радостно восклицает:

— А их никого дома нет! Они в лес за хворостом уехали!

И остается стоять со своим бычком.

Александр Иванович говорит Алексею Ксенофонтовичу:

— Теперь уж до зимы не попасть тебе сюда. Да и то если на лошади.

Женщина смотрит, как всадники, поворотив коней, едут из деревни. Бычок поводит короткой своей головой и тоскливо мычит.

Осенние сумерки в районном городке.

По глянцевитому от жидкой грязи бульжнику, мимо городских бань, к зияющим неподалеку воротам мясокомбината бредет гурт скота — черные в белых пятнах коровенки и бычки, мелкорослые, тощие, с присохшим к бокам навозом. Иная корова поднимет голову над мокрыми острыми спинами, теснящимися впереди, будто надеется выбраться из

движущейся черной массы животных, и замычит. Ей отзовется другая, третья... Бычок, мыча, двинется к тротуару. И пойдут гулять по обтянутым кожей хребтам дубинки погонщиков, дюжих молодцов в теплых шапках и широких дождевиках.

Городской обыватель, с узелком и венником, бежит в баню и из бани. Впрочем, из бани люди идут неспешно, распарившиеся до малиновости, благодушные, отяжелевшие от пива. Только и слышно: «В баньку собрался?» — «Субботнее дело!» Вопрошающий рад бы еще поговорить, но тому, кто ответил, не до разговоров: прижав локтем венник, он спешит к двум молочного стекла электрическим фонарям, под которыми хлопает тяжелая дверь.

Вышли из бани и Александр Иванович с секретарем райкома.

Не сговариваясь, они останавливаются, вытаскивают из карманов по пачке «Беломора», разминают пальцами папиросы, закуривают, с наслаждением пускают дым. А мимо, оступаясь на скользком булыжнике, движется новый гурт скота. И Александр Иванович в сердцах ломает вдруг папиросу — крупные искры летят в предвечернем воздухе, гаснут на сырых камнях.

— На всю область студню хватит, — говорит Александр Иванович.

— Да! — соглашается секретарь райкома. — По мясу мы хорошо идем.

— По мясу? — переспрашивает Александр Иванович. — Мясо у нас в болотах осталось. А тут, — кивает он в сторону понурых бычков и коровенок, острые костяки которых распирают изнутри истертую шерстистую кожу, — тут хвосты да головы — студень... Ты бы уж заодно велел и хрен сдавать.

— Н-да! — снова соглашается секретарь райкома. — Тощеваты.

Он пожимает плечами и говорит:

— Корма, брат, корма.

Александр Иванович меж тем мечтательно глядит поверх качающихся крестцов и рогатых голов идущего мимо гурта, как бы прислушивается к смятенному и голодному мычанию, к стуку сотен копыт и говорит со вздохом:

— Осушить бы болота, пропустить траву через скотину — мяса бы было!

— Да! — в третий раз, но теперь уже с деловитой краткостью соглашается секретарь райкома и добавляет вполголоса, по-товарищески доверительно: — Между нами говоря, давно пора созвать пленум по мелиорации.

Александр Иванович, одобрительно кивая, говорит тем же тоном:

— И по борьбе с сорняками созвать пленум. И по вывозке навоза...

— Не опешляй, — строго замечает секретарь райкома.

— Нам Цека линию дает, — перебивает секретаря Александр Иванович, — обеспечивает необходимые государственные условия. — Он с уважительностью умного и хозяйственного крестьянина произносит это слово: «государственные». — А уж у себя на месте, — говорит он, — мы сами должны думать.

В это время навстречу гурту, прерывисто сигналив и словно раздвигая передком темный поток животных, медленно движется грузовая машина. Крыша кабины резко белесит от лежащего на ней снега, снегом припорошены каждая планочка, каждый выступ с той их стороны, какая открыта встречному ветру.

— В Святославле, видать, снег, — говорит секретарь райкома.

— К ночи и у нас будет, — говорит Александр Иванович.

Он подставляет ладонь под редкие, крупные капли дождя, становясь видно, как на ладонь садятся мутноватые рыхлые комочки, которые



мгновение спустя исчезают, оставив мокрые, поблескивающие в свете электрических фонарей следы.

— Да он уже тут,— говорит Александр Иванович. И, помолчав, добавляет, как бы размышляя вслух:— Пропала капуста.

— Много? — осведомляется секретарь.— Мы ведь по овощам отчитались.

— Тысяч на пятьдесят.

— Принимай меры. Принимай меры.

Секретарь райкома торопливо протягивает руку, чтобы попрощаться. Александр Иванович, задержав ее, говорит, будто сейчас только вспомнил:

— Ты давеча спрашивал, соглашаться ли тебе.

— Да понимаешь, и работа по специальности — директор института. И опять же большой город.

— Соглашайся.

Отдернув руку, Александр Иванович круто поворачивается и уходит.

Снег отвесно падает на черную землю; он тает, и земля все остается черной, а вот деревья, крыши и изгороди заметно побелели. Белеет каждая веточка дерева, и каждый шов на железной крыше отмечен прилипшей к нему сбоку белой, с расплывчатым краем полоской.

Деревня спит, только в избе бабки Чупронихи светятся все окна. По белым, розовеющим от огня занавескам мечутся тени, слышится топот, дребезжание оконных стекол.

Щемяще и однообразно частит гармоника.

На белое от снега крыльцо, словно она затеяла с кем-то веселую игру, выбегает Клава. Снежинки садятся на ее серый вязаный платок, на ресницы. Платок она не успела завязать, только накинула на голову, и жакетку надела внакидку.

В избе горит сильная лампа, и свет из окна освещает девушку.

Она смотрит на падающий снег и одевающуюся снегом деревню.

— Красивая стала наша Ведомша!

Похоже, что Клава говорит это тому, кто должен был выйти следом за нею, но никто не отзывается, и она, оглянувшись назад, недоуменно поводит плечами. «Странно»,— говорит она. Потом она прикладывает ладони к вискам и закрывает глаза. И опять говорит: «А брага пьяная».

Тихо выходит Глеб. Кожаная с черным мехом шапка, новенькая, жесткая, поблескивающая, четырехугольной коробочкой возвышается над торчащим из-под нее светлым чубом. Глеб осторожно берет Клаву за плечи.

Он идет с крыльца, и она идет вместе с ним.

На крыльцо выбегает Женя, крупная девушка, похожая на школьницу. Женя видит следы на ступеньках. А дальше ничего нет. За белой ступенькой — черная грязь, и в черноте этой не видно следов. «Ушли»,— говорит Женя и смотрит вокруг.

Бревенчатая стена строения, и пушистый легкий снег на верхнем скате каждого бревна. Слышны сдавленные голоса, доносящиеся, должно быть, сквозь незастекленное окошко, какие бывают в амбарах.

— Пусти.

— Клабочка.

— Пусти.

— А зачем ты шла?

— Пусти.

— Ты что?.. Никогда еще...

— Я закричу.

— Только себя ославишь.

Из черноты покосившегося дверного проема, сшибая падающие снежинки, летит новенькая шапка Глеба. И вслед за этим крик: «У-у... стерва!» Выбегает Клава, не то всхлипывая, не то давясь смехом, бежит в сторону от одинокого сарая на краю деревни. Выбегает и Глеб, озирается, валится на колени, принимается искать в темноте свою несравненную шапку.

Не вставая с колен, откинувшись назад, Глеб кричит в ярости:

— Ты думала, я свататься звал тебя?

Он опять шарит руками по земле, потом, подняв голову, кричит:

— На таких не женятся! Нищенка бездомная!

И опять шарит вокруг.

Слышно, как в темноте взбесившийся маленький человечек вопит о своей кожаной, с черным лоснящимся мехом, фасонистой, вчера только купленной драгоценной шапке.

Клава вбежала в сени, стряхивает с себя снег. Она слышит голос и не может понять, кровь ли шумит у нее в ушах от быстрого бега или это звучит еще в сознании ругань Глеба. Но нет, у тети Пули в избе, как это ни странно, кто-то громко и ровно читает вслух.

Клава стесняется войти. «Приехал,— решает она.— Леня к тете Поле приехал». Клава прислушивается. Нет! Голос немолодой. Она различает слова: «И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясение».

Клава догадывается: «Радио!» Она берется за скобу, однако не решается открыть дверь. Станные слова доносятся из избы: «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить».

«Что-то божественное! — удивляется Клава.— Как в церкви! Что бы это могло быть? Постановку передают?»

В недоумении, с непонятной ей самой осторожностью и тревогой Клава тихо входит в избу и видит, что вокруг выдвинутого на середину избы стола, под большой висячей лампой, которая называется «молния», сидят люди, знакомые ей жители Тряслова, и внимательно слушают, как Евдоким Васильевич, живущий на одной с ней улице, склонившись над старой книгой, выкрикивает:

— Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники воды.

«Чего это они?» — спрашивает себя Клава.

Она стоит у порога, никем не замеченная, охваченная любопытством.

Евдоким Васильевич, благообразный старичок, тем временем читает:

— Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была — так, как и ночи... И видел я и слышал...

Тут одна женщина рядом с теткой Полей говорит в наивном испуге:

— Светопреставление.

— Атомная война,— авторитетно заявляет тетка Лизавета.— Я в журнале читала. Ну точь-в-точь.— И лстыиво спрашивает: — Верно, брат Феофил?

Евдоким Васильевич, не подняв головы, мягкой скороговоркой говорит:

— Истинно, сестра Лизавета, истинно.

«Сектанты»,— догадывается Клава.

Евдоким Васильевич, все распалаясь, пророчески кричит:

— Горе, горе, горе живущим на земле...

Но Клава уже ничего не слышит. «Здесь происходит что-то тайное,— думает она.— В этом есть что-то стыдное. Но почему тетя Лизавета называет его Феофил?»

В избе стало тихо, все давно смотрят на Клаву, и она спрашивает:

— Евдоким Васильевич, почему тетя Лизавета называет вас Феофил?

— А это псевдоним,— спокойно, с достоинством отвечает благообразный старичок.— Как у писателя Пешкова, назвавшего себя Горьким. И ежели ты интересуешься знать, то означает сей псевдоним — боголюбимый.

Он закрывает библию, неспешно идет из избы, следом за ним идут все остальные, несколько смущенные, искоса поглядывающие на Клаву, а позади всех плетется тетка Поля.

Тетка Поля лежит навзничь на лежанке. Временами она поглядывает на кровать, откуда доносится ровное дыхание Клавы, виновато вздыхает, ворочает головой, глядит на большой образ в золоченом окладе, тускло поблескивающий в переднем углу, где окна, и едва шепчет:

— Матерь божья! И у тебя же был сын. Отступлюсь я от тебя ради моего сына. Ты уж не сердись. Ты же знаешь, какая наша бабья доля. Мужик у меня на войне убитый. И колхоз у нас был разоренный. На терпелась я одна. Теперь, слава богу, много лучше стало... И хочется мне сына женить...

Тетка Поля поводит глазами в сторону кровати, где спит Клава.

— Ты знаешь на ком,— шепчет она доверительно.

Тетка Поля почти засыпает и говорит едва слышно:

— А разве она пойдет в дом, где Феофил читает? Ей нельзя... Не велят. Она комсомолка. Да еще городская...

Тикают ходики на стене. Безмятежно дышит Клава в постели. Вскрапывает тетка Поля. Кот, как заводной, урчит на печи.

\* \* \*

В предрассветной зимней мгле скрипит и скрежещет, медленно поворачиваясь, старый ржавый флюгер на монастырской башне — плоский, вырезанный из жести архангел Михаил, трубящий без усталы в свою длинную трубу.

Ветер гонит рваные легкие тучи.

Тучи бегут над застывающим черным озером, которое кое-где уже припорошено снегом, над мохнатыми от одевшего их снега прибрежными тростниками. И над бугристым белым полем, где снег плотно укрыл капусту, бегут тучи. Бегут они и над окоченевшими, заснеженными колеями дороги — ухабистой, глыбастой,— которая тянется, извиваясь, через деревни и села к Тряслову. И над Трясловым, где в неглубоком снегу на земле чернеют замерзшие следы, идущие во все стороны от избы тетки Поли, тоже бегут тучи.

В избе, за обледеневшими окнами, теплится огонь.

Желтоватый неяркий свет озаряет вдруг темные холодные сени.

Медленно отворяется обитая рогожей дверь. Из избы, держа впереди себя лампу на высокой металлической ножке, в сени выходит Клава. Она еще не совсем проснулась, глаза у нее заспанные, она зевает. Холод охватывает ее, и она зябко поводит плечами. Она ставит лампу на сундук, снимает с гвоздя на стене чуть помятый алюминиевый ковш,

отодвигает в сторону деревянный круг на бочке, которая стоит рядом с сундуком. Она берет порожнее ведро, а ковш опускает в бочку; слышно, как ломается и весело звенит хрупкий, стеклянный ледок.

— Зима! — кричит Клава. — Тетя Поля, зима пришла!

Острые, прозрачные, сияющие льдинки покачиваются в темной воде. Вместе с водой устремляются они в ведро, вода бьет по ним, летят брызги, льдинки раскалываются, ударившись друг о друга, о жестяное дно или о стенки ведра, и жуть, отозвавшись, тоже звенит.

Утренний воздух полнится звоном, звяканьем, лязганьем...

Трескается под ударами пешни и окунается в воду прозрачный лед на озере. Рыбаки обкалывают схваченные льдом лодки. Над озером встает в синеватой морозной дымке красное солнце. Рыбаки вытаскивают лодки на берег. Качается и блестит освещенная солнцем вода.

Первое утро зимы...

В то обыкновенное утро, когда только изменение температуры и особенная чистота воздуха позволяли отличить наступающий день от предыдущего, мой приятель мелиоратор, выступая на одном ответственном собрании в областном центре, предложил найти на месте все необходимое для осушения приозерной котловины.

За столом сидит президиум, обратив сосредоточенные взгляды в одну сторону. И если посмотреть туда же, можно увидеть Алексея Ксенофонтовича, как он отпил глоток из стакана, поставил его перед собой на край трибуны, наклонился вперед, держась за ее боковые стенки, и продолжает свою речь, поглядывая исподлобья:

— Мы привыкли, что Москва все сделает за нас. Мы сняли с себя всякую ответственность за ту землю, которая лежит под подошвами наших башмаков, ежели позволительно употребить здесь фигуральное выражение. Мы и камня не уберем с дороги, ожидая на этот счет указаний...

В зале, где внимательно слушают оратора, в первом ряду, почти напротив трибуны, Метелкин, оборотившись к соседу, громко шепчет:

— Мы люди маленькие...

Алексей Ксенофонтович, прервав речь, резко кидает Метелкину:

— Философия обывателя!

Председатель стучит карандашом по графину.

— Полноте, — отмахивается от председателя мелиоратор.

А в городке по хорошо укатанной зимней дороге, лежащей между замерзшим озером и повторяющими береговую линию домами, среди которых возвышается знакомый трехэтажный дом, катят сани. Навоз дымится на снегу. Воробьи слетаются к нему с деревьев.

Из ворот своего дома, с ведром и совочком, спешает похожий на бога-отца, румяный, в пушистой белой бороде, старик Метелкин. Поддев совочком теплый навоз, старик отправляет его в ведро. И воробьи перепархивают к другой куче. Но из соседнего дома тем временем бежит бойкая молодка — та самая, что торгует жареными курами на вокзале. И у нее в руках ведро и совок. И она подбирает навоз. Воробьи улетают. Усевшись на электрический провод, нахохленные, они печально взирают на людей.

Дорогой тащится обоз с бардой — грязные сани, длинные бочки на санях, на бочках, прикрывая четырехугольное отверстие, плотно лежат влажные рядна.

Старик и молодка бегут со своими ведрами и совками.

Старик суется к навозу, но молодка отталкивает его локтем, плечом.

На высокое крыльцо метелкинского дома выскакивает женщина — однажды она выбирала у Клавы рыбу. Она возбуждена, однако не забывает чуть приподнять подол длинного, из цветастой бумагой халата. Левая ее рука, округло изогнутая, как бы приготовилась взмыть от груди вверх, чтобы призвать мир в свидетели творящейся несправедливости. Но вдруг, со злостью сжав кулаки, женщина посылает поверх забора визгливое: «Сучка!»

Молодка, живо оборотившись, готова ответить тем же. Она подбоченилась. Она вцепилась бы обидчице в волосы. Но их разделяет глухой тесовый забор с колючей проволокой наверху. Молодка плаксиво вопит: «Саня!»

В доме, откуда она выбежала на улицу, чья-то рука протирает запотевшее оконное стекло. В человеке, который старается разглядеть, зачем его кличут, можно узнать инвалида, как-то купившего себе щенка. Некоторое время он смотрит внимательно, затем поспешно задерживает занавеску.

Воробьи всей стайкой срываются с провода.

Если бы кто-нибудь сказал Метелкину из райисполкома, что мой приятель мелиоратор, назвав его обывателем, имеет в виду не какую-нибудь отвлеченную философскую категорию, а тех самых обывателей с улицы на берегу озера, где стоит его, Метелкина, собственный дом, то он, пожалуй, скорее удивился бы, нежели разгневался. Метелкин самому себе представлялся человеком рассудительным, основательным. Разве похож он на суетливых обывателей с приозерной улицы!

Впрочем, если взять во внимание естество...

Степленные голуби, снисходительно кивая, похаживают вдоль граней башенного шатра по накрытому железом карнизу. Они невозмутимы и сосредоточены, будто и не птицы вовсе, а эмблемы. Им только докучает ветер, который вдруг вывернет перышко и примется его трепать.

Мглистое небо озаряется вспышками далеких молний. Тучи становятся чернее, и молнии уже не освещают их изнутри, но рассекают стремительными, ломаными белыми линиями. Тучи движутся все быстрее.

Струи дождя бьются о железную, скользкую от пролитой нефти палубу землесоса, хлещут по металлическим плоскостям, угловатым и округлым выступам, кое-где прошитым выпуклыми заклепками. Среди лоснящегося, омываемого дождем железа стоят трое мужчин, к дородным телам которых прилипли промокшие насквозь пиджаки и брюки, а с кепок течет вода.

Один из мужчин — Алексей Ксенофонович, мелиоратор.

Он снимает кепку, раз уж она все равно не защита. Его светлые, ренденье, однако еще чуть выющиеся волосы потемнели от воды, узкими прядками прилипли к выпуклому мокрому лбу. Он глядит на своих товарищей веселыми, несколько раскосыми глазами и удовлетворенно говорит:

— Эти два и возьмем.

Должно быть, Алексей Ксенофонович подразумевает еще и другой землесос, бортом своим приткнувшийся к этому.

— Ладно,— соглашается самый высокий и плечистый из трех мужчин.— Берите уж. Все равно отвечать. Запишут мне местнические строения.

— Попомните мое слово,— говорит мелиоратор,— централизацию эту поломают. Землесосы стоят у нас без дела, они нам нужны, и мы же не

можем их взять. Все тянется вверх,— показывает он растопыренные пальцы,— и рукой работать нельзя. А надо,— сжимает он кулак,— вот так!

— Пошли,— предлагает высокий.— Машина дожидается.

Они идут с землесоса по сходням, и за их широкими спинами постепенно открывается серая река, уставленная судами и суденышками. На другом берегу реки смутно, расплывчато зеленеют редкие купы распускающихся деревьев и возвышаются плоские, коричневатые и темно-серые громады заводов, мешающих свои аспидные и белые дымы с иссиня-черной клубящейся тучей.

— Область у нас богатая,— говорит с характерным оканьем третий мужчина, тучный, с седыми висками и красным лицом.— Богатая область... Только взаимодействие плохое. Кровообращение.

Высокий, видать, самый старший по должности, говорит грубовато: — Теперь взаимодействуй.

И кивает назад, через плечо, в сторону землесосов на реке.

Богатый заводами областной город почти ничего не давал нашей деревенской стороне — разве что те товары, которые Москва выделит, да и то по большей части привозные. Однако все менялось в эти годы.

И однажды в начале лета...

Речка поблескивает среди полей и перелесков. В ее верховье, где берега заболочены, два буксира попыхивают дымком впереди землесосов. Буксиры идут к озеру, которое вспухает за кромкой низкого берега зеленоватой массой. Они входят в озеро и приветственно гудят.

Гудки буксиров звучат резко, хрипло.

Из низких ворот трехэтажного дома, как из тоннеля, любопытствующей толпой валят люди. Люди стоят у воды, набегающей на берег. Молча смотрят они, как разворачиваются буксиры,— один уходит со своим землесосом к противоположному берегу озера, а другой останавливается напротив городка, оставляет землесос, идет прочь.

Коробчатое железное судно покачивается на мелкой волне.

Вязальщица сетей говорит:

— Клад будут искать. Монахи от татаров в озере схоронили.

Инвалид радостно восклицает:

— Озеро будут чистить! Хана теперь нашей улице.

Выпившая уже Мария предлагает старику Метелкину:

— Домовладелец! Давай по этому случаю пол-литра напополам.

Старик Метелкин оторопело машет на нее руками.

А Евдоким Васильевич вдруг серьезно и ласково говорит: «Давай со мной, Мария». Он с некоторой нарочитостью выговаривает имя женщины, и только вязальщице сетей понятен смысл этой многозначительной интонации. «Ишь ты! — говорит она.— Вон как... Христос и Мария Магдалина!»

Инвалид смотрит на них, слушает, плюет вдруг и говорит:

— Психи живут на нашей улице... Психи и кулаки.

И опять гудит буксир, подошедший теперь к дощатому причалу.

Навстречу гудку распаивается окно во втором этаже дома, где помещается райком партии. К окну подходит седоватый и малиноволицый человек. Он глядит на озеро, затем говорит кому-то, кто находится в комнате: «Гляди-ка, Сергей Антоныч, прибыли землесосы». К окну подходит Метелкин из райисполкома. Он тоже смотрит на озеро, вздыхает и говорит:

— Сомневаюсь я что-то, Петр Алексеевич. Без команды сверху...

— Слышал ты про такой город — Весъегонск? — спрашивает Петр Алексеевич — как легко догадаться, новый секретарь райкома партии.

— Приходилось.

— В Весъегонске, в первый год Советской власти, тамошние коммунисты, а их было всего несколько человек, вызвали в исполком местных промышленников и с их помощью построили лесопилку и кожевенный завод.

— Что-то недопойму,— осторожно замечает Метелкин.

— Сейчас поймешь.

Петр Алексеевич похож сейчас на учителя, объясняющего задачу.

— Весъегонск,— говорит он,— около сорока лет назад был бедным городом. Это — во-первых. И никакой команды сверху, как ты любишь говорить, весъегонские товарищи не получали. Это — во-вторых. А в-третьих, когда Ленин прочитал книжку товарища Тодорского, редактора уездной газеты, который написал про весъегонский опыт, то он, Ленин, не только одобрил работу тамошних коммунистов, что вполне естественно, но посчитал необходимым использовать одну из мыслей рядового коммуниста Тодорского в качестве основополагающей для тогдашней политики партии. Ты понимаешь, в чем сила: не районный работник Ленина процитировал, а Ленин — районного работника.

— Богатый материал для лекции,— говорит Метелкин.

— Не только для лекции,— сдержанно замечает Петр Алексеевич.

Петр Алексеевич, опершись ладонями на подоконник, разглядывает городок, и озеро, и простершиеся за озером поля с их селениями. Ему видны просохшие, начавшие пылить дороги, по которым бегут машины. И решетчатые плечистые мачты высоковольтной линии с провисшими проводами. И длинный товарный состав правее озера. Петр Алексеевич говорит:

— А городок наш богаче, чем Весъегонск сорок лет назад!

Метелкин нетерпеливо переминается.

— И коммунистов у нас куда больше,— продолжает Петр Алексеевич. Метелкин решается прервать секретаря райкома:

— Тут насчет развития животноводства команда...

— Как раз сегодня мы и начали заниматься животноводством.

Метелкин пожимает плечами. Лицо его выражает почтительное повиновение, однако при этом и некоторую сдержанную печаль. Скуластое, какое-то шестиугольное, обтянутое сухой, обветренной кожей, с хрящеватым носом и жесткими оттопыренными ушами, над которыми оловянно поблескивают реденькие, прилизанные волосы, лицо Метелкина вызывает в памяти давно забытые лица мелкого деревенского лавочника, волостного писаря, фельдфебеля, людей ограниченных и бесталанных, с превеликим трудом достигавших столь высоких для них степеней. Не то чтобы Метелкин был когда-нибудь лавочником, писарем или фельдфебелем — ему ведь нет еще и пятидесяти,— просто у него такое лицо.

— Устал я, папаша,— тихо говорит Метелкин.— Устал.

Это он говорит отцу на застекленной веранде своего дома, в открытые окна которой лезут кусты цветущей сирени. Над темными кустами светится зеленоватое вечернее небо. Оранжевый рыночный абажур из креповой бумаги, натянутой на проволочный каркас, полыхает над столом, где на мокрой от пролитого чая клеенке стоит погасший самовар, беспорядочно сдвинуты блюдечки, испачканные вареньем, и грязные чашки.

— Все мудрят и мудрят,— жалуется Метелкин.

Отец его, похожий на бога, сочувственно кивает головой.

— Терпи, Сереня,— говорит старик.— Образование у тебя маленькое. А должность хорошая. Ты уж исполняй. Ученые, они всегда мудрят. Скольких их было, секретарей! Не засиделись. А ты сидишь. Терпи, сынок.

— Так я ж все тут знаю, папаша. Мне только команду дай...

Он кладет погасший окурок в чашку с недопитым чаем.

— Мясо! — воодушевляется он.— Я уж как нажму, завтра будет у меня план. Хоть в Казахстане пусть покупают коров, но чтобы хвост в хвост, и даже с перевыполнением. Молоко! Я и с козла его возьму. Была бы команда, так я с наших болот апельсины буду сдавать, бананы...

Окурок размок, и в жидком чае растворяются коричневые струйки.

«Серж! — окликает Метелкина его жена, вышедшая на веранду.— Мы с Глебом и Светой идем прогуляться». Она натягивает перчатки, се дожидаются вышедшие следом за ней белобрысая девушка и Глеб. Заметив окурок в чашке, жена Метелкина говорит: «Фи, гадость!»

Она уходит с дочерью и Глебом, а Метелкин, опять сникнув, тоскует:

— Все учат и учат, папаша.

— Дом у тебя, Сереня,— утешает сына старик.— Должность.

— Не будет дома,— потерянно говорит Метелкин.— И должности...

Быть может, он выпил или предчувствия его преодолевают.

Отмечая смену времен года, снова повернулся в небе над нашим городком старый жестяной флюгер. Была ранняя осень. Как это всегда бывает, жизнь состояла из больших и малых событий, и они были связаны между собой хотя бы потому, что происходили в одно время, причем и большие и малые события воспринимались людьми по-разному: иногда малое считалось большим, а в большом не различали его значительности, потому что многое зависело от того, как близко стоял человек к происходившему.

Облетают березки на монастырской стене.

В синем небе рядами стоят круглые белые облака.

Летят листья с осин и берез в лесу. Летит паутина. Зацепившись, паутина повисает на старой елке. Елка стоит у лесной дороги, заваленной опавшим листом, с двумя глубокими колеями в рыхлой земле, прошитой корнями деревьев и корешками трав. Здесь много солнца. И если взглядеться, то можно увидеть, что у самой колеи, среди полузасохших травинок и бурых листьев, из сыроватой земли торчит крепенький белый гриб. У гриба коричневая, колпачком, шляпка и куда толще ее корень.

Едва лишь отведешь взгляд, и уже так скоро не найти среди листьев этот великолепный гриб — он как бы в землю проваливается. Меж тем в лесу ходят любители «смирненной» охоты, о чем возвещает старая песенка:

За грибами в лес подружки  
гурьбой собрались.  
Не дойдя до чащи леса,  
они разбрелись.

К елке выходят Клава, Вера и сын тетки Поли — Алексей.

Синее и красное, в мелкую травку, легкие платья, и пестрые платочки, и желтая шелковая тенниска свидетельствуют скорее о намерении прогуляться, нежели собирать грибы. Однако Вера говорит: «Надо вон туда, в осинник, там красных всегда полно». А Клава возражает: «Самое грибное место здесь». Но Вера не соглашается: «Мы с Леной пойдем в осинник, а ты, хочешь, оставайся». «Почему это ты и за него решаешь?» — говорит Клава. Алексей тем временем замечает гриб возле дорожной колеи, наклоняется, чтобы взять его, но одновременно и Клава, увидав этот



гриб, вскрикивает и чуть ли не падает на землю. Руки их встречаются. И хотя Алексей смущен, он все же не сразу отнимает руку. Выпрямившись, он несмело говорит: «Поищем лучше тут». «Да ну их совсем,— решает вдруг Вера.— На кой они нам сдались! Пойдемте лучше к озеру».

И они идут лесом: Вера, Алексей, Клава.

Вера идет не оглядываясь, резко, срыву раздвигает впереди себя ветки, и каждая ветка, готовая больно хлестнуть, летит к Алексею, он ловит ее и, поглядев через плечо, держит, пока не пройдет Клава.

Впереди, между редкими елочками, светлеется луг.

Девушки и Алексей выходят к елочкам. Перед ними луг, несколько покатый, поросший бедной отавой. На лугу стоит сбитый из свежего желтого горбыля барак с черной толевой крышей и торчащей сбоку железной трубой. Огнетушитель поблескивает красным лаком на стене у дверей барака. А в отдалении лежат железные бочки с горючим, толстые и короткие фанерные трубы, доски, лопаты, несколько одноколесных тачек...

— Глядите,— говорит Клава.— Этого здесь не было.

Постепенно понижаясь, луг переходит в кочковатое осоковое болото — не так уж давно Алексей косил здесь осоку. За болотом, между пучками тростника, лужами стоит вода озера. Две длинные и толстые, коленчато изгибающиеся трубы, лежащие рядом, тянутся через болото к озеру, опираясь на поплавки, устремляются дальше, сквозь тростниковые заросли к чистой воде, где стоит землесос. Концы обеих труб, чуть приподнятые, чернеют своими отверстиями между двух кочек на болоте, и можно видеть, как оттуда, из черных глубин, выливается на осоку как жидкая грязь.

— Озеро начали чистить,— говорит Алексей.

Клава, должно быть припоминая, с запинкой говорит:

— Это называется... коль-ма-таж.— Затем она уже уверенно повторяет трудное слово: — Кольматаж.

Почти не сознавая, что ей хочется блеснуть перед Алексеем, безотчетно хвастая удивительными своими знакомствами и доступными лишь избранным сведениями, она принимается рассказывать с нарочитой небрежностью:

— Мне Алексей Ксенофонтович говорил. Ты же видела его, Верка. Он, кажется, у вас в деревне жил. Это все он делает. Главное, намыть ил на заболоченные берега. Сделать почву плодородной. Поэтому и чистят озеро.

Вера пренебрежительно говорит:

— Называется, гулять пошли. Лекции мне и по радио надоели.

Клава отвечает:

— И очень жаль.

Алексей, внимательно слушавший Клаву, недовольно хмурится.

— Бросьте, девчата. Бросьте.

Тем временем от землесоса отваливает лодка, движется вдоль труб и останавливается перед зарослями тростника. Приплывшие в лодке люди взбираются на трубы, идут по ним, доходят до самого конца и прыгивают один за другим на кочки болота. Они смотрят, как выливается из труб озерный ил — сапрпель. Потом они идут вверх, по склону луга, к дощатому бараку.

— Алексей Ксенофонтович! — вскрикивает Клава.

Она пускается бежать к людям возле барака и повисает на шее Алексея Ксенофонтовича. Она даже ноги подогнула, как это делают дети, и перебирает ими в воздухе. И не перестает кричать: «Алексей Ксенофонтович!»

Мелиоратор, разомкнув ее руки, говорит: «Совсем чумовая». Потом отстраняет от себя, разглядывает: «Никак все еще растешь!» А Клава, уже совсем тихо, все повторяет: «Алексей Ксенофонтович, Алексей Ксенофонтович!» Мелиоратор говорит ей: «Я сейчас занят, поди погуляй покуда».

Он направляется к ожидающим его рабочим, затем вдруг предлагает:

— Хочешь мать навестить? Через полчаса в город идет моторка.

— А как же обратно?

— К вечеру она за мной вернется.

Клава уже было сказала «хочу», но тут же оглянулась.

Она видит, как между редкими березками опушки, покачиваясь и все удаляясь, мелькает синее платье и желтая тенниска, почти сомкнувшиеся и нестерпимо яркие в побуревшем, начавшем облетать лесу. Ветки кустов и деревьев как бы рассекают это желтое и синее на части, уже только маленькие пятнышки пестреют среди еще довольно густой осенней листвы.

— Нет, нет,— поспешно говорит Клава.— Я не могу, я занята...

И она кидается догонять Веру и Алексея.

Она бежит среди тонких кривоватых березок, раздвигает их, и они гнутся, мелкие желтые листья их трепещут на обвисших веточках.

\* \* \*

Лениво, едва кружась, падает клочьями крупный снег.

Румяная, с застрявшими на ресницах снежинками, в белом вязаном платке, в черной сатиновой стеганке и в крепких подшитых валенках Клава бежит вприпрыжку с белой горы, на которой стоит накрытое снегом Тряслово. Вокруг белеет плоская земля; едва приметная, еще ненаезженная дорога вьется среди полей, и вдоль нее торчат из снега сухие деревца — вешки.

Клаву догоняют сани, груженные хворостом.

В санях сидит Глеб. Он сидит на краешке передка, привалившись плечом к стянутому канатом высокому вороху.

Глеб примашивается поудобнее, и хворост потрескивает за его плечом. Он кричит бегущей впереди девушке: «Эгей!» И она сходит с дороги в снег, чтобы пропустить сани. Тут они узнают друг друга, Глеб соскакивает с саней, а Клава произвольно оглядывается вокруг, но Глеб не замечает этой ее опасливости, он с простосердечной радостью выкрикивает:

— Клавка!.. Здравствуй, Клавка!

— Здравствуй.

— Садись, я тебя подвезу.

— Спасибо, не хочется.

Выбравшись на дорогу, Клава торопливо идет вперед.

Глеб догоняет девушку. Они идут рядом.

— Ты все еще сердисься,— говорит он, заглядывая ей в лицо.

— Нет. Я не сержусь.

— Целый год прошел, а ты все еще сердисься.

Лошадь стоит на месте. Лошадь тянется к вешке, обнюхивает ее, перегрызает веточку, мочалит, роняет на дорогу. Потом она идет вслед за Глебом и все время убегающей вперед Клавой, которую Глеб каждый раз догоняет. Под полозьями тяжелых саней, уплотняясь, поскрипывает снег.

Впереди уже видна Ведомша — темные полосы свинарника и сарая в стороне от него, сбившиеся в кучу избы под заснеженными крышами,

коричневатые ветлы среди изб. Снег перестал. Плоское и глухое серое небо отделено от белой земли отчетливой линией, возле которой и стоит деревня.

Клава идет медленнее, спокойнее.

А Глеб спешит выговориться, пока им никто не мешает:

— Я был тогда выпивши. Я хотел потом сказать, но ты избегала меня.

Лошадь надвигается сзади, остуженное ее дыхание вьется в воздухе.

— Я многое думал... У меня ведь это серьезно...

— Ты, говорят, на Светке Метелкиной женишься,— говорит Клава.

— Брехня,— говорит Глеб.

Становится как будто светлее. И небо теперь не такое уж глухое, серое, оно стало прозрачнее, серебристее, как бы излучает свет. Клава сворачивает на дорогу к Ведомше, совсем узкую, пробитую копытами лошадей. Здесь уже никак не пройти вдвоем, и Глеб то идет позади Клавы, то сходит в проложенную полозом колею, которая тянется рядом со следами копыт, некоторое время он пытается там идти, потом опять шагает следом за Клавой. При этом он продолжает говорить торопливо, сбивчиво.

— Я все продумал,— говорит он.— Я тогда сказал глупость. Я на тебе женюсь. Я хоть завтра могу жениться. Мать у меня не будет против. Она все делает, как я хочу. Отца-то у нас нет. В доме я один хозяин.

Лошадь, почуяв, что дом уже близко, переходит с шага на трусцу и как бы отодвигает мордой Клаву. Клава поспешно отступает в снег. Лошадь задевает оглоблей Глеба, который как раз шел колеей, и Глеб падает. Клава вскакивает на передок саней, и лошадь, ощутив позади себя седока, принимается бежать ходкой рысью. «Стой!» — кричит поднявшийся с земли Глеб. Он пускается догонять сани, не переставая кричать: «Стой!.. Стой!»

Сани катятся к Ведомше. Клава стоит в санях, навалившись грудью на хворост, охватив его руками. Она выпрямляется, смеется, машет рукой в маленькой грубой деревенской варежке.

Неяркое зимнее солнце освещает чисто выбеленный свинарник.

Двумя рядами стоят столбы, один столб позади другого, круглятся, освещенные сбоку. Между столбами, внизу, чернеют мокрые, утопающие в жиже доски настила. Брызгами грязи испятнаны белые загородки, которые тянутся от столба к столбу.

За каждой загородкой, от которой к стене идут еще две другие, образуя как бы ящик, полно свиней. В той стороне свинарника, где сквозь пыльные окошки падает солнечный свет, свиньи выглядят розовыми, тогда как в другой, в тени, упитанные их тела в короткой щетинке кажутся бледными, землистыми. Здесь и могучие супоросые матки, вспухшие животы которых едва колышутся от размеренного, сытого дыхания. Здесь и небольшие, почти цилиндрические поросята, все одинаковые, суетливые. Здесь и разного возраста подсвинки, крепенькие, будто специально подобранные по размеру. И угрюмые, хмурые хряки с заросшими глазами...

Председатель колхоза Александр Иванович с Клавой и Женей идут по хлюпающему под их ногами настилу. Они останавливаются, облокотившись на загородку, разглядывают свиней. Постояв, они идут дальше, снова останавливаются. Разговор, который они ведут, кажется бессвязным.

— Надо бы еще поддержать, — говорит Александр Иванович.

— Очень уж тесно, — говорит Клава.

— Ничего, мы как-нибудь, — возражает Женья.

— Если бы новый свинарник! — говорит Клава.

Она провожает председателя к выходу. Они доходят до середины свинарника и поворачивают к воротам, обращенным в сторону солнца. Калитка, вырезанная в полотнище ворот, чуть приоткрыта, и круто переломленная полоса света острым угольником лежит на земляном полу тамбура.

Александр Иванович говорит Клаве:

— Свинарник этот теперь почти ничего не стоит. Значит, ежели помещение взять, то на каждый центнер свинины никакого расхода.

— Но он же не вечно будет стоять, — возражает Клава.

— А пока он стоит, сколько мы тут мяса вырастим!

— В новом, какие теперь строят, мы куда больше обслужим свиной.

— Твоя правда.

— И уборка быстрее пойдет, и кормить станет лучше.

— Тоже верно.

— Значит, еще дешевле будет свинина.

— Конечно.

— Так чего же вы его не ломаете?

— Зачем ломать? Мы его отремонтируем.

— А новый?

— А новый... Скоро начнем строить.

— Правда?!

— Чего бы я стал врать.

Александр Иванович, толкнув калитку, переступает высокий порог.

Светлый и тихий зимний день. Клава провожает председателя колхоза к саням. Маленькие санки с запряженным в них жеребцом стоят у коновязи.

Напротив, через дорогу, стоит сарай. Справа, позади белого поля, в слегка поглубевшее небо уходят дымы Ведомши. Слева дорога исчезает за холмом, на котором стоит свинарник, и появляется только в поле.

— Ну как, не скучаешь? — спрашивает Александр Иванович.

— Да нет, — отвечает Клава. — В кино только далеко ходить.

— Полно. Долго ли до Выползова добежать. В церковь-то ходят?

— Наши девушки не ходят.

— Ходят. Верка ходит.

Александр Иванович отвязывает жеребца, разбирает вожжи, лезет в санки. Он умащивает под собой солому, усаживается поудобнее. Однако он не спешит ехать — видать по нему, что он расположен поговорить.

И Клава решается сказать:

— Нам бы клуб здесь построить. На обе деревни.

— Незачем. Только деньги по пустякам переводить.

Клава вспыхивает, закусывает губу. Потом она говорит отрывисто:

— Вот вы всегда так.

— Ты погоди, послушай, — принимается рассуждать Александр Иванович. — Какой мы вам тут для Ведомши с Трясловым клуб построим? Курятник! Не лучше того. А я думаю дорогу проложить по колхозу и пустить автобус. В Выползове, аккуратно против церкви, построить Дом культуры...

Жеребец не стоит на месте, тянет санки.

— Худо ли! — осаживая жеребца, говорит Александр Иванович.

— Да ведь не скоро,— говорит Клава.

— Не скоро и Москва построилась. Но только мы скорее.

И опять жеребец тянет санки к дороге.

Александр Иванович, полуборотившись к Клаве, продолжает разговаривать. Нога его в большом, вбитом в калошу валенке высунута из возка, упирается в землю, словно он надеется удержать этим жеребца. Руки перебирают вожжи, натягивают их все сильнее. Серый воротник черной овчинной шубы поднят, но край его отогнут, мягко обвис. Александр Иванович, кажется, готов сказать сейчас нечто важное, но он лишь спрашивает:

— Сектантка-то, хозяйка твоя... не обижает?

Клава поспешно вступает за тетку Полю:

— Она хорошая. И уже не сектантка. Она Феофила этого...

— Полно,— перебивает девушку Александр Иванович.— Богомолка она. Ты, гляди, замуж за Леньку ее не вздумай.

— Да что вы во все мешаетесь!

Клава резко поворачивается, чтобы уйти, но Александр Иванович останавливает ее возгласом: «Погоди!» По-прежнему спокойно он говорит:

— Ты вот что. Ты тетке Поле своей скажи, чтобы сыну приказала совсем домой ехать. Иначе, мол, усадьбу отрежем. Председатель, мол, велел передать. Пускай так ему и напишет. Не приедешь, мол, к весне отрежут.

Сказав это, он отпускает вожжи, и жеребец, рванувшись, раскатив на повороте санки, мгновение спустя мчится по дороге среди серебристой пыли и летящих из-под копыт комьев снега. Возок пропадает, скрытый холмом, затем появляется среди снежного облака, катящегося полем.

Клава идет через дорогу к сараю. Тропинка, по которой она идет, запорошена сеной трухой. В стороне стоят круглые стога сена, в толстых шапках снега, коричневато-зеленые внизу, где сено осталось открытым.

Из сарая доносится постукивание двигателя и гудение мотора.

Снег освещен бледным солнцем. На снегу виднеются следы животных и птиц. Клава идет не торопясь. Она размышляет: «Значит, он теперь придет насовсем. Но я тогда не смогу жить у тети Поли. Ну и перееду к Лизавете».

Под валенками девушки потрескивает снег. Она входит в сарай.

В сарае полутемно. На промерзшем земляном полу, напротив открытой двери, трясется соломорезка, выбрасывает из себя непрерывную струю измельченного сена. Сенная труха возвышается по одну сторону соломорезки зеленоватой осыпающейся кучей. А по другую, уходя под крышу, сквозь которую местами просвечивает небо, сено лежит косматыми ворохами.

Мелькает привод, убегает к облепленному пылью мотору.

Вера охалками сует сено в соломорезку. Темный ее платочек, конец которого обвязан вокруг шеи, посерел от пыли. И ресницы и брови стали светлыми, мохнатыми. Вера сняла ватник, работает в короткой тесной кофточке.

В сарае шумно и от соломорезки, и от мотора, и от работающего в пристройке позади сарая двигателя. Клава кричит подруге:

— Александр Иванович приехал...

Вера отвечает так же громко, стараясь перекричать шум:

— Эко диво! Он и к нам заходил...

Клава молчит. Конечно, она пришла сюда не затем, чтобы сообщить, что приезжал председатель колхоза. Легко было догадаться, что он и здесь побывал. Да и ничего особенного в его приезде не было. Но как же тогда объяснить, почему, проводив председателя, Клава пришла именно к Вере? Этого она и сама не знает. Пришла и стоит у дверей.

Вдруг она говорит не очень громко:

— Леня, должно быть, приедет.

Однако Вера услышала или догадалась. Она переспрашивает:

— Чего?

И Клава опять говорит, но уже громче, почти кричит:

— Леня, говорю, должно быть, приедет! Насовсем!

Вера останавливает соломорезку, выключает мотор. Слышно только, как отчетливо стучит двигатель. Вера развязывает платок, исподней его стороной вытирает лицо, потом вытряхивает, ударяя о колено. После этого она снова повязывается платком, послунив палец, разглаживает брови. Затем она говорит:

— Когда?

— Не знаю,— отвечает Клава.

— Письмо-то... давно пришло?

— Письма не было.

— Приезжал кто?..

— Нет, никто не приезжал,— говорит Клава.— Александр Иванович сказал: если не приедет он жить домой, колхоз усадьбу отрежет. Так и велел передать тете Поле. А разве она сможет прожить без усадьбы?

— Всю-то не отрежут.

— Все равно.

Вера включает соломорезку. Струей летит сенная труха.

Скрежещет снег под полозьями подъехавших к сараю саней. В открытую дверь видно, как поворотила лошадь и дровни с устроенным на них высоким ящиком скатились с дороги, прочертили по снегу широкое полукружие. В санях стоит Женя. Она выглядит еще больше в надежном поверх ватника жестком и лоснящемся фартуке, в прямоугольных жестких рукавицах. Женя ставит лошадь так, чтобы ящик на дровнях пришелся вплотную к двери.

Клава берет вилы, с маху всаживает их в кучу трухи, перегнувшись пополам и едва устояв, поднимает, и над вилами возвышается чуть ли не вся вершина кучи. Вера, тоже взяв вилы, насмешливо говорит Клаве:

— Брюхо надорвешь. Замуж никто не возьмет.

С совка лопаты в большую бадью летит сенная труха. Лопата возвращается назад, а в это время в бадью сыпает свой груз другая. И так они скользят в воздухе — полная, порожняя, полная, порожняя... Рукояти лопат стиснуты красными, огрубевшими от работы девичьими руками, маленькими и большими. Девушкам жарко, и они сняли стеганки, остались в одних кофточках с засученными рукавами. Клава стоит лицом к Жене, хорошо видно, как под вязаной кофточкой, обтянувшей узкую спину, ходят лопатки. Белое лицо Жени покраснелось. Прямоугольные каляные фартуки, будто сделанные из толстой клеенки, хлопают девушек по коленям.

В приземистой и несколько перекосившейся плите с двумя вмазанными в нее котлами, побеленной прямо по кирпичу, стонет пламя; дверца топки приоткрыта, и можно видеть, как неукротимо мчится оно ку-

да-то, оранжевое и слепящее. Из-под деревянных крышек на котлах вьется пар.

Мелкие стекла двух продолговатых окошек обледенели. Лед плавится, оплывает, и под окнами без подоконников темнеют на белой стене серые потеки. Багровая полоса заката видна за обледенелыми стеклами.

Запыленная электрическая лампочка мигает под потолком.

Девушки перестают кидать труху в бадью.

— А дело и впрямь к морозу,— говорит Женя, кивнув на окна.

Женя отдыхает, опершись на лопату. А Клава, взяв ведро, идет к плите, отодвигает крышку котла — при этом пар почти закрыл ее лицо, и руки, и грудь,— зачерпнув горячей воды, возвращается к бадье с трухой.

Клава выливает воду в бадью. Измельченное сено мгновенно зеленеет. Девушки принимают мешать лопатами зеленую кашу. Женя мешает, а Клава все носит и носит воду, подливает ее в месиво. Слышно, как беспокоятся свиньи за широкой дверью, ведущей в свинарник,— запах сенной каши дошел до них, и они нетерпеливо похрюкивают, взвизгивают, режут.

Клава меж тем рассуждает:

— Если бы пол был бетонный, можно бы замешивать прямо на полу. Воду лить из пожарной кишки. А потом пригонять свиней — пускай жрут.

Женя помалкивает. Она накладывает сенную кашу в ведро.

— Было бы и легче и дешевле,— продолжает рассуждать Клава.

И вдруг Женя, прервав работу, с неожиданной злостью говорит:

— Чего это вы, городские, все учите и учите..

Клава возражает:

— Так и ты бы...

— Я бы... на производство пришла... я бы не посмела учить.

— А как же работать и не думать?

— Поработай сперва с наше.

Женя наполняет второе ведро. Она подхватывает ведра за тонкие дужки, чуть отставив напрягшиеся руки, идет к дверям, толкает створку ногой, обутой в тяжелый сапог. Еще слышнее становится рев свиней. Женя исчезает за дверью. Створка ходит некоторое время вперед и назад, все медленнее и медленнее. Те из свиней, что поближе, сразу умолкают.

Красное солнце низко стоит сбоку над белым озером. Небо вокруг солнца светится желтоватым светом. Озеро возле этого светящегося неба выглядит почти синим. Оно как бы все изрыто — это метели передвигали с места на место снег, сегодня крепко схваченный морозом. Чем дальше от красного солнца, тем светлее снег на озере. Белый, с теплым золотистым оттенком снег весь испещрен тенями, каждый косяк сугроб, каждая рытвина, каждое малое возвышение на озере отбрасывают тень.

Трое саней спускаются с высокого берега возле монастырской башни на лед озера. Заиндевшие косматые лошади идут осторожно, приседая и как бы норовя вылезть из хомутов. Головы лошадей окутаны голубоватыми клубами пара. Поперек саней, привязанные толстыми веревками, лежат железные бочки, должно быть с горючим.

Возницы недвижимо сидят впереди бочек.

Трещит под полозьями снег.

Сани спустились на озеро. Лошади побежали бойчее. Впереди саней, чуть извиваясь, уходят в синеватую дымку темные, с выпуклой

кромкой колеи. Сухой бурьян, воткнутый в снег вместо вешек, желтеет на солнце.

Вдоль монастырской стены бежит к озеру Алеха, брат Клавы. На мальчишке большие, разношенные, с изодранными сверху голенищами валенки. Поднятый воротник залоснившейся куртки подвязан скрученным в жгут полотенцем, которое перекрещивается на груди и стянуто узлом на спине.

— Стойте! — вопит Алеха. — Стойте!

Валенки мешают ему бежать. Он сошвыривает их, разматывает портянки, подхватывает все это под мышки и лупит с горы в одних шерстяных носках с зияющими на пятках дырками. Он вопит охрипшим своим голосом:

— Стойте!

На задних санях возница оглядывается. Это одноногий инвалид, муж предприимчивой молодки. Он придерживает лошадь, сходит с саней.

— Чего тебе?

— Дядя Саня, довезите до Тряслова.

— Ты никак Собачкиной мальчонка? Алеха, что ли?

Инвалид разговаривает с постоянной своей улыбкой, не то застенчивой, не то иронической. «Валяй, — говорит он, — садись. Обуйся только». Алеха поспешно лезет в сани, на передок. Инвалид приваливается сбоку.

Лошадь трогает, бежит ходкой рысью. Морозный воздух полнится сухим треском, и скрежетом, и скрипом, и визгом. На плоских обледенелых сугробах, протянувшихся через дорогу, задок саней относит в сторону.

Солнце поднялось выше, посветлело, расплылось, затянутое дымкой.

Алеха, повозившись, становится на колени, лицом к городку. Он облакачивается на бочку, руками в тряпичных варежках подпирает голову. Воротник, шапка и брови мальчишка одеты инеем. Тугие, выпуклые щеки его в помидорном румянце. Сквозь едва приметную светящуюся пыльцу Алеха смотрит на городок — на кубики его домов и церквей, шарики куполов, черные черточки фабричных труб, над которыми стоят белые дымы.

Инвалид, не оборачиваясь, спрашивает Алеху:

— И какие там у тебя, в Тряслове, дела?

— Сестра у меня там. В колхозе.

— В гости, значит, едешь?

— Не.

— А чего же?

— Так.

— Натворил чего-нибудь дома? А?

— Не.

— А ты не бойся. Я твою обстановку знаю. Не лучше моей.

Алеха молчит, посапывает лишь носом, под которым скопилась влага. Но инвалиду и не нужно, чтобы мальчик отвечал. Инвалид рассуждает:

— Матка у тебя, правда, ничего. Хотя и алкоголичка, а принципиальная. Законно могла бы себе за свою комнату молодого мужика взять. А она не хочет чужой век заедать. И правильно. А что она погуливает...

Алеха вдруг соскакивает с саней, пускается бежать вдоль дороги.

— Эй! Стой! Чего ты! — кричит инвалид.

— Не хочу я с тобой ехать.



— Отчего это так?

— Далась вам моя matka. Сам небось из-за дома женился. Кот.

— Ты этого слова не говори,— беззлобно наставляет мальчика инвалид.— Я тебя просто прошу об этом. Это все равно что матерное слово.

Инвалид вылезает из саней, опираясь на оглоблю, идет рядом с Алехой. Идти ему трудно — алюминиевая труба с резиновым наконечником, заменяющая ему протез, пробив корку, вонзается в снег, и он с усилием выдирает ее. Несколько обескураженный, он пытается оправдаться:

— Я же и не хаял твою matку. Это вон моя баба купила меня.— Он останавливается и говорит, показывая на алюминиевую трубу:— Трудно мне. Давай, слышь, садись.

Алеха лезет в сани. Инвалид, шевеля вожжами, рассуждает:

— Теперь уж я сбегу от нее. Вроде тебя. Ты от Васька вашего сбегал. От охбауэра. А я от жены. Я почему женился? Молодой. Специальности у меня никакой. Квартиры нету. А она на морду ничего. И вообще. А теперь я сбегу. Теперь у меня должность. И койку в общежитии обещают.

Впереди плотной тенью на голубоватой дымчатой завесе встает среди белых снегов озера землесос. Алеха и не слушает инвалида, во все глаза глядит на это коробчатое подобие всамделишного корабля. Повсюду купами торчат промерзшие, заиндеветшие прошлогодние тростники. Дорога вьется между ними, как в некоем саду. Когда лошадь бежит между тростниками, землесоса не видно, но потом он снова встает, все плотнее, отчетливее, резче. Видать уже, что перед землесосом чернеет прорубь. А позади, до самого берега, тянутся сплошные, одетые инеем тростники.

Лошадь берет левее. Колеи дороги, как в тоннель, входят под сень мохнатых от инея, поблескивающих на солнце тростников. Желтоватые стебли, тесно стоящие друг возле друга, и узкие, длинные, пересохшие листья, надломленные и спутанные, унизины празднично сияющими иголочками.

— Красиво,— говорит инвалид.

— Как в школе на елке,— соглашается Алеха.

Лошадь идет шагом. Вершины тростников почти смыкаются над головой лошади. Сани движутся тяжело, медленно, с тихим шуршанием.

Вдруг инвалид вскидывается, чуть опускает вожжи, кричит, гикает.

Лошадь, напрягшись, рвет сани из зыбучего снега, кидается вперед, в гору, выносит их на крутой плоский берег. Высоко поднятая, эта земля, почти сровнявшаяся с вершинами тростников на озере, бела, как и все вокруг. Отсюда видны землесос посреди черного разводья и толстые трубы на обделенных бревенчатых клетках. Трубы круглятся на этой удивительно ровной, гладкой земле, накрытой тонким слоем снега. Трубы идут к ее дальнему краю, где вся она в коричневатых наплывах, пушистых от инея. Там начинается пологий косогор, заваленный сугробами. На косогоре стоит все еще желтый тесовый барак. Из тонкой трубы барака, клубясь, тянется вверх розовый на солнце дым. И все это замыкается стеной заиндеветшего леса.

Лошадь бежит к бараку, возле которого уже стоят, выгрузившись, двое других саней. Алеха показывает на плоскую, специально спланированную землю между озером и косогором, по которой они сейчас едут, на коричневатые наплывы, от которых дорога отступает в сторону, и говорит:

— Ишь, сколько намыли! В городе, чай, меньше.

Инвалид соглашается:

— Эти городских побьют. Законно вкалывают.

Сани останавливаются перед бараком. Здесь разметено. Утоптаный за зиму снег весь в бугорках искрошившегося, вмерзшего в него навоза, в желтых наледях конской мочи. Отсюда проторена среди пушистых сугробов тропинка в лес.

Алеха собрался идти. Инвалид махнул рукой:

— Ты вон так держи. Тут девки трясловские дорогу натоптали.

Мальчик идет к лесу. Из снега торчат невысокие сосенки.

Сверкает иней на окнах, освещенных солнцем. В избе одновременно и темно и солнечно. Алеха сидит на лежанке. Клава растирает его босые, красные, окоченевшие ноги. Спутавшиеся под шапкой, слежавшиеся волосы мальчика, давно не стриженные, должно быть, взмокли. Щеки его теперь и вовсе глядят помидорами. Он то и дело шмыгает носом или же утирает нос рукавом. Клава спрашивает с тревогой:

— С мамой что-нибудь случилось? Больная она?

— Не. Не больная,— тянет Алеха, поглядывая на тетку Полю.

А тетка Поля вытирает тряпкой клеенку на столе, ставит большую ватрушку, стеклянную вазочку с сахаром, стаканы...

— Ты бы самовар покуда взогрела,— говорит тетка Поля.— Ноги-то у него, чай, отошли. Пускай на печь лезет. А ты самовар взогрей.

Тетка Поля берет подойник, идет из избы. Она говорит Клаве:

— Я пойду козу подою. И гость наш парного молочка выпьет.

Алеха, проводив тетку Полю хмурым взглядом, начинает:

— Мамка...

И тут он навзрыд плачет.

Клава принимает его тормошить, испуганно спрашивает:

— Заболела она? Да? Я же говорила. А ты сказал, что нет.

— Не хотел я при ней,— кивая на дверь, говорит Алеха.

— Тетя Поля хорошая. При ней все можно. Она как родная.

Клава садится рядом с Алехой, берет его за плечи, спрашивает:

— Ну? Так что же с мамой?

— Не пьет уже мамка,— угрюмо тянет Алеха.— Бросила.

— Вот и хорошо. Чего ж тут плакать?

— И дядей своих гонит...

Клава, смешавшись, говорит с некоторой запинкой;

— Ну? Еще чего?

— Чудная она стала,— утирая слезы, говорит Алеха.— Все молчит и молчит. И Васька перестала бояться. Он замахивается, а она не боится. Как каменная. Только он теперь мало ее ругает. Тверезая она.

— Ты из-за этого и приехал?

— Ага. Боюсь я ее. Она веселая была, когда пила, хорошая.

— И это все? — продолжает спрашивать Клава.

— Не,— пошмыгивая носом, посапывая, отвечает Алеха.— Не все.

И принимается рассказывать:

— Дед к ней ходит. Который за Метелкиным домом живет. Евдоким Василич. Только он не как дяди. Вина с мамкой не пьет. И в кино меня не гонит. На собак он сердитый, зачем мамка их в доме держит. И все книгу таскает. Толстая книга. Старая. Вдвоем они ее и читают. Слова какие-то чудные. Как у попов на кладбище. Он читает, а мамка слушает. Мамка слушает и каменсеет. Глаза у нее остановятся. Стоят как неживые. Лучше бы заругалась.

Меж тем Клава наливает воду в самовар. Она достает из-за печки лучину, зажигает ее, дождавшись, когда лучина вся охватится огнем,

осторожно опускает в трубу самовара. Она морщится от дыма, повалившего из трубы, но дым мгновенно сменяется пламенем. Девушка пригоршней берет из железной тушилки уголь, кидает в самовар, и опять валит дым.

Рассказывая, Алеха с интересом наблюдает за Клавой. Прервав рассказ, он нетерпеливо советует:

— Да ты трубу скорее... трубу. Ишь, дыму напустила.

Клава достает из подпечка трубу, насаживает на самовар. Потом она тщательно моет руки под ручкомойником возле дверей.

— Копуха ты,— говорит Алеха.— Как была копуха, так и осталась.

— А ты к Алексею Ксенофоновичу не ходил? — спрашивает Клава.

— Не.

— И зря. Он лучше меня знает, что надо делать.

— А чего делать? Пускай бы уж вино пила.

— Завтра мы с тобой поедem домой,— говорит Клава.

— Насовсем? — радуется Алеха.

— Нет. Насовсем я не могу.

— Не останусь я с ней,— бурчит Алеха.

Постанывает и потрескивает пламя в самоваре, принимается стонать и нагревающаяся вода, умолкает и снова стонет. Лед на окнах оплыл, стал прозрачным, и в избе теперь солнечно.

— Хорошо у вас,— вздыхает по-взрослому Алеха.

Входит тетя Поля, процеживает через марлю молоко в кринку, наливает Алехе стакан. Она говорит ему: «Пей, пей, касатик!» Режет ватрушку, угощает мальчика, спрашивает: «Звать-то тебя как? Запомнятовала я». — «Алеха». — «И у меня сынок Алеха... Леней зовем».

— Теперь нас трое Алехов,— говорит мальчик.

— Это как же?

— Я, да сын твой, да еще Алексей Ксенофонович.

Алеха ест и пьет и деловито рассуждает:

— Творог-то почему берете?

— У нас свой, касатик. От козы,— говорит тетка Поля.

— Много ль она дает молока?

— Да вот утром крыночку, и вечером. Нам хватает.

— Хорошо вам... с козой.

— Худо ли, свое молоко.

Клава ставит на стол самовар, заваривает чай. Тетка Поля говорит Алехе: «Сейчас я тебе чайку налью». Алеха возражает: «Не. Я его сроду не пивал. Что толку в воде-то!» — «Тогда я еще молочка налью».

И опять продолжается степенный разговор.

То тетка Поля спрашивает, а Алеха отвечает, то Алеха задаст вопрос, а тетка Поля ответствует, и при этом Алеха не торопясь ест ватрушку, запивая ее молоком, а тетка Поля так же неторопливо хлебывает чай.

— Озером ехал? — говорит тетка Поля.

— Озером.

— Сегодняшний год стали озером ездить. А то с войны не ездили.

— Чего так?

— В бывалое время лошади были хорошие, у каждого лошадь.

— А потом?

— А потом колхоз стал. Тоже ездили. Машин-то не было.

— С чего же перестали?

— Ослаб наш колхоз. Какие уж тут лошади. На вожжах подвешивали.

— А теперь?

— А теперь мы не колхоз. Теперь мы бригада. Теперь у нас все через контору. Приедешь туда на лошади, а оттоль — на машине. Там уж шоссе близко. А озером эти ездят, механики, которые новый берег намывают...

Тетка Поля ставит пустую чашку под кран самовара. Она предлагает вдруг Алехе:

— Оставался бы у нас. Вон как с тобой повадно.

— Не знаю,— говорит Алеха и смотрит на Клаву.

— Нам еще в город надо съездить,— говорит Клава.

— Съездите и вернетесь. Ишь он какой — неспесивый, разговористый. А там Леня приедет, на уток ходите с ним, потом ягода пойдет...

— А он как, с заводными охотится или в лет?

Поет свою домовитую песенку самовар. Нижется разговор.

Деревенские розвальни подъезжают к большому селу, где помещается правление колхоза. Лиловеют рубленые амбарчики. Коричневым отдают тесно поставленные стога, облитые сверху смерзшимся снегом. Низкими выглядят ушедшие в снег длинные скотные дворы из серого кирпича и серебристые силосные башни рядом с дворами. Отчетливо чернеют перепутавшиеся веточки тополей и гибкие, чуть согнутые вовнутрь ветки ветел, торчащие из толстых, с наплывами наверху, стволов. Повернутые во все стороны крыши изб с сугробами снега на них то желтовато светятся, то темнеют холодной лиловой тенью.

В розвальнях стоит на коленях Алеха, пошевеливает вожжами. Рядом с Алехой — Клава. Алеха сосредоточен. Вожжи для него несколько тяжелы — они норовят выскользнуть из рук, особенно когда лошадь вскинет вдруг голову. И разговор Алеха ведет с сестрой по-мужски деловитый.

— Сегодня домой поедем? — спрашивает Алеха.

— Нет. Мне отпроситься нужно. Да и машин попутных теперь нет.

— Ну и ладно. А ночуем где?

— Тут у меня подруга живет. У нее и переночуем.

— А лошадь как?

— Завтра она на лошади и уедет.

Розвальни въезжают в село. Снег здесь на улицах серый, он перемешан полозьями многих саней, колесами тяжелых машин и гусеницами тракторов. В снег втоптаны клочья сена, солома, навоз, торф... От водопроводной колонки идут женщины с полными ведрами. С поля к скотным дворам тянутся сани с соломой, с сеном. Куда-то проехала машина с углем.

— В какую нам улицу? — спрашивает Алеха.

Клава берет вожжи. Лошадь сворачивает в проулок.

Принимается стучать двигатель электростанции, и на столбах слабым светом вспыхивают лампочки, гаснут и снова зажигаются, мигают и опять гаснут. Позади посадка, над частой коричневой сеткой голого вишенника между двумя избами, появляются вдруг в отдалении двускатные стеклянные корпуса теплицы.

— Не хуже города здесь,— говорит Алеха.— А ты куда забралась?

Топится печь. Дрова уже почти прогорели, лишь несколько языков прозрачного пламени поднимаются и падают над грудой жарких, мерцающих углей. Над черными чугунами с картошкой пузырится серая пена.

Вера, с засученными выше локтя тесными рукавами, в ситцевом фартучке, разбивает хватом последние головешки — красные искры

летят при этом во все стороны в освещенной жаром печи, — отодвигает от углей или придвигает к ним тяжелые закоптелые чугуны.

Возле стены сидит на лавке Клава. Она разулась, осталась в одних чулках и надетых сверху толстых шерстяных носках. А платок она только развязала, опустила его на плечи, словно от усталости ей уже не захотелось его снимать. Она поправляет гребенкой волосы, говорит негромко, должно быть, отвечает на вопрос Веры: «Нет. Я там не останусь. Я вернусь».

Вера то и дело взглядывает на нее через плечо. Клава тем временем продолжает рассуждать:

— Чего мне там делать? Тут у меня и работа, и все...

Вера глядит коротким, испытующим взглядом.

— А чего «все»? — спрашивает она. — Или с Глебкой поладили?

— Скажешь уж тоже, — говорит Клава.

Спина Веры и руки ее напряглись — она переставляет чугуны.

Она говорит глухим, сдавленным от физического усилия голосом:

— Может, Леня приехал?

— Нет.

Вера чуть ли не по пояс просунулась в печь. Поставив чугуны, она выпрямилась, вся красная от жара.

— Так чего же «и все»? — спрашивает Вера.

— Мало ли! Обязательно мальчишки! Тетя Поля, например. Ты, Женя.

А на лежанке разговаривают Алеха и беленькая девочка лет семи.

— И чего тебе ходить, — говорит девочка. — Сидел бы. Темно уж.

— Лошадь надо поглядеть, — говорит Алеха.

— Вона, лошадь! Что ты, мужик? Мальчик ты еще, а не мужик.

— Толкуй с тобой, — говорит Алеха, однако с лежанки не идет.

— Надо будет, мамка поглядит, — говорит девочка.

Тут в избу тихо входит согнутая под прямым углом старуха. Алеха вздрагивает, поспешно подбирает ноги, усаживается глубже.

— Кто это? — спрашивает он. — Баба Яга?

— Сказал! — смеется девочка. — Это баба Дуня. Баба Яга в сказке.

— Будто я не знаю, — говорит Алеха. — А чего она сломатая?

— Упала и сломалась.

— Бабка она тебе? — интересуется Алеха. — Мамкина мамка?

Старуха меж тем разглядела в потемках гостей. «Здравствуйте! — говорит она резким, но добрым голосом. — Деточка, — обращается она к Алехе, — сейчас я тебе гостинчика дам». Она идет к застеленной горке, которая тускло поблескивает в темном углу. «И тебе, Ольгунька, дам».

— Отцова она мамка? — шепотом допытывается Алеха.

— Она чужая, — говорит Ольгунька. — Мамка за ней ходит и кормит ее, а она, как умрет, дом нам откажет. Только пускай уж не умирает.

— Она что, одна?

— Одна.

— Худо одной-то.

— И я была бы одна, кабы не мамка. А ты?

— У меня еще Клавка есть. И Васек. Только он плохой.

— Отца-то у тебя нету?

— Отец у меня на войне убитый.

— Ври. Война когда была.

В горке звякает посуда. Старуха говорит пронзительно:

— Лампу бы зажгли. Чего сумерничать.

Вера уже закрыла заслонкой печь. Но в передней части избы, где на темной стене проступают светлые прямоугольники окон, еще можно

кое-что разглядеть. Вера стоит у печи, и Клава по-прежнему сидит на лавке.

— В городе веселее,— говорит Вера.— Кино каждый день. Танцы.

— А что кино,— говорит Клава.— Я тут шестьсот в месяц зарабатываю, и продукты дешевые. А в городе разве я получу столько. У меня для города и специальности нет. Десятилетка — это не специальность. А построим новый свинарник, свиней станет больше, больше и заработаем.

— Ты, гляди, и замуж за деревенского пойдешь.

Клава молчит. Старуха копается в горке, шарит там, бормочет: «Чего без огня сидеть!»

Клава спрашивает с интересом:

— Почему ты не с утра топишь печь? Почему на ночь?

— Я люблю поспать. Потому я и гладкая — всем на зависть. От сна.

Клава тотчас же непроизвольно вскидывает голову в сторону зеркала, висящего на боковой стене, над комодом. Но в зеркале только смутно белеет печь. Клава говорит нарочито равнодушным голосом:

— И чего мы впотьмах сидим!

— Дай-ка лампу,— говорит Вера.

Клава идет к комоду, берет лампу и ставит ее на стол; она снимает с лампы стекло, дышит в него, протирает взятым с веревочки перед печкой полотенцем. А Вера тем временем нашарила в печурке спички.

Корочки льда на снегу, ломаясь, трещат. Валенки сокрушают наст, и лед летит из-под них чешуйками. Голоса на морозе звучат громко.

— На минутку и заглянем,— говорит Вера.— Успеешь.

Вера, Клава и Алеха идут мимо теплицы. Три ее длинных и низких стеклянных корпуса блестят на потемневшем от копоти снегу. Все они примыкают к длинной стене невысокого, с плоской крышей кирпичного здания, сбоку которого торчит железная труба. За стеклами теплицы зеленеет огуречная ботва.

— Вон уж какой бот,— кивает Вера.— Дивись да и только.

Просит и Алеха:

— Зайдем. Ну зайдем же...

И они входят в узкую белую дверь в торцовой стене здания.

Они идут длинным коридором с цементным полом. Вдоль правой стены золотятся в корзинах мелкие, разной величины, кривоватые луковицы, у которых уже проклюнулись зеленые ростки. А в левой стене зияют три застекленных проема, и в каждом из них — ведущая в теплицу дверь.

Черная просеянная земля лежит в углу коридора небольшой кучей.

В другом месте громоздятся пустые глиняные горшочки.

— Вот живут! — говорит Вера.

Она поочередно открывает двери в стене и показывает Клаве то выложенную кафелем душевую, то уборную с ее белым фаянсом и поющей водой — она даже дергает книзу цепочку, и вода низвергается в горловину унитаза грохочущим водопадом.

— Просила я черта нашего,— говорит Вера.— Не переводит.

Она вздыхает, приоткрывает дверь в тепличный корпус.

— А я бы выучилась,— говорит она.

Потом уже другим тоном, нараспев, выговаривает:

— Здрассте, девчата!

И, опять вздохнув, говорит Клаве:

— От дома тут, главное, близко. И Ольгунька рядом.

Уже в самой теплице, остановившись в узком проходе между поставленными на подпорки ящиками с землей — стеллажами, откуда тянутся по веревочкам вверх огуречные плети, где снуют и жужжат пчелы, где все как бы освещено зеленым светом, — Вера вдруг откровенно говорит:

— Ну, не женю на себе Леньку, обязательно сюда перейду.

При этом она смотрит на Клаву, и та в смущении отводит глаза.

Вера наклоняется к девушкам, которые, присев на корточки возле грядок, устроенных под стеллажами, втыкают в землю проросшие луковки.

— Вона вы где! Здрасте!

Девушки, выпрямившись, обтерев о халаты руки, здороваются с гостями. Одна из них говорит Алехе: «Тут пчелы у нас, мальчик. Гляди, еще обжалят».

Полуденный ветерок треплет и треплет зеленые бумажные листья, и голубые ленты, и красные розы дешевого венка. Венок висит на оклеенной обоями голубой крышке гроба. Крышка прислонена к белой стене трехэтажного дома на берегу озера, возле его ворот; узким концом она упирается в снег.

Клава с тревогой глядит на выставленную у ворот крышку гроба.

Она этого не говорит, конечно, но думает: «Мама!» А говорит она другое, и даже несколько небрежно:

— Кто это у нас умер?

Алеха с обычной небрежностью мальчишки отвечает:

— Тетка Настя померла. Сидела, вязала свои сети — и перекинулась.

Алеха и Клава идут берегом озера к дому.

За спинами их виден намытый высоко, ровный и гладкий берег; он весь покрыт коркой снега. Линия берега, близкая к домам, извилиста и обрывиста. А над озером берег прямолинеен, спускается вниз чуть наклонным скатом. На озере, посреди разводья, стоит землесос.

От землесоса, высоко над льдом озера, тянутся от одной бревенчатой подпорки к другой толстые суставчатые трубы. Они чуть изгибаются в суставах, где на них надеты широкие кольца. Достигнув берега, трубы поворачивают. Они идут вдоль озера, как бы по некоему валу.

Алеха и Клава пускаются бежать с вала под гору.

Они бегут петлистой тропинкой.

Тропинка протоптана в замерзшем иле. Ил замерз округлыми глыбами, остановившимися в своем движении наплывами. Он коричнев, и сероват, и отлиывает зеленью. Местами он покрыт наледями, в других местах на нем белеет смерзшийся ноздреватый снег.

Алеха и Клава стоят внизу, под оборвавшимся здесь валом.

Из труб наверху течет и течет жидкий ил...

И хотя Клава думает совсем о другом, она все же спрашивает:

— Это что же — новый вал будет?

— Вал! — хмыкает Алеха. — Сказала! Кому он теперь нужен?

Некоторое время мальчик с достоинством молчит. Он ожидает, что сестра снова станет его расспрашивать. Но Клава рассеянно оглядывает знакомую, теперь изменившуюся улицу на берегу озера. В конце улицы, неподалеку от монастырской башни, остановился «газик». Клава ни слова не говорит, и Алеха, помявшись, похмыкав, принимается ей объяснять:

— Это сперва только вал будет. До самого монастыря.

Алеха показывает при этом рукой вдоль берега. Из «газика» тем временем выходят двое мужчин и направляются в сторону Клавы с Але-

хой — видать, к тому месту, где из труб извергается ил. Алеха продолжает:

— К весне хотят кончить. Чтобы полую воду не пустить.

Лицо мальчика приобретает мечтательное выражение.

— А потом,— говорит он,— как начнут они дома ломать! Как залиют это все к свиньям чертячьим! Как посадят здесь огромный парк! Как пойдут по озеру катера ходить!.. Клавка,— тербит он сестру. — Клавка!

— Ну что тебе?

— Может, не переезжать мне к тебе? Может, ты сюда переедешь?

Клава идет по грязной тропке среди белого снега. Алеха идет рядом с сестрой. Мимо проходят секретарь райкома Петр Алексеевич, седоватый грузный человек, и Метелкин из райисполкома.

Петр Алексеевич, секретарь райкома, вместе с Метелкиным поднимаются по тропинке, протоптанной среди замерзших потоков ила. На вершине вала они останавливаются, смотрят в сторону городка...

За неровной линией намытого и успевшего уже слежаться грунта, вдоль протянувшейся вниз, ставшей теперь узкой, коленистой дороги, стоят в некотором отдалении друг от друга трехкоконные уездные домики.

Иные из домиков покрыты в два ската, слуховое окошко у них прорезано в виде половинки месяца, стены обшиты тесом, почерневшим, правда, и кое-где отставшим, наличники на окнах узкие, без резьбы и сверху чуть выгнутые. Другие же домики, с выпуклыми светлыми или темными бревнами стен, имеют четырехскатную кровлю, оконные наличники у них похожи на кружево либо пестрый печатный пряник, а вместо слухового окна поставлен посреди переднего ската крыши затейливый резной теремок.

Между домиками идут заборы — то выгнувшиеся наружу, на улицу, то завалившиеся во двор. Во дворах полно снегу, из которого прутьями торчат ветки яблонь или вишен, стволами своими ушедших в снег.

Позади тянется старинный крепостной вал...

А за валом теснятся крыши городка, и деревья, и колокольни.

Белое небо светится над городком.

Только один дом на этой улице выделяется среди всех. И поставлен то он не возле дороги, а за глухим и крепким, с колючей проволокой наверху забором, в глубине двора. И окон у него по фасаду не три, а четыре, причем четвертое — широкое, как называют их, венецианское.

Стоит этот дом на высоком, из красного кирпича фундаменте. Он срублен из новых, проолифенных с охрой бревен и янтарно желтеет. Белые кружевные наличники его отдают синевой. Крыша покрашена красной, почти коричневой краской. Кирпичная дорожка от калитки к высокому крыльцу разметена, на террасе — белые занавески.

— Один только и есть хороший дом,— говорит Петр Алексеевич.— Гляди-ка, у него тут и парники и сад, не как у других... культурный.

И верно, яблони и вишенки позади дома выстроились правильными рядами, спереди же, где больше всего солнца, все открытое пространство занято, конечно, парниками, а не грядками,— если судить по тому, как хлопочет здесь у только что привезенных матов старик Метелкин.

Петр Алексеевич говорит с простодушной, сочувственной усмешкой:

— Клянет нас, должно быть, за нашу затею здешний хозяин.

Метелкин молчит неприязненно, по-крестьянски упрямо.

— А все остальное на дрова только и годится. Не жалко ломать,— машет рукой секретарь райкома.— Эти выиграют. Худо ли, переехать в коммунальный дом!

Он поворачивается к Метелкину:

— Твой-то дом где? Ты ведь здесь живешь?



— А то вы не знаете! — говорит Метелкин.

— Откуда же я знаю? Ты меня чай пить никогда не звал.

— Что же... не докладывали вам?

— У меня шпионов нету.

— Зачем... шпионы? Информаторы.

Петр Алексеевич пожимает своими могучими округлыми плечами.

— Вот он — мой дом, — чуть ли не вскрикивает Метелкин.

Секретарь райкома одновременно и смешался, и удивился, и досадует на себя за случившуюся неловкость. Он продолжает любоваться домом, но теперь уже принужденно. Он видит, как по коричневой тропинке в снегу идет от дома к сараю женщина с дымящимся ведром, и зачем-то осведомляется:

— Корову держите? Или свинью?

Метелкин вскидывается:

— А что! Разве это запрещается?

— Чего ты, чудак, в бутылку лезешь? — говорит Петр Алексеевич. — Я же не считаю, что ты из-за дома был против. Но если бы считал... Если бы я был убежден, что тебе твой дом дороже того, что мы тут затеяли...

И вдруг, оборвав свои рассуждения, он с интересом спрашивает:

— Послушай, Сергей Антонович, какая у тебя специальность?

Метелкин отвечает холодно — как он думает, с иронией:

— Кажется, вам известно, где я работаю.

— Да нет. Это же не специальность. Это выборная должность.

— Другой специальности у меня нет.

— Но ты же прежде чего-нибудь делал? Вот я — ткач. А ты?

— Работал на руководящих должностях.

— Всю жизнь?

— Зачем? Смолоду работал по крестьянству, в хозяйстве отца.

— Потом?

— Потом в армии был, на действительной.

— Потом?

— После армии — в сельсовете. Секретарем. Потом председателем.

— А после сельсовета?

— Заместителем в райпотребсоюзе. Секретарем в райисполкоме.

— Ясно, — говорит Петр Алексеевич.

Но Метелкин совершенно произвольно продолжает перечислять:

— Обрато в райпотребсоюзе — председателем. Потом обратно...

Петр Алексеевич не без сочувствия говорит:

— Что же ты станешь делать, если тебя вдруг не выберут?

— То есть как не выберут?

Подобная мысль попросту не укладывается в сознании Метелкина.

Сергей Антонович Метелкин смотрит на Петра Алексеевича, недавно избранного секретаря здешнего райкома партии, не столько с удивлением по поводу его столь странного предположения, сколько со смешанным чувством недоумения, подозрительности, прямой злости.

В мозгу его, вероятно, сидят лишь два слова: «Копает, сука!»

Однако он нисколько не кривит душой, когда недоумевает:

— Почему не выберут? Такого не бывает. Выставят кандидатуру...

— А кто выставит? Кто станет рекомендовать?

— Вы. То есть райком.

Метелкин считает необходимым подобострастно ухмыльнуться.

Быть может, он думает сейчас словами отца: «Терпи, Сереня...»

— Райком, — повторяет Петр Алексеевич. — Партийная организация.

— Совершенно точно: партийная организация.

— А избиратели доверяют партийной организации.

— Да уж конечно.

— Но ведь партийная организация может найти более достойного кандидата. Люди растут. Меняется обстановка. Меняются и требования.

— Значит, намеки даете?

Петр Алексеевич понимающе и печально смотрит на Метелкина.

А тот словно наскакивает на своего собеседника:

— Неудобен стал Метелкин. Плох!

Петр Алексеевич неожиданно спрашивает:

— Почему ты мне сегодня все «вы» говоришь?

— Начальство! — восклицает Метелкин. — Ты ж меня почти уволил. Взгляд Петра Алексеевича как бы говорит: «Да ты не так прост!»

— Пошли, — предлагает он. — Нас на землесосе ждут.

Клава тянет обитую клеенкой дверь. Но дверь не поддается. Дверь заперта. Клава дергает ее, слышно, как дребезжит защелка замка.

Алеха сидит на ступеньке, безучастно смотрит на лестничное окно напротив. Стекла окна покрыты пылью и копотью, они едва пропускают солнечный свет. Но несколько стекол разбито, и в прямоугольных отверстиях стоит отчетливый и ясный мир, освещенный высоким, уже зимним солнцем. Светится снег на крепостном валу и тут же рядом, за стеклом, мгновенно гаснет. Дом позади вала угрюмый, коричневый, если смотреть в лишенные стекол отверстия — пламенно красный.

Клава колотит по двери кулаками.

— И собак не слышно, — говорит Клава.

— Я ж говорил, она чего-нибудь сделает, — говорит Алеха.

— Может, она с собаками пошла гулять?

— Не. Она во дворе теперь гуляет. И дверь всегда открытая.

И вдруг со стороны двора доносится собачий лай.

— Стой, — говорит Алеха. — Тихо.

Алеха внимательно прислушивается. Подходит к перилам и слушает. Клава. Она перегнулась через перила, чтобы ближе быть к окну с его разбитыми стеклами. Алеха встал, протянул к сестре поднятую ладонь: «Тише, тише». Он приподнялся на цыпочках, тянется к окну и слушает.

Лает не одна, а две собаки. Лай не приближается и не удаляется, очень похоже, что собаки привязаны.

Алеха кричит:

— Раскатай!.. Угадай!..

Спотыкаясь в своих просторных валенках, Алеха сыплет вниз. Клава бежит за Алехой, опережает его.

Алеха и Клава бегут по валу, и перед ними, внизу, открывается узкий прямоугольник двора между линией сараев и забором. Во дворе ни деревца, он сплошь завален снегом, из которого едва виднеется колодец. От колодца к дому, стоящему далеко, возле ворот, прочищена глубокая траншея. Она имеет короткое ответвление, которое идет к сараю возле забора.

Собак не слышно.

Но если взглянуть, можно увидеть, что от сарая к воротам уходит толстая проволока. Похоже, что проволока чуть колеблется. Кто-то ее трогает, дергает. Послышалось тихое звяканье. Но собак не видать.

— Я по-о-ойду, — говорит Алеха.

Поставив ногу боком, мальчик осторожно лезет с вала.

Тут из-за сарая, с лязганьем железа, с визгом проволоки, по которой, натянув ее, ринулись кольца, с требовательным и одновременно умоляющим воплем, прыгая в сторону, побежали к дому две овчарки.

В доме приоткрылась дверь.

Два серых, скачущих, мохнатых вихря — два могучих пса, чутко ждавших и предупредивших этот желанный звук, звук открываемой хозяином двери, — катятся к дому, и вслед им несутся радостные крики:

— Угадай!..

— Раскатай!..

Алеха скатился с вала, ломая наст.

Он поднимается и бежит к собакам, и вместе с ним бежит Клава.

Собаки останавливаются, садятся, стучат хвостами по снегу. Они трутся мордами об Алеху и Клаву, они лизуют их, взвизгивают и взылаивают, будто жалуются. И в то же время собаки посматривают на дверь дома.

На крыльцо, покачиваясь и пяясь, выдвигается низко нагнувшаяся женщина в подоткнутой юбке. Видна лишь эта ее высоко вздернутая юбка, обтянувшая зад, и худые белые ноги со жгутами вен. Потоками течет грязная вода. Женщина кончает мыть пол и тряпкой гонит воду из сеней на крыльцо.

Собаки смотрят на женщину, постукивают хвостами и дрожат.

Собаки принимаются скулить.

— Мамка! — кричит Алеха.

Женщина резко выпрямляется. Она непроизвольно морщится, отводит руку назад, поглаживает поясницу. Другой рукой, той ее частью, что между кистью и локтем, она проводит по лбу. Руки у нее красные.

— Мама, — говорит Клава.

— Приехала, — безучастно говорит Мария.

Лицо у нее такое же бледное, как и прежде, но только чуть припухшее, одутловатое. Волосы ее аккуратно убраны под низко повязанный, почти до бровей, белый платочек. И руки, сложив их, она спокойно держит на животе, и голова у нее покорно, с чинным достоинством опущена.

— Мамочка! — говорит Клава. — Какая ты стала!

Мария молчит, только глазами моргает.

— Почему ты здесь? — говорит Клава. — Почему не дома?

И тут на крыльцо выходит большая, толстая старуха с кирпичными щеками и крупным сизым, чуть раздвоенным на конце носом. Собаки, увидев старуху, кидаются вперед, натянув до отказа цепи, встают на дыбы, скачут на задних лапах и остервенело лают до хрипоты. Старуха кричит:

— Бросили деточки, вот она и здесь! Ей тут хорошо!

— Мне тут хорошо, — говорит Мария.

А старуха, возвышая голос, чтобы перекричать собак, вопит:

— Она на вас в суд подаст.

Мария морщится от надсадного лая собак, от криков старухи.

На крыльцо выходит благообразный старичок Евдоким Васильевич, отец Феофил. Он ласково говорит старухе: «Ступай-ка, матушка, в избу, простынешь». Он и Мария советует: «Пальтецо бы накинула». И к собакам он держит речь: «А вы, собачки, помолчали бы, сахарку дам».

Затем Евдоким Васильевич обращается к брату и сестре:

— Здравствуйте, молодые люди!

Алеха, насупившись, бурчит:

— Драсте.

— Здравствуйте, — говорит Клава.

Старуха убралась в дом. И собаки молчат.

Мария стоит на крыльце, все так же сложив на животе красные, распухшие руки; они у нее дрожат. Плечи женщины опущены. Глаза смотрят напряженно, однако во взгляде нет интереса к тому, что про-

исходит вокруг. Мария скорее всего тяготеет всеми этими разговорами, шумом. По временам она поглядывает на тряпку, брошенную на крыльце.

Евдоким Васильевич неспешно говорит:

— О чем же будет наша беседа, молодые люди?

— Мы за мамкой пришли,— говорит Алеха.

А Клава молчит, подавленная видом матери.

«У нее отобрали вино,— размышляет девушка,— и она стала как неживая. Она и раньше была неживая, это вино в ней действовало, как электрический ток. А теперь ток выключили, и в ней ничего не осталось».

— Пускай домой идет,— настаивает меж тем Алеха.

Евдоким Васильевич отвечает ему серьезно:

— Ты еще не достиг совершенных лет, мальчик. Но я уважаю в тебе человека и поэтому с тобой разговариваю. Сейчас я спрошу твою маму. Мария зевает.

Евдоким Васильевич спрашивает:

— Пойдешь домой, Мария? К сыну Василию!

Мария торопливо выкрикивает:

— Нет! Нет! Тут хорошо!

Клаве вдруг приходит в голову: «Он как переводчик у нее».

Мария улыбается. Она говорит:

— Мы тут богу молимся.

Мария томится, рассеянно глядит по сторонам.

«Она как душевнобольная,— думает Клава.— И чужая какая-то».

Мария наклоняется к тряпке, говорит Евдокиму Васильевичу: «Отойди-ка»,— и тот, показав на нее взглядом, что должно означать, вероятно, «ишь, какая строгая», идет с крыльца. Мария моет крыльцо, раскачиваясь из стороны в сторону, и может показаться, что она наслаждается этими плавными, округлыми движениями, как иные женщины наслаждаются танцем.

Клава берет Алеху за руку, и они идут со двора.

Алеха идет спотыкаясь, оглядываясь назад.

Брат и сестра идут улицей по берегу озера.

На льду озера женщины полощут в проруби белье.

На женщинах валенки и толстые платки, которые закрывают спину, и плечи, и грудь и завязаны на поясице. Рукава у женщин засучены до локтей. Работа не мешает женщинам переговариваться.

— Глянь,— говорит одна.— Никак Маньки Собачкиной мальчонка.

— И девка ее,— говорит другая,— что в колхозе живет.

— Вроде сироты,— заключает третья.

Но четвертая женщина считает необходимым внести уточнение:

— Сироты хоть на могилку придут.

— Это у нее от вина,— говорит первая женщина.

— Знамо, от вина,— соглашается третья.— С чего же еще.

Тут вторая женщина, которая не поймет, о чем речь, спрашивается:

— А что с ней, с Манькой Собачкиной?

— В секту определилась,— объясняет четвертая.

Первая женщина решительно заявляет:

— Поломала бы хребет на мужика, так не дурила бы.

Третья женщина пускается в рассуждения:

— И чем ей плохо было жить? Сама себе хозяйка...

— Вино,— говорит первая.

А вторая опять спрашивает:

— Это что же такое... секта?

— Кто его знает, — говорит третья женщина. — Богу молятся.  
 — Богу?! — удивляется вторая. — И ради этого детей кинуть!  
 — Дети что, — говорит первая женщина, — дети не пропадут...  
 Четвертая женщина выносит свое авторитетное заключение:  
 — Об детях государство болеет.

Наст на озере испещрен серыми лужами. Все озеро теперь в белых и серых пятнах. Недвижимо чернеют над лунками рыбаки. Санная дорога, извиваясь, тянется к дальнему берегу, уходит под легкую, чуть светящуюся дымку тумана, некоторое время видна, потом исчезает.

Снег на дороге желтоватый, рыхлый.

Сухой бурьян, воткнувший в снег вместо вешек, кое-где повалился. Снег шуршит и оседает под обутыми в сапоги ногами пешехода. Сапоги блестят от мокрого снега. Пешеход скользит и оступается, нога его съезжает иной раз с колеистой дороги на гладкую корку наста или в лужу, и наст с грохотом обрушивается, а из луж летят брызги.

Была весна в самом начале. Я шел еще замерзшим озером. Сквозь шуршание, какое возникало, когда нога скользила по сырому снегу, сквозь чмокание и чавканье сапог в снежной кашнице, сквозь всплески воды в лужах и треск ломающегося наста, я услышал вдруг негромкий, но ровный и слитный свистящий звук. Над всей поверхностью льда слышалось негромкое шипение. Ничего особенного не было в этом звуке. Я знал, что это из-под льда через мельчайшие, с волосок, отверстия выходит наружу воздух. И я просто радовался этому проявлению жизни.

Так бывало со мной часто в ту весну.

Дорога еще завалена снегом, но снег местами уже осел, он всхолмлен, усеян иголочками хвои, прошлогодними сережками, веточками.

Стволы осин, и берез, и ольхи тянутся вверх, будто тесно поставленные жерди, — прямые, гладкие, чуть кривоватые и шершавые, отдающие желтизной, белые с черным, серые... Позади этих вставших от земли до неба тонких стволов зеленеют елочки. Все остальное пространство занято торчащими во все стороны прутьями и мелко переплетенными ветками.

Снег в лесу тусклый, холодный.

А воздух — серый.

И вдруг в этом сером воздухе словно забелели снежинки.

Впереди прямолинейных осин и светлеющихся между ними березок, топорща свои красноватые ветки, стоит возле самой дороги, вся в серебристых, будто из пуха, комочках, негаданно распутившаяся вербочка.

Я остановился перед деревцем и радовался ему, хотя это случается в начале каждой весны, когда еще холодно, когда старые березы, одетые в толстую потрескавшуюся кору, глядят еще по-зимнему, когда дуб, как воспоминание о минувшем лете, все еще держит на своих ветках несколько жестких медных листьев, когда ни одно дерево не рискует отозваться на неверное еще тепло — только вербочка, тонкая, зябкая на вид.

Она предвещает весну...

И весна приходит.

Желтоватый глинистый поток мчится между двумя приподнятыми закраинами смерзшегося снега. Вода бежит с той поспешностью, какая

бывает только весной, завихряясь на каждой неровности дна — булыжник ли там, или мерзлый ком навоза, или вывернутый еще осенней водой кусок дерна. Поверхность воды в этих местах ломается, и каждый такой излом отражает солнечный свет.

\* \* \*

Железный коробчатый ковш с крупными зубьями, натертыми до блёска о землю, идет вниз, вгрызается в черный грунт. Повизгивает трес, бегущий по колесу на конце стрелы. Покойно стоят по обеим сторонам канавы широко расставленные, сами по себе широкие, но невысокие гусеницы экскаватора. Лепехи снега лежат на рыжей мокрой траве, плоские и округлые, с оплывшими краями.

Из открытого окна кабины, где сидит, работая рычагами, сын тетки Поля Алексей, вьется дымок сигареты. Кабина плывет в сторону — это ковш, набрав грунт и поднявшись, несет его, чтобы вывалить на берег.

Сквозь стекла окон, оставшихся закрытыми, виден наплывающий на экскаваторщика прутняк. Красноватые частые кусты оканчиваются плотной, чуть просвечивающей щеткой, над которой стоит белесое небо. Качнувшись, кусты пропадают — кабина идет назад. Экскаваторщик видит теперь только землю и черную прямую канаву посреди земли. Набрал грунт, экскаваторщик посылает ковш на другой берег канавы. Теперь экскаваторщик видит покрытое снегом бугорчатое болото с редкими черными лужицами и торчащей по их краям сухой осокой. Позади болота протянулась бурая отлогая покатошь. По гребню ее, один за другим, идут два человека.

Алексей смотрит на часы, висящие перед ним на переплете окна.

— Девчата со свинарника пошли, — размышляет он вслух.

Он опять отправляет ковш на дно канавы.

Вдоль отлогого склона, постепенно переходящего в заболоченную низменность, идут Вера и Клава. Похлопывает жидкая грязь. Хлюпает и серый, пропитавшийся водой снег с белой кромкой вокруг следов, и черная вода, и раскисший зеленоватый навоз. Плоские, чуть выпуклые и скользкие глыбы слежавшегося снега — остатки зимней дороги — с треском обламываются по краю. Клава бьет носком сапога по куску снега, и кусок рассыпается брызгами.

Вера торопит Клаву:

— Разыгралась, как маленькая. Пошли поскорее. Холодно.

Однако похоже, что Клава нарочито медлит. То она почему-то оглянется назад, где из-за вершины косогора виднеется темная крыша свинарника. То она посмотрит в сторону болота с чернеющим на нем экскаватором. То вовсе остановится, отковырнет ногой кусок смерзшегося снега и станет смотреть, как чуть приподнимутся, выпрямляясь, смятые желтоватые травинки. При этом она как бы собирает что-то сказать, и словно не может решиться. Она стоит и полощет сапог в холодной весенней луже...

И вдруг она говорит:

— Я тут пойду.

Она кивает неопределенно — как будто бы в направлении болота. В этом ее жесте, впрочем, легко заподозрить намерение отвести взгляд от взгляда подруги. Несколько нерешительно, с запинкой, она объясняет:

— Тут... Мне нужно... Тетя Поля велела...

И бежит по склону вниз, наискосок, мелкими из-за узкой юбки шажками. По временам, поскользнувшись на мокрой распластавшейся траве,

она вдруг взмахнет рукой или даже обеими, потом снова сунет руки в карманы.

Вера смотрит ей вслед.

— Молодая.

Помедлив, она добавляет с завистливым вздохом:

— Еще и не трогал никто.

Она опять молчит, затем говорит рассудительно и печально:

— Мимо родника к луже не потянешься.

И тут же опрокидывает все эти вздохи решительным заявлением:

— Как ни то проживем!

А Клава бежит уже болотом, лавируя между лужами, прыгая с кочки на кочку, иногда оступаясь, оставляя на снегу черные пятнышки следов.

Клава идет вдоль осушительной канавы. По обеим ее берегам осыпающимися валами лежит свежая земля. Клаве видно, как из верхнего слоя почвы плоскими ручейками течет по стенке канавы вода. На другом берегу канавы в частых кустах ивы слышен все нарастающий треск. И вдруг из прутьяка, окрушая его, выламывается большоголовый лось. Он останавливается, оглядывается вокруг.

Клава вскрикивает от неожиданности и пускается бежать к экскаватору, который стоит недалеко над черной прорвой канавы. Алексей не видит Клаву. Но вот кабина поворачивается, выдвигается стрела с поднятым ковшом, дымок сигареты, вытянувшись из оконца, висит в воздухе. Клава тихо зовет:

— Леня!

Она теперь идет шагом, смущенно, но и не без хитрости улыбается. Алексей опрокидывает ковш, и из ковша сыплется земля.

— Леня! — увереннее зовет Клава.

И Алексей с удивлением отзывается:

— Чего ты, Клава? Откуда?

Девушка оглядывается. Лось стоит и словно обнюхивает землю.

— Да вот... Я тут шла... Домой...

Алексей слушает ее напряженно, внимательно, однако, должно быть, не возьмет в толк, как она здесь оказалась, если дорога из Ведомши в Тряслово лежит в стороне от этого места.

Клава стоит, задрав голову, небольшая, худенькая даже в платке и ватнике. Ноги ее в забрызганных грязью резиновых сапогах чуть расставлены, впечатаны подошвами в мокрый торф. Над голенищами сапог виднеются школьные, рубчатые, рыжеватые чулки. Похоже, что Клава напоминает, как ведут себя в таких случаях бойкие, смешливые девчата, не дающие спуску парням, — она ведь, когда шла сюда, воображала, что сможет легко и развязно повести разговор.

Теперь она трусит.

Но об этом никто ни за что не догадается, никто, никто, никто...

— Смотри-ка, — говорит она громко, и голос ее звенит. — Лось!

При этом она небрежно кивает головой.

А лось свободным броском перемахивает канаву. Лось наклоняется, пьет из лужи талую весеннюю воду.

Клава идет с охапкой необмятой соломы. Должно быть, ей щекотно, и она улыбается. На девушке белая косынка, небрежно завязанная на затылке. Она загорела красноватым крестьянским загаром — первым в году.

Рядом с Клавой идет Глеб.

— Я просил тебя назначить свидание, а ты не отвечала. Почему?

— Догадайся.

— Откуда мне знать твои мысли.

— Не хотела.

— Я так и думал.

— Значит, сообразительный... Ты что, газетку пришел почитать?

— Нет. Я к тебе пришел. Выходи за меня замуж.

— Что-то не хочется.

— Я серьезно,— обижается Глеб.

Клава идет к свинарнику.

Возле свинарника Вера и Женя колют почерневший смерзшийся снег. Снег лежит неширокой выпуклой полосой вдоль стены — тусклый, чугунный. Девушки крепко держат темные, поблескивающие ломы, ухают, опуская их, и от обледенелого снега отваливаются слоистые на изломе, тяжелые осколки, летят в сторону, почти белые и шершавые исподу.

Женя и Вера увидели Глеба и опустили ломы.

— Глебка!

— Глебушка!..

Им жарко. Они устали. Они рады случаю поговорить.

Глеб, не отозвавшись, торопливо и негромко говорит Клаве:

— Мне к маю все равно надо жениться.

Клава останавливается. Она отводит в сторону охапку соломы. Смотрит насмешливо. Она здесь у себя дома, и рядом девчата. Грубоватое словцо чуть не срывается с языка. И вдруг она догадывается:

— Усадьбу некому копать?

— Я с тобой, как с человеком,— говорит Глеб.

— А что же Светка? — любопытствует Клава.

— Светка тут ни при чем.

Глеб не намерен рассуждать об этом, но Клаве, как почти каждой девушке, интересны подробности сватовства и свадеб, тем более когда речь о сверстницах, недавних школьных подругах, и она допытывается:

— Светка что... не захотела в деревню?

— Ну да,— обижается Глеб.— Я б только свистнул.

Клава говорит с пренебрежением:

— Ты? Свистун.

— Думаешь, ты одна на свете,— говорит Глеб.— Да за меня...

Он поворачивается, идет прочь, по обыкновению вихляясь.

Вера и Женя, увидев, что Глеб уходит, спрашивают Клаву: «Чего это он? Зачем приходил?» У Клавы ломит руки от тяжелой охапки, она торопливо говорит «сейчас», идет в свинарник, и девушки идут следом за ней.

Клава кидает солому за загородку, на чисто выскобленный и вымытый деревянный пол. Оконные рамы уже вынуты, и на недавно побеленные, местами еще серые стены, столбы и загородки, на солому, которой выстланы пустые в этой части свинарника станки, свободно падают толстые и длинные брусья солнечного света, в котором по-летнему роятся пылинки.

В дальних станках сыто похрюкивают свиньи.

Клава, прислонившись спиной к загородке, положив на нее отведенные назад, согнутые в локтях руки, с нарочитой загадочностью щурит глаза и многозначительно молчит, испытывая терпение подруг. А девушкам смерть как хочется узнать, почему так поспешно ушел и зачем вообще приходил Глеб.

— Не ломайся, Клавка.

— Ну, давай говори.

И Клава рассказывает:

— Гряды у него некому копать. Вот он и пришел сватать меня.



— Ври! — возражает Вера. — Не говорил он тебе про гряды.

А Женя говорит серьезно, сочувствуя Глебу:

— Мать у него больная.

— Верно, — соглашается Вера. — Ему теперь не миновать жениться.

Она говорит Клаве:

— Выходи, девка. Хозяйкой будешь.

Клава принимает это всерьез. Она говорит несколько высокомерно:

— Ни хозяйкой я не намерена быть, ни батрачкой.

— Не зарекайся, — рассудительно говорит Женя.

— Как начнет тебя тетка Поля есть, — нараспев выговаривает Вера.

Клава вспыхивает:

— При чем тут тетя Поля!

— Здравсте! — говорит Вера.

— Ох и скрытная ты, Клавка, — говорит Женя.

Клава, смешавшись, оправдывается:

— Между нами ничего нет. Так... встречаемся...

Вера смеется:

— От этого и делаются девки бабами.

И вдруг она говорит, как бы продолжая пустопорожний этот разговор:

— Уступила бы мне Леню.

Клава, вскинув глазами, мрачнеет, однако отвечает шуткой:

— А тетя Поля? Не боишься?

— Я его уведу к себе.

Женя пожимает плечами, с обычной своей серьезностью спрашивает:

— И чего вы в нем нашли?

Клава вытягивает руку поверх дверцы, ведущей за загородку, она то приоткрывает, то закрывает дверцу. Солнечный свет в окнах тускнеет — должно быть, облако нашло.

На соломе, освещенной неяркой электрической лампочкой, лежит на боку, вытянувшись и устало откинув голову, исполинская свинья. К опавшему ее брюху присосались тесно улегшиеся маленькие белые поросята.

Клава, одетая в чистый, с еще несмятыми складками, полинявший от стирок синий халат, сидит на корточках, смотрит, как сосут поросята, слушает, как по временам вздыхает дремлющая матка. По ту сторону загородки, опершись на нее, стоит Александр Иванович, председатель колхоза.

За открытым окном черно и дождь шумит.

— Может, закрыть окно? — спрашивает Клава.

— Тепло, — говорит Александр Иванович. — Так воздух чище.

Помолчав, Клава говорит, ожидая, конечно, что ее похвалят:

— Все живые. А я так боялась. Первый ведь раз.

— Хитрого тут нет, — говорит Александр Иванович.

Слышно, как за ближними загородками мерно вздыхают и спросонок постанывают матки, как слабо взвизгнет поросенок, должно быть оттиснутый от соска проворным соседом или сам упустивший сосок, как негромко переговариваются возле поросящейся свиньи Женя с Верой, как она дышит прерывисто, а девушки позвякивают ведрами и тихо всплескивает вода.

— Ты чего кончила-то? — спрашивает почему-то Александр Иванович.

— Десять классов, — говорит Клава. — А что?

— Гимназистка по-старому.

Клава не найдется, что сказать.

Председатель тем временем размышляет вслух:

— Бывало, придет в деревню учительница. Тоже из гимназисток. Или из епархиалок. Девчонка. А сколько народу от нее ума наберется!— Он опять обращается к Клаве: — Говоришь, десять! И в колхозе таких много.

— Вроде вы чем-то недовольны,— обижается Клава.

Александр Иванович, не слушая ее, все так же раздумчиво говорит:

— А я два класса кончил.

Он собирается уходить и вдруг спрашивает:

— Ты чего сказала?

— Я сказала, что вы как будто недовольны.

— Человек всегда недоволен.

Тяжело ступая, он идет по проходу. Клава говорит ему вслед: «Вы бы еще побыли с нами». И Вера окликает его: «Александр Иванович!» И Женя кличет: «Дядя Саня!» А во дворе, под дождем, ржет на привязи лошадь.

— Я на скотный. И к овцам. Нынче ночью много чего рождается.

Он снимает с колышка, торчащего из трещины в столбе, брезентовый плащ. Он прислушивается к далекому гулу, проступающему сквозь шум дождя и взвизги только что народившихся поросят. Одеваясь, он говорит:

— Никак озеро тронулось.

Он стоит под крутой, в два ската, соломенной кровлей. Пыльная лампочка висит над ним на двух концах жесткого провода. Рассеянный ее свет падает на потемневший мокрый плащ, из складок которого каплями стекает вода. Девушка в темном халате держит перед ним на руках трех курчавых лобастых ягнят. Ноги у ягнят прямые и длинные, чуть согнутые в коленях; они как бы перепутались, торчат или расслабленно свисают.

В полутьме вокруг блеют овцы.

Дождь будто топчется, прерывисто постукивает по плотной, слежавшейся соломе на крыше. Весенняя ночь гудит и ухает, обмывая землю.

Председатель колхоза, поглаживая ягнят, приговаривает:

— Много чего рождается нынче ночью.

Девушка говорит:

— Скорее бы уж травка...

-- И травка родится.

Председатель вытирает руку о рукав плаща. Ягнята на руках у девушки негромко мекают.

Председатель колхоза идет по сияющему свежим тесом и золотистой соломой, освещенному электричеством помещению. На соломе, в тесовой ограде, лежат черные, угловатые и голенастые, с выпуклыми лбами, длинноухие телята. Они лежат на боку, по трое или вчетвером, иной в сторонке, свободно раскинувшись, иной привалившись к соседу, положив на него голову. Один из них вдруг стал подниматься, стоит, широко расставив нетвердые ноги.

Председатель колхоза останавливается, протягивает руку ладонью вверх. Теленок, раза два лизнув ладонь, смотрит на председателя и то-ненько мычит. Теленку отвечает низкое, хрипловатое и натужное мычание.

В длинных и тесных станках из брусьев, окруженные людьми в халатах, телятся коровы. Они запрокидывают короткие, будто смятые рога, тянутся черными широколобыми мордами в белых очках и мычат.

Перед самым рассветом на земле устанавливается тишина.

От земли поднимается туман. Из-под тумана проступает дорога с бегущими по колеям и рытвинам ручейками, с плоскостями обмытой, просяхающей земли, с плотно слежавшимися косыми песчаными наплывами, с тихими лужами и дегтярной грязью в колдобинах, с щетинкой травы по обочинам.

Встает солнце. Серый и холодный до этого туман постепенно наполняется теплым светом. В посветлевшем тумане скачет всадник.

Он откидывает с головы капюшон плаща, и видно, что это Александр Иванович, председатель колхоза. Сдвинув кепку, он вытирает платком лоб и лицо.

По обеим сторонам дороги, перемежаясь, лежат кучи камня, и щебенки, и прибитого дождем песка. С той стороны, где камни прикасаются друг к другу, они еще мокрые и темные, а неровные и выщербленные их плоскости, обращенные к солнцу, посветлели и чуть курятся.

Легкий парок вьется над зазеленевшей за ночь землей.

Старая ветла, простершаяся ввысь и вширь, нависла над дорогой. Великое множество веток и веточек ветлы зеленовато-серых, а у вершины почти белых унизано толстыми цилиндрическими сержками, расцветшими ночью, и дерево возвышается в синих небесах округлой желтой горой.

Дорога уходит под ветлу...

Впереди, среди зеленеющей земли, стоят серые избы сельца, поднявшего в утреннее весеннее небо белую ампирную колоколенку со шпилем. Коричневые с прозеленью тополя и желтоватые ветлы клубятся между крышами.

Со стороны села, разбрызгивая грязь и воду в лужах, бежит «ГАЗ-69». Он то нырнет в ухаб и лезет, лезет оттуда с надсадным воем, задрав передок, то подпрыгивает по мелким выбоинам. Поравнявшись с Александром Ивановичем, «ГАЗ» останавливается. Толстая нога в сапоге высовывается из машины, потом выбирается и сам Алексей Ксенофонович, мелиоратор.

— К Тряслову-то я проеду?

Только сказав это, он протягивает руку председателю колхоза.

— Здравствуй, Александр Иванович.

Председатель говорит:

— Проедешь.— И кивает в сторону машины: — На эдакой всюду проедешь.

Лошадь под ним перебирает ногами и вскидывает голову.

Рядом, приземистый, в зеленом плаще, стоит мелиоратор.

— А зачем тебе в Тряслово? — спрашивает Александр Иванович.

— Надо посмотреть, как каналы работают.

У Александра Ивановича лицо усталое, безучастное...

И вдруг он оживает:

— Суши, суши... Теперь мужику земля опять нужна.

— Нужна, говоришь?

— А как же. Сегодня у меня знаешь сколько ртов народилось!

Он соскакивает с лошади.

— Еще и сейчас они в глазах, только закрою: поросята, телята, ягнята... И мекает оно, и сикает, и сикает, и за титьку хватается...

Он выговаривает с удовольствием:

— Инстинкт.

— Жить хочется,— соглашается Алексей Ксенофонович.

— Не жить — жрать,— рубит Александр Иванович.— Живет человек, а животное — существует.

Слышны беспорядочные всплески, невнятные, сдавленные голоса.

Между двумя низко склонившимися над канавой головами — темноволосой, взлохмаченной, и лысой, с пояском редких красноватых волос — брызжет вода, бьет по нависающим лицам, хлещет по обтянутым выцветшей клетчатой тканью плечам... Канавка бурлит, выплескивает воду.

Алексей и плешивый рыжий мужик, чуть ли не по плечи опустив руки в канаву, пытаются что-то ухватить в воде, сталкиваются, пыhtят, после особенно сильного всплеска отворачивают головы и отплеиваются.

Оба они лежат на земляных отвалах по обеим сторонам канавы. Каждый учит другого: «тяни», «а ты держи», «тяни, говорят».

Выхлестывается высокая волна, и одновременно слышен крик: .

— Уйдет!

Алексей и плешивый мужик вскакивают.

— Ушла...

Мужик отбрасывает в сторону помятое дырявое ведро.

Они стоят над канавой, на разных ее берегах, стоят мокрые, с отпечатавшейся спереди на брюках и на рубашках землей, вытирают ладони о ляжки. достают из карманов смятые пачки сигарет, вытягивают по сигарете, неторопливо разминают, закуривают, перебрасывая друг другу спичечный коробок, и смотрят, смотрят на бегущую у их ног воду.

Вода хотя и темна, однако хорошо видно, как на небольшой глубине против течения плывут узкие, длинные шуки. Они того же коричневатого цвета, что и вода, только темнее. Плывут они медленно, почти не шелохнутся, будто висят в воде. Но вдруг иная из шука ударит хвостом, и тогда снизу вверх побежит волна, широко разойдется по поверхности.

— Зачерпнуть нечем,— сожалеет лысый мужик.

— Как подводные лодки! — вспомнил флотскую службу Алексей.

— Нершиться они идут,— говорит мужик.

Алексей возражает:

— Нершиться! Станут они тебе в нашей канаве нершиться.

— А им не все равно,— говорит мужик.

— Они место свое помнят. И травка им нужна. Да и поздно уж.

Против течения плывет канавой большая темная шука.

Канавка тянется посреди зазеленевшей земли, прямая и жесткая; на ее берегах чернеет вынутый грунт, еще не успевший зарости, извилистыми своими краями соприкасается с мягкой и нежной щетинкой молодой травы. Цветущий ивняк возвышается недалеко волнистой желтой плоскостью.

Мужик стоит над канавой; ростом он невысок, плечи у него покатые, а ноги чуть выгнутые. У него худые руки с большими клешнястыми кистями.

— Я из детдома,— говорит мужик.— Я про это не знаю.

Он прыгает через канаву.

— Вона,— говорит он,— девка твоя идет.

Он шагает в сторону разлившейся речки, откуда и начинается осушительная канавка — канавка взяла в свое ложе петливую речку, чтобы

коротким путем привести ее в озеро. Он идет к темнеющему впереди экскаватору.

— Ладно,— говорит он.— Сам перегоню.

Он перепрыгивает через узкую канавку, под прямым углом соединенную с большой канавой. Видно, что такие же точно канавки, чернеющие взрезанным торфом, тянутся поперек зеленого, чуть всхолмленного болота.

Алексей тем временем поспешно стряхивает с себя приставшую землю. Он достает гребенку, причесывается, дует на нее и кладет в карман. Он искоса смотрит то на одно плечо, то на другое, затем, нагнув голову, разглядывает грудь — рубашка все еще не просохла, и он этим смущен.

Клава, не успев еще подойти, спрашивает несколько обеспокоенно: «Чего это ты не работаешь? Сломалось что?» — «Да нет,— говорит Алексей.— На Ляхово болото переезжаем». — «А почему ты весь мокрый? И грязный!» — «Щуку мы ловили».

Алексей прыгает на другой берег канавы. Он протягивает руку, и Клава прыгает следом. Алексей показывает на стену канавы, в которой корытцем зияет отверстие пришедшей сюда через болото канавки. Оттуда вытекает плоская струя воды, журчит, соединяясь с текущей мимо водой.

— Работает,— говорит Алексей.

Он не выпускает руку Клавы, и так они идут, отклоняясь в сторону.

— Теперь можно вспахать и залужить,— рассуждает Алексей.

Он кивает на осушенное болото.

Из оврага течет темная речонка, вспоровшая рыхлую почву луговины. Прежде речонка пропадала в болоте, а теперь она впадает в канаву.

Алексей смотрит на ботинки Клавы — прямые, с короткими голенищами.

— Что это ты в бадейках?

— Так уже весна.

Клава одета по-весеннему, на ней пестрое платье и вязаная кофта.

Они переходят вброд речку, идут вверх по склону оврага.

— Какая уж трава стала,— говорит Клава.

Она наклоняется и срывает стебель с мягкими, еще не совсем развернувшимися перистораздельными листьями. Алексей, глянув, говорит:

— Чистуха это.

— Чистотел?

— В школе учат — чистотел,— соглашается Алексей.

Он рассказывает:

— Чистухой бородавки сводят... От нее кожа делается чистая.

Клава произвольно рвет на кусочки стебель, мнет и растирает пальцами листья, пачкается при этом желтым соком, и Алексей говорит ей:

— Ты вымой руки... Она ядовитая.

Они останавливаются возле родника, льющегося из обнаженного склона оврага, над которым широко раскинулся ивовый куст. В тени куста, под слоем темной земли, прошитой корешками растений, светлеется сизая, растрескавшаяся по вертикали глина. Родник бежит по глине, поблескивая на каждом ее выступе, с крутого порожка падает в яму и оттуда, огибая заросшие бугорки и сваливаясь с перегородивших ему дорогу обнаженных корней, течет в речонку. Клава моет руки под струей родника. Алексей подает ей размокшую глину: «На-ка, возьми... Лучшее мыла». Потом они оба, с шумом хлебывая, пьют из пригоршней.

— Сладкая,— говорит Клава и вздрагивает.— Озябла..

Они поднимаются выше, идут через заросли цветущей ольхи — бурые, сквозящие красным. Ольха еще не развернула ни одного листика — она увешана сережками, собранными в пучки. Под ольхой редко зеленеют травянистые растения. За ольшаником на каких-то неизвестных прутьях наклюнулись почки — белесые, едва отдающие зеленью. Еще дальше, за оврагом, на тоненьких, не толще пальца, березках, на проволочных их ветках светятся чутощные зеленые пятнышки. А возле самой дороги, идущей к Тряслову, стоит огромный тополь, весь в обвисших уже, длинных красных сережках.

· Кажется, только об эту пору, в первые теплые дни весны, пока еще не оделись деревья сплошь листьями и не сомкнулись разросшиеся травы, пока не взошло яровое и не посажена огорожина,— кажется, только в это время можно наблюдать в природе такое множество красок и оттенков удивительной чистоты, столько мельчайших форм, подробностей...

Алексей и Клава выходят к дороге.

Разбитая еще осенью, дорога чернеет, как вспаханная полоса.

Слева, на косогоре, за которым вонзается в небо своими вершинами еловый лес, открылось вставшее по обеим сторонам дороги Тряслово, и Алексей поспешно выпускает руку девушки. Клава смотрит на него.

— Что ты?

— Увидит еще кто.

— Ну и что?

— Смеяться будут.

— Почему?

— Среди бела дня...

Клава берет Алексея за руку, раскачивает ее из стороны в сторону. Она не позволяет ему идти быстрее, идет нарочито ленивой, беспечной походкой, разминая матовые комья сырой земли. Клава говорит:

· — Чего ж ты не отнимаешь руку? Ты же сильнее меня!

Они спускаются по отлогому склону, где среди серой и спутанной прошлогодней травы местами краснеют остроконечные, чуть волнистые, грубые листья конского щавеля. Здесь торчат еще кое-где пучками кривоватые, как бы в чешуйках, толстые стебли с глядящими вверх тугими желтыми кисточками цветов — листьев у них нет, их словно по-сбывали. Цветы выглядят чуть смятыми, будто вот так, целиком, лезли из земли.

— Бедненькие одуванчики. Какие смешные,— говорит Клава.

— Это мать-и-мачеха,— говорит Алексей.

— Ну да,— говорит Клава,— не видала я мать-и-мачехи.

— Летом видала...

Впереди синее озеро. Они берут левее, идут к нему наискосок.

Они идут лугом, по коротко выкошенной осенью отаве. Отава жесткая, стоит торчком. Среди отавы как бы выстрижена узкая извилистая бороздка, от которой в стороны расходятся такие же бороздки. Клава наклоняется, с удивлением спрашивает:

— Что это?

— Это мыши под снегом прогрызли.

— Среди бела дня,— рассказывает тетка Лизавета.

Согнувшись пополам, она передвигается вдоль неглубокой длинной борозды, ставит в борозду земляные кубики, из которых торчит широколистная капустная рассада, подваливает к ним землю, проворно раз-

равнивает ее ладонями, устраивает вокруг лунку и наливает в нее воду из лейки.

— Божий свет вокруг, а они будто слепые.

Позади тетки Лизаветы, уйдя несколько дальше по борозде, высаживает рассаду другая женщина, впереди, вровень с Лизаветой, работает третья, в некотором отдалении — тетка Поля. И еще многие другие женщины низко склонились над черным полем — однажды здесь погибла под снегом капуста. Головы их в белых платочках образовали изломанную шевелящуюся линию. Вся земля позади этой линии исчерчена зелеными строчками рассады. Рядом с самой дальней строчкой, стремя свои воды в озеро, протянулась в успешных уже затравенеть берегах осушительная канава.

Тетка Лизавета продолжает громко рассуждать:

— Миловались бы где ни то ночью или в кино...

Тетка Поля, терпеливо молчавшая, вдруг огрызнулась:

— А тебя завидки берут!

Она обращается к женщине, работающей рядом с ней:

— Теперь у меня душа на месте.

Тетка Лизавета говорит:

— Душа! Ты душу на невестку обменяла. Отказалась от бога.

— Феофил не бог,— возражает тетка Поля.

Обе они, разговоривая, вместе со всеми женщинами передвигаются вдоль своих борозд, вынимают из корзины рассаду в торфяных горшочках, тычут ее в борозду, подваливают к ней землю, разравнивают, делают лунку, льют воду и, не разгибаясь, подхватив корзину и лейку, идут дальше.

Женщины двигаются в сторону озера.

Поле впереди женщин — черное, рыхлое, исчерченное бороздами — соединяется с намытой землей, гладкой и светлой. По зеленоватой этой земле, с негромким ровным рокотом, идет от озера красный колесный трактор.

Прерывисто ревет, и дергается, и кидается из стороны в сторону, оставаясь на месте, огромный гусеничный трактор, с лязгающими и хлопающими крышками капота, весь запыленный, припорошенный сухой известкой.

Земля под трактором разбита гусеницами в прах.

От трактора тянется тугой, как струна, трос. Конец троса завязан широкой петлей, и петля эта закинута на торчащий в голубоватом небе кусок стены между двумя пустыми, с обвалившимся верхом окнами. Трос чуть провис, потом он снова натягивается той своей частью, которая охватывает стену, он крошит штукатурку, трет обнажившийся кирпич, и розовая пыль клубочками выстреливается из-под петли, рассеивается в воздухе.

Высокое солнце освещает трехэтажный белый дом на берегу озера, с обрушенной крышей, с местами обломанным карнизом, зияющий оконными проемами. Дом просматривается насквозь: его обвалившиеся печи, повисшие в пространстве переборки с накренившимися досками, изломанной обрешеткой и кусками штукатурки, клочья грязных обоев на стенах...

Трактор топчется перед домом, дергает и дергает трос.

Возле трактора, то и дело опасливо сторонясь, стоят люди.

Трещины бегут по стене дома. И вот из стены выламывается оштукатуренная, схваченная известкой кирпичная глыба, падает, ударяется о землю, и от глухо отозвавшейся земли встает желтоватая пыль.

Упруго подпрыгивая, медленно едет «ГАЗ-69».

Под елочкой новых черных колес автомобиля лежит жесткая, посыпанная легким песочком, еще ненаезженная булыжная дорога. Дорога начинается от синеватого асфальта автомобильной магистрали; она желтеет посреди заросших канав и протоптанных в мураве тропинок большого села с его колхозной конторой, теплицей, скотным двором; она тянется под запылившимися уже ветлами и уходит в зеленые сплошь поля...

Автомобиль катится медленно, словно пробуя дорогу.

Кончается посыпанное песком полотно.

Под колесами автомобиля теперь тесно лежат сизые, серые и сиреневые булыжины, с выщербленной плоской поверхностью, с зазубренными краями. Впереди, где камни кончаются, работают дорожные рабочие.

Автомобиль останавливается. С переднего хозяйского места сходит Александр Иванович, председатель колхоза, следом, с заднего сиденья, лезет тучный, утирающий пот Петр Алексеевич — секретарь райкома.

Они идут рядом, и булыжник скрежещет под их подошвами.

— Скоро ли управишься? — спрашивает Петр Алексеевич.

Александр Иванович отвечает неспешно:

— Сегодняшний год доведем до Черной лужи.

— А в будущем?

— В будущем — до Выползова, на третий год — до Ляхова болота...

— Больно долго что-то.

— Полно! Жизнь, чай, не нами кончается.

Стучат о камень молотки дорожных рабочих. Рабочие стоят на коленях, подвязав к ним подстилки из мешковины, — иные на обочине большими молотками раскалывают округлые валуны, другие же, аккуратно потюкивая молотками поменьше, укладывают камни в щебеночное ложе дороги. Высланное щебенкой ложе сменяется пыльным проселком, который, мягко петляя в полях, исчезает под нависшими ветвями далекого тополя.

Тополь стоит весь белый от распутившихся сережек. Колеблемый ветерком пух падает на светлый шербатый булыжник. Тяжелый бензовоз ныряет под ветви тополя, унося с собой приставшие к железу опущенные семена.

Наступило еще одно лето.





---

СЕРГЕЙ ПОЛИКАРПОВ

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### ДЕТСТВО

Меня давно зовут мальчишки дядей.  
А может, мне сейчас всего нужней,  
Ни на кого с опаскою не глядя,  
Водить на свисте в небе голубей.

А может, мне нужней,  
Рубаху скинув,  
Прямой, как гвоздь, забить в ворота мяч  
И, оседлав лихую хворостину,  
По мураве витой пуститься вскачь,

И дать в галопе сердцу разгореться,  
Чтоб встречный ветер память взворошил...  
Страна забываемая, детство,  
Я никогда в ней, сказочной, не жил!

Житейскими заботами навьючен,  
Ее прошел я, наскоро и зло,  
И снегом переменчивым, колючим  
Следы мои на тропках замело.

...Плывут в куге с забытых лодок весла.  
На луг мальчишки выкатили мяч,  
А я такой непоправимо взрослый,  
Такой средь них непоправимо взрослый  
Хоть плачь...

### ЛЕТО

Промчалась ночь, как поезд скорый,  
Долину дымкой застелив.  
Рассвет налился над Дигорой  
Янтарным соком спелых слив.

И опираясь на подпорки  
Ветвями, как на костыли,  
Стояли вишни на пригорке,  
Рассвет приветствуя с земли.

Румяный, юный и счастливый,  
Селом шагает новый день.  
Как обожженная крапивой,  
Залезла тыква на плетень,

Достигла верхнего уступа.  
Смотри ты, даром, что толста!  
И, как спросонья, смотрит глупо  
На грядку вниз, из-под листа.

Подсолнух цвел широколицый,  
И прямо в самое село  
Катила спелая пшеница  
Крутые волны тяжело.

Ей не стоялося на месте,  
Была тоска ее суха.  
Комбайн ждала, как ждет невеста,  
Как ждет невеста жениха.

Орел парил над головою,  
Глаза слепила синева...  
Полями лето трудовое  
Шло, засучивши рукава.



---

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

★

## ЛЕТНИЙ СЕВЕР

\* \* \*

Сказал мне кто-то, что рубли,  
Одни рубли влекут на Север.  
Сейчас я на краю земли,  
Стоит июнь в тумане сером.

Лед отошал и полинял.  
Звенят натянутые нервы:  
Во льду чернеет полынья,  
А в полынье чернеют нерпы,

И где-то изнутри об лед  
Стучит залив темно и дико...  
Идет рисковый вездеход  
От острова в поселок Диксон.

Молчит водитель за рулем,  
Лишь холодеют капли пота.  
Каким оплатится рублем  
Его работа?

### ПОЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ

А мне — за тридцать,  
Мне за тридцать.  
От неудач и от побед,  
От бед и радостей клубится  
За мной тридцатилетний след.  
И верить я уже готова,  
Что я прошла все рубежи —  
От удивления простого  
До потрясения души.  
Но отчего исчезли грани,  
И отчего часы мне лгут?  
Где день?  
Где ночь?  
Все стало ранним,  
Глубоким утром на снегу.  
Стоит палатка на морозе.  
В углу радист одной рукой  
Стучит отрывисто на морзе  
О чем-то станции другой.



---

АЛЕКСЕЙ КОЖЕВНИКОВ

★

## ВИДЕНИЕ

*Повесть*

*Памяти моей жены  
Натальи Прокофьевны Кожевниковой.*

**Я** учился в маленькой слободке Пихтовая Елань, неподалеку от слияния Вятки с Камой. Населенная мелкими землепашцами, невысоким начальством, небогатыми лавочниками, слободка постоянно была тиха, как студеной зимняя ночь, когда все живое таится по домам. За пять лет я не заметил ни шумных скандалов, ни бесшабашного веселья. Всегда все одинаково, еле заметно, как в часах без боя.

И никак не ожидал я, что в этой сонной тиши могут нахлынуть на меня какие-нибудь волнения.

Начинался сенокос. В небе почти каждый день словно гонял кто-то на пустой телеге по булыжнику, из-под колес телеги сыпались молнии, падали на землю плотные отвесные ливни. Многие из слобожан вполне убежденно думали, что это катается хозяин дождей святой Илья, и молили его: «Батюшка, довольно поливать! Сено уже гниет!» Но дожди не утихали. Земля наполнилась досыта. Лишняя вода бойкими пенными потоками с веселым гульканьем сбегала по наклонным улицам слободки в Каму. Поля, сады, поемные камские луга, обнимающие слободку, и пихтовый лес за ними были душисты, как пчельник.

Я только что получил аттестат на звание сельского учителя. Он лежал глубоко под книгами и бельем, на самом доньшке баула, но ощущение лаково-гладкой, немнущейся бумаги ни на минуту не оставляло моих ладоней.

Шел девятьсот восемнадцатый год. Молодежь считала тогда своим главным делом войну за свободу и, не дожидаясь, когда позовут, записывалась в солдаты — кто к большевикам, а кто к белым: свободу каждый понимал по-своему. За последний год мы, одноклассники, возмужали больше, чем за все учебное пятилетие. Наши молодые стихийные антипатии сменились сознательной ненавистью, словесные бои — настоящими. Я записался к большевикам.

В ту же весну голод и война загнали в слободку компанию певцов, музыкантов, плясунов и фокусников. Появились афиши:

ЮБИЛЕЙ —

водевиль А. П. Чехова.

Музыка, пение,

танцы, декламация.

С участием столичных сил.

Я околачивался в слободке в ожидании попутной подводы, чтобы съездить в свой починок повидаться с домашними, был вполне свободен и пошел на спектакль.

В общественном саду, на шатких подмостках, сделанных из пустых бочек и нескольких взятых где-то калиток с петлями и скобами, сначала подвизались столичники: показали водевиль, фокусы, пели, плясали, читали, хохотали, а потом хлопали сами себе.

Но вот столичники выдохлись, на подмостки вышла воспитательница какого-то дошкольного заведения Леночка Новицкая, высокая, бледноватая девушка с двумя большими косами цвета увядших кленовых листьев. Уложенные венком косы еле умещались на голове. Она вышла читать под музыку.

Какой милой показалась мне после знаменитостей Леночка. И не одному мне. Она только вышла и остановилась у пианино, а ей хлопали уже больше, чем всей полудюжине столичников. У них все было неестественно, шумливо, кичливо. А Леночка явилась неподдельная, неловкая, стеснительная, тихая. Она стояла, низко опустив голову, до невозможности отягощенную волосами. Тонкие, худенькие пальцы стыдливо поглаживали поношенное платье из полинялого, неодинаково голубого ба- тиста. Сначала Леночка читала:

Мчатся тучи, вьются тучи.  
Неведимкою луна  
Освещает снег летучий.  
Мутно небо, ночь мутна...

Чтение заглушали хлопками, потом поднялись вопли «бис!». Я неистовствовал, пожалуй, больше всех, и все-таки мне казалось, что этого недостаточно. После «туч» Леночка начала читать «Цветы осенние милей...»

И тут меня осенило: цветов, больше цветов! Я кинулся в тенистую глубину сада, лишь кое-где скупо освещенную потухающим закатом, нахватал как попало большой сноп чего-то бело-лилово-сине-зеленого, охмеляюще душистого и положил к ногам Леночки. Потом во избежание скандала отошел в темноту, за кусты, и до конца спектакля стоял там, никому не видимый.

На следующий день я нашел Леночку в том же саду. Она гуляла с детишками и была еще милей, чем накануне: в синем халатце, белоснежном платке, с любовной озабоченностью на лице, как счастливая мамаша.

Я появился как бы случайно и сказал:

— Мое почтение, Леночка!

— Спасибо! — ответила она машинально, потом взглянула на меня и добавила: — Только я... не знаю, не помню вас. Кто вы?

— Николай Тимошкин.

— Тимошкин... — Она виновато улыбнулась, закивала на детишек, шаловливо убежавших от нас, и сказала: — Извините, мне надо к ним.

— Нам по пути. — И я увязался за Леночкой.

— Николай Тимошкин... — Она пожала плечами. — Не знаю, не слышала...

— Сказать, что знакомы, нельзя, пожалуй. Я видел вас на спектакле. Вы замечательно читали Пушкина.

— Вон как... А я ломаю голову: почему сегодня кланяются совсем незнакомые люди? И чего так хлопали мне? Какой-то чудак завалил всю сцену цветами, поднес целый сад.

— Немножко поменьше, одну только клумбу.

- Откуда вы знаете?
- Идемте налево!
- Здесь? В этом саду?
- Идемте, идемте!

Бог мой, я загубил почти всю большую клумбу, а то, что осталось, было поломано, потоптано, увяло.

Леночка задумчиво постояла над искалеченной клумбой, как над могилой, потом в ужасе шепнула:

- И мой букет отсюда?
- Да.
- И вы видели... видели и не остановили того сумасшедшего?
- Почему же сумасшедшего?
- А кто он, по-вашему? Да неважно кто. Важно, что цветы отсюда.

Спасибо, что сказали!

Она окинула меня таким взглядом... В нем было удивление, любопытство, усмешка. Затем поставила стабунившихся детишек по двое и повела дальше.

Я остался у клумбы и наконец понял, в каком постыдном, глупом положении оказался. Думал, положу под ноги Леночке копну цветов — пусть чужих, но получится небывало и вполне извинительно для молодого человека, уезжающего на войну. Об этом будут долго вспоминать и Леночка и вся Пихтовая Елань. А вышло, что я искалечил общественный сад.

Избегая людей, пустующими боковыми аллеями я ушел из сада, взял в школе багажишко и, не дожидаясь подводы, пустился в свой починок. Невелико дело — полдня пути. Шел и клял себя, что сам же упустил знакомство с Леночкой. А началось так легко, мило. Поклонился, улыбнулся, сказал: «Леночка, я запомнил вас на спектакле». И все. Не надо было губить клумбу, и совсем уж глупо — похвалиться этим.

Как же поступить дальше? Написать извинительное письмо или совсем не напоминать о себе? Сначала думал честно, мужественно извиниться, потом взяло сомнение, надо ли. Что значат для Леночки мой букет и я сам? Цветы она выкинет, а заодно и меня вон из памяти.

С этими думами я незаметно отмахал весь путь. Вот и наш починок. Шесть темных изб под темной, сгнившей соломой. Они выехали недавно из большого села и назывались пока почти безыменно — Выселки. Около них узенький ободок полей. Дальше лес, плотный, высокий лес, вечно окутанный сизой мглой, как бы дымом. Неба из поселка виден небольшой лоскуток, будто со дна колодца. Везде лес, а избенки маленькие, в два окошка, — кажется, толкни плечом, и упадет избушка с холма в лощину. Лес считался казенным, даже валежник отпускали по билетам, за деньги.

В доме были только мама и два малолетних моих племянника. Мама стала совсем хиленькая, ходила зыбкими, медлительными шагами, часто хваталась за левый бок, голова у нее вихлялась, из-под седых волос сквозила синеватая кожа.

Мы сели на лавку. Мама, почему-то волнуясь, лепетала несмелым шепотом:

— Как дошел? Почему не известил загодя? Могли бы выслать лошадь.

Наконец я понял ее волнение и показал аттестат. Она долго гладила его, похвалила толстую надежную бумагу, потом сказала:

— Погляди за мальцами. Я схожу позову отца. Он тут недалечко лес валит. Нас ведь наделили лесом, всех наделили. И бесплатно, без копеечки.

— Я помоложе, сам позову.

— Нет, нет! — Мама испугалась чего-то. — Вместе пойдем, вместе. — И начала толкать маленьких на полати. — Одни посидят. Ты сидел ведь. Помнишь? С тебя пошло это. Сначала около себя нянчила, маялась. Сама-то обо всем не догадаешься. А надоумили соседи насчет полатей, и какое стало облегчение!

Можно ли забыть, когда несколько зим, чтобы не застудиться на полу, я жил на полатях. Там гладенькими тычинками без сучка и заусеницы отделили для меня угол. Получился точь-в-точь телячий загон. Тогда я не видел этого сходства, но если бы и заметил, то не посчитал бы обидным. Всех маленьких — телят, котят, щенят и дитят — я ценил одинаково и любил этот загончик больше всех уголков нашего дома. Он был мой, только мой. Я стаскивал в него валенки, лапти, шишки, лучину. Валенки у меня становились лошадьми, лапти — телегами, санями, шишки — овцами, телятами, мешками, снопами, лучина — досками, кольями. Я возил, катал, волочил все это по полатам и думал, что пасу скотину, езжу в лес, в поле, на мельницу — словом, живу, как настоящий мужик.

С телячьим загончиком связана и моя самая большая детская обида. Наш сосед ставил новый дом. Мой отец и дядя жениховских лет помогали ему. По этому случаю я свободно гулял по соседскому участку, а потом ставил свой дом в загончике. Недели две тянулась эта увлекательная жизнь. Но вот плотники на кончинах выпили. Сильно хмельной дядя залез на полати и начал скандалить с моим отцом, чтобы его женили.

Мама глядела на икону и жалобилась: «Господи боже, надоумь глупого. Ему надо в солдаты идти, а он задумал жениться». Дядя шатал хлипкую стенку моего загончика и бубнил: «Же-ени!.. Же-ени!.. Не женишь, сломаю Колькино жильё». Я выл что было мочи. Мне казалось, что гибнет все. Отец ходил по избе с кнутом и не знал, что делать: то кидал его на лавку, то хватал снова и поднимал к полатам — может, на дядю, а может, на меня.

Дядя одолел, его согласились женить. Отоспавшись, он начал улаживать мой поломанный загончик, а я от счастья бил себя ладошками по животу, как в бубен, плясал и гикал.

На лесосеку мы пошли вместе с мамой. Аттестат несла она, на лесосеке подала его отцу и молвила счастливо:

— Вот. Слава те, господи!

Соседям коснуться его не позволила, они поглядели только издали. Отец похвалил меня: «Молодец!» Чужие отнеслись кто неясно, кто с видимой завистью.

— А служить бы — в наше село, — вслух помечтала мама и оглядела всех. — Ну, какова Федосья Николаишна? Сама ни буквы не знает, а сына в учителя вывела. Кто толковал: «Попусту, Николаишна, хлопчешь, лапти бьешь»? Что замолчали?

Пошли домой. Там мама положила мой аттестат на божницу, за иконы, взяла два мешка и начала шить из них мне сеники. Видеть маминны хлопоты и знать, что все это только на одну ночь, было невыносимо, и я допоздна шатался в лесу. На следующий день встал вместе с мамой.

— Ты чего, бессонный? Спи еще! — сказала она.

— А мне надо уходить. Я записался в солдаты.

— Куда записался?

— В солдаты к большевикам.

Мама пошатнулась, охнула, у нее что-то сделалось с ногами. Я помог ей дойти до лавки. Она откинулась на стену и заплакала булькающим



голосом, таким беспомощным и жалким, что и у меня подступили слезы. Я низко опустил голову. Мама начала гладить меня.

— Ну скажи, зачем идти, пока не зовут? Многие ходили, а что в́ыходили?

Да, было такое. Мой отец получил на войне с немцами контузию, стал сильно заикаться и вечно жаловался на головную боль. Дядя, что ломал заго́нчик, сгинул без вести, даже никакой бумажки о нем не получили.

— А мы тут с кем будем? — причитала мама. — Мы-то думали: выучим тебя, а потом ты о нас позаботишься.

Я начал убеждать ее:

— Сейчас главные дела на войне делаются. Ты думаешь, все наше здесь, в Выселках. Сейчас наша жизнь от войны зависит. Не будет победы — не будет и жизни.

Но как ни силился втолковать, что минувшая война была чужая нам, за богатых, на нее действительно не надо было ходить, а новая война — наша, ведется за свободу и счастье бедных, эта война святая, мама знала одно: из нашей семьи ходили двое, и довольно. Мне соваться незачем. Не одни мы на свете. Пускай воюют, кто не был.

— Да не могу, стыдно, немислимо сидеть где-то в щели клопом, когда мы сами свою судьбу делаем, на века делаем, — зашумел я.

Мама взглянула на меня, поняла, что и слезы и слова будут бесполезны, и молвила жалобно: «Да уж знаю. И за что наказал господь таким сынком?» — потом заковыляла готовить меня в путь. Уложила в баул две смены белья, длинное вышитое полотенце, хлеба, ниток, иголку.

За обедом я объявил, что должен немедленно уйти из дома на войну. Все внимательно поглядели на маму. Она сидела печальная, но готовая отпустить меня. И никто ничего не сказал. Только все ниже склонились над столом, да жена погибшего на войне дяди подхватила самого маленького своего дитенка и выбежала с плачем в сенцы. Все уже давно согласились, что мою жизнь ведет одна мама.

Началось это пять лет назад, когда отец и мать задумали отдать меня в большую науку. Отец хотел, чтобы я учился в ближайшем селе, где была сельскохозяйственная школа. Меня тянуло дальше, в Пихтовую Елань, где готовили учителей.

Мама согласилась со мной: иди, куда зовет душа.

Поступить в еланское училище было нелегко, и я закопался в книжки. Отец, догадываясь, что у меня с мамой тайна, мы думаем обойти его волю, частенько командовал: «Колька, довольно возжаться с книжечками, подь в хлев, задай лошади овса!»

И, если бы не мама, я, конечно, оставил бы книжки. Неспособная по своей тихости заступиться словом, она взяла на себя мою долю обязанностей по хозяйству. Чуть кто заикнется: «Это Колькино дело!» — она тотчас встанет и сделает.

Одной августовской ночью тайно от отца она вывела меня за околицу. У столба с иконкой Николая-угодника; где в засуху служили молебны о дожде, мы остановились. Мама сняла иконку, благословила меня и сказала:

— Иди с богом!

Я сделал шагов двадцать и оглянулся. Мама стояла. Остановился и я. Тогда она еще долго шла вместе, ласково подталкивая меня в спину.

— Иди, не бойся. Твоя судьба там.

Что виделось ей в ту августовскую ночь за темной далью пихтовых лесов? Что намечтала она для меня?

И вот снова с походным баулом я за околицей Выселок у столба с иконой Николая-угодника. За мной вышла вся семья. Мама опять снимает икону и благословляет меня. Я давно не молюсь ни богу, ни святым его, но тут склоняю голову. Не хочу обижать маму. А потом иду дальше уже один. Мама не может, она еле стоит. Чтобы не упала, отец и вдова дяди подхватили ее под мышки.

Сказать честно, я недолго отдавался печали этих минут. Уходя с моих глаз, отчий дом уходил и из памяти. В слободку я заявился, целиком полоненный думами о Леночке.

Меня одели и обули в военное, в газете напечатали мой фотоснимок как вольнозаписавшегося в солдаты. Это сильно подняло мою смелость, и я пошел к Леночке на службу. Там сказали, что у нее свободный день. Я пошел на дом. Пожилая женщина с надменным лицом доливала воду под большущий букет, стоявший на обеденном столе, — может быть, мой букет.

— Мне нужно видеть Леночку Новицкую, — сказал я.

— Ле-ноч-ку? — Женщина стала еще надменнее. — А вы кто такой?

— Знакомый.

— Незнакомые к нам не ходят.

— Николай Тимошкин.

— Ти-мош-кин? — По ее лицу скользнула насмешливая улыбочка.

— Да. Тимошкин.

— Советую обзавестись более звучной фамилией. Сейчас благо меняют их легко.

— Зачем?

— С этой вас никто никогда не будет уважать, — отчеканила она.

— Почему?

— Тимошками зовут только мужиков да кошек.

— Я из мужиков и отказываться от них не хочу. А вы из каких?

— Мой покойный муж, Леночкин отец, был волостным письмоводителем. Так что сказать Елене Всеволодовне?

— Скажите, что был Тимошкин.

— Это я уже знаю. А еще?

— Больше ничего не надо.

Пока мы объяснялись, меня, не утихая, облаивала из-под стола маленькая, с кошку, но удивительно скандальная собачонка.

Я неумело, косолапо щелкнул каблуками. Мать Леночки шла за мной, как за цыганом, до калитки и потом долго глядела вслед.

Нашел я Леночку спустя несколько часов у Камы. Она гуляла с каким-то гимназистом. Я сделал вид, что оказался тут случайно, иду сам по себе, и поклонился слегка, почти незаметно. Но Леночка заметила.

— А Тимонин... — Весело кивнула головой. — Так это вы заходили к нам? А я сказала маме: никакого Тимонина военного не знаю, знаю только штатского.

Леночка отступила вбок, мы с гимназистом оказались лицом к лицу.

— Познакомьтесь! Это Тимонин. Сегодня в газете... Вам очень идет военное. Но как оно меняет вас. Я долго гадала над фото: вы — не вы. Куда вы исчезли тогда в саду? Исчезли на полуслове.

Я подумал было, что лучше сослаться на дело и уйти, но гимназист обогнал меня. Он сказал:

— Может быть, Елена Всеволодовна, отложим нашу поездку?

— Да, да, — охотно согласилась Леночка и объяснила мне: — Мы хотели покататься на лодке.

— Я, значит, помешал?

— Ни чуточки. У нас еще целое лето.— Она помахала уходившему гимназисту одним указательным пальчиком.— Гуд бай!

— Елена Всеволодовна, извините меня! Я не должен был... Тогда о цветах я сказал лишнее... Мне очень больно.

— До свадьбы далеко, заживет.— И Леночка засмеялась.

Я невольно отшатнулся — так не вязался этот смех с недавней печалью. И Леночка, видимо, поняла это, стихла и потом, задумавшись, долго глядела на взволнованную, шумно плескавшуюся Каму.

— А все-таки кто же он, тот чудак? Сунул букет и убежал,— еле слышно молвила она, словно только для себя.

— Я, Леночка, я.

Она не стала осуждать меня, как ожидал я, а хлопнула ладошками и сказала весело:

— Отлично, замечательно! Вы молодец! Никогда не забуду этого. Ну, доставайте лодку! Я хочу кататься.

— Значит, я могу быть спокоен?

— Довольно об этом, довольно, смешной мальчик!

— Смешной? Чем же?

— Совсем не знаете девушек.

— Может быть,— согласился я.

— Не может быть, а явно. Это лучше. Это так мило.

Мы уехали за Каму. Леночка читала веселые сценки из Чехова. Пожаловалась, что спектакль, помимо букета, подвалил ей целый воз всяких неожиданностей: столичные звезды завидуют, шипят, язвят. В лице у нее появилась та же надменность, что была у ее мамы.

Помечтала, что, как только в Москве станет посытней, обязательно поедет учиться в музыкальную студию. У нее находят талант. Но одним талантом, одной божьей милостью много не сделаешь: надо учиться. А чуть погода начала отказываться от этих мечтаний:

— Никуда не поеду, останусь со своими детишками. Только зайкнись, что будет! Все в один голос: «Тетя Лена-а!..— Она плаксиво надула губы.— Тетя Лена-а-а!» Нет, не могу оставить их.

Потом мы долго гуляли в саду. Там увязался за нами будто бы знаменитый певец из столичных, Виленский, потом две девушки с тупо счастливыми лицами. Леночка всем сообщала обо мне, настойчиво изменяя мою фамилию:

— Тимонин. Читали, видели сегодня в газете?

После еще катались на лодке. Но получалось все как-то нескладно. Мне хотелось побыть наедине с Леночкой, а около нее вилась целая компания: гимназист, девушки, певец, инвалид войны — капитан. Она не имела мужества отделаться от них, а может быть, не хотела.

Что находила она в этих людях? Девушки были как на заказ нескладные, веснушчатые, певец — лупоглазый, глупый хохотун, инвалид — бывший капитан — знал только «да-с, нет-с, так точно, слушаюсь».

Меня Леночка выделяла, одному мне позволяла водить себя под локоток и шутила, смеялась больше со мной, но мне хотелось, чтобы только со мной.

Настал день моего отъезда. Нас, человек сто, повели на площадь. Следом шли колонны сочувствующих большевикам. На площади был митинг. Леночка стояла в колонне учителей, немножко склонившись, в белом платочке. Во всем ее облике, тихом и задумчивом, была щемящая душу печаль.

Когда мы двинулись, Леночка оставила колонну, подошла ко мне и шепнула:

— С тобой идет кто-нибудь?

— Да вот все.

— А особенно?

— Нет.

Тогда она взяла меня под локоть. Меж Пихтовой Еланью и Камой лежала нескошенная луговина. Мы с Леночкой шли по ней одни, поодаль от людской массы. Леночка подавала мне цветы и шептала:

— Это на счастье. Это на память. Это на любовь.

Я хотел много-много сказать, но побоялся спугнуть ее ласковый шепот.

Нас увезли в Казань, назначили по воинским частям. В нашем батальоне я оказался самым низеньким, меня поставили на левый фланг последним. Мой сосед, Матвей Клягин, вытянулся как только мог, выпучил глаза, стукнул каблуками и сказал:

— Почтение моему заместителю!

Я понял, что он вышучивает заядлых служак, тоже вытянулся, выпучился и ответил:

— Почтение начальнику!

— Отставить! — Матвей мотнул чубатой головой — в те годы все солдаты могли носить длинные волосы. — Познакомимся! Как зовут?

— Николай Тимошкин.

— Будешь Николай Малыш.

— С чего это?

— По наследству. Я звался Малышом. Сейчас левый фланг твой, и Малыш будет твой.

— Ладно, пускай.

— Давно служишь?

— Без году неделя.

— Вот это Наполеон! — Матвей шутливо отдал мне честь.

На ночь он потеснил своих соседей, освободил для меня местечко, и так пошли мы надолго вместе. Я в нем нашел опытного учителя, он во мне — послушного ученика. Эти отношения установились с самого начала нашего знакомства. В одну из свободных минут я сел почитать. У меня в вещевом мешке всегда были книги. Матвей взглянул на заголовок — «В. Маяковский. «Облако в штанах» — и сказал:

— Штаны надевать мы кое-как умеем. Вот об онучах тут есть что-нибудь?

Я подумал, что ослышался, но Матвей сказал вновь:

— Есть об онучах?

— Какие тебе онучи, не мешай!

— Нету? Тогда сунь эту науку в мешок!

— Отстань, Матвей! Хочешь болтать — ищи охотника.

— Сунь в мешок! — Он потянулся за книжкой.

Я оттолкнул его.

— Ладно, обуйся в облако. — Он засмеялся и отошел.

Мы тогда были в походе. Я набил мозоли на ногах, еле тащился и клял все на свете. Матвей был точно глух и слеп. Потом, когда у меня дошло до того, что хоть ползи, он сказал нашему отделенному, сказал во весь голос:

— Позвольте мне и Тимошкину остановиться!

— Зачем?

— Тимошкину надо обуться как след.

— А тебе?

— Помочь ему. Он не умеет.

На меня оглянулись удивленно и насмешливо, пожалуй, человек с полсотни: нечего сказать, боец. Отделенный кивнул: можете. Мы отстали. Я снял сапоги. Матвей оглядел мозоли на моих ногах искомандовал:

— А ну, обувайся!

Я замотал ногу.

— Не так. Ух ты, безмозглая лапота, гнилое мочало, в онуче запутался! — зашумел Матвей, потом снял с себя один сапог и показал, как надо наматывать онучи.

У него получалось гладко, плотно, а у меня складками. До солдатчины я не хаживал в сапогах: дома носил лапти, в училище — ботинки. В лаптях складки на онучах почти не мешали, и я думал, что они неизбежны.

На ночевке Матвей взял мой мешок, вывалил всю поклажу и уложил снова. «Облако» сунул к спине.

— И почитать можно, и спине ловко, а дочитаешь — пустим в дым. Это уж не вещь, если от нее всего одна польза.

Счастье мое, что жизнь поставила нас плечом к плечу. Матвей научил меня обуваться как нужно, что очень важно для солдата, скачивать шинель, чинить одежду, окапываться, угадывать по звуку, откуда бьют пушки, пулеметы, винтовки. И еще многому.

Суховатый, маленький, он всегда был спокоен, весел, подвижен. До войны он стоял у плавильной печи на одном из камских заводов и в войне остался таким же: не считал ее ни бедой, ни ужасом, а делом нелегким, но вполне посильным для умелого человека.

Матвей был запевалой нашего батальона и песен знал уйму: заводские и сельские, унылые и боевые, давние и новые. Иногда такую затянет, что никто в батальоне не слыживал.

Мы постоянно удивлялись: где только выкопал? «Больше всего у баб и девок», — отвечал он. Щуплого телом, его долго считали малым и в годах. Затеют бабы с девками посиделки, гаданье, пойдут ли купаться или по малину в лес, больших гонят от себя, а Матвейке можно. Вот и наслушался.

Спокойный, невозмутимый во всем, пел он с душой, со слезой, будто всегда о себе. Пожалуй, так и было: для нас в песне — Пугачев, ямщик, молодая вдова, покинутая невеста, а для него в каждом слове и вздохе он сам. И потому, быть может, мы никогда не видывали его в жизни унылым, печальным, усталым — уныние, усталость, печаль уходили в песню.

Наш батальон подходил к заводу, где у Матвея жили отец и мать. Из тысячи нас уцелело человек пятьсот и становилось все меньше. Не столько гибло в боях, сколько валил тиф. Каждый день несколько подвод увозили больных в тыл.

Кто-то пустил слух, что мы все больны тифом, но пока в тайном виде. А потом и нас оставят по больницам, закопают в лесах, в степях — словом, кому что выпадет. Нам казалось это глупой выдумкой. Ведь самые молодые из нас воевали уже больше года с белыми, исколесили вятские, камские, волжские леса, болота, снега, побывали в десятках боев и все-таки уцелели. А многие испытали до этого огонь немецких пулеметов и гаубиц, штыковые и газовые атаки. И как может нас, таких, свалить какой-то тиф! Нет, не погибнем мы так обидно! Мы сломим всех — Колчака, Деникина, Антанту — и будем жить еще долго-долго в неслыханном счастье. Мы чувствовали себя неуязвимыми, вечными.

Все очень туманно видели ожидающее нас счастье, но не беспокоили-

лись об этом. Надо будет — счастье можно сделать всякое: оно ведь целиком в нашей воле. А многие думали, что и не будет нужды заботиться о нем: кончим войну, победим белых, и оно явится само собой.

Я свое счастье видел обязательно связанным с Леночкой. Иногда меня беспокоило, что она не отвечает на мои письма, но утешение находилось легко: Леночка могла уехать в музыкальную студию, и письма могли заплутаться в сумятице войны.

Шли мы с тяжелыми боями, то подходили совсем близко к дому Матвея, то откатывались от него. Почти месяц тянулось так. Не знаю, что испытывал Матвей. Он молчал об этом, был, как всегда, спокоен, весел, только заметно меньше пел.

Наконец холм, где стоял завод, оказался весь на виду. Мы бились за него два дня. Белые, отступая, подожгли завод и поселок. Когда мы заняли их, там всюду темнели кучи углей и золы, что-то дотлеvalo не спеша, как тлеют свалки, и чад был свалочный, тошнотный, чад тлеющей одежды, кожи, костей.

Наш батальон остановился на главной площади, в домах убежавших купцов и заводчиков. Мы с Матвеем кинулись в боковые улочки. Вот наконец то, что нужно, — низенький, полусгнивший дом буквой П.

Матвей окинул себя печально-насмешливым взглядом и сказал:

— Ну, явился сыночек.

Вид у него был самый неказистый: одевка в заплатках, на ногах — лапти, на лице — толстый слой боевой и походной пыли.

— Ничего, сойдет, — начал утешать я.

— Нам с тобой ничего, мы все чумадые. А вот папаше с мамашей каково? Из дома-то сынок ушел в сапожках лаковых, а домой явился в лыковых.

Везде было пусто, окна под занавесками и ставнями. Мы надеялись, что скользнем незаметно в Матвееву клетушку и уже потом, умывшись, почистившись, явимся на люди. Но это не сбылось. Одна из занавесок колыхнулась, и выглянула девушка, заплетавшая темную косу. Увидев нас, она схватилась за косяк, потом высунулась больше.

— Матвей! Ма-атве-ей! Матвей!

Ее голос изнемогал от удивления и счастья. И в тот же миг она сама выскочила к нам, обхватила Матвея за шею, начала целовать ему лицо, гладить плечи, шинель.

Сбежались люди, качали головами, ловили мой взгляд. Но я озадачен был не меньше их: Матвей никогда не делился со мной, что у него есть жена или невеста. Толпа качнулась, отступила. К Матвеем подошли отец и мать. У них были такие же ничего не понимающие глаза и лица. Матвей обнял мать, отца и так ушел в дом. Я — за ними. Девушка ушла в свою комнату.

Нам с Матвеем дали чистое белье, поношенные, но еще способные служить сапоги. Мы выкупались, почистились. Потом Матвей уходил куда-то. За обедом он сказал:

— Я надумал жениться.

— Женись, мешать не станем, — молвила мать. — На ком же, сынок?

— Неужели, мамаша, не видишь?

— Да вижу, вижу. Бог вас благословит. Даша — девушка истовая.

— Если угодил, тогда давайте готовить свадьбу.

— Это когда же?

— Сегодня, сейчас.

— Да что ты? — Мать отодвинулась от сына. — Окстись!

— Так надо, мамаша. Могут в любую минуту объявить поход. Садись, мамаша, на лавку и наставляй, как и что надо. А мы будем делать. Ты, папаша, иди звать гостей!

Свадьба получилась веселая, легкая. Ни слез, ни печали, ни скучной важности. Всю ночь песни, пляс. Матвей тешился больше всех. То сыпал побасенки: «Жених у нас богатый, все пазы в доме забиты подушной ватой. На полу, на печке, по лавкам и закуткам малые дитятки валяются, соплями умываются». То плаксиво вышучивал невест: «Милая моя мамынька, свет моя ненаглядная, не вели под венец вести, вели вечно девичествовать». То плясал и пел, как пьяная сваха: «А солод-то на овине, а хмель на тычине. Тычинушка сподломилась, и хмель опустил. Опустился, споклонился на самую землю».

На следующий день я снова был в походе. Матвей получил отпуск. Даша насовала мне в вещевой мешок яиц, масла, всякого печенья, выпивки. Матвей шел со мной до околицы заводского поселка и дал слово, что после отпуска обязательно догонит наш батальон.

Я высказал ему свою обиду:

— Слово ты уже давал, помнишь, ничего не утаивать и все-таки таился.

— Когда, в чем?

— Ни гу-гу о Даше.

— Было бы чего сказывать. Я и не думал, что она ждет, думал, давно замуж вышла. Была она для меня как любой мальчишка. Постойм у калитки, на гулянку вместе ходим — и все. Я и не знал, любовь ли у меня к Даше или она по-соседски, по-свойски памятна мне. И Даша не знала. У нас любовь потом появилась, от одиночества.

Подошла осень. Летели холодные косые дожди. Я не знаю дождей хуже этих: как надежно ни одевайся, ни застегивайся, обязательно найдут щелку, долезут до тела.

Вся земля стала болотом. Ноги увязали по щиколотку. Все кожаные вещи у нас отмякли до того, что, казалось, можно жевать их, как пастилу, а все тканые стали жестки, как листовое железо, и тесны. От швов у нас в подмышках и на плечах появились болючие мозоли и надавыши.

Мы шагали по десяти — двенадцати часов в сутки. Нас отводили в глубокий тыл на отдых. Не знаю, в чем находили силу все иные, а меня несла мечта о счастье, о свидании с Леночкой. Для отдыха нам было назначено место, близкое к Пихтовой Елани.

Тиф, между тем, делал свое губительное дело. На блеклой осенней земле после наших дневок и ночевок оставались вместе с темными ожогами свежие могильные холмы. То песчаные, то глинистые, они казались мне издали садовыми клумбами одуванчиков, ноготков, маков, чудесно зацветших в дни общего увядания и листопада.

Тот день был немножко затуманен, но без дождя, с холодком. Идти бы да идти, а я кое-как тащился. Спина гнулась под вещевым мешком, где и поклажи всей — мамино полотенце, кусок мыла, несколько пачек табаку и две книги: утопии Беллами и Богданова. Мои суставы ныли, волосы взмокли от пота, веки так отяжелели, что поднять их не хватало силы. Я шел как сонный.

Мы остановились на ночлег в дубовом лесочке. Не снимая ничего, я лег на палый дубовый лист. Не помню, как заснул, долго ли спал. Мне кажется, только опустил голову, даже ног не успел вытянуть, а солнце опять поднялось над землей и жжет меня всем своим огненным пылом.

В батальоне, стоявшем цепочкой, выкрикали всех по фамилиям. Я хотел подняться, чтобы занять свое место. Но тут голубой небосклон вместе с солнцем откатнулся, будто маятник больших-больших часов.

Батальон, дубовый лесок — и меня обступила плотная темная ночь. И в ночи кто-то позвал:

— Тимошкин Николай!

— Болен, — отозвались ему.

«Кто же это? — подумал я. — Должно быть, мой однофамилец. Жалко, не знал, что у меня есть тезка. И вот заболел. А я иду сейчас». И начал отталкивать ночь, тьму. Хватал ее, как сено, охапками, откидывал, бил ногами, головой и наконец освободился. Опять стоял везде холодноватый день с желтым солнцем, голубым небом и с белым инеем на дубах. Батальон уходил в луга, под одинокое сине-фиолетовое облако.

Я оказался почему-то в телеге на жесткой, необмятой соломе. Телегу сильно качало, и мне показывались то белые заиндевелые леса, то синий-синий купол далекой колокольни.

Возле телеги шел костлявый волосатый дед в худом пиджаке цвета золы. Он поминутно хватал вожжи и понукал лошадь: «Н-но, убога... Топай! Топай!»

Знакомое дело, и все-таки было удивительно: неужели это явь, неужели со мной? Потом охватила злость на свою судьбу: зачем выпустила на свет? Зачем манила любовью и счастьем, отвела штыки и пули? Чтобы отдать на съедение вшам? Нет, не будет этого. Я солдат и лучше погибну в бою.

Я схватился за вожжи. Лошадь взметнулась, телега склонилась набок. Еще секунда, и я был бы на земле. Но дед оказался бойкий: схватил меня за плечи и так стиснул, что у меня все ослабло, онемело. Отдышавшись, я сунул голову в колючую солому. После того чудовищного, что сделала со мной жизнь, я не хотел видеть ни неба, ни солнца — ничего.

Исходить половину Поволжья, все Закамье, уцелеть в десятках боев — и погибнуть от тифа, погибнуть в двадцать лет, накануне победы, не увидев больше Леночки. Это ли не обидно?!

Телега ползла медленно, как вошь. Уже начало темнеть, а колокольня все еще была далеко. Ночью подуло стужей, и почему-то не зажглось ни единой звезды. Я глядел в небо, спустившееся темным пологом до дуги, и злился: вот и отлично, что эта ночь как могила. Холод, темь, и никакого снисхождения. Никто уж не скажет: «Ему выпала завидная судьба: он погиб за святое дело, и в последние минуты жизни над ним сияли вечные звезды».

Бесконечно долгой и жестокой, дольше, жесточе войны показалась мне ночь. Тьма, холод, тоска, и никакого снисхождения.

Когда немножко забелело, я уснул. Но вот какой-то мучитель больно вцепился мне в плечи и начал бубнить:

— Эй, хлопец, вставай! Жив ли? Неужли кончился? Да нет, сопит маленько. Вставай, доехали!

А-а, все тот же надоедливый дед. Он всю ночь не давал мне покоя, все понукал лошадь: «Н-но, убога, топай, топай!» Поминутно хватался за вожжи и, неловкий, иногда больно толкал меня костлявыми локтями.

Помогая мне выползти из-под соломы, дед похмыкивал довольно и утешал меня:

— Вот, значит, полдела сделано, ночь эту самую сплавил. Остальное здесь, в больнице, доделают. Мне домой надо. Я налегке, полетнему выехал. А ночью-то снег как хлынет, целая зима свалилась. Глянь-ко!

Он помог мне сесть. Телега стояла на площади незнакомого села. Дома, земля, плакучие ветлы — все было под снегом. И на чашах



больших уличных весов лежало по пластику снега, одна чаша опустилась немного ниже.

— Видишь? А я, почитай, весь голый, как матушка на свет выпустила.— Дед зябко похлопал ладонью о ладонь.— Поспешил ты заболеть-то. Подождал бы всего один денек, ух, как отомчал бы я тебя на санках!

Он ушел куда-то. Я повалился на солому. Потом он еще бубнил, но я уже не мог понять его. Снова была везде угольно-темная, пустая, тихая ночь.

Не знаю, как снимали меня с телеги, везли, а может, несли, мыли, одевали в больничное, укладывали на койку. Все это запомнилось так. Я очутился почему-то на куполе колокольни, поскользнулся и упал вниз головой. Падал долго-долго. Уже звенело в ушах, остановилось дыхание, голова была готова лопнуть, а я все падал. Но так и не достал дна. Потом и темная яма, куда летел, и звон в ушах, и я сам — все исчезло.

Снова дало мне жизнь легкое касание чего-то необыкновенно нежного, будто цветочного лепестка. От этого по всему моему телу, оживляя его, плыл холодок. Я шевельнул веками и понял, что вижу. Надомной стояла женщина в белом халате, ее тонкие ласковые пальцы ощупывали мой лоб.

Я не заметил, какое у нее лицо, глаза, волосы, она показалась мне безликим туманным видением. Склонившись пониже, она шепнула (я понял это больше по ее губам, чем услышал):

— Ну, как мы себя чувствуем?

Я схватил ее за кончики пальцев. Она, видимо, поняла, что я хотел сказать «не уходи», и побыла довольно долго. Уходя, она шепнула уже слышней:

— Мне надо дальше. До свидания! Лежите спокойно, не буяньте!

Я потянулся за ней. Все во мне сошлось в одном желании бесконечно, вечно глядеть на нее. Откуда-то взялись силы, и я встал, но споткнулся обо что-то и упал снова в бездонную тьму. Падая, услышал еле шелестящий голос:

— Тихо, тихо. Не надо волноваться. Вам нельзя.

В неясном тумане уплывающего видения мелькнула на миг Леночка.

Очнувшись, я увидел маленький светлый колокольчик на тумбочке у своего изголовья. Долго сирил, пока наконец понял, что лежу в больнице и колокольчик поставлен мне вызывать сиделку.

Я вспомнил мое видение и стал оглядывать палату. В ней была одна койка. Свою я позабыл сосчитать. На этой койке тихо спал бледный мальчик. Всю палату заливал белый, с голубизной, свет зимнего дня. На тумбочке у выхода лежало вязанье со спицами и клубочек синих ниток. Значит, за нами кто-то наблюдал, но вышел. «Может быть, она, Леночка», — думал я, глядя на выход.

Из-за стенки слышались голоса, шаги, звяк посуды.

Белый свет начал голубеть сильнее, день уже доходил, а в палату никто не являлся. Надо вызвать. Каким тяжелым показался мне маленький школьный колокольчик! Я взял его, но колокольчик выскользнул и звонко покатился по полу.

Послышались неодинаковые, неслаженные шаги, как бы шли двое: легкий, ходкий и тяжелый, медлительный. Явилась миловидная девушка или женщина, бог ведает, с искаленной спиной и костлявыми, слишком поднятыми плечами. Я молчал. Видимо, по моей тумбочке — на ней не было колокольчика — она догадалась, что звал я, подошла ближе, склонилась, как та, мое видение, и сказала:

— Ну, как мы себя чувствуем?

— Ничего. Уйди! — сказал я и, должно быть, так дико поглядел на нее, что она отшатнулась. Она стояла молча, испуганно поводя большими печальными глазами. А я шипел: — Уйди! Не мешай! Ничего не надо.

Она ушла, почему-то пятась и не спуская с меня глаз. Но почти тут же явилась снова. С ней была полная, важная пожилая женщина в белом колпаке. Убогонькая показала взглядом на меня. Важная под села к моему изголовью, склонилась ко мне усталым, озабоченным лицом и сказала буквально то же:

— Ну, как мы себя чувствуем?

Меня охватила злоба: они издеваются надо мной. Я зашипел:

— Дайте мне мою одежду. Я не хочу лежать здесь.

— Надо немного подождать. — Важная помяла, выслушала, выступала меня и обнадежила: — Все идет отлично. Побудете у нас недельку — и выпишем. Вот буяннить, кидать колокольчик, обижать няню не следует. Нянечка слабая, тоже недавно болела тифом.

Я пообещал больше не беспокоить никого. Уходя, важная пошептала что-то няне. Та села к тумбочке и занялась вязанием — видимо, ей велели особо наблюдать за мной.

В тот же день меня навестили еще несколько человек, и все начинали одинаково:

— Ну, как мы себя чувствуем?

За ужином я сказал няне:

— Извините, если обидел. Я не хотел. Больше не буду.

Она удивилась опять до испуга и шепнула:

— Спасибо. Не волнуйтесь.

Уходил день за днем. Но она, мое видение, не показывалась. Как ждал, как тосковал я! Ловил каждый звук, каждый шаг. Ушла неделя, а я и сидеть не мог. Волнение и тоска съедали мои силы. Нужно было ждать еще столько же или больше. Еще неделю не видеть ее, когда она тут, ходит мимо.

Это было нелегко, но с помощью убогонькой няни я умолил заведующую больницей, чтобы мою койку поставили ближе к выходу. Тогда в моем колокольчике стало видно многое из того, что делалось в соседней палате. Но видение не показывалось в колокольчике.

Наконец я начал ходить и тут же двинулся на поиски по палатам. Походил минут пять и устал, еле дотащился до койки.

— Кого ищите? — полюбопытствовала няня.

— Знакомых.

— Скажите, как зовут. Я поищу.

— Не знаю, — и объяснил, что нас, солдат, был целый батальон и, возможно, еще кто-нибудь попал сюда.

— А мы поищем вместе, — сказала она.

У меня с нею наладились немногословные, но самые милые отношения, я лежал тихо, она охотно исполняла мои немногие желания.

Я обхватил няню за плечи, она взяла меня под локоть, и пошли. Мы сделали несколько таких путешествий, побывали во всех палатах. Моего видения не было. Тогда я сказал, чтобы мою койку отодвинули подальше от входа: голоса и шаги мешают мне спать.

Спустя несколько дней убогонькая позвала меня сделать еще обход. у нее выдалась свободная минутка, а в палатах появились новые больные. Я сказал, что мне неловко, стыдно.

— Стыдно? Чего же? — изумилась она.

— Совсем замучил вас. То водить меня, то двигать койку.

— Такие ли бывают! — Она помотала головой, как бы отгоняя тяжелые воспоминания. — Вы, можно сказать, золото.

Мы сделали еще один обход. Было явно, что няне он доставил большое удовольствие, а мне новую печаль: Леночки не было.

Няня начала вязать. Я подсел к ней, кивнул на связанную полоску:

— Что это?

— Будет шапочка. Уже полная зима, а я в летнем платчишке бегаю.

Я похвалил шапочку, а затем полюбопытствовал:

— Вы давно в этой больнице?

— Два года.

— И всех ваших служащих знаете?

— Вам кого надо?

— Да никого. Так, поболтать захотелось. Опять вам надоедаю.

— Не велико дело.

— Как лежу я, от вас никто не увольнялся?

— Нет.

— И в отпуск не уходил?

— Отпуска не дают. Сейчас эпидемия.

Я сказал, что у меня есть племянница Леночка Новицкая. Она живет в этих местах, служит в какой-то больнице. Не здесь ли?

— Нет. — И няня назвала всех служащих по именам.

Все стало ясно: искал я несуществующее, видение было только в моей больной голове.

Менялись больные, вместо мальчика в мою палату положили деда, за стеной слышались голоса, шаги, но я закутывался от всего наглухо одеялом. У меня была своя жизнь: вспоминал дом, школу, войну, Матвея, Дашу, Леночку.

Мне стало почему-то хуже. Я, пожалуй, не вышел бы живым из больницы, если бы не спасла меня убогонькая. Постоянно и тяжело шагавшая из палаты в палату, однажды она подошла ко мне без зова.

— А что же к вам никто не едет?

Я сказал, что дальний и мои свойственники не знают, где нахожусь.

— Вот оно... А я гляжу, и никого-то нет. Вот оно...

В больнице лежали местные люди и питались больше тем, что доставляли им из дому. Больничное питание было очень скудно.

Няню окликнул дедушка, мой сопалатник. Она пошла к нему. От нечего делать я следил за ней. До этого, занятый видением, я почти не замечал ее. В ней безжалостно были соединены два существа: юная девушка — и хилая, искалеченная бабушка. От девушки было молодое светлое лицо, ясные глаза, высокий звонкий голос; от бабушки — согнутая дугой спина, тяжелая, валкая походка и набегающая иногда на лицо поминальная печаль. На следующий день няня вновь подошла ко мне. Она только что явилась в больницу. Волосы на висках сияли блестками тающих снежинок, от одежды веяло холодком, посвежевшее на студеном воздухе лицо еще не успело погаснуть.

— Ну, как мы себя чувствуем? — сказала она весело, помогла мне умыться и положила на мою тумбочку довольно большой узелок. В нем были теплые шаньги, бутылка молока и две дешевенькие стекловидные конфетки.

— Кушайте.

Она объяснила, что все это послала мне одна пожилая женщина: у нее свои дети тоже скитаются где-то на чужбине. Женщина обещала послать и обед. В тот момент я видел в няне только девушку, милую, заботливую, счастливую девушку. А умолкла, заковыляла по палате — и стала бабушкой.

На обед няня подала мне дополнительно к больничному супу мясную лапшу, на ужин — ломоть хлеба с маслом. И так пошло изо дня в день: молоко, лапша, масло, леденцы... Я полагал, что няня подпитывала меня своим, а благотельницу выдумала, но допытываться не стал: если ей почему-то удобней с благотельницей, пускай так и будет.

На тумбочке у няни появилось новое вязанье из желтых ниток. Я полюбопытствовал, как обстоит дело с шапочкой,— закончила или отложила.

— Износила уж наполовину.

— Покажите!

— Что тут показывать? Не то, чай, видали.

Но я был настойчив. Обычно она являлась в палату, как было положено, по-служебному, в белом халате и косынке. А в ближайший день зашла по-вольному: в малиновом платье из байки и синей пушистой шапочке с небольшим султанчиком из петушиного хвоста. Она заскочила с улицы, нигде не останавливаясь, даже шубейку сняла по пути и положила в палате. Ее обволакивало дымчатое облачко стужи.

— Вот глядите, только поживей!

— Замечательно. Не шапочка, а цветок,— похвалил я.

— Султанчик не слишком велик? Без него, может, лучше?

— Ни-ни... И не думайте снимать! Без султанчика шапочка станёт комолой.

Она двигала шапочку на голове, я подсказывал:

— Еще! Назад! Много! Довольно!

И думал: можно позабыть, что эта девушка — калека, если она всегда будет такой веселой и довольной, как сейчас.

— Нагляделись?

— А куда вы спешите?

— Увидят — попадет: без халата нельзя.

— Ладно, надевайте халат.

Она вышла пятась. Она никогда не забывала, что лучше не показывать свою спину.

Начался хлопотливый больничный день. Няня подметала и мыла полы, подавала питье и еду, уносила посуду. Она обслуживала не одну нашу палату. Мне пало на ум, что можно научиться видеть в ней только девушку, и я неотступно следовал за ней взглядом. Она, заметив это, подошла ко мне.

— Вам надо что-нибудь?

— Нет, ничего.

Как маньяк, я не спускал глаз с няни. Потом и она стала тишком наблюдать за мной. И вот ее охватило ужасное беспокойство. Она вспыхнула как бы настоящим пламенем, подошла к окну, выбежала из палаты, по пути сильно двинула ногой судно, глядевшее носком из-под дедушкиной койки, снова вбежала и начала без всякой надобности уставлять по-иному тумбочки.

После ужина я пожаловался на слабость и сделал вид, что уснул, но, когда все утихло, будто очнулся и опять стал наблюдать за няней. Склонившись в глубокой задумчивости, она вязала. На белой тумбочке медленно шевелились желтый клубочек и тень от него. Дождавшись, когда она подняла голову, я сказал:

— Няня, наденьте вашу шапочку! Сейчас не увидят!

Что подумала она? У нее стало такое взволнованное, небывало озадаченное лицо.

— Пить,— добавил я.

Помогая мне пить, она неловко поднесла стакан. Половина воды выплеснулась на одеяло.

— Извините,— шепнула она с заиканием.

— Ничего, высохнет,— успокоил я.— Нянечка, посидите со мной! Что-то не спится.

Она вся изумленно колыхнулась, а потом сходила за вязаньем и села к моему изголовью. Она вязала. Светлые спицы, точно молнии, мелькали в ее гибких пальцах. Это мелькание было подобно колыбельной песне, мне захотелось спать. Похоже, что и на нее это подействовало так же: она задышала спокойней, склонила набок голову, опустила глаза. На меня упал ее задумчивый, отуманенный взгляд.

— Спасибо! — сказал я.

— Спасибо? За что же?

— Я знаю. Спасибо! — И поцеловал ее пальцы.

И напуганная, и удивленная, и счастливая, няня залепетала задышающимся шепотом:

— Что с вами? Это нельзя. Я не такая, нет. Спите! — И, не узнав, хочу ли я, сильней укутала меня одеялом, погладила по плечу.— Спите, спите! — И ушла не пятясь, как обычно, а спиной ко мне. Она была в тот момент какая-то особенная — и более дивная и более искалеченная, чем казалась до этого.

— Ну, как мы себя чувствуем? — шепнул я, когда мы увиделись снова.

— Замечательно,— ответила она безмолвно, кивком головы и блеском глаз. И потом, пока лежал в больнице, я постоянно видел на ее лице тихое счастливое сияние.

---

Я окончательно поднялся. В комнату, где выписывали выздоровевших, няня вынесла из кладовки узел с моей одеждой и обувками, положила в сапоги бумажные стельки, помогла мне одеться и замотать маминым полотенцем голову.

— До свидания! Спасибо за все! — сказал я.

Тут няня захватилась полрой халата и заплакала. Я не понял, что эти слезы относятся ко мне, и, чтобы не стоять ненужным свидетелем, поспешил уйти. Няня вышла за мной. Потом высыпала на волю большая толпа больничных служащих.

Больница стояла на отшибе. Ночью дула метель. Мы шли, утопая по колено в снегу. Няня спотыкалась и мучилась. И плакала, плакала. Даже мама никогда не отпускала меня с такими неутешными слезами.

А я все добавлял шагу и злобствовал: «Чего она увязалась? Чего ей надо от меня?» Злобствовал и вспоминал, как ласкова, тиха, нежна была Леночка, как значительно нашептывала, подавая мне цветы: «Этот на счастье. Этот на память. Этот на любовь».

Когда началась улица, няня остановилась. Я молча кивнул и, не оглядываясь, ушел в село. Ушел без жалости, без печали, без стыда.

Мне дали месячный отпуск. Я вышел на большак ловить попутчиков. И обычно, как только делал знак остановиться, попутчики немедленно натягивали вожжи и давали мне местечко.

Это объяснялось моим несчастным видом. Была самая зима, а на мне шинель, худые сапоги, тонкие летние штанишки, голова замотана полотенцем. Все изношено, залатано, все побывало в нескольких дезинфекциях, все имело цвет зелено-темной чумазой плесени.

На пятый день показалась Пихтовая Елань. Тотчас, еще в санях, я намотал поглаже полотенце и затем, никуда не заезжая, пошел

к Леночке. Шел и обдумывал, что сказать. Лучше всего позвать в безлюдное место и выложить начистоту, как любил ее, писал, она молчала, а я все любил. И даже в тифу думал только о ней.

Последняя улица. Уже виден знакомый дом. Из калитки вышла женщина. Леночка! Узнал издали по милому наклону головы и остановился, чтобы и она узнала меня постепенно, освоилась с моим нелепым видом. Она шла медленно, задумчиво опустив лицо в белый пушистый мех.

Вот сошлись, и она не узнала меня — точнее сказать, не взглянула. Я окликнул:

— Леночка!

Она отступила на шаг, оглядела меня с головы до ног.

— Кто вы?

— Тимошкин...

— Тимошкин?

Мое имя стало для нее как что-то далекое, забытое, пожалуй, совсем не известное.

В последние месяцы не было такого дня, когда не вспоминал я Леночку, не мечтал о свидании с ней. В глубине души хотелось испытать подобное тому, что выпало Матвею. Но Леночка — не Даша, и я готов был многое скостить ей: меня можно не целовать, мою шинель не гладить.

— Ти-и-имо-ошкин? — Леночка отступила еще, впилась длинными пальцами в темную папку с золотым словом «Ноты». Я подумал: «Чтобы глупые пальцы не потянулись ко мне».

Невдалеке кто-то сказал басисто, по-хозяйски:

— Живей, Леночка, живей! С кем это вы застоялись?

— Иду, иду! — отозвалась она и кинулась на голос.

У соседнего дома ее подхватил под локоток лупоглазый певец Виленский.

А я возненавидел Леночку, возненавидел мгновенно, всю: и тяжелые солнечно-золотистые косы, и наклон головы, и тонкие музыкальные пальцы. Возненавидел и ту, что выступала с декламацией, и ту, что нашептывала мне о любви, о счастье.

Мне надо было идти следом за Леночкой, но я ушел вбок, чтобы не касаться и следов ее.

Отпускной месяц я жил дома, занимался хозяйством, катал племянников на салазках, мечтал вместе с мамой, что после войны поступлю учителем в ближайшую школу.

Отпуск кончился. Я поехал в слободку на медицинскую комиссию и в ожидальне столкнулся с гимназистом.

— Вы, кажется, Тимошкин, — сказал он, ухватившись за мою шинель. — Тогда мы знакомы. Были на войне, в боях? В вас палили, и вы палили?

— Да, да.

— И ничего?

— Как видишь. — Вместо «вы» я ввел более естественное «ты».

— Значит, ничего, можно и там жить. Меня взяли. Почему не заходите к Новицкой?

— А ты что хлопочешь за нее?

— Она обижается.

— Обижается? Она? — Я захохотал. — Она обижается... Но тебе-то что? Почему ты хлопочешь о свите? Женился на ней?

— Не-е-ет.

— Влюблен?

Он не ответил.

— Тогда запомни: пока будешь на войне, можешь любить Леночку. Но как только демобилизуешься, как поедешь в эту слободку — немедленно забудь, еще в пути.

— Почему?

— От тебя будет вонько пахнуть.— Я подставил ему локоть.— Понюхай мою шинель!

— Я знаю.

— Понюхай!

Он понюхал и сказал:

— Ничего особенного. Тянет немножко паленым.

— Но Елена Всеволодовна не выносит этого запаха.

— Она очень изменилась.

— Это она умеет.

— Сейчас особенно изменилась.— Гимназист понизил голос до шепота.— Со сцены ушла снова к дошкольникам. Всего я не знаю. Но это, видимо, связано с Виленским — помнишь, был певец? Он уехал. У Новицкой взял документы в музыкальную студию. А погода с неделю послал назад, и не из Москвы, а с какой-то маленькой станции.

— И тут Леночка ушла со сцены,— досказал я.

— Угадал.

— Так будет лучше. Заодно с чужими детишками выходит и своего.

— Ты думаешь?..— Гимназист побледнел.

— Поживем — увидим.

Он задумался. И мне было о чем подумать. Писал — не отвечала, явился сам — не узнала, не подала даже пальчика, и вот зазывает. Ах, Леночка, Леночка! Я незлой человек и желаю вам от всей души счастья. Но делить его с вами не хочу.

Мне дали еще отпуск. Я поступил в детский дом. Пожалуй, никогда еще не было такого ленивого учителя, как я. Тогда усиленно толковали об индивидуальном подходе к детям, а я даже имена своих учеников не мог запомнить.

Так же ленив был и к себе самому: комнату не топил, спал в шинели и валенках. После занятий обычно уходил покупать книги.

В слободке было плохо с хлебом. Чтобы купить его, жители сбывали все без оглядки. Книги выносили на толкучку мешками и ценили по тому, годится ли бумага на «козьи ножки». Я питался в детском доме бесплатно, а деньги пускал на книги. Вся моя комната была завалена умными, честными, вдохновенными сочинениями в лучших изданиях. Они не годились для «козьих ножек» и были нипочем. Покупал, листал и либо совсем не читал, либо с пятого на десятое. Не мог читать: все думал и думал о няне из больницы. Почему так неутешно плакала она? Полюбила меня и в любви забыла, что сама убогая? Подумала, что и я люблю ее, останусь с нею или уведу с собой? И она оплакивала свои несбывшиеся мечты, свое исчезнувшее видение? А может быть, ничего такого не думала и ждала по-убогому ничтожного пустяка: ласковой улыбки, нежного слова, пускай даже поддельных. И плакала, почему я не обманул ее.

Возможно, плакала надо мной: слабый, полуодетый, иду в холод, в снега. Бывает же чистое чувство, когда человек не думает о себе.

А я... я даже не узнал, как зовут ее, откуда она, местная или скитается по чужбине. Потом я писал в больницу. Ответили, что няню звали Феней, что она больше не служит у них и в селе не живет, уехала куда-то немедленно после моего ухода. Все думали, что уехала ко мне.

Уехала... В снега, в холод. Почему?.. Где ты, моя убогонькая? Где ты, моя печальная?

Однажды я застал в своей комнате гостью. Стоя на коленях у печки, она поджигала лучину и была так углублена в это, что не заметила меня. Я почел ее за детдомовскую истопницу и, обойдя тихо, начал листать книгу.

Послышалось злое шипение. Я испугался за книги — они валялись всюду — и оглянулся. Гостя еще сидела на кучке поленьев в желтой полосе зыбкого света из печи и была не истопница, а совсем не знакомая мне. Маленькая, тоненькая, беловолосая, в балахонистой шубе с чужого плеча. Она внимательно глядела на меня и, заметив мое удивление, сказала:

— Я давно здесь, еще до вас.

— Вы наша новая истопница?

— Да.

— Чего сидите у печки нищенкой? Идите к столу, к свету!

— Мне полагается здесь. — И начала колотить палкой шипящие головешки. — Меня печку топить послали, а не бездельничать.

— У меня топить вы не обязаны. Та, до вас, никогда не топила.

— А я, когда не топлена, не успокоюсь. Глупенькая? — Она весело усмехнулась, мотнула волосенками. — Но я не обижаю, мне и глупенькой неплохо.

— Как зовут вас?

— Тетей Машей!

— Вас зовут тетей? — Она выглядела девочкой лет пятнадцати.

— Так же, как вас дядей.

— Значит, вы учительница, воспитательница?

— А вы не знали, не заметили? Я уже неделю в вашем детдоме. Ну и ну!

— Не заметил. Извиняюсь. Да идите же к столу!

— Некогда. Надо колотить головешки.

Тогда я сел на пол около нее.

— Как попали вы ко мне в истопницы?

— Не выношу нетопленых печей. А вашу вытянула по билету.

— Как так?

Оказалось, что воспитательницы и учительницы детского дома пожалели меня: не топил половину зимы, комната худая и... и... «Вообще, какой-то несчастный, оттолкнутый», — так сказала Маша. Они задумали взять над моей печкой шефство. Но кому начинать его? Тогда написали и потянули билетки. Начинать досталось Маше.

— Не хотите? Я не стану больше, — заявила она.

— Чтобы печку топили, не хочу: стыдно. Заходите посидеть, почитать.

Она не обещала, но стала заходить почти каждый день. Топила печь, вымыла пол, сложила стопками книги, смела всю пыль. Была она легкая, подвижная, как пичужка-шилохвостка. Ходила гибко-летуче, так, что пятки не успевали коснуться пола. Делать умела, кажется, все и ничем не гнушалась.

Глядя на нее, оттаял немножко и я: законопатил в комнатухе щели, на ночь снимал дневную одежду. Стало легче, мелькнул выход из моего одиночества.

Как-то я обнял Машу и повел к столу.

— Посидим, отдохнем, поболтаем. Я хочу узнать кое-что. Откуда ты, Машутка, такая ловкая?



— Сельская, мужицкая. Лапки-то вишь какие! — Она вытянула свои «лапки» и, поблескивая синеватыми глазами, беспечально вспоминала свою жизнь. Семи лет пошла жать. Однажды чуть-чуть не отхватила насовсем левый мизинчик. След и сейчас виден. Овес жали глубокой осенью, когда уже падает иней. Пальцы леденели от холода и получились узловатые. По бедности ходила с двенадцати лет на поденщину за шесть копеек в день.

Она ничуть не таила узелки, мозоли и все иные следы бедной жизни, пожалуй, даже любила их как свидетелей тяжелой, но честной доли.

— Довольно, Машка, хвастаться! — остановила она сама себя. — Тут дело ждет.

Выскоблив, вымыв, что было нужно, подседа к столу, облокотилась и сказала:

— Сейчас можно и почитать.

К чтению Маша относилась, словно к таинству. Сначала сделает все обыденное, затем почистится сама, и тогда уж садимся за книгу. Читала обычно Маша, я слушал. И тут она показала себя неутомимой: тихим, будто совсем ненадежным голоском могла читать целую ночь.

Невидная, белесенькая, считавшая себя в самом деле глупенькой, она была подобна дневному свету. Поначалу он кажется бедным, почти ничем, а взглядишься — сколько в нем оттенков! Он-то и есть самый богатый. Маша постепенно стала для меня таким светом, стала моей женой.


---

После того ушли десятки лет. Давно нет в живых моей мамы и отца, и я вспоминаю о них уже без боли. И Маша покоится на тихом сельском кладбище, под двумя елями. Я замечаю, что и она уходит из моей памяти, становится безликим, безмолвным туманом.

А вот убогонькую няню из больницы не могу забыть, не могу изжить чувства своей тяжкой вины. И что случилось тогда со мной, почему так оглох и ожесточился? Почему хоть немножко не постоял с няней, почему не сказал, что буду вспоминать ее?

Ведь помню же!

1919—1959 гг.



---

---

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

★

## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

(С чешского)

### ПРАГА С ПАЛЬЦАМИ ДОЖДЯ

Нет,  
Этого  
Ничто не объяснит!  
Ни красота, ни стиль своеобразный.  
Ни Прашна брана, ни площадь Староместская, ни Карлов мост,  
Ни древняя, ни молодая Прага —  
Ничто, что можно осязать, что можно строить или разрушать руками...

Нет,  
Этого  
Не объяснят преданья старины и красота неповторимой Праги.  
Такой на свете не было и нет.  
Разрушив даже, ты ее не уничтожишь.  
Она — бессмертна.  
Поэзия ее сложна, но при старанье ее всегда угадываешь ты.  
Так мы угадываем мысли женщин, которых любим.  
Нарисовать или описать тебя никто не сможет. И зеркала к тебе  
не поднесешь.  
Я не узнал бы в зеркале тебя, и ты сама себя в нем не узнала б.

Нет,  
Этого  
Ничто не объяснит!  
Путеводитель и язык проворный бессильны здесь.  
Ведь весь секрет — в тебе самой, в таинственно волшебном естестве.  
В том,  
Как садятся стаи птиц на крыши,  
Как мать зовет ребенка на бульваре, украшенном старинною  
скульптурой,  
Как едет парень на велосипеде, романсы напевают где-то рядом,  
Как беспокойно тренькают трамваи под мерный звон колоколов  
церковных,  
Как самая моднейшая мода не портит ни вокзалов, ни костелов,  
Как наполняет аромат сосисок пивные, утонувшие в веках,  
Как горячо звучит язык наш чешский на камнях древних площадей  
и улиц.  
Я сам — один из тех мужчин и женщин, которых я люблю, хотя им  
цену знаю.

Я лишь немногим, может, лучше их:  
 Мне ничего не надо, и искренне порой я говорю.  
 И бесконечности есть страсть в душе моей. Ищу ее в тебе я, Прага.  
 Ты родилась сегодня только в полдень, и ты живешь уже столетья.  
 Есть у меня одно, всего одно желанье:  
 Хочу твоим быть только языком,  
 Твоим неумолкающим органом.  
 Хочу быть языком  
 Твоих колоколов, твоих дождей  
 И виноградников твоих, твоих ночлежек,  
 Твоих костелов пасмурных, веселых шоферов...  
 Хочу быть языком  
 Бахвальства твоего и меланхолии твоей врожденной,  
 Твоих спортивных игр и кукольного театра.  
 И нежных роз, и жирной колбасы,  
 Плетеных стульев и веселых свадеб,  
 Твоей травы, твоих высоких башен...  
 Хочу быть языком  
 Я телефонных будок, учительниц, бегущих на урок.  
 Мостов чрез Влтаву и воскресной скуки,  
 Рожков пожарных и твоих легенд.  
 Я только твой язык, который ожил и вдруг заговорил,  
 Хочу служить тебе я постоянно, во сне и наяву.  
 Являйся мне  
 Такой, какой тебя я знаю,  
 Такой, какой не знал я до сих пор.  
 Являйся мне такой, какой всегда я хотел бы знать тебя.  
 Я завещаю будущим пражанам  
 Свой долгий вздох и опыт небольшой над песнею о городе любимом.  
 Вы вспоминайте все же обо мне.  
 О том,  
 Что жил я и ходил по Праге,  
 Учил любить ее иначе, чем другие,  
 Учил любить ее, как иностранку и в то же время как сестру родную,  
 Учил любить ее свободным сердцем свободного и сильного мужчины,  
 Учил любить ее, как существо живое, уверенное в будущем своем,  
 Учил любить ее иначе, чем другие.  
 Пусть Прага плачет и смеется. И пусть всю звонят колокола.  
 И памяти моей колокола, гремите громче!  
 Ведь время так летит, так мало я успел...  
 Как ласточка, оно летит и зажигает над старой Прагою все те же звезды.

*Перевел В. Николаев.*

### НЕИЗВЕСТНАЯ С СЕНЫ

После ливня, что омыл камыш прибрежный,  
 солнце мокрое под фартуком укрылось;  
 прачки к берегу несут белье небрежно,  
 солнце мокрое под фартуком укрылось,  
 фартук медленно плывет, плывет по Сене,  
 прачки кажутся идущими по сцене,  
 словно дочери Израиля идут,  
 словно в танце перед рампою плывут,  
 появляясь, как эскорт Венеры нежной,  
 после ливня, что омыл камыш прибрежный.

Прачки вечером платки стирают в Сене,  
лоскутки мелькают в белой пене,  
ноги голые вода ласкает нежно,  
будит лодочников всплеск руки небрежной.  
Ночь подводной лодкою всплывает,  
вдалеке собака хрипло лает.

Мраморная ночь скользит бесшумно по реке,  
тело мертвой девушки застыло в челноке,  
обнаженной девушке неведом больше стыд,  
пена оттеняет ее бледность и шуршит.  
Блестки звездной пыли чуть видны на глади зыбкой.  
У погибшей девушки — на губах улыбка.

Ты сестра земли и звезд, о незнакомка,  
и нежна улыбка на губах прозрачно-тонких;  
но откуда эта нежность в нашем грустном мире?  
Разве сладок миг, когда ломают крылья?  
Разве сладок миг, когда ломают время  
и приходит Нечто, вдруг снимающее бремя,  
Нечто, не дающее нам до седины дожить,  
Нечто, обрывающее жизни нить?  
Что в мечтах предсмертных увидела ты?  
Разве это Нечто — царство красоты?

Незнакомка мертвая! Мы пасынки судьбы.  
Разве смерть откроет нам звездные сады?  
Разве в них забудешь о печалях и изменах,  
как в легендах древних и гашишовых поэмах?  
Разве символ вечности — улей пустой?  
Высохший колодец? Брошенный забой?  
Соль неуловимая? Распавшийся кристалл?  
Разве человек сомнамбулою стал?  
И от пробуждения в беспросветной тьме  
позабыл о доме и своей тюрьме?

Лает пес голодный. Сена тихо стонет.  
Но в твоей улыбке — звездная симфония,  
и она прекрасней симфонии вечера,  
и она призывней песенки беспечной,  
и она влажнее пасмурного лета,  
и она нежнее кисти Тинторетто,  
и она чарует, словно ласки Далилы,  
и она баюкает, как тишина могилы,  
и она проста, как мох на заборах,  
головокружительно, как танец метеоров.

В смерти отвернулась ты от скорби и невзгоды,  
и омыли боль твою отравленные воды,  
смерть звала в свой замок, в свой безмолвный ад,  
смерть сверкала издали, как горный водопад,  
ослепляла смерть тебя короною змеиной,  
и встречала затхлою и холодной тиной.

Талисман подводного, призрачного края,  
я сорву печать с тебя и ее сломаю;  
мне не нужно, смерть, твоих пурпурных городов,  
ни зеркал, ни звезд твоих, ни твоих садов!

Незнакомка мертвая! Лебедь голубой!  
Залила ты память мертвою водой.  
Маленькие прачки в праздничном наряде,  
я ищу поэзию в вашем скорбном взгляде;  
каждая мне кажется хрупкою и нежной.  
Дождь повесил бисер на камыш прибрежный.  
Дочери Израиля, мне чудится, идут,  
не тазы тяжелые — амфоры несут;  
и свершая словно ритуал старинный,  
за умершей шествуют медленно и чинно.

*Перевел М. Кудинов.*

\* \* \*

Ах, жаль! Все больше год от года  
Мне жаль тебя, ты стал чужой!  
Отпал ты сердцем от народа  
И позабыл язык родной.

Ведь ты, поэт, хранить обязан  
Красу родного языка.  
Скажи, к чему теперь привязан,  
Что видишь ты издалека?

Как мог ты Темзой соблазниться,  
И женщиной, и бог весть чем!  
Что в голове твоей творится!  
В смятенье ты. Живешь зачем?

Да, совесть, словно червь, изгложет,  
Все сокрушая и губя.  
Прогнать ее ничто не может.  
Мне, право, очень жаль тебя.

Что ты ценил? Покой и славу?  
Но мы в тиши ведь не сидим.  
Народ ты бросил, как забаву,  
Но мы его не предадим.

В любой деревне с песней шумной  
Мы с ним выходим на поля.  
А ты?.. В больнице для безумных...  
Мне, право, очень жаль тебя.

*Перевел В. Николаев.*



---

ВАЛЕНТИН РОШКА

★

## ОСЕННИЕ ДУБРАВЫ...

(С молдавского)

\* \*\*

Тоска по лесу испокон веков  
Живет у нас в крови, как у оленей,—  
Наследство непокорных поколений  
От рабства уходивших гайдуков.

Да, был обычай прадедов таков:  
Перед обидой не согнув коленей,  
Седлать коней и мчаться из селений,  
Степь оглушая топотом подков...

О тихие осенние дубравы!  
Иною правдой вы сегодня правы.  
Благословляю ваш священный кров.

Мне слышится рассветною порою,  
Как бьется под шершавую корою  
Бунтующая прадедова кровь.

## ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА...

Плывет тяжелый звон колоколов.  
Кого хоронят?.. Где-то надо мною  
Плывет он и уходит стороною,  
Безоблачное небо расколов.

Над тусклой позолотой куполов  
Кружат вороны. Ветхой стариною,  
Иною жизнью, сущностью иною  
Он полон, этот звон колоколов.

Ах, древность, ты прекрасна и убога!  
Я, никогда не веровавший в бога,  
Смеюсь над ухищреньями его.

Сейчас колокола свой гул обронят,  
Как будто бы и впрямь они хоронят  
Придуманного бога своего.

\*\*\*

Я пить просил...  
А он повел плечами.  
Тогда я снова просьбу повторил.  
А он, гремя тяжелыми ключами,  
Передо мной ворота затворил.

Что пыль дорог!  
Я видел не однажды  
В пыли свои тяжелые следы.  
Что жажда!  
Я не умер бы от жажды  
Без этой застоявшейся воды.

Я мог бы и забыть о человеке,  
Боявшемся ворота отворить.  
Но жаль его, лишённого навеки  
Неповторимой радости —  
Дарить!

*Перевел Юрий Левитанский.*



---

В. ТУШНОВА

★

## В МАРТЕ

Воздух пьяный — нет спасения,  
с ног сбивают два глотка.  
Облака — уже весенние,  
кучевые облака.  
Влажный лес синеет щеткою,  
склон топорщится ольхой,  
все проявленное, четкое,  
до всего подать рукой.  
В колеях с навозной жижею,  
кувыркаясь и смеясь,  
до заката солнце рыжее  
месит мартовскую грязь...  
Сколько счастья наобещано  
сумасшедшим этим днем!  
Но идет поодаль женщина  
в полушалочке своем;  
не девчонка и не старая,  
плотно сжав румяный рот,  
равнодушная, усталая,  
несчастливая идет.  
Март, январь — какая разница,  
коль случилось, что она  
на земное это празднество  
никем не позвана!  
Ну пускай, пускай он явится  
здесь, немедленно, сейчас,  
скажет ей:  
«Моя красавица!»  
Обоймет, как в первый раз...  
Ахнет сердце, заколотится,  
боль отхлынет, как вода...  
Неужели не воротится?  
Неужели никогда?  
Я боюсь взглянуть в лицо ее,  
отстаю на три шага,  
и холодная, свинцовая  
тень ложится на снега.

---



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

М. ГАЛЛАЙ

★

## ЧЕРЕЗ НЕВИДИМЫЕ БАРЬЕРЫ

*Из записок летчика-испытателя \**

Флаттер

**И**так, со дня первого полета, выполненного мной в качестве летчика-испытателя, прошло около трех лет.

Это были непростые, бурные, во многом радостные, во многом горькие годы в жизни нашей страны. А за рубежом именно в эти годы развернулись тревожные, грозные события: фашистский мятеж в Испании, нападение японских империалистов на Китай, провокации японцев на дальневосточных границах СССР и союзной нам Монголии.

Излишне говорить, как нас тянуло туда, где шел первый бой с фашизмом! Но отбор добровольцев производился исключительно строгий — из десятков желающих разрешали ехать одному.

Через некоторое время, узнав о выдающихся боевых успехах наших добровольцев, мы наивно удивлялись мудрости людей, отобравших их среди тысяч желающих. И только впоследствии, уже в дни Великой Отечественной войны, мне стало ясно, что дело тут было вовсе не в какой-то особенной проницательности и глубоком знании людей. Просто общий уровень профессионального мастерства, политических и моральных качеств нашего летного состава был действительно настолько высок, что едва ли не любой строевой летчик, получивший разрешение принять участие в первых боях с фашизмом, оказывался достойным этой — я не боюсь громких слов, они тут уместны — высокой миссии.

Всей душой мы были с уехавшими, но сведения о них, особенно в первое время, доходили с большим трудом и не отличались достоверностью.

Значительно позже, когда наши добровольцы по одному, по двое начали возвращаться из Испании, мы с раскрытыми ртами слушали их рассказы.

Все было интересно нам — какие свойства самолета, не поддающиеся оценке в испытательных полетах, проявляются в бою, как выглядит Хосе Диас, что представляют собой анархисты, красивы ли испанские женщины, труден ли испанский язык и многое, многое другое.

Именно в эти годы мировая, в том числе и наша отечественная, авиация совершила очередной рывок вперед. Это было время появления и быстрого распространения монопланной схемы крыла, убирающегося шасси, закрытой прозрачным «фонарем» кабины летчика, благородных, плавных внешних очертаний всего самолета. Еще недавно казавшиеся рекордными скорости в четыреста, четыреста пятьдесят, даже пятьсот километров в час становились достоянием рядовых серийных самолетов, а новые опытные

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

и экспериментальные машины сулили данные по тем временам и вовсе упомянутые.

В такие периоды бурного развития авиации у испытателей бывает особенно много дела.

Я был уже полноправным, полностью вошедшим в строй летчиком-испытателем, имевшим за плечами несколько успешно проведенных работ (правда, далеко еще не первого класса сложности), когда в один прекрасный вечер меня вызвал Козлов, усидил, как в первый день нашего знакомства, против себя и после нескольких дипломатических фраз о здоровье, семье и проведенном отпуске спросил, что я слышал про флаттер и не имею ли желания потрогать это чудище за бороду.

Про флаттер я, разумеется, слышал, и слышал немало!

С появлением новых скоростных самолетов в авиации едва ли не всех передовых стран мира прокатилась волна таинственных, необъяснимых катастроф.

Случайные очевидцы, наблюдавшие эти катастрофы с земли, видели во всех случаях почти одинаковую картину: самолет летел совершенно нормально, ничто не внушало ни малейших опасений, как вдруг внезапно какая-то неведомая сила, будто взрывом, разрушала машину — и вот уже падают на землю изуродованные обломки: крылья, оперение, фюзеляж...

Все очевидцы, не сговариваясь между собой, применяли выражение — взрыв, так как не представляли себе других возможных причин столь молниеносного и полного разрушения. Однако осмотр упавших обломков не подтверждал этой версии: никаких следов взрыва — копоти или ожогов — на них не оказывалось.

Самым надежным источником информации — докладом экипажа потерпевшего аварию самолета — воспользоваться, как правило, — увы! — не удавалось. Те же, насчитывавшиеся буквально единицами летчики, которым удалось выбраться из стремительно летящих вниз, беспорядочно вертящихся обломков фюзеляжа и воспользоваться парашютом, ничего сколько-нибудь существенного добавить к рассказам наземных очевидцев не могли. Очень уж неожиданно и быстро развивались события: всего за несколько секунд до катастрофы ничто не предвещало ее, а затем сразу — удар, треск, грохот, и самолет разлетается на куски!

Новому грозному явлению было дано название «флаттер» (от английского flutter — трепетать), но еще, если не ошибаюсь, Мольер сказал, что больному не делается легче от того, что он знает, как называется его болезнь по-латыни.

Одна за другой приходили тревожные вести о таинственной гибели французских, английских, американских скоростных самолетов.

Не миновала сия горькая чаша и нас.

Пассажирский опытный самолет «ЗИГ-1» заканчивал программу летных испытаний. Одно из последних заданий заключалось в серии пролетов на высоте восьмидесяти—ста метров над специально размеченным участком — так называемой «мерной базой». Каждая последующая пара пролетов отличалась от предыдущей некоторым увеличением скорости, вплоть до последней, наибольшей, которую сумеет развить самолет при работе моторов на режиме полной мощности. И вот дело дошло до этих последних заходов. Летчик-испытатель Аблязовский издали развернулся в сторону мерной базы и перевел сектора управления моторами в положение «полного газа». Для ускорения разгона он чуть-чуть снизился — «прижал» машину, — самолет понесся вперед, с каждой секундой увеличивая скорость, и вдруг... разрушился в воздухе. Шесть одинаковых урн, установленных рядом в нишах стены московского Новодевичьего монастыря, и по сей день напоминают о происшедшей трагедии.

Более счастливыми оказались наши сослуживцы — Александр Петрович Чернавский и летавший тогда еще только в качестве наблюдателя Федор Ильич Ежов. Самолет, который они испытывали, также внезапно рассыпался в полете, но оба они сумели спастись на парашютах. Так флаттер пришел и в наш отдел.

Постепенно накапливались факты, и картина флаттерного «взрыва» стала обрастать достоверными подробностями. Оказалось, что разрушение происходит вовсе не так мгновенно, как поначалу представлялось наземным наблюдателям; до него некоторое, хотя

и чрезвычайно короткое, измеряемое считанными секундами время происходят вибрации, чаще всего крыльев, а иногда оперения самолета. Размах этих вибраций возрастает так быстро, что почти сразу же приводит к поломке колеблющихся частей. Подлинная картина явления прояснилась. Но оставалось непонятным главное: причины, порождающие это явление, и способы борьбы с ним.

В борьбу за раскрытие тайны флаттера включились ученые. И вскоре физические причины возникновения страшных вибраций, конструктивные средства их предотвращения и даже методы точного расчета величины «критической скорости» флаттера, ранее которой он ни в коем случае возникнуть не может, были в руках самолетостроителей. Большую роль в этой незаурядной победе человеческого разума над силами природы сыграли наши советские ученые.

Но победа эта пришла позднее. А пока на пути авиации встал очередной барьер, преграждающий путь к еще большим скоростям. К прогрессу. Говорю — очередной, потому что вся история авиации, в сущности, представляет собой цепь переходов от одного такого барьера к другому. Эти барьеры невидимы. Но, тем не менее, вполне реальны. И немало сил, средств и даже жертв потребовалось для преодоления каждого из них. После того как была надежно устранена опасность флаттера, на сцене появился «звуковой барьер». Едва оставили его позади — уперлись в «тепловой». А дальше уже видны пока еще неясные контуры нового — химического барьера. Но нет сомнения, будет взят и он. Недаром один из ведущих наших конструкторов сказал как-то, что все эти барьеры существуют не столько в самой природе, сколько в наших знаниях...

Самый страшный враг летчика в полете — неожиданность.

Даже очень серьезные осложнения можно встретить во всеоружии и успешно померяться с ними силами, если располагать хотя бы минимальным резервом времени. Кстати, потребной величиной этого резерва как раз и измеряется, по-моему, «классность» летчика-испытателя. На испытательной работе способность оценить события в действительно кратчайший период времени, найти доподлинно наилучший план действий и твердо, без колебаний провести его в жизнь гораздо нужнее всего прочего, в том числе даже блестящей техники пилотирования в обычных, спокойных условиях.

Однако все сказанное имеет смысл и может быть реализовано практически лишь в том случае, когда какой-то — пусть минимальный — резерв времени все же существует. Когда же этот резерв равен нулю — никакой самый замечательный летчик предупредить события, понятно, не сможет.

Именно полное отсутствие каких-либо предупредительных признаков и было в глазах летчиков едва ли не самой неприятной характерной особенностью флаттера. Вполне естественно поэтому, что исследователи принялись за создание аппаратуры, способной сигнализировать о его приближении. Опыты на моделях в лабораториях и аэродинамических трубах дали довольно обнадеживающие результаты.

Предстояло выяснить, как работает новая аппаратура в полете. Вот это-то и имел в виду И. Ф. Козлов, предлагая мне «потрогать чуднище за бороду».

Излишне говорить, что я решительно отверг предложение «подумать» (пока я буду думать, кто-нибудь обязательно уведет такую интересную работу у меня из-под носа!) и тут же дал свое безоговорочное согласие.

— Ну, что же, — сказал Иван Фролович, — тогда знакомься с материалами, посмотри эксперимент с моделью в трубе, в общем — входи в курс дела. Программу полетов обсудим все вместе, с ведущим инженером и «прочнистами».

И я начал знакомиться, смотреть и входить в курс дела.

Надо сказать, что к этому времени обстановка в отделе сильно отличалась от той, какая была три года назад. «Доморощенные» летчики-испытатели заняли в нем если еще не ведущее, то, во всяком случае, весьма прочное место. На их счету был уже целый ряд сложных и острых работ.

Шиянов испытывал новый опытный самолет — скоростную экспериментальную машину «СК», созданную в ЦАГИ и показавшую рекордную по тем временам скорость — свыше шестисот километров в час!

Станкевич вел опытный самолет В. К. Таирова.

Рыбко много и успешно поработал над доводками и испытаниями самолетов дальнего действия, в частности «Родины» («АНТ-37»), на которой вскоре экипаж В. С. Гризодубовой выполнил беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток.

Гринчик провел очень интересные и рискованные исследования штопора на нескольких типах серийных самолетов, не вполне по этой части благополучных. Он намеренно создавал ошибки при вводе в штопор и применял заведомо неправильные приемы при выводе, чтобы детально изучить возможные последствия подобных действий и разработать способы их исправления. Было очевидно, что самое вероятное «возможное последствие» — невыход самолета из штопора, и никого поэтому особенно не удивляло, что Леше не раз приходилось вместо намеченных пяти-шести витков невольно делать в несколько раз больше и, сидя во вращающейся носом вниз, стремительно несущейся к земле машине, изобретать новые способы ее обуздания.

На моем текущем счету к этому времени значилось испытание экспериментального самолета, созданного одним из ведущих конструкторов и его помощниками специально для всестороннего исследования новой по тому времени схемы самолетного шасси с носовым колесом, или, как ее чаще называли, трехколески. Сейчас такое шасси господствует в авиации практически безраздельно. Оно установлено почти на всех современных самолетах, в том числе на широко известных пассажирских — «ТУ-104», «ТУ-114», «ИЛ-18», «АН-10». И мне, так же как и всем другим участникам этой работы, очень приятно сознание, что наш труд оказался довольно долговечным — установленные тогда наилучшие конструктивные соотношения трехколесного шасси и по сей день с успехом применяются самолетостроителями.

Уже первое знакомство с материалами моей новой работы показало, что до бороды злого чудища-флаттера еще далеко. Выбранный для этого испытания серийный двухмоторный спортивной бомбардировщик «СБ» довести до флаттера было физически невозможно — его «критическая скорость» настолько превышала максимальную, что самолет даже при самом крутом пикировании с полным газом скорее просто поломался бы от силового воздействия встречного потока воздуха, чем попал во флаттер. Поэтому в интересах задуманного эксперимента серийный самолет следовало намеренно «испортить» (приходится в испытательной работе делать порой и такое!). Для этого было решено снять специальные противофлаттерные весовые балансиры с обоих элеронов и, таким образом, снизить критическую скорость флаттера до вполне достижимой, несколько даже меньшей, чем максимальная скорость горизонтального полета, величины.

Но это предполагалось сделать на втором, основном этапе испытаний. Первый же, подготовительный этап, во время которого требовалось в условиях реального полета отладить работу всей сложной аппаратуры, предстояло проводить на самолете, ничем не отличавшемся от серийного.

Хотя самолет был трехместный, было решено летать вдвоем — летчику-испытателю и наблюдателю-экспериментатору. Это диктовалось прежде всего тем, что громоздкая испытательная аппаратура не помещалась в грузовом отсеке и часть ее пришлось разместить в носовой кабине (той самой, которую занимал я в своем первом недоброй памяти полете наблюдателем). Кроме того, самый характер предстоящих испытаний был достаточно серьезен, и это тоже заставляло предельно ограничивать число их участников.

Поначалу все пошло вполне гладко.

Мы сделали уже несколько полетов. Правда, испытываемая аппаратура в воздухе работала далеко не так безотказно, как на земле. На ее показаниях сказывались и тряска, и пониженное атмосферное давление, и многое другое, чего нет на земле, но неизбежно существует в условиях полета. Аппаратуру приходилось «доводить», что, впрочем, ни для кого из участников работы не явилось неожиданностью, — для этого, в сущности, и предназначался весь первый этап испытаний. Недаром в нашу группу были назначены такие блестящие мастера тонкого летного эксперимента, как старшие

техники по оборудованию — Вацлава Адамовна Бардзинская и Владимир Иванович Ивашенко.

В холодное октябрьское утро мы отправились в очередной полет.

Решение вылетать было принято не сразу: погода внушала некоторые сомнения. На первый взгляд все было в полном порядке — небо было ровного бледно-голубого цвета, и в положенном месте на нем висел диск солнца. Но и небо и даже солнце были подернуты пеленой какой-то вязкой, противной дымки. Прозрачна ли она? Будет ли сквозь нее видна земля, когда я переведу машину в стремительное пикирование?

На первый взгляд эти вопросы кажутся излишними — если с земли видно голубое небо, то, естественно, с неба должна быть видна земля!

К сожалению, подобная элементарная логика справедлива далеко не всегда. Представьте себе ярко освещенную комнату, отделенную от темной ночной улицы тонкой кисейной занавеской. Такая занавеска почти не мешает наружному наблюдателю видеть все происходящее в комнате, но окажется непреодолимой преградой для взора, направленного из комнаты на улицу. Нечто похожее происходит и в полете. Дымка не мешает (вернее, почти не мешает) видеть с земли солнце и даже различать голубой цвет неба, но может начисто скрыть землю от взора поднявшегося выше нее летчика. Незнанием этого обстоятельства только и можно объяснить нервные телефонные звонки, порой раздающиеся в летных подразделениях, когда неподходящая погода задерживает проведение важных и срочных испытаний (хотя, к слову сказать, несрочных испытаний мне лично видеть не довелось, и я не вполне уверен, бывают ли они вообще в природе).

— Почему опять не летаете? Погода отличная!

— Где же отличная?! С воздуха ничего не видно — ни земли, ни горизонта. Транспортные полеты проводить, конечно, можно, но испытания, да еще по нашему очередному заданию — вы его знаете — никак!

— Не плетите ерунды! Я смотрю из окна кабинета и ясно вижу голубое небо.

В этом месте собеседник, находящийся на аэродромном конце провода, обычно почему-то приходит в непонятное раздражение и начинает говорить что-нибудь вроде того, что, мол, в кабинете летать вообще несложно, а попробовал бы сам уважаемый собеседник слетать хоть раз по-настоящему, и многие другие, столь же невежливые, слова. Отношения портятся, хотя, как правило, и ненадолго — до того приятного для всех момента, когда погода наконец позволит выполнить долгожданный полет. Ох, насколько проще была бы испытательная работа, если бы требовала проявления так называемых волевых качеств только в воздухе!

В день, о котором идет речь, погода не заслуживала отличной оценки, но выполнять задание все же позволяла.

Действительно, поднявшись в воздух, я, хотя и не очень четко, землю все же видел. Большого и не требовалось: видеть землю мне было нужно только для того, чтобы иметь возможность наметить себе точку прицеливания, без чего получить строго прямолинейную траекторию и надежно контролировать сохранение заданного угла пикирования невозможно.

А траекторию пикирования, его угол и особенно скорость мы должны были соблюдать очень точно не только в интересах качества эксперимента, но также и потому, что самолет-то был, в общем, к пикированию не приспособленный и не рассчитанный на такой вид полета. Малейшее превышение разрешенных нам в порядке особого исключения параметров — и прочность машины могла не выдержать.

И вот уже набрана исходная высота. По переговорному устройству говорю наблюдателю:

— Начинаю первый режим.

И получаю ответ:

— К режиму готов.

Короткий разгон по горизонтали, и плавным отжимом штурвала от себя к приборной доске самолет вводится в пикирование. Все ниже опускается его нос. Земля уже не внизу, а прямо перед нами. Вот так, достаточно. Машина быстро разгоняется, стрелка указателя скорости приближается к заданной цифре. Теперь надо немного

уменьшить угол пикирования. Так, хорошо. Скорость зафиксирована. Быстрый взгляд в обе стороны — крена нет. Все в порядке.

— Режим.

Ответ наблюдателя: «Понял. Включаю» — сливается с появлением в наушниках моего шлемофона ровного высокого фона: заработали самописцы. Ради этих режимных, рабочих секунд и предпринят, в сущности, весь полет!

Все внимание сохранению скорости, угла пикирования, всего, что нужно для получения еще одной надежной экспериментальной точки.

Вот мы потеряли уже один... полтора... два километра высоты. По заданию пора кончать пикирование, но расстояние до земли еще достаточно большое, не буду напрасно дергать наблюдателя своими напоминаниями. Действительно, стоило подумать об этом, как фон от работы самописцев пропал и в наушниках раздался голос:

— Режим записан.

— Вывожу. — И руки сами плавно тянут штурвал на себя. Самолет уже не пикирует прямолинейно, а описывает в небе размашистую, измеряемую тысячами метров кривую. Как всегда в криволинейном полете, проявляет себя так называемая перегрузка. Невидимая сила делает все, находящееся в самолете — в том числе мои руки, ноги, сердце, голову, глаза, — в несколько раз тяжелее обычного. Каждая клеточка тела давит на своих соседок с силой, ни при каких обстоятельствах не повторимой на земле. Но все выше поднимается нос машины, быстро уменьшается скорость, спадает перегрузка. Еще несколько секунд — и самолет зафиксирован в прямолинейном подъеме.

Первый режим выполнен. Набираем высоту для следующего.

Всего в этом полете мы должны были сделать шесть пикирований. После четвертого погода начала портиться. Дымка сгушалась, очертания полей, лесов, рек на земле становились нерезкими и серыми, внезапно утеревшими свои краски, как изображение на сильно недодержанной любительской фотографии. Тем не менее видно было достаточно, чтобы успешно выполнить пятое пикирование. Сделали и его.

Оставалось одно, последнее пикирование — и задание будет выполнено полностью.

Стремление «во что бы то ни стало» выполнить задание — естественно для каждого летчика. В подавляющем большинстве случаев — особенно в боевой обстановке — оно заслуживает всяческого поощрения. Однако это правило знает исключения. И, в частности, в испытательных полетах нередко интересы дела требуют прервать полет «в самом интересном месте», чтобы в спокойной обстановке обсудить выявившиеся неожиданности, устранить неисправности, посоветоваться с товарищами, а иногда и просто переждать неблагоприятную погоду. В этом заключается даже не стратегия, а элементарная тактика лётно-испытательного искусства.

Но я был очень зелен тогда, зелен в гораздо большей степени, чем мне самому казалось, и возвращение домой с не выполненным до конца заданием представлялось мне чем-то если и не прямо предосудительным, то, во всяком случае, наносящим моей репутации некий неуловимый урон. Следовать принципам школы «педантов» на практике оказалось психологически гораздо труднее, чем декларировать свою полную солидарность с ними на земле.

И я пошел в шестой раз набирать высоту, оставив себе, правда, для самооправдания некоторую хитрую лазейку: если, мол, я обнаружу сверху, что земли совсем не видно — пикировать не буду. Спущусь потихоньку вниз и пойду на посадку.

Казалось, в награду за упорство погода решила пойти мне навстречу. Набрал высоту, я увидел, что хотя дымка сгустилась и превратилась в плотную облачность, в ней, однако, остались небольшие просветы — «окна». И я решил пикировать сквозь одно из них.

Вот подходящее окно выбрано; его края обрамлены бесформенными, изменяющимися на глазах облачными массами. Далеко внизу видна какая-то речка, опушка леса, дорога...

Я зашел на выбранное окно и, когда оно оказалось подо мной, убрал газ и ввел самолет в пикирование.

Но при этом я не учел — да и не мог учесть, так как никогда ранее не пикировал иначе как в чистом небе,— одного весьма существенного обстоятельства. На вводе в пикирование самолет в первый момент резко проваливается. Траектория его действительного движения оказывается в этот момент гораздо круче, чем направление продольной оси,— так сказать, направление «вперед», визируемое глазом летчика.

Короче говоря, случилось непредвиденное.

Я не попал в просвет.

Машина мгновенно очутилась в сплошном, окружавшем ее со всех сторон непроницаемом облачном тумане, который казался еще гуще и мрачнее по контрасту с только что покинутым ярким солнечным небом. Только приборы связывали меня теперь с внешним миром и позволяли хотя бы косвенно представить себе, что происходит с самолетом. Они, как и следовало ожидать, показывали, что скорость у нас увеличивается, а высота соответственно уменьшается.

Несмотря на всю неожиданность попадания в облачность, оно поначалу не вызвало у меня особой тревоги. Я считал, что угол пикирования все еще меньше заданного. В голове мгновенно возник план: пропикировать с этим же углом до момента выхода из облачности — ее нижняя кромка была достаточно высоко над землей, я это знал твердо,— а потом добавить угол пикирования до заданного, записать режим — и победно, с полностью выполненным заданием следовать домой.

Но едва этот столь же оптимистический, сколь и легкомысленный план успел оформиться в моем сознании, как появились и властно переключили на себя все мое внимание новые, непривычные, а потому тревожные симптомы поведения самолета: штурвал, который обычно приходилось с некоторым усилием отжимать вперед, как бы насильственно удерживая машину в пикировании, этот самый штурвал теперь сам норовил уйти вперед, к приборной доске. Тут же я заметил, что стрелки указателя скорости и высотомера бегут по своим циферблатам непривычно быстро — вот уж достигнута и быстро осталась позади заданная скорость пикирования! Дальше — больше: какая-то сила оторвала меня от кресла, и я не уперся головой в прозрачный колпак кабины только потому, что повис на ремнях!

Что случилось?

Я едва успел задать себе этот вопрос, как самолет выскочил — точнее, выпал — из облаков.

Угол пикирования был больше отвесного!

Машина падала — именно падала, а не пикировала,— переходя на спину!

Все симптомы «встали на место». Все сразу стало ясно.

Все, кроме одного: как выбраться из этой катастрофической ситуации? Как вывести самолет из столь явно недопустимого для него режима, делавшегося с каждой секундой все более недопустимым?

Обычный плавный выход заведомо исключался — скорость продолжала бурно возрастать и за время плавного вывода, без сомнения, дошла бы до такой цифры, при которой встречный поток воздуха разрушил бы машину. К тому же при этом никак не могло хватить оставшейся высоты, и мы, если бы даже каким-то чудом избежали разрушения в воздухе, врезались бы — пусть на целом самолете — в землю.

Значит, плавно выводить самолет было нельзя.

Но столь же безоговорочно исключался и резкий, энергичный перелом траектории нашего полета — при этом возникла бы такая нагрузка на крылья, что они попросту отвалились бы.

Получался заколдованный круг: ни плавный, ни энергичный вывод пути к спасению самолета не открывали. Оставалась золотая середина. Единственный шанс, если он только был, заключался в том, чтобы найти такой радиус выхода, при котором были бы до конца использованы все запасы прочности крыльев, фюзеляжа, оперения, но машина все же не рассыпалась бы и успела выйти из пикирования раньше соприкосновения с землей.

Изложение всех этих соображений довольно многословно. На самом же деле они возникали в голове буквально в течение нескольких секунд — никогда человек не сообщает так ясно, быстро, решительно, как в минуту опасности.

Если бы мозг летчика-испытателя всегда работал так же, как в острых ситуациях, его обладатель за год стал бы академиком, если бы, конечно, прежде не умер от чрезмерного перенапряжения психики.

Более или менее разобравшись в создавшемся положении, я точно дозированным движением потянул на себя штурвал и повел самолет по этой единственно возможной траектории. Не было гарантии, что она ведет к спасению, но было доподлинно известно, что никакая другая к нему уж тем более не приведет.

Делаю свое дело, а сознание автоматически фиксирует все происходящее. Перегрузка прижимает к креслу с необычной для бомбардировщика силой. Продолжает нарастать скорость — она достигнет своего максимума и начнет падать только в самой нижней точке кривой, которую описывает — ох, уж совсем недалеко от земли! — наш самолет. Машина падает с оглушительным тревожным воем. Мне его потом не раз описывали находившиеся в этот день на аэродроме товарищи. Вдруг над самым ухом у меня раздается словно пушечный выстрел, громкий до физической боли в барабанных перепонках даже на фоне и без того достаточно мощных акустических эффектов. Это потоком отсосало и вырвало из металлического переплета одно из стекол моей кабины. Все кругом дрожит и трясется.

Но я продолжаю тянуть штурвал. Все мои помыслы, вся сила моей едва начавшей формироваться летной интуиции направлены на одно: не переходить предела, за которым машина не выдержит, но и не отступить от него ни на йоту!

Вот наконец и низшая точка невидимого огромного колеса, по воображаемому ободу которого мы неслись в течение всех этих бесконечно долгих двадцати — тридцати секунд. Бросаю быстрый взгляд за борт, вниз, — да, близка матушка! — и вот уж самолет в крутой горке лезет в небо, с каждой секундой все больше приближаясь к нормальной, безопасной скорости полета.

Впрочем, нормальной и безопасной эту скорость можно было считать только для исправного самолета. Для нашей же машины после перенесенной ею передраги ничто уже не было безопасно. Со своего места я не мог осмотреть ни крылья, ни фюзеляж, ни оперение, но надеяться на их исправность явно не приходилось.

Поэтому все мои дальнейшие действия были подчинены одному принципу: по возможности меньше нагружать и без того потрепанную машину. Посадочные щитки решаю вообще не выпускать — вдруг возникающее при их выпуске перераспределение давления воздуха по поверхности крыла окажется той самой последней соломинкой, которая, как известно, сломала спину одному верблюду. Я не хочу быть этим верблюдом.

Шасси, напротив, выпускаю заранее, на высоте более тысячи метров, так как это все равно неизбежно и, если уж повлечет за собой какие-нибудь неприятности, пусть лучше они произойдут повыше. Но нет — шасси вышло хорошо.

Заход строю издавала по прямой — лучше обойтись без разворотов вблизи земли, где к тому же и атмосфера всегда менее спокойна.

Буквально «на цыпочках» подкрадываюсь к аэродрому, стараясь «не побеспокоить» машину случайным резким движением рулей. Высота — двести метров... сто... пятьдесят. Земля!

...Осмотр самолета ничем нас не порадовал. Оказалось, что крылья были полностью деформированы — как бы отогнуты вверх, их металлическая обшивка потрескалась, смялась и пошла крупными волнами, болты крепления «зализгов» (специальных обтекателей в месте сопряжения крыла с фюзеляжем) были вырваны. Без капитального ремонта летать на самолете было нельзя!

Легко понять, сколько горьких раздумий вызвала у меня эта первая большая неудача, в которой винить никого, кроме себя самого, я не мог.

Не улучшало моего самочувствия и то, что ни коллеги, ни начальство не стали «прорабатывать» меня. Более того, на кратком (очень кратком) разборе полета Козлов отметил, как он выразился, самокритичность моего доклада и даже оценил положительно мои действия начиная с момента выхода из облачности. Когда ведущий инженер эксперимента, которого в данном случае легко понять, «возжаждал крови» и потребовал



принятия по отношению к виновнику происшествия, сиречь ко мне, мер административного воздействия, против этого выступил профессор К., признанный глава всех исследований флаттера в нашей стране.

Нашлись даже такие доброжелатели, которые пытались, разумеется из самых добрых побуждений, вывернуть факты наизнанку и доказать, что все случившееся только к лучшему. Опробовано, мол, поведение самолета на таких скоростях и перегрузках, которые до этого на нем никому и не снились. Объективная польза от этого, говорили они, значительно ценнее, чем какой-то один экземпляр серийной машины, и, следовательно, летчика за все происшедшее надо не ругать, а чуть ли не награждать.

Встать на подобную точку зрения было — чего греха таить! — соблазнительно. Ведь таким нехитрым способом я из растяпы сразу превращался в героя. Но очень уж явно противоречила подобная приятная трансформация всем моим представлениям об элементарной порядочности. Встать на такой путь я не мог.

Нельзя, в самом деле, валить в одну кучу и одинаково расценивать действия летчика в вынужденных и в преднамеренно созданных обстоятельствах. Умелые и хладнокровные действия, направленные на благополучный выход из сложной ситуации, возникшей по вине летчика, разумеется, сильно уменьшают эту вину, но все же не превращают побежденного (хотя бы и осуществившего успешный отступательный маневр) в победителя.

Я понял, что мало составить (или позаимствовать у своих предшественников) и принять к исполнению некую схему правильных действий летчика-испытателя в различных случаях жизни. Надо эту схему применять на практике воистину педантично, не отступая от нее ни ради «еще одного последнего режимчика», ни ради «очень уж нужного и срочного полета», ни ради чего-либо другого. Теперь я это понял не только умозрительно, но и на личном, и притом горьком, опыте.

— Каждый должен сделать свои собственные ошибки,— резюмировал события Чернавский.

И я, вопреки своему обыкновению, на этот раз не поинтересовался личностью автора очередного афоризма.

Продолжать испытания решено было на другом экземпляре «СБ».

По этому поводу Костя Лопухов немедленно рассказал анекдот о новобранце, попавшем в кавалерию и на первом же занятии по практической езде постепенно сползшем со спины коня на холку, оттуда на шею и в конце концов возопившем: «Дайте следующую лошадь! Эта уже кончается!».

Рассказав этот бородастый шедевр, Костя долго и радостно хохотал, пока мельком не взглянул на меня. По выражению моего лица он, по-видимому, расценил успех своего анекдота как несколько чрезмерный, вследствие чего тут же «перестроился».

— А в общем, брось, Маркуша, огорчаться. С кем не бывает? И учти: вполне могло кончиться гораздо хуже!

В этом он был, без сомнения, прав.

Кончиться гораздо хуже могло...

Вскоре к нам перегнали с завода с иголки новый «СБ». На него перенесли аппаратуру, быстро отладили ее, и вот мы уже снова летаем. Одно пикирование следует за другим, и наконец настает день, когда по первому этапу наших испытаний делать больше нечего — аппаратура «доведена» и полностью работоспособна.

Самолет закатали в ангар, сняли с обонх крыльев элероны и установили вместо них новые, специально изготовленные по нашему заказу,— с уменьшенной весовой балансировкой.

Внешне самолет по-прежнему ничем не отличался от серийного, но обращаться с ним следовало теперь, как с сильно взрывчатым веществом.

Один за другим пошли полеты, очень непродолжительные по времени, но наполненные волнующим ароматом острого эксперимента. После взлета мы набирали четырехкилометровую высоту, включали аппаратуру и осторожно выполняли медленный, плавный разгон до заданной скорости — можно сказать, «подползали» к ней,— после чего снова тормозили машину, снижались и производили посадку.

Так как наземная обработка записей не выявляла признаков приближения критической скорости флаттера, в каждом следующем полете нам задавалась скорость на несколько километров в час большая, чем в предыдущем.

Для большей гарантии в кабине наблюдателя, кроме пультов управления всей самопишущей аппаратурой, был установлен осциллограф с экраном, наблюдая за которым можно было, как предполагалось, зрительно обнаружить признаки приближения флаттера. В этом случае экспериментатор должен был немедленно дать летчику команду быстро гасить скорость.

Методика проведения испытания была, таким образом, продумана довольно тщательно. Главная идея, которой она была подчинена, заключалась в принятии всех возможных мер для недопущения флаттера: предполагалось дойти до получения четких предупредительных сигналов на лентах самописцев — и на этом остановиться. Тут, казалось бы, было предусмотрено все возможное, и я, помнится, отправлялся в каждый очередной вылет с чувством полной уверенности. Пресловутый аромат острого испытания быстро испарялся — полеты шли, и ничего особенного с нами не случалось.

Поэтому совершенно неожиданно прозвучал для меня вопрос Чернавского:

— А что ты собираешься делать, если флаттер все же возникнет?

Я, не задумываясь, бодро ответил, что ни в какой флаттер попадать не намерен. Для того, мол, и создана специальная аппаратура, чтобы своевременно предупредить нас: «Остановитесь, больше увеличивать скорость нельзя!» Мы и не будем этого делать.

— Приятно наблюдать столь трогательную веру в науку, — сказал Чернавский. — Но если бы все придуманное и разработанное на земле столь же безотказно действовало в воздухе — летные испытания были бы не нужны. И нам с тобой срочно пришлось бы менять профессию!

В таком направлении я до этого разговора как-то не думал. Железная испытательная концепция: рассчитывать на лучшее, но быть готовым к худшему — еще не стала для меня нормой поведения.

Поэтому единственное, что я смог ответить Чернавскому, звучало довольно тривиально:

— Ну что ж, если флаттер, вопреки всем нашим предосторожностям, все-таки возникнет, останется одно — быстро гасить скорость.

— Мудрые слова! Разумеется, гасить скорость. Особенно, если будет чем это делать, то есть если штурвал не выбьет из рук. Лично у меня выбило...

Действительно, флаттер протекает обычно так бурно и размах колебаний крыльев достигает столь больших величин, что, передаваясь по тягам системы управления на штурвал, вибрации легко могут вырвать его из рук летчика.

Надо было придумать способ, как заставить самолет в случае возникновения флаттера «самостоятельно», даже если летчик выпустит управление, энергично уменьшать скорость.

В конце концов я решил использовать для этой цели триммер руля высоты — специальное устройство, позволяющее в полете регулировать величину усилий, которые летчику приходится прикладывать к штурвалу, чтобы держать руль в нужном положении, соответствующем определенной, заданной скорости.

Обычно триммер регулируется так, чтобы полностью или почти полностью снять усилия. Это позволяет лететь, мягко держась за управление и нажимая на него лишь для парирования случайных внешних возмущений атмосферы или при намеренном переходе от одного режима полета к другому. Так полет получается наименее утомительным.

Я же решил использовать триммер не для снятия, а, наоборот, для создания усилий на штурвале и отрегулировать его при выполнении режимов разгона до «околофлаттерных» скоростей так, чтобы штурвал сам с достаточной большой силой стремился отклониться назад, в сторону летчика.

После этого, чтобы лететь горизонтально, приходилось преодолевать эти намеренно созданные усилия. Зато, если по каким-либо причинам пришлось бы выпустить штурвал из рук, самолет энергично перешел бы на подъем и скорость полета пошла бы на уменьшение.

В наши дни подобная регулировка применяется во всех случаях, связанных с проникновением в новые, возможно тягущие в себе какие-нибудь опасности скорости полета, и считается одним из элементов азбуки летных испытаний.

Но тогда это было новинкой. И я стал из полета в полет аккуратно следовать ей.

...Очередной полет протекал в уже ставшем привычным порядке: взлет, подъем, выход на горизонталь, регулировка триммера руля высоты «на давление», включение аппаратуры, постепенное увеличение оборотов моторов и соответствующее ему медленное, «ступеньками» по пять-шесть километров в час, приращение скорости. Все шло, как обычно. Яркое весеннее солнце играло на светлой обшивке самолета. Далеко внизу медленно плыла назад земля, сплошь усеянная разливами рек и водоемов, похожих с высоты на разбросанные осколки разбитых зеркал, в которых отражалось веселое апрельское небо.

Что ни говорите, а летать в такую погоду замечательно! Во всяком случае, гораздо приятнее, чем среди грязной ваты осенних многослойных облаков.

Медленно, как ей и положено, ползет стрелка указателя скорости. Удерживаю ее на несколько секунд в одном положении — очередная «ступенька» — и снова мягким увеличением нажима на штурвал посылаю ее чуть-чуть вперед...

И вдруг — будто огромные невидимые кувалды со страшной силой забарабанили по самолету. Все затряслось так, что приборы на доске передо мной стали невидимыми, как спицы вращающегося колеса. Я не мог видеть крыльев, но всем своим существом чувствовал, что они полощутся, как выпелы на ветру. Меня самого швыряло по кабине из стороны в сторону — долго после этого не проходили на плечах набитые о борта синяки. Штурвал, будто превратившийся в какое-то совершенно самостоятельное, живое и притом обладающее предельно строптивым характером существо, вырвался у меня из рук и метался по кабине так, что все попытки поймать его ни к чему, кроме увесистых ударов по кистям и пальцам, не приводили. Грохот хлопающих листов обшивки, выстрелы лопающихся заклепок, треск силовых элементов конструкции сливались во всепоглощающий шум.

Вот он, флаттер!

Зрение, осязание, слух настолько завалены новыми мощными ощущениями, что невозможно требовать от них отдельного восприятия каких-либо деталей.

Но сознание — как всегда в подобных случаях! — снова работает ясно, четко, спокойно, в тысячу раз лучше, чем обычно. Сквозь все это потрясение (в буквальном смысле слова, пожалуй, даже более сильное, чем в переносном) я жадно пытаюсь «вчувствоваться» — именно не вглядеться, не вслушаться, а вчувствоваться — в поведение самолета и, колотясь о борта сошедшей с ума кабины, жду, когда же он наконец затормозится и прекратится вся эта свистопляска.

Жду, потому что больше предпринять ничего не могу. Все, что можно, было сделано мной еще тогда, когда я додумался до нового способа использования триммера руля высоты. Сейчас это должно дать свои плоды. Обязательно должно!

Жду долгие, полновесные секунды — сегодня каждая из них тянется еще дольше, чем полгода назад, когда я вытаскивал машину из отвесного пикирования. Причина ясна — тогда я работал. Активно, с напряжением всех сил и внимания, работал.

А сейчас жду...

Флаттер прекратился так же внезапно, как начался.

Он продолжался, как показала расшифровка записей самописцев, около семи секунд. Больше машина вряд ли и выдержала бы, хотя мне, по совести, показалось, что дело тянулось по крайней мере в три раза дольше. Это был, по-видимому, тот самый случай, о котором говорят: «минуты мне казались часами».

Триммер сделал свое дело. Все получилось как по писаному.

В первый момент после прекращения вибраций мне по контрасту показалось, что наступила полная тишина и самолет неподвижно повис в воздухе, хотя на самом деле, конечно, был слышен и шум встречного потока воздуха и рокот моторов, а вся машина мелко подрагивала и покачивалась от атмосферных порывов, как в любом полете.

...И вот я снова тащу раненую машину к аэродрому. Опять я заблаговременно выпускаю шасси, а посадочные щитки оставляю убранными. Опять строю заход по прямой издалека и избегаю лишних движений органами управления.

Внешне все похоже на возвращение домой полгода назад. Но настроение у меня совсем иное. Я чувствую себя победителем.

В ближайшие после этого дни я чувствовал себя победителем, пожалуй, даже в несколько большей степени, чем следовало. В частности, не таким уж я оказался в этом полете умным и предусмотрительным, каким возомнил себя сгоряча. На самом деле эти качества в данном случае проявил в первую очередь не я, а мой старший товарищ А. П. Чернавский. Все это я вскоре понял.

В полной мере почувствовал я и всю необходимость для летчика-испытателя того, что можно назвать «разумным недоверием» к испытываемому объекту, пока он не исследован до конца. Кстати, когда сей счастливый момент наступает, работа на этом обычно и заканчивается, а «доведенный» объект, к которому теперь можно испытывать полное законное доверие, у летчика-испытателя отнимают.

Главный же сделанный мной из всего происшедшего вывод (делать выводы из удач оказалось, кроме всего прочего, гораздо приятнее, чем из неудач!) заключался в том, как жизненно необходимо летчику-испытателю перед ответственными полетами (а это значит перед всеми полетами, так как никогда заранее неизвестно, который из них обернется «ответственным») тщательно продумывать все, в том числе и самые неприятные возможные варианты неисправностей и происшествий. Предусмотренная опасность — уже наполовину не опасность.

Но все эти раздумья и вытекающие из них выводы пришли позднее.

А пока наш подруливший на стоянку самолет оказался в центре всеобщего внимания. Мы не успели еще вылезть из своих кабин, как узнали от механиков, что «с этим самолетом — все», его остается только списать: крылья, фюзеляж, мотогондолы — все смялось, покрылось трещинами, деформировалось. И в этом было внешнее сходство с невеселым результатом нашего неудачного пикирования полгода назад, но только внешнее! Сейчас подлежащий списанию самолет представлял собой что-то вроде почетной боевой потери — реальное воплощение неизбежных издержек нашей работы.

Вокруг быстро собирались люди. Пришел один из организаторов и создателей нашего института, профессор А. В. Чесалов, сам немало поработавший в области изучения и исследования самолетных вибраций. Его реакция на происшедшее была несколько неожиданна.

— Немедленно, ни с кем не разговаривая, идите в мой кабинет, запишитесь там и опишите все настолько подробно, насколько сможете, — потребовал он, — иначе пропадет вся свежесть впечатления, и вы опишете не столько флаттер, сколько свои разговоры о нем со всеми встречными. А это далеко не одно и то же.

Я не был уверен, что заметил так уж много. Обстановка мало располагала к обстоятельным наблюдениям. Тем не менее писать донесение я пошел немедленно. Чесалов был прав — откладывать можно (и даже полезно) формулировку выводов, но не описание фактов, которые удалось наблюдать в полете.

Когда я, закончив все дела, уходил с аэродрома, уже вечерело. Воздух был чистый и прозрачный, с реки тянуло свежим ветерком. На земле наступали сумерки, в деревне, за летным полем, один за другим зажигались огоньки, но небо было еще совсем светлым. Почему я раньше никогда не видел, как это все красиво?

Жить было очень хорошо!

## Первые реактивные

Прошло еще четыре года. Снова наступила весна — первая послевоенная весна.

День Победы. Радостный шум на улицах, залпы невиданного по своей мощи салюта, яркий свет из тысяч окон, освободившихся от штор, занавесок и драпировок. В такие дни мне почему-то всегда хочется как-то отвлечься от праздничной атмосферы и мысленно окинуть взором все, что предшествовало торжеству.

Одна за другой всплывают в памяти отрывочные картины пережитого за годы войны...

...Июль сорок первого года. Всего месяц идет война. Первый налет фашистской авиации на Москву. В числе защитников столицы — отдельная эскадрилья ночных истребителей, сформированная из летчиков-испытателей, успевших освоить последнюю новинку нашего самолетостроения — скоростной истребитель «МиГ-3», сконструированный коллективом инженеров во главе с А. И. Микояном и М. И. Гуревичем.

И вот я в черном небе над Москвой. Оно сейчас кажется особенно черным по контрасту с ярким пламенем пожаров подо мной. До этого мы знали войну только по рассказам (а это значит — не знали совсем!), и, в частности, никому из нас не было известно, что одна горящая среди затемненного города зажигалка производит такое впечатление, будто полыхает целый квартал.

Москва в огне! Кто из нас мог всего месяц тому назад даже представить себе такое! До этого в нас прочно, как нечто само собой разумеющееся, успело впитаться представление о будущей войне: обязательно «малой кровью» и притом только «на чужой территории».

В лучах прожекторов плывет тяжелый «дорнье». Ловлю себя на желании стрелять прежде всего по жирным черным крестам, ярко выделяющимся на фоне желтых крыльев. Но это движение души надо подавить — от пробоин в крыльях «дорнье» не упадет, — надо бить по моторам, по кабине, по стрелковым постам, от которых к моему самолету уже тянутся пунктирные строчки трасс встречных очередей...

...Первая военная зима — суровая, жестокая, сорокаградусная зима.

Наш полк пикирующих бомбардировщиков (судьба летчика-испытателя — даже на войне пересаживаться с одного типа самолета на другой) действует на Калининском фронте. По-прежнему нас в воздухе гораздо меньше, чем фашистов: редко встретишь во время боевого вылета звено патрулирующих «ЯКсв» или увидишь ползущих в бреющем полете над самой землей штурмовиков «ИЛ-2». Зато немецкие самолеты шныряют на каждом шагу. Потери следуют за потерями.

Втроем — Карагодов, Ефремов и я — мы заходим на позиции артиллерии противника, западнее Ржева. Под нами высокий берег сравнительно неширокой реки — не верится даже, что это Волга. Но сейчас нам не до географии: впереди — кляксы на чистом листе бумаги — вырастают черные шапки разрывов заградительного зенитного огня. Еще несколько секунд — и идущий слева от меня самолет Карагодова взрывается, превращаясь в огненный шар, из которого нелепо торчат одни концы крыльев. Мне кажется, что сквозь стекла кабины я ощущаю жар, источаемый горячей машиной. Клубок огня, внутри которого находятся наши товарищи, быстро остаеться позади. И в этот момент переворачивается вверх колесами самолет Ефремова: по-видимому, убит летчик. Вот машина как-то криво переваливается со спины на нос и устремляется в неуправляемом пикировании вниз, к земле. Среди разрывов зенитных снарядов остается только наш одинокий пикировщик. Одни мы сбрасываем бомбы на цель, и одни возвращаемся на аэродром.

Потери продолжаються. Через несколько дней не возвращается с задания экипаж Селиванова. Сбивают Яковлева. Но — странное дело! — горечь от их гибели носит совсем другой характер, чем было бы всего полгода назад. Даже тяжелые потери на фоне наступления воспринимаются иначе — не кажутся такими напрасными.

А наступление идет — Андреаполь, Пено, Торопец, к самому Витебску подбирается острый клин советских войск. Противник, слов нет, силен, но и его, оказывается, можно научить отступать...

...Июнь сорок третьего года. Ночной налет группы наших самолетов на Брянский аэродром, где сосредоточены большие силы фашистской авиации, нацелившиеся на Москву. Качающиеся белые столбы прожекторов, разрывы бомб на земле, разрывы зенитных снарядов в воздухе — и среди всего этого горящий самолет, крутым разворотом отваливающий на север.

Это горит наш самолет.

Сквозь шум моторов слышен рев пламени, бушующего под фюзеляжем, — это похоже на то, как если бы одновременно работала тысяча паяльных ламп. Из люка,

находящегося рядом с моим креслом и соединяющего кабину с внутренней полостью крыла, как из форсунки, бьет пламя. Самолетное переговорное устройство не работает — наверное, перегорело или замкнулось где-то накоротко,— и я не могу ни услышать товарищей по экипажу, ни сказать что-либо им. О том, чтобы дотянуть до линии фронта, не может быть и речи. Горящий самолет идет на север, в сторону Брянских лесов, с каждой секундой приближаясь к партизанскому краю. Но вот у меня на ногах загораются унты. Ждать больше нельзя. Преодолевая силу встречного потока воздуха, вылезаю за борт, делаю небольшую затяжку и раскрываю парашют...

...Скитания по мертвой, выжженной эсэсовскими карателями земле... Перестрелки с фашистскими патрулями... Наконец, выход к партизанам Рогнединской бригады...

В свою часть мы со штурманом Г. Н. Гордеевым прилетаем на «У-2» эскадрильи капитана Ковалева, летчики которой через линию фронта держали связь с брянскими партизанами и вывезли нас из тыла противника. Прилетаем, когда, положив руку на сердце, никто нас уже не ждал...

...Обрывки увиденного и пережитого за годы войны теснят друг друга, хотя я сам повоевал не так уж много — был отозван обратно на испытательную работу и со второй половины сорок третьего года бывал на фронтах только в командировках.

Товарищам, которые провели в боях всю войну, от первого до последнего дня, есть о чем вспомнить в День Победы гораздо больше, чем мне.

...Суровые четыре года жестоко потрепали наш коллектив. Погибли, выполняя свой долг, Ю. Станкевич, В. Федоров, С. Корзинщиков, Ф. Ежов. Перешел на другую работу (руководить летчиками-испытателями крупнейшего в Союзе авиационного завода) Козлов. Закончил летную деятельность (не раз переломанные кости в конце концов сделали свое дело!) Чернавский.

Много хороших людей, нужных для дела и по-человечески близких сердцу каждого из нас, потерял и продолжал терять наш коллектив. Но работа стоять не могла. На место очередного погибшего находилась замена, а если немедленно подобрать ее не удавалось, осиротевшие задания с большей или меньшей степенью равномерности распределялись между живыми. Испытания продолжались.

Новых опытных самолетов в годы войны строилось очень мало: все равно, какими бы выдающимися качествами такой самолет не блеснул, его шансы на внедрение в серийное производство (а только с этой перспективой и создается опытная машина) практически равнялись нулю. Перестройка производства потребовала бы нескольких месяцев, в течение которых не выпускалась бы ни новая, ни старая модель. Позволить себе такую роскошь в военное время никто не мог.

Поэтому главным в нашей работе стало всемерное улучшение и совершенствование серийных образцов, уже выпускаемых в массовом масштабе. На это была нацелена конструкторская мысль, это же было и предметом большей части испытательных полетов. Будущий историк авиации, без сомнения, не обойдет своим вниманием этот технический подвиг: в старые конструкции «на ходу» вдыхалась новая жизнь. Скрупулезному анализу подвергался каждый лючок, каждый болтик, каждая щель, и в результате к концу войны самолеты, внешне почти не отличавшиеся от своих довоенных прототипов, превосходили их по скорости на сто, сто двадцать, даже сто пятьдесят километров в час.

Тем не менее все понимали, что вечно так продолжаться не может. Возможности, которые предоставляло облагораживание внешней и внутренней аэродинамики самолета, были к концу войны практически исчерпаны.

Новые, еще большие скорости могли быть получены только ценой принципиально новых технических решений.

Нужен был новый двигатель — легкий, компактный и в то же время во много раз более мощный, чем поршневой. Нужен был самолет совершенно новых аэродинамических форм, способный реализовать эту огромную мощность.

Реактивная авиация стучалась к нам в дверь.

И вскоре первые отечественные опытные реактивные самолеты «МиГ-9» и «ЯК-15» появились на нашем аэродроме.

Впрочем, слово «первые» носит здесь явно условный характер. Они действительно представляли собой первые опытные образцы, предназначенные для того, чтобы послужить прототипами крупных серий — тысяч новых реактивных строевых самолетов, как две капли воды схожих со своими эталонами.

Но появились они не на «пустом месте».

У них были предшественники — прямые и косвенные.

Была своя предыстория — большая, сложная, порой драматическая.

...Весной тяжелого военного сорок второго года впервые оторвался от взлетной полосы и ушел в воздух экспериментальный реактивный самолет «БИ-1» с жидкостным реактивным двигателем (ЖРД)<sup>1</sup>. Коллективом его создателей руководил известный конструктор и ученый В. Ф. Болховитинов. Летал на этом самолете летчик-испытатель Григорий Яковлевич Бахчиванджи.

Один успешный полет следовал за другим, но завершить программу испытаний не удалось. Самолет потерпел катастрофу. Для того чтобы полностью разобраться в причинах этого несчастья, в то время не хватало знаний — человечество еще находилось на сравнительно дальних подступах к штурму «звукового барьера», и стоящие на пути к нему преграды были не только научно не объяснены, но даже попросту далеко не все известны.

Поэтому, после того как самолет «БИ-1» внезапно перешел из стремительного горизонтального разгона в крутое пикирование и, не выходя из него, врезался в землю, сколько-нибудь внятного объяснения причин случившегося в то время не следовало.

При других обстоятельствах скорее всего построили бы новый самолет, другой летчик заменил бы Бахчиванджи и продолжил бы вторжение в новые скорости полета, начиная с того рубежа, до которого удалось дойти его предшественнику. Были бы мобилизованы лучшие научные силы, поставлены новые эксперименты в аэродинамических лабораториях, и в конце концов природа отступила бы перед натиском людей. Так оно и случилось позже.

Но тогда, в сорок втором году, было не до этого. Шла тяжелая война, и все силы авиации — от светлых умов ее ученых до последнего листа дюралюминия — были направлены на удовлетворение насущных, текущих требований фронта. Воевать без реактивной авиации в то время было еще возможно, и продолжение работ над «БИ-1» — предшественником последующих отечественных реактивных самолетов — пришлось отложить на неопределенное время.

Но и «БИ-1», оказывается, тоже возник не на «пустом месте».

Этот предшественник в свою очередь имел предшественников.

Уже в течение многих лет несколько инженеров — энтузиастов идеи реактивного движения — трудились над созданием ракетных двигателей. Им полной мерой досталось все, что положено активным сторонникам новой, располагающей весьма узким кругом поклонников идеи: удачи и неудачи (последних было больше!), взлеты, падения и, разумеется, полный набор неприятностей всех видов, какие только можно себе представить. Но эти люди делали свое дело. Их двигатели наконец заработали. Одна за другой в небо взлетали построенные ими ракеты — по нынешним воззрениям, еще весьма несовершенные, ненадежные, элементарные по конструкции, похожие на современные космические ракеты не в большей степени, чем маневровый паровозик конца прошлого века похож на современный тепловоз. Однако эти ракеты все же работали. И как только их конструкторы сами более или менее убедились в этом, естественно возникло стремление применить двигатель нового типа на летательном аппарате. Впоследствии такой двигатель был установлен на «БИ-1», но предварительно его следовало проверить в условиях полета на более легком летательном аппарате.

Так возникла мысль о постройке «ракетопланера» — планера, который взлетал бы, как обычно, на буксире за самолетом, затем отцеплялся бы, включал установленный

<sup>1</sup> Отличительная особенность ЖРД заключается в том, что он получает необходимый для горения топлива кислород не из воздуха, а из перевозимого с собой в баках специального окислителя.

у него в хвосте ракетный двигатель — вот он, долгожданный полет с реактивной тягой! — и, только израсходовав все горючее, производил бы снижение и посадку, как обыкновенный планер. Подобный ракетопланер был блестяще испытан летчиком-испытателем Владимиром Павловичем Федоровым.

Строго говоря, формально в то время В. П. Федоров еще не был профессиональным испытателем — он пришел к нам на постоянную работу, так сказать «насовсем», позднее, вместе с целой группой спортивных авиаторов, известных мастеров безмоторного полета: В. Л. Расторгуевым, С. Н. Анохиным, И. И. Шелестом, В. Ф. Хаповым, В. С. Васяниным.

Планер по отношению к самолету находится примерно в таком же положении, как яхта по отношению к пароходу. Недаром на родине планеризма, в Германии, он называется «парусным самолетом» — Segelflugzeug. На первый взгляд может показаться, что полет на планере очень прост: в отличие от самолета на нем нет ни двигателя, ни сколько-нибудь сложных систем электрооборудования или гидравлики, ни многих других элементов сложной техники, требующих со стороны летчика неусыпного внимания и контроля. Посадочная скорость планера очень невелика. Радиус и время выполнения любого маневра также малы. Приборное оборудование кабины предельно просто.

Но в противовес всему этому выступает одно более чем существенное обстоятельство — из-за отсутствия двигателя планер не может лететь горизонтально. Он способен только снижаться. По крайней мере — в спокойном воздухе. И для того чтобы, несмотря на это, продолжать полет, планеристу приходится по интуиции, чутьем, «шестым чувством» — называйте, как хотите, — угадывать в прозрачном, на глаз всюду одинаковом воздухе невидимые «лифты» — восходящие потоки — и, используя их, набирать на своих безмоторных аппаратах тысячи метров высоты или пролетать без посадки сотни километров, иногда к тому же по заранее заданному маршруту.

Недаром едва ли не все пилоты, отличающиеся особенно тонкой летной интуицией — так называемым «чувством полета», — на поверку оказываются бывшими планеристами.

Полеты В. П. Федорова на ракетопланере были, не говоря уже о риске, неизбежно сопутствующем всему принципиально новому, весьма не просто методически. Начать с того, что на такую высоту, которая требовалась для наиболее эффективного использования ракетного двигателя (это было, если мне не изменяет память, что-то около двенадцати тысяч метров), ни один подходящий для буксировки планера самолет того времени затащить его не мог. Тогда вместо пары — самолет и планер — решили поднимать в воздух тройку: самолет и два планера, соединенные буксирными тросами последовательно, так сказать, «цепочкой». Получалось нечто, напоминающее этажерку: первый планер шел за буксировщиком с превышением в несколько сот метров, а второй — основной — планер в свою очередь имел такое же превышение над первым. Но и таким хитроумным способом, требующим предельной точности и согласованности действий всех трех летчиков, достигнуть нужной высоты не удалось. Высота «этажерки» ограничивалась длиной буксирных тросов, а удлинять эти тросы можно было лишь до известного предела, определяемого условиями взлета. Тогда решили установить на планерах лебедки, на которые и наматывать большую часть длины буксирных тросов. Взлет и набор высоты до потолка самолета-буксировщика производился на сравнительно коротких тросах, а затем пилоты обоих планеров последовательно стравливали свои тросы с лебедок, осаживаясь благодаря этому все дальше назад и (ради чего и была придумана вся эта хитроумная затея) все больше вверх относительно самолета.

Нужная высота была достигнута.

Может быть, не следовало бы здесь так подробно рассказывать об этом, в сущности, вспомогательном этапе испытаний ракетопланера. Но очень уж он характерен, как пример того, сколько преград неизменно возникает в ходе любого сколько-нибудь серьезного испытания. Зачастую (как и в нашем случае) они возникают еще до того, как дело успевает дойти до основного пункта программы, ради которого, в сущ-



ности, и затеяна вся работа. И далеко не всегда удается преодолеть эти преграды так блестяще, как это сумели сделать создатели и испытатели ракетопланера.

Формально, если разбираться в «приоритетах», ракетный планер выступает в качестве не прямого, а косвенного предшественника реактивного самолета: все-таки взлетал с земли он на буксире, и в этом смысле его собственная тяга не была для него основной.

Но не в этом дело. Подавляющее большинство великих изобретений возникало не внезапно, а выросло на почве многих более мелких, вернее, частных находок и решений.

Поэтому полеты В. П. Федорова на ракетном планере, так же как и полеты Г. Я. Бахчиванджи на экспериментальном самолете В. Ф. Болховитина, имеют самое прямое отношение к полетам наших первых опытных реактивных самолетов, последовавшим через несколько лет.

Более того, в ту же категорию «предшественников» (хотя, конечно, еще более косвенных) надо отнести различные конструкции ракетных ускорителей, которые устанавливались на винтомоторных самолетах для кратковременного создания дополнительной тяги на взлете или в полете. Над ними работали многие конструкторы и летчики. Два типа стартовых пороховых ускорителей испытывал в свое время и я.

Нет нужды продолжать перечисление фактов, дат, фамилий создателей и испытателей всего того, что послужило базой для создания в будущем «настоящих», сто-процентно реактивных самолетов. Тем более, что, изложив даже все, известное мне в этой области, я не мог бы поручиться за полноту получившейся картины.

Важно одно: такая база была и, говоря о первых реактивных советских самолетах, мы не имеем права забывать о ней...

...Итак, реактивные «МиГ-девятый» и «ЯК-пятнадцатый» появились на нашем аэродроме. Каждая новая машина всегда вызывает у аэродромной братии, а особенно у летчиков, профессиональный интерес. Излишне говорить, какими глазами мы взирали на непривычные, казавшиеся странными очертания прибывших новинок.

Особенно не похож на старые, добрые винтомоторные самолеты был «МиГ-9». Его смахивающий на головастика, пухлый спереди и резко сужающийся к хвосту фюзеляж низко висел над землей на нешироко расставленных «лапах» шасси. Спереди, где испокон веков полагалось быть винту, не было ничего, или, вернее, были... две большие дыры — отверстия, через которые воздух поступал к двигателям. Сами двигатели косо торчали из брюха самолета так, что вырывающаяся из них реактивная струя омывала хвостовую часть фюзеляжа снизу.

Работники конструкторского бюро спросили, как нам нравится их детище.

Я отшутился встречным вопросом: |

— Неужели эта дырка полетит?

Представители «фирмы» засмеялись, но Леша Гринчик, назначенный ведущим летчиком-испытателем этого самолета, спокойно перенести подобное святотатство не мог и тут же, «не отходя от кассы», дал развернутый анализ всей глубины моей технической косности и консерватизма.

Гринчик был в расцвете сил. Он летал сильно, смело, уверенно. Самолет, как всякая очень сложная машина, имеет свой «характер», свой «душевный» облик. Недаром пилоты, впадая в смертный грех анимизма, часто говорят не только об отношении летчика к самолету, но и о взаимоотношениях между ними. «Взаимоотношения» Гринчика с самолетом имели в своей основе не уговоры, а твердую хозяйскую руку, с одной стороны, и полное безоговорочное подчинение — с другой. Иногда — чего греха таить — эта властность прорывалась у него и в область человеческих отношений, но тут он сразу же натывался на полное неприятие подобного оборота дела со стороны вольнолюбивой компании летчиков-испытателей. С ними шутки были плохи. Могли огрызнуться, а могли — еще того хуже — и на смех поднять. Однако долго на него не сердились. Сильные люди, летчики-испытатели умели ценить силу в других.

Наступил день первого вылета «МиГ-девятого».

Первый вылет — всегда событие для всего испытательного аэродрома. Прекращают все прочие полеты, чтобы летчик новой машины мог спокойно взлетать, садиться и строить весь маршрут полета так, как потребуют обстоятельства, — хоть вдоль, хоть поперек. Однако эта же вполне разумная мера автоматически создает на аэродроме мощные кадры ничем не занятых и к тому же профессионально весьма заинтересованных происходящим людей — сам бог велит им превращаться в болельщиков. И действительно, когда впервые вылетает новый опытный самолет, края летного поля, балконы служебных зданий, даже крыши ангаров (с них видно лучше всего) сплошь покрыты людьми. Пока идут приготовления, над местами сосредоточения «зрителей» стоит ровный гул разговоров, причем преимущественно на сугубо посторонние темы (этого требуют неписанные правила аэродромного хорошего тона).

В день, о котором идет речь, непривычное началось уже на этапе приготовлений: вместо того чтобы на стоянке, вблизи ангаров, запустить моторы и своим ходом подрулить к взлетной полосе, реактивный самолет был прицеплен к автотягачу и таким прозаическим способом отбуксирован на старт. Реактивные двигатели того времени были крайне прожорливы и за время рулежки съели бы заметную часть и без того ограниченного запаса горючего. Вслед за самолетом двинулся автобус с техниками и мотористами, аккумуляторная тележка и пожарная машина. Когда вся эта процессия добралась до старта, от ангара отъехал легковой автомобиль. Он энергично взял разгон и понесся по опустевшей рулежной дорожке, мимо неподвижно стоящих самолетов, прямо к старту. В автомобиле сидел начальник летной части института инженер-летчик Д. С. Зосим, его очередной заместитель старший летчик-испытатель Н. С. Рыбко (говорю очередной, ибо горькая чаша несения административных функций не миновала почти никого из нас) и сам виновник торжества А. Н. Гринчик в кремовом комбинезоне, белом шлеме и с парашютом в руках.

Вот они подъехали к самолету. Последний контрольный осмотр машины. Гринчик надевает парашют и по приставной лесенке поднимается в кабину. Снаружи на эту же лесенку становится инженер В. В. Пименов, выполняющий на «МиГ-9» обязанности механика. Эта традиция — комплектовать состав испытателей новой серьезной машины из людей несравненно более высокой квалификации, чем, казалось бы, требуют их прямые обязанности, — огнюдь не излишняя роскошь.

За хвостом самолета поднимается пыль, до нас доносится шепелявый свист (все сегодня непривычно — даже этот звук) — двигатели запущены. Как по сигналу, смолкают разговоры, будто для них требовалась полная тишина, нарушенная шумом двигателей.

Мы понимаем состояние летчика в этот момент. Он наготове. Все его моральные силы мобилизованы на встречу с любой неожиданностью. Какой именно — он не знает (если бы знал, то она перестала бы быть неожиданностью, да и вообще была бы исключена). Когда наконец она раскроется — летчик, сколь это ни парадоксально, сразу успокоится. Вернее, не успокоится, а привычным рефлексом загонит волнение куда-то глубоко в подвалы своего сознания. Облик врага виден — все силы на борьбу с врагом! Благо они мобилизованы для этого еще на земле.

Но вот выше и гуще стала пылевая завеса за хвостом самолета, свист двигателей перешел в неровный, будто рвут одновременно тысячи кусков полотна, рев — и машина двинулась с места.

Сначала ее разгон по земле показался более ленивым, чем у винтомоторных самолетов, затем она пошла с заметно ббльшим ускорением, вот переднее колесо оторвалось от бетона — машина мчится по аэродрому с поднятым носом, на основных колесах. Еще секунда — и Гринчик в воздухе!

Плавно, спокойно, выдержав немного самолет над самой землей, он полого уходит вверх.

Кажется, пока все в порядке.

Машина делает два широких, размашистых круга в районе аэродрома и, прицелившись издали, заходит на посадку. Вот она уже из еле видимой точки превращается в горизонтальную черточку, затем как бы «проявляются» колеса шасси, вид-

ны уже выпущенные в посадочное положение закрылки, поблескивает плексиглас фонаря кабины.

К границе аэродрома самолет подходит на высоте в два-три метра. Отличный расчет! Резко обрывается шум двигателей, самолет проносится немного над землей, плавно касается бетона колесами и, свистя, катится по полосе.

Первый вылет опытного, и не просто опытного, а знаменующего начало целой новой эпохи в авиации, самолета выполнен!

«Эта дырка» все-таки полетела, и, кажется, полетела неплохо.

И сразу же на стоянках, ангарных крышах, повсюду, где, затаив дыхание (конечно же, затаив дыхание!), стояли едва ли не все «население» аэродрома, поднимается немислимый галдеж. Напряжение истекших двадцати минут требует выхода. Разумеется, таких слов, как «историческое событие» или «выдающееся достижение», никто не говорит — они здесь не в моде. Но мы достаточно знаем друг друга, чтобы вполне точно почувствовать общее настроение. Сегодня оно — иначе не назовешь — торжественное.

Но на этом событиях дня не окончились.

Прошло всего несколько часов — и все повторилось снова. На старт вывели реактивный самолет «ЯК-15», созданный конструкторским коллективом, руководимым А. С. Яковлевым. В этой машине была полностью сохранена основа конструкции прославленного винтомоторного истребителя «ЯК-3», и только вместо мотора с винтом установлен реактивный двигатель. Это не сулило достижения особенно высоких скоростей, но давало возможность получить отличный переходной самолет, на котором освоение новой, реактивной, техники механиками, да и самими летчиками строевых частей облегчалось наличием многих привычных элементов.

Не знаю, был ли вылет «ЯК-пятнадцатого» в тот же самый день запланирован заранее или тут сыграл роль некоего катализатора событий вылет «МиГ-девятого».

Так или иначе через несколько часов после полета Гринчика летчик-испытатель М. И. Иванов столь же успешно оторвал от земли еще один опытный реактивный самолет.

Да, это был большой день нашей авиации!..

...А вечером состоялся банкет. Правда, то, что мы столь светски именовали банкетом, сильно отличалось от общепринятого представления о нем: ни шикарных ресторанных залов, ни блестящих люстр, ни импозантного метрдотеля не было. Наши традиционные празднования первых вылетов или иных значительных событий летной жизни происходили в той же тесной комнатухе, в которой мы обычно обедали. Официантки Настя и Лена делали в подобных случаях все от них зависящее, чтобы сервировка имела возможно более шикарный вид, но для этого явно не хватало «реквизита», а главное — ни малейшей потребности в каком-либо шике никто из присутствующих никогда не ощущал.

Во главе стола сидели виновники торжества. Гринчик успел съездить домой и переодеться в свой выходной темно-серый костюм. На левом лацкане его пиджака блестяли два ордена Ленина, на правом — два ордена Отечественной войны. Его смеющееся лицо выражало такую жизненную силу, что казалось — этого человека хватит на сто лет!

Михаил Иванович Иванов был в обычном рабочем костюме; его полет проходил уже во второй половине дня, и к началу банкета он едва успел разделаться с неизбежными послеполетными процедурами: разбором, ответами на вопросы инженеров, заполнением (обязательно на свежую память!) документации. Он тоже был «именинником» сегодня. И его лицо, конечно, сияло, так же как и физиономии всех двадцати—двадцати пяти присутствовавших, набившихся в рассчитанное на десять обедающих помещенье...

...Реактивные самолеты начали летать. Почти каждый день то один из них, то другой поднимался в воздух. Летные данные новых машин, особенно «МиГ-девятого», как и следовало ожидать, резко отличались от всего, к чему мы постепенно, по крохам, добрались за эти годы.

В одном из полетов Гринчик достиг рекордного по тому времени значения скорости — более девятисот километров в час и числа  $M$  — порядка 0,78<sup>1</sup>.

Возможности самолета на этом не были исчерпаны. Имело смысл попробовать максимальные скорости на различных высотах, чтобы нащупать наивыгоднейшую из них.

Однако дальнейшее продвижение задерживалось многочисленными мелкими доводками и улучшениями конструкции, целесообразность и даже необходимость которых выявлялись почти после каждого полета. Особенно много пришлось Гринчику повозиться с выяснением причин и устранением тряски — противного мелкого зуда, от которого дрожала приборная доска, дрожали стенки кабины, фонарь над головой летчика, ручка управления в его руках — словом, все, что он видел и ощущал физически, а также (это подтверждали показания приборов) то, чего он в полете ни видеть, ни чувствовать не мог.

— Отличная машина! — говорил нам Леша. — Но полетаешь на ней полчаса, а потом до вечера мерещится, будто аж глаза в своих впадинах вибрируют!

Весь опыт, знания, зрелый испытательский талант А. Н. Гринчика и работавшей с ним бригады понадобились для того, чтобы разобраться в причине этих чертовых, столь некстати возникших (самолетные дефекты, как и человеческие болезни, обладают удивительным свойством — возникать всегда некстати) загадочных вибраций.

В конце концов оказалось, что вырывающаяся из двигателей реактивная струя, обтекая жароупорный экран на днище кормовой части фюзеляжа, раскачивает его и вслед за ним всю конструкцию самолета.

Усиление крепления экрана вылечило машину, но, пока до этого дошли, прошло немало времени, в течение которого и летчика и самолет успело как следует потрясти...

Я улетал на несколько дней в Ленинград. Кому не радостно лишний раз повидаться с родными, поговорить с друзьями юности, наконец, просто побывать в родном городе! Коренных ленинградцев часто обвиняют в необъективно восторженном отношении к своему городу (впрочем, те же обвинения принято предъявлять киевлянам, одесситам и уроженцам многих других городов), но что же делать, если Ленинград действительно так хорош! Хорош, если смотреть на него с земли, хорош с моря, хорош и с воздуха. Строгие линии его магистралей, ртутная сетка дельты Невы, залив с черточкой морского канала — словно одна из прямых ленинградских улиц, разбежавшись, не сумела остановиться и продолжила свой стремительный бег по воде, — где еще можно увидеть что-либо подобное!

С воздуха лучше, чем откуда-либо, видно, как

Мосты повисли над водами;  
Темнозелеными садами  
Ее покрылись острова...

Будто Пушкин сумел силой своего гения подняться ввысь и с высоты птичьего полета бросить восхищенный взгляд на столь близкий его сердцу город!..

Быстро — хорошее всегда проходит быстро — промелькнуло несколько дней в Ленинграде, и вот мы снова в воздухе. Курс на Москву. Готовясь к полету по маршруту, летчики всегда наносят на карту заданную линию пути. Маршрут Ленинград—Москва, если лететь кратчайшим путем по соединяющей эти города прямой, представляет собой едва ли не единственное в своем роде исключение: линию пути карандашом наносить не надо — она уже нанесена на карте. «нанесена» и на самой местности рельсами прямой, как стрела, Октябрьской железной дороги. Правда, юго-восточнее Малой Вишеры дорога полукругом отходит от прямой линии, но тут же вновь вливается в нее. По преданию, это получилось потому, что карандаш царя Николая I, по линейке проводившего на карте трассу будущей дороги, натолкнулся на

<sup>1</sup> Числом  $M$  называется отношение скорости полета к скорости звука. Оно характеризует как бы степень приближения к «звуковому барьеру».  $M = 0.78$  означает, таким образом, что скорость полета составляла 78 процентов от скорости звука.

палец прижимавшей линейку руки и описал его контур. Да еще в одном месте, уже вблизи Москвы, дорога начинает немного извиваться. Но все эти отклонения невелики и легко поддаются мысленному спрямлению, когда летишь над ними.

Мы прошли уже более половины пути, когда сидевший справа от меня второй летчик Л. В. Чистяков показал рукой вперед.

— Смотри, Марк, там какая-то мура.

Действительно, на горизонте собиралась «мура» — что-то серое, мрачное, непрозрачное. В первый момент нас это никак не смутило: не будет видимости — полетим «вслепую», по приборам. Но вскоре положение осложнилось. В темной облачной каше впереди нас одна за другой замелькали зарницы. По курсу полета была гроза, а с грозой шутки плохи! Не говоря уже о малоприятной перспективе прямого удара молнии в самолет (вероятность чего, судя по имеющейся статистике, в общем невелика), главную опасность представляют могучие воздушные потоки, всегда бушующие в толще грозовых облаков. Они способны швырять тяжелую машину на тысячи метров вверх и вниз, а то даже и вовсе разломать ее. Грозу следовало обойти, и я решительно отвернул самолет в сторону, туда, где, как мне казалось, было немного светлее.

— Правильно, — одобрил мои действия Чистяков и, перефразировав известный «гимн альпинистов», добавил: — В грозу умный не пойдет — грозу умный обойдет!

Чувствовать себя умным было приятно, но оказалось далеко не просто. Обойти грозу не удавалось. Не одно грозовое облако, а целый протянувшийся, наверное, на сотни километров грозовой фронт стеной встал перед нами. Началась резкая болтанка. Порывы ветра энергично бросали машину с крыла на крыло, по обшивке фюзеляжа гулко забарабанил дождь, кругом потемнело, как в густые сумерки. Сколь ни досадно было поворачивать назад, когда до своего аэродрома оставалось немногим больше сотни километров, но делать было нечего. Пришлось развернуться на обратный курс и садиться на запасном аэродроме, только что оставшемся было за хвостом нашего самолета. Во время захода на посадку самолет бросало так, что полных отклонений штурвала едва хватало, чтобы удержаться в пределах более или менее допустимых положений в пространстве. Дождь стоял плотной стеной, за которой посадочная полоса скорее угадывалась, чем просматривалась. Казалось, что больших бесчинств со стороны природы невозможно и выдумать, но стоило этой мысли прийти мне в голову, как дождь усилился еще более, пошли почти не смолкающие раскаты грома, засверкали молнии. Подошла самая ось грозового фронта. Но для нас это было уже безразлично — мы благополучно сидели на земле.

Нельзя сказать, чтобы эта гроза была самой сильной из всех, которые мне довелось видеть, или что положение, в которое мы попали, было особенно сложным.

Просто последующие события этого дня, как часто бывает, по-особому осветили все хронологически случившееся в непосредственной близости к ним и заставили меня навсегда запомнить и этот, сам по себе ничем не примечательный, полет, и встречу с грозой, и вынужденную посадку на случайно оказавшемся поблизости аэродроме.

Через час грозовой фронт, прокатившись через нас, ушел на север. Ветер стих, дождь кончился, в облаках появились голубые просветы, насыщенный озоним воздух вызывал прилив бодрости и хорошего настроения.

Мы запустили моторы и полетели дальше. Вот уже осталась позади Москва, еще несколько минут полета — и аэродром под нами. Мы развернулись, сели, подрулили к стоянке — все было, как обычно. И только подрулив ближе к ангарам, мы заметили вывешенные на них большие черно-красные траурные флаги.

— В чем дело? Что случилось? — спросил я у механиков, едва успев вылезть из самолета.

— Несчастье. Погиб Гринчик...

...Его гибель была неожиданной и загадочной. Он пролетал над аэродромом на высоте в несколько сот метров со скоростью, во всяком случае, меньшей, чем неоднократно достигавшая им в предыдущих полетах. Внезапно на глазах у всех машина перевернулась, устремилась к земле и врезалась в нее тут же, на краю аэродрома. От того, что еще несколько секунд назад было новым замечательным самолетом, осталось так мало, что о причинах катастрофы можно было только строить догадки.

...И вот еще одни похороны. Скорбная траурная музыка, цветы, венки, толпы людей, пришедших в клуб института, чтобы проститься с погибшим. В изголовье закрытого красного гроба большой портрет, с которого смеется веселый, задорный, блещущий белыми зубами Гринчик. Потом — растянувшаяся на добрых два километра колонна автомашин. Рев проносающегося на бреющем полете звена истребителей почетного эскорта. Долгий путь от нашего аэродрома в Москву, на тихое тенистое кладбище Новодевичьего монастыря. Еще несколько слов, искренних, но никогда не способных в полной мере отразить чувства говорящих над открытой могилой. Троекратный залп салюта...

Далеко не впервые приходилось нам хоронить товарища. Но на сей раз происшедшее особенно трудно укладывалось в сознании. Э т о т летчик не должен был разбиться.

— Я считал, что такие не погибают!— сказал его учитель, сам в прошлом авиатор, профессор А. Н. Журавченко.

Оказалось, погибают и такие...

...В день, когда я получил предложение взять на себя испытания нового «МиГ-девятого», спешно изготовленного взамен погибшего, я, помнится, с утра был очень занят: два раза летал по текущим заданиям, а в промежутках между полетами лихорадочно писал свою часть очередного запаздывающего отчета (отчеты всегда запаздывают — это непреложно установлено длительным опытом).

— У нас к тебе есть деловое предложение, Марк,— сказал Зосим.— Испытай новый «МиГ-девятый».

Он сказал это таким тоном, каким обычно делятся с собеседником хорошей мыслью, внезапно пришедшей в голову, но я понимал, что это не экспромт.

Я был в это время уже далеко не тем зеленым юнцом, который, услышав предложение испытать самолет на флаттер, торопился немедленно дать положительный ответ, опасаясь, как бы какой-нибудь ловкач не «увел» интересное задание из-под носа. Я стал если, к сожалению, не умнее, то, во всяком случае, старше, опытнее и научился трезво оценивать свои силы и возможности. Но тут было совсем особое дело!

За «МиГ-9» я взялся, не размышляя ни секунды,— можно сказать, сразу всей душой раскрывшись навстречу этому заданию. Причин для этого было достаточно: и настоящий профессиональный интерес, который вызвала у всех нас эта уникальная машина, и естественное для всякого испытателя желание попробовать новые, никем ранее не достигнутые скорости, и, наконец, сложное личное чувство, которое трудно точно сформулировать и можно лишь весьма приблизительно уподобить чувствам охотника, особенно стремящегося одолеть именно того зверя, в схватке с которым погиб его товарищ...

...Отставив в сторону все прочие дела, я принялся за глубокое изучение всего, имевшего отношение к «МиГ-9»: описания, инструкции, материалы комиссии, расследовавшей катастрофу первого экземпляра (с моей, возможно не очень объективной, точки зрения, в этих материалах было многоваго предположений и маловато абсолютных истин), полетные задания, на обороте которых хорошо знакомым мне почерком Леши Гринчика были записаны его замечания и наблюдения. Все это было мне нужно, все вооружало для предстоящей работы.

Я подолгу сидел в кабине, благо самолет был уже доставлен на аэродром и проходил последние предполетные доработки: расконсервирование и регулировку двигателей, опробование уборки и выпуска шасси и щитков, проверку предельных углов отклонения рулей, взвешивание, центровку. Словом, дел было много, и ведущий инженер А. Т. Карев, инженер-механик В. В. Пименов, механик А. В. Фуфурин и вся бригада (это была та же бригада, с которой работал Гринчик) трудились не покладая рук, ежедневно, без выходных, от зари до зари.

В сущности, оборудование кабины «МиГ-9» было мне уже в основном известно. Не раз, движимый чистой любознательностью, я влезал на приставленную к его борту стремянку и так — снаружи — внимательно рассматривал приборы, рычаги и тумблеры, окружавшие кресло летчика. Но это было снаружи.

Теперь же мне предстояло подойти к кабине «МиГа» изнутри (во всех смыслах этого слова) и освоить ее — тут напрашивается аналогия с изучением иностранных языков — не пассивно, а активно. Мало было знать, что показывает тот или иной прибор или на что воздействует отклонение какого-нибудь рычага. Надо было привыкнуть автоматически пользоваться ими. Летчик должен управлять самолетом так, как человек действует, например, своей рукой, не раздумывая над тем, какие мускулы и в какой последовательности надо для этого напрячь или расслабить.

Интересно, что в любом полете, если летчик не имеет специального задания зафиксировать показания каких-либо приборов, в его памяти остаются только те из них, которые он считает ненормальными. Все остальное (а приборов, нельзя забывать, перед ним десятки) сливается в сознании в общее суммирующее ощущение: нормально. Так получается потому, что внимание летчика с экономным полуавтоматизмом как бы скользит по приборной доске, фильтруя все видимое и пропуская в сферу осознанного лишь то, что требует принятия каких-то мер, то есть сознательной деятельности.

Без этого драгоценного автоматизма ни один летчик не был бы в состоянии свободно управляться со сложным хозяйством кабин современных самолетов, не говоря уже о всей прочей приходящейся на его долю работе. На нее внимания и подавно не хватило бы.

Если летчик может правильно ответить на вопрос о назначении и местоположении любого прибора или рычага — например, крана уборки шасси, — еще не известно, освоил ли он как следует свое рабочее место. Вот когда в ответ на команду «убрать шасси!» его рука сама окажется на нужном кране, прежде чем мысль об этом успеет оформиться в голове летчика, только тогда кабину можно считать освоенной. Я подолгу сидел в «МиГ-девятом».

Наземная бригада уже заканчивала все необходимые приготовления к первому вылету. Механики торопились. Надо было торопиться и мне...

Мой первый вылет на «МиГ-9» был назначен на утро, но сильный боковой ветер, как назло дувший поперек взлетной полосы, заставил откладывать его с одного часа на другой и так «дооткладывать» до вечера. Это всегда раздражает летчика: внутренне собравшись для выполнения какого-то сложного, требующего мобилизации всех сил дела, трудно поддерживать в себе эту собранность в течение неограниченного промежутка времени. Впрочем, и этому должен научиться летчик-испытатель.

Наконец ветер стих.

Я сижу в кабине «МиГа» и педантично — как положено, слева направо — осматриваю ее. Передо мной пустая взлетная полоса. Полеты закрыты. Аэродром и воздух вокруг него очищены от самолетов. Даю команду:

— К запуску!

Небольшая группа людей — начальник летной части Зосим, мои друзья летчики-испытатели Рыбко и Эйнис, несколько инженеров конструкторского бюро — стоит немного в стороне, у автомашин. Рядом с самолетом только непосредственно необходимые для обеспечения вылета механики и ведущий инженер Карев. Ему сейчас нелегко. Последний раз он точно так же, на точно такой же машине выпускал в полет Гринчика. Механики, те хоть чем-то заняты, а он стоит у крыла и ждет. Ждет, когда все будет готово. Я понимаю его состояние и пытаюсь ободряюще подмигнуть ему, на что в ответ получаю самую жалкую, кривую и вымученную улыбку, какую мне когда-либо приходилось видеть.

Двигатели запущены и опробованы. Закрываю прозрачный фонарь над головой, даю знак убрать колодки из-под колес и отпускаю гашетку тормозов.

Ожидание кончилось. Начинается работа.

Едва машина тронулась с места, как сразу же сказался обычный, вызванный началом активной деятельности, психологический эффект: я почувствовал себя сильным, спокойным, полным таких внутренних резервов, которых с избытком хватит для преодоления любых осложнений.

Скорость разбега нарастает. Поднимаю носовое колесо. Краем глаза вижу, как стрелка указателя скорости подходит к цифре «200». И почти сразу после этого машина отрывается от земли.

И тут же, немедленно, начинаются те самые осложнения, которые я только что столь легкомысленно был готов принять в любом количестве.

Самолет норовит задрать нос. Допускать этого нельзя, иначе он потеряет скорость и рухнет на землю. Поэтому сразу же энергично отклоняю ручку вперед, от себя. Она, будто живая, сопротивляется этому, но оснований для тревоги пока нет — как известно, усилия можно снять триммером. Даю импульс тумблером управления триммерами, но — что за чудеса! — усилия не только не уменьшаются, но делаются еще больше. Отношу это за счет того, что непрерывно растет скорость, и я, по-видимому, не успеваю своими действиями за ней. А посему еще одно, на этот раз более длительное нажатие на тумблер и... ручка управления лезет на меня с такой силой, что приходится упереться в нее обеими руками и только таким образом удерживать самолет в повиновении.

Это нелегко, зато теперь по крайней мере мне ясно, в чем дело: перепутано управление триммером! Конечно, потом на земле так оно и оказалось — из-за не очень понятной системы маркировки (к чему относить метки «вверх» и «вниз» — к триммеру или самому рулю?) контрольный мастер в одной из последних проверок «нашел дефект» и перепаял концы электрической проводки управления триммером «как надо».

Изловчившись, вороватым движением отрываю левую руку от ручки управления и отклоняю тумблер триммера в обратную сторону. Усилия сразу уменьшаются. Все приходит в норму.

С земли заметили только, что самолет после отрыва от полосы пошел в набор высоты немного круче, чем следовало бы. О пикантных подробностях этого этапа полета я рассказал всем (а особенно красочно — контрольному мастеру по управлению) уже после посадки.

А пока — широкий круг над аэродромом. «Шалости» триммера не испортили общего впечатления от машины: она устойчива, плотно сидит в воздухе, из нее хороший, как с балкона, обзор, во всем ее летном облике есть что-то надежное, простое, бесхитрое. Это не самолет-аристократ, требующий особо тонкого отношения к себе (бывают и такие), а самолет-солдат.

На втором круге позволяю себе попробовать немного более крутые, с соответственно более глубоким креном развороты и издалека, с расстояния десяти—двенадцати километров, захожу на посадку.

Обороты двигателей убраны до минимально допустимых, но, тем не менее, тяга очень велика — самолет снижается чрезмерно полого, да и скорость полета великовата. Поэтому, убедившись в том, что попадание на аэродром гарантировано, выключаю один двигатель. Еще ниже, ниже, вот и граница аэродрома. Выключаю второй двигатель. Несколько секунд выдерживания над самой землей, машина мягко садится и устойчиво катится по полосе.

Кажется, все!

Нет, не все. Сюрпризы продолжают. В самом конце пробега у меня под ногами что-то сухо щелкает, самолет опускает нос, чертит им по бетону так, что во все стороны, будто из-под точильного круга, летят снопы искр, и останавливается с неизящно задраным хвостом. Вылезаю и убеждаюсь, что начисто отлетело носовое колесо. Лабораторный анализ излома показал потом, что причина заключалась в производственном дефекте сварки. Да! Кажется, не я один торопился, может быть несколько чрезмерно, с вылетом.

Так или иначе он сделан.

Небольшая починка «стесанного» о бетон носа, замена стойки колеса, перепайка концов проводки управления триммером, общий тщательный, до последнего винтика, осмотр всего самолета — и мы готовы к дальнейшей работе.

Один полет по программе пошел за другим. Каждый из них приносил новые высоты, новые скорости, новые маневры.

Вскоре еще на одном — третьем экземпляре «МиГ-9» — вылетел и включился в испытания Г. М. Шиянов. Вдвоем работа пошла быстрее.

Центральным вопросом программы было, конечно, достижение предельной ско-



рости и особенно числа  $M$ . Именно с этим числом связаны нарушения нормальной устойчивости и управляемости, представляющие собой «звуковой барьер». Понятно, сейчас, через тринадцать с лишним лет, когда авиация оставила скорость звука далеко позади, цифры, достигнутые на «МиГ-9», представляются очень скромными.

Так, наверное, солдаты, штурмом ворвавшиеся в неприятельскую крепость и бегущие по ее улицам, не склонны задумываться над тем, какой тяжелой ценой достались им последние метры на подступах к стенам этой крепости.

У «МиГ-9» было прямое крыло, в общем мало отличавшееся от крыльев винтомоторных самолетов, и на скоростях, близких к звуковым, ему реально угрожало то самое явление затягивания в пикирование, от которого (теперь мы это уже знали) потерпел катастрофу Бахчиванджи на «БИ-1».

Явления, происходящие с потоком обтекания в области больших чисел  $M$ , только начинали изучаться. На многое должны были открыть глаза как раз результаты полетов наших «МиГов». А пока один за другим выявлялись новые, на первый взгляд странные, факты. Так, неожиданно оказалось, что обе наши внешне совершенно одинаковые машины — моя и Юры Шнянова — повели себя в хитрой области больших скоростей по-разному: одна позволяла продвинуться вплотную до таких чисел  $M$ , при которых можно было уже ожидать первых признаков затягивания в пикирование, а другая задолго до этого полностью теряла боковую управляемость и начинала угрожающе раскачиваться из стороны в сторону. Впоследствии оказалось, что все дело в ничтожных, не оказывающих ни малейшего влияния на полет с меньшей скоростью отклонениях от заданных очертаний профилей крыльев. Но это выяснилось лишь впоследствии, ценой немалых трудов многих упорных и толковых людей...

...К полету на предельные значения числа  $M$  на аэродром приехали А. И. Микоян и М. И. Гуревич.

— Не рискуйте зря, — сказал мне Артем Иванович, — если даже при  $M = 0,79$  —  $0,80$  никаких изменений в управляемости не почувствуете, дальше все равно не идите.

Я подумал, что в глубине души у него теплится та же надежда, что и у меня: не раз аэродинамики с опозданием предупреждали нас о действительных опасностях — авось на сей раз их предупреждение относится к опасности несуществующей! Тогда в следующих полетах мы смогли бы продвинуться еще ближе к манящему, таинственному «звуковому барьеру».

Но нет, аэродинамики не ошиблись.

До числа  $M = 0,77$  самолет вел себя нормально: чем больше я увеличивал скорость, тем сильнее приходилось для этого давить на ручку управления. Можно было бы, конечно, снять эти усилия триммером, но мало ли что могло ждать меня впереди и потребовать энергичного торможения. Прием, который я когда-то применил в полетах на флаттер, стал за прошедшие годы общепринятым.

Я осторожно увеличил скорость до  $M = 0,78$  — наибольшего значения, достигнутого несколько недель явно назад Гринчиком. До этого момента его опыт незримо сопутствовал мне. Дальше начиналась никем не обследованная область.

Шум встречного потока воздуха заметно изменился: стал громче, резче, пронзительнее.

Я увеличил число  $M$  до  $0,79$ . Усилия на ручке внезапно заметно изменились — давить на нее больше не приходилось.

Еще небольшое увеличение скорости. Стрелка указателя числа  $M$  дрожит возле цифры  $0,80$ . Самолет явно стремится опустить нос; его еще можно сравнительно небольшим усилием руки удержать от этого, но чувствуется, что стоит чуть-чуть уступить — и машину затащит в пикирование. Создается ощущение балансирования на острие ножа. Хочется затаить дыхание, чтобы не сорваться из-за какого-нибудь случайного неловкого движения.

Пять секунд... восемь... десять. Достаточно. Можно выключить приборы, уменьшить скорость, вздохнуть полной грудью (как это приятно!) и спускаться домой.

Достигнутое в этом полете число  $M$  длительное время оставалось рекордным...

...Испытания подходили к концу. Я опробовал поведение машины при перегрузке, произвел отстрел пушек, замерил максимальные скорости. Шнянов снял характеристики

дальности, испытал полет с одним выключенным двигателем. Так же успешно шли дела и у Иванова на «ЯК-15».

Стало ясно — первые отечественные опытные реактивные самолеты удались.

С каждым днем отношение к ним делалось все серьезнее. Незаметно из предметов сугубо экзотических они превратились во вполне деловые объекты, интересующие специалистов именно с этих деловых позиций. К нам зачастили гости: ученые, инженеры, конструкторы, технологи. Однажды, когда я, заполнив после очередного полета документацию, шел в душ, меня позвали:

— Иди к машине. Приехал Покрышкин.

Этот гость был нам особенно дорог. Трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин был не только одним из наиболее результативных истребителей в нашей авиации (он сбил за время войны пятьдесят девять самолетов противника!), но прежде всего главой созданной им же современной школы воздушного боя, в которую он привнес наряду с азартом и боевой активностью такие новые элементы, как тактическое предвидение, тонкий расчет и технически глубоко грамотное использование всех энергетических возможностей самолета. Нсдаром в возглавляемом им соединении успешно уничтожал врага не один лишь командир, а чуть ли не все истребители, воспитанные в прогрессивных традициях его школы. Это был летчик и военачальник новой формации, внутренне особенно близкий испытателям.

Он внимательно осмотрел «МиГ-9» снаружи, затем долго сидел в кабине и неторопливо задавал мне вопросы, на многие из которых я не мог дать немедленный ответ: чисто технические аспекты полета на реактивном самолете настолько заполняли до этого все мое внимание, что места для тактических и тактико-эксплуатационных вопросов попросту не оставалось.

Пора было приниматься и за них.

Для этого требовались широкие эксплуатационные испытания уже не одного-двух, а по крайней мере десятка экземпляров каждого типа.

И действительно, вскоре на наш аэродром в ящиках один за другим стали прибывать «МиГи» и «ЯКи» опытной малой серии. Их собирали, отлаживали — надо было испытать их в воздухе.

Первый десяток серийных «МиГ-девярых» облетали мы с Шияновым, разыграв на спичках, кому какой машиной заниматься. Мне достались нечетные — первая, третья, пятая, седьмая, девятая, Шиянову — четные: от второй до десятой.

С самолетами «ЯК-пятнадцатыми» положение было сложнее. Их изготовили больше, да к тому же на опытном экземпляре летал пока только сам Иванов. Нужно было срочно подыскивать ему подмогу, и, конечно, за ней дело не стало.

Сильный испытательский коллектив всегда, когда того требует дело, может выделить из своей среды летчиков для выполнения любого задания. Это подтверждалось не раз, начиная хотя бы с комплектования эскадрильи ночных истребителей на «МиГ-3» в начале войны.

Для облета опытной серии «ЯК-пятнадцатых» были назначены летчики-испытатели Леонид Иванович Тарошин и Яков Ильич Верников.

Тарошин принадлежал к следующей после Гринчика, Шунейко и меня группе «доморощенных» летчиков-испытателей, состоявшей, кроме него, из Н. В. Адамовича, А. А. Ефимова и, позднее, И. В. Эйниса, Л. В. Чистякова, А. М. Гютерева и В. С. Чиколлини. Природа щедро одарила этого человека. Во всем, за что бы он ни брался, проявлялись его незаурядные способности: и в полетах, и в административной работе (он тоже долгое время нес тяжкий крест обязанностей старшего летчика-испытателя и заместителя начальника летной части), и в игре на рояле, и в даре яркой, живой, остроумной речи. Даже меткие прозвища, которые он склонен был щедро раздавать всем нам, почти всегда намертво прилипали к очередной жертве его верного глаза. В летной индивидуальности Тарошина мне всегда особенно импонировало гонкое ощущение того, что можно назвать стилем каждого самолета, его, если хотите, «душой». Он не навязывал разным машинам себя, а летал на каждой из них так, как это было присуще им самим: на истребителе — по-истребительному, на бомбардировщике — по-бомбардировочному, на транспортном самолете — так, как подобает летать на нем. В дальнейшем Тарошин

выполнил — и продолжает выполнять по сей день — немало сложных и важных заданий.

Верникова я впервые увидел уже после войны, сравнительно незадолго до появления у нас реактивных самолетов. В комнату летчиков явился плотный, широкоплечий майор с Золотой Звездой Героя Советского Союза и ленточками многих орденов на груди, лаконично представился: «Верников», — и сообщил, что назначен к нам в институт летчиком-испытателем. Всю войну, как мы вскоре узнали (в основном, не от него самого — сыпать «боевыми эпизодами» Яков Ильич не любил), он провел в истребительной авиации противовоздушной обороны (ПВО), где специализировался на перехвате отборных экипажей дальних стратегических разведчиков противника. Это была, что называется, «штучная» работа! Боев со слабым противником у него не было. Не было и боев ниже, чем на предельных, близких к потолку высотах. А главное, в каждом таком воздушном бою упустить противника означало не только лишиться очередной отметки в собственном послужном списке, но и отдать в руки врага ценные данные, добытые разведчиком в этом полете. Упускать такого «клиента» было нельзя — и Верников не упустил ни разу!

Дальнейшая работа этого испытателя, так же как и работа Тарошина, заслуживает отдельного обстоятельного рассказа. Достаточно сказать, что, кроме всего прочего, Верников испытал широко известный сейчас пассажирский турбовинтовой самолет «АН-10».

Таковы были люди, первыми включившиеся в нашу тогда еще очень немногочисленную семью летчиков-испытателей реактивных самолетов.

Но и их «монополия» продержалась едва несколько дней.

Десятки экземпляров новых самолетов требовали по крайней мере такого же количества летчиков. И вскоре на наш аэродром прибыла большая группа пилотов, в основном летчиков-испытателей, назначенных на освоение новой отечественной авиационной техники. Они явились на стоянку в специально выданном для столь торжественного случая каком-то особенном, черном, похожем на клеенчатое, несгораемом, непромокаемом, непроницаемом (к счастью, проверить эти обещанные качества никому из них не пришлось) обмундировании и, как по команде, сразу же попытались все одновременно просунуться в кабину одного-единственного стоявшего без чехла «МиГ-девятиго».

Это было хорошее летное любопытство. Им всем не терпелось полетать на реактивном самолете, несмотря на все подлинные, а чаще — выдуманные «страхи», широкими кругами распространявшиеся о нем, как правило, безответственной молвой.

Людей в эту группу подбирали тщательно. Здесь были опытные летчики-испытатели Ю. А. Антипов, А. Г. Кочетков, Л. М. Кувшинов, Г. А. Седов, А. Г. Терентьев, И. М. Дзюба, Б. С. Кладов, А. Г. Кубышкин, А. А. Манучаров, Д. Г. Пикуленко, А. Г. Прошаков, Г. А. Тиняков, А. М. Хрипков, известные мастера сложного фигурного пилотажа А. К. Пахомов и И. П. Полунин — словом, здесь было самое лучшее, чем располагала наша, вообще не бедная отличными кадрами, авиация.

Не мудрено, что они очень быстро вылетели на самолетах «МиГ-9» и «ЯК-15» и залетали на них так уверенно и чисто, будто уже долгое время ничем другим не занимались.

Летчиков-реактивщиков сразу стало не два-три, как было в дни испытаний опытных реактивных машин, и не пять, как потребовала малая серия, а более двух десятков.

Сейчас такие цифры никого удивить не могут. Но перенеситесь мысленно в то время, о котором идет рассказ, вспомните, как нелегко рождалась наша реактивная авиация, и вы поймете, сколько удовлетворения доставило нам тогда сознание, что «нашего полку прибыло».

Правда, соответственно прибавилось и работы.

Приходилось действовать даже не на два, а на все три фронта: облетывать выходящие со сборки самолеты малой серии, инструктировать и выпускать новых реактивщиков (львиную долю этой педагогической задачи принял на себя Шиянов) и продолжать испытания опытных образцов — их программа не была еще завершена.

К этому времени мы, можно сказать, полностью сроднились с реактивными самолетами, прониклись полным доверием к ним и чувствовали себя в их кабинах как дома. Казалось, что все сюрпризы, на которые были способны наши «подопечные», уже поднесены и ждать каких-либо новых «шалостей» с их стороны не приходится.

Но не даром летчики в разговоре почти всегда употребляют не слово «самолет», а «машина» и объясняют эту терминологическую склонность тем, что последнее выражение, будучи женского рода, точнее передает типичные особенности характера упомянутого объекта.

...Мне предстояло прогнать площадку со скоростью, предельно допустимой из условий прочности, на высоте не более тысячи метров. Время было уже осеннее, более или менее подходящую для полетов погоду и так выжидали иногда по нескольку дней—особенно привередничать не приходилось. Поэтому, когда выдался день почти без дождей и с ровной облачностью, начинавшейся на высоте семьсот метров над землей, было решено прогнать эту площадку на высоте шестьсот метров.

Я, как обычно, взлетел, убрал шасси и закрылки и, не успев еще закончить разворот в сторону нашей испытательной зоны, достиг заданной высоты.

Нависшие над самой моей головой облака сливались в мелькающую серую полосу. Самолет быстро разогнался.

Удар произошел внезапно.

Будто кто-то невидимый выхватил у меня ручку управления и с недопустимой при такой скорости силой рванул руль высоты вверх. Задрожав так, что все перед моими глазами потеряло привычную резкость очертаний (как выяснилось потом, при этом начисто отвалились стрелки нескольких приборов), самолет вздыбился и метнулся в облака. Я едва успел подумать: «Хорошо, что хоть не вниз!» За спинкой сиденья в фюзеляже что-то трещало. Меня энергично прижимало то к одному, то к другому борту кабины.

Левая рука рефлекторно потянула назад сектора оборотов. Шум двигателей стих, и почти сразу после этого самолет с опущенным носом и левым креном вывалился из облачности. Крен, правда, удалось сразу же без затруднений убрать.

Но с продольным управлением было плохо.

Ручку заклинило: несмотря на все мои усилия, она не отклонялась ни вперед, ни назад. Управлять подъемом, снижением и скоростью полета было нечем! Худший из всех возможных в полете отказов — отказ управления!

Попытавшись, насколько было возможно, оглянуться и осмотреть хвост, я не поверил своим глазам. С одной стороны горизонтальное оперение — стабилизатор и руль высоты — находилось в каком-то странном, вывернутом положении. С другой стороны — если это мне только не мерещится — их... не было совсем! В довершение всего кабину начало заливать керосином из топливной системы, не выдержавшей всех этих потрясений. Для полноты впечатления не хватало только пожара!

Оставалось одно — сбросить прозрачный фонарь над головой и прыгать. Прыгать, пользуясь тем, что по счастливой случайности скорость снизилась настолько, что наверняка позволяла выбраться из кабины.

Но дело обстояло сложнее, чем казалось с первого взгляда. Оставив машину, я обрек бы на гибель не только данный ее экземпляр. Еще чересчур свежо было впечатление от происшедшей так недавно катастрофы Гринчика. Потеря — снова по не до конца ясной причине — еще одного «МиГ-9» поставила бы под большое сомнение всю конструкцию первенца нашего реактивного самолетостроения. Прежде чем бросить такую машину, следовало подумать! Подумать в течение всех имевшихся в моем распоряжении емких, долгих, содержательных нескольких секунд.

Что, если попытаться поварьировать тягу двигателей? При увеличении оборотов нос должен подниматься, при уменьшении — опускаться.

Я попробовал, и, кажется, из этого что-то получилось. Во всяком случае, действуя двигателями, удалось прекратить снижение и перевести самолет в горизонтальный полет. Строго говоря, горизонтальной при этом являлась лишь некая воображаемая средняя линия, относительно которой, как по невидимым многометровым волнам, то всплывал, то проваливался мой многострадаальный «МиГ-9». Так или иначе, хорошо

было уже одно то, что угроза незамедлительно врезаться в землю пока, кажется, отпала. Но как посадить самолет, имея в своем распоряжении лишь столь грубый способ воздействия на его продольное движение? Это было бы похоже на попытку расписаться при помощи пера, прикрепленного вместо ручки к концу тяжелого бревна.

Выбора, однако, не было. С чем ни сравнивай, а оставалось одно — попробовать тем же способом подвести машину к земле и посадить ее.

Я предупредил по радио о том, что у самолета повреждено оперение и что я иду на посадку с неисправным управлением (повторив это три раза на случай, если, по не зависящим от меня обстоятельствам, изложить все подробности лично уже не смогу) и попросил очистить мне посадочную полосу и всю прилегающую часть аэродрома. Перед выпуском шасси — сажать, так уж на колеса! — резко прибавил обороты и этим скомпенсировал стремление самолета опустить нос в момент выхода шасси. Издалека подобрал режим снижения так, чтобы его траектория упиралась в землю как раз на границе аэродрома («Траектории хорошо! Она воображаемая. А вот в какой форме произойдет мое действительное соприкосновение с нашей довольно твердой планетой?»).

Высота — двести метров. Можно больше не думать на тему — прыгать или не прыгать. Прыгать уже нельзя — земля рядом.

Чем ближе к земле, тем заметнее, как «плавает» самолет вверх и вниз. Устранить эту раскачку нечем. Надо постараться подгадать среднюю скорость снижения так, чтобы высота «кончилась» как раз в момент паузы между очередным качанием вверх и вниз. Кажется, это более или менее удалось.

Перед самой землей я энергично добавил оборотов. От этого машина слегка задрала нос вверх, замедлила снижение и взмыла бы, если бы я немедленно вслед за этим столь же энергично не выключил двигателя совсем.

Самолет хотел было реагировать на это резким клевком, но... колеса тут же встретили землю. Небольшой толчок — и мы покатались по посадочной полосе.

Еще на пробеге я на ходу открыл фонарь кабины и с полным удовольствием вдохнул чистый воздух, показавшийся особенно приятным после паров керосина, в тошнотворной атмосфере которых я провел последние пять—семь минут.

Самолет был цел. Очередная загадочная катастрофа не состоялась.

Слабое место конструкции оперения не выключено, и на всех экземплярах «МиГ-девятого» сделаны нужные усиления.

...И вот испытания первого отечественного опытного реактивного самолета, родоначальника большой серии, окончены.

Я сижу в комнате у выходящего на аэродром окна и пишу свою часть отчета — так называемую летную оценку.

Это сложный документ. Он адресован многим лицам. Если в нем отмечаются крупные принципиальные недостатки испытанного самолета — дело конструкторов устранить их. Интересуют их и более терпимые дефекты, которые можно будет учесть при проектировании следующего образца.

Летчиков, которые будут в дальнейшем летать на этой машине, в первую очередь касаются содержащиеся в летной оценке конкретные рекомендации по управлению — никаких писаных инструкций пока ведь нет, — их еще предстоит создавать, исходя опять-таки прежде всего из той же летной оценки.

Наконец, при решении основного вопроса — оправдал ли новый самолет возложенные на него надежды, запускать его в серийное производство или нет — не последнюю роль играет летная оценка ведущего летчика-испытателя.

На новой машине никто еще не летал. Поправить ошибку в летной оценке некому. Составляющий ее летчик остается наедине с собственной совестью. И нередко неожиданно для себя убеждается в том, что проявить гражданское мужество бывает порой гораздо труднее, чем личное.

Главный конструктор может не согласиться с оценкой летчика, может не утвердить ее, может противопоставить ей какие-то другие, с его точки зрения более убедительные материалы. Но никто не имеет права исключить этот документ из отчета о произведенных испытаниях. Более того — его нельзя редактировать: ни одна запятая в нем не может

быть переставлена никем, кроме самого составившего его летчика-испытателя (литераторы, которым попадутся на глаза эти строки, наверняка почувствуют по отношению к летчикам-испытателям нечто, близкое к зависти).

Вот почему летчики всегда так тщательно обдумывают каждое слово своей оценки.

Впрочем, в данном случае моя задача сравнительно проста.

Я уверен в «МиГ-девятом», считаю его надежным, хорошо управляемым, доступным для массового летчика средней квалификации. Я полюбил эту нелегко доставшуюся нам машину и надеюсь, что многие-многие незнакомые мне мои друзья — летчики строевых частей — полюбят ее так же, как я.

Испытания «МиГ-девятого» окончены...

...Через двенадцать лет после описанных здесь событий я летел на пассажирском реактивном лайнере «ТУ-104» в отпуск.

В самолете было тепло и тихо. Бортовые проводницы — изящные, аккуратно одетые, абсолютно земные девушки — разносили закуски и виноградный сок. Пассажиры смотрели в круглые иллюминаторы на яркое, как на гималайских пейзажах Рериха, синее небо стратосферы. Кое-кто дремал. Два молодых человека играли в шахматы. Маленькая девочка в вязаном костюме деловито ходила взад и вперед по кабине. Обстановка была спокойная, уютная — я чуть было не сказал, домашняя.

После непривычно коротких сумерек — мы летели навстречу ночи — стемнело. Небо за иллюминаторами стало бездонно черным, а звезды на нем — очень яркими и какими-то неожиданно близкими. В кабине зажглись мягкий, ненадоедливый свет. Почти все пассажиры уснули.

А самолет летел на такой же высоте и почти с такой же скоростью, которая всего двенадцать лет назад была доступна лишь единицам — по пальцам одной руки считанным летчикам-испытателям, — и так недешево досталась им.

Я вспомнил Бахчиванджи, Гринчика, Иванова, Расторгуева. Вспомнил многих инженеров и ученых, умные головы которых поселились за эти годы. Попытался представить себе всю бездну творческого человеческого труда, без которого не было бы ни реактивной авиации, ни вообще ничего нового на свете.

...Задумавшись, сидел я у окна.

Наш «ТУ-104», далекий, но прямой потомок первых реактивных самолетов, уверенно летел в черном небе стратосферы.



---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР

★

## СЕСТРА МОЯ БОЛГАРИЯ

Пролог

**В** середине декабря 1937 года по разбитому военным транспортом шоссе, извивающемуся вдоль каталонского побережья между голыми виноградниками и раскисшими от зимних дождей оливковыми плантациями, катили по направлению к Франции две автомашины. Первым шел новый, тускло поблескивающий жемужно-серым лаком восьмицилиндровый «матфорд». В нем, держась за кожаные петли, кренились друг на друга при частых поворотах двое в штатском; рядом с шофером сидел молодой капитан. Следом двигался, страдальчески скрежеща скоростями, пустой, заляпанный грязью, старомодный «шевроле».

Впервые после пятнадцати месяцев сбросив защитную форму, не похожие в новехоньких, с иголочки, костюмах на самих себя, уезжали из Испании два болгарина: военный советник при командующем одним из секторов Центрального фронта коронель<sup>1</sup> Петров и начальник базы формирования интернациональных бригад в Альбасете теннените-коронель<sup>2</sup> Белов, а я, капитан 14-го армейского корпуса, сопровождал их до границы.

Конвоирование отъезжающих вовсе не входило в мои обязанности, но в порядке исключения главный советник при штабе корпуса и непосредственный мой начальник коронель Виктор Хугос (чистокровный, кстати сказать, латыш) отпустил меня в эту поездку в глубокий тыл — и не только потому, что сам отлично знал обоих откомандированных. Старый большевик и вояка, он хорошо понимал боевую дружбу, которая связывала меня с Беловым и Петровым. Так же, как и я, они оба еще с ноября 1936 года, с первых дней существования 12-й интербригады, служили в ней под командованием генерала Лукача<sup>3</sup> и прошли весь ее славный путь от Университетского городка в Мадриде до Уэски, где погиб Лукач. Все это время Петров был заместителем командира бригады (впоследствии 45-й интердивизии), Белов — начальником штаба, а я — адъютантом генерала. Гибель Лукача жестоко потрясла нас, стала нашим общим непреходящим горем и еще крепче спаяла, хотя вскоре мы разошлись по разным частям и фронтам. А теперь, через каких-нибудь два или три часа, нам предстоит расстаться навсегда. Они на солидном «матфорде», подаренном начальнику альбасетской базы парижским профсоюзом металлистов и потому носящем французский номер, доедут до мирной Тулузы, где займут купе в спальном вагоне экспресса, а я пересяду в свой дребезжащий «шевроле» и отправлюсь на самый глухой участок фронта между Гвадалахарой и Теруэлем, в не отмеченное ни на одной карте селеньеце, затерянное у подножия занесенных снегом гор, которые почему-то называются Универсалес<sup>4</sup>; там мне надлежит принять участие в некоей операции...

<sup>1</sup> Полковник (исп.).

<sup>2</sup> Подполковник (исп.).

<sup>3</sup> Матэ Залка.

<sup>4</sup> Всемирные (исп.).

Неподвижная тяжесть лежала у меня на сердце. После смерти Лукача эти два человека стали мне всех дороже и ближе.

В отличие от моей, их биографии начинались не в Испании. Уже отец Белова был известным болгарским революционером. Ему пришлось эмигрировать в Женеву, где Белов и родился. Вскоре после этого семья вернулась в родной Плевен, и детство будущего тенненте-коронеля протекло в нем. Там же, в Плевене, он поступил в гимназию, а окончив ее, переехал в Софию и был принят на юридический факультет. Идя по стопам отца, он еще в гимназические годы состоял в нелегальном марксистском кружке. В войну 1914—1918 годов Белов, по окончании школы артиллерийских офицеров запаса, попал на фронт. В 1917-м, приехав в отпуск, вступил в партию. Вскоре, как это чаще всего происходит с коммунистами в капиталистическом мире, он оказался в тюрьме. Бьидя из тюрьмы, эмигрировал в Москву, где продолжал учиться, и работал в Коминтерне. По-русски он говорит без ошибок, даже без акцента, хорошо знает французский и немецкий языки. Не случайно в Испании после работы в нашем штабе ему доверили такой ответственный пост, как руководство базой интербригад.

Жизнь Петрова, насколько я ее знал, выглядела еще прямолинейнее. Петров, сын крестьянина, старше Белова лет на пять. Познакомились они и подружились в университете. Получив высшее образование, Петров работал в партийных органах, принимал участие в подготовке Сентябрьского вооруженного восстания 1923 года и отличился как командир одного из отрядов. После подавления восстания Петрову удалось перейти границу — фашистский суд заочно приговорил его к смертной казни. В Москве он окончил военную академию и числился полковником запаса. Одним из первых он уехал в Испанию и был ранен в ногу под Мадридом.

Словом, оба они вполне принадлежали к тому типу людей, которые были названы «людьми особого склада»...

Мы ехали молча. Да и о чем было говорить? Вчера в Барселоне состоялся прощальный ужин. Собрались несколько человек болгар, произносили тосты, пели, разговаривали, и сегодня оба «старика», как ласково называл Лукач сорокапятилетнего Петрова и сорокалетнего Белова, находились в сурово-лирическом настроении...

Неутомимо вертящий баранку шофер прервал наше безмолвие и на гнусавом аргосе парижских предместьев чрезвычайно кстати рассказал, как на днях фашистский гидросамолет итальянской марки (шофер называл его просто «гидрой»), но без всяких опознавательных знаков, прилетев со стороны моря, должно быть прямо из Италии, вон там, на том завороте, спикировал на машину с какими-то делегатами, тоже возвращавшимися во Францию, и прошёл вдоль и поперек крупнокалиберными бронебойными пулями; все, в том числе и шофер, были убиты. Этот жизнерадостный рассказ еще больше поднял общий тонус. Белов сумрачно пояснил, что открытую дорогу, по которой мы едем и которая ведет к стыку трех границ — испанской, французской и Андорры, — он избрал потому, что так ближе всего до Тулузы. Впрочем, машины уже вошли в роши тощеньких пробковых дубов с аккуратными шрамами на коре. Скоро и граница. Действительно, еще несколько изгибов шоссе — и начался спуск к большому селению, скорее даже городку. У самого въезда, где торчали искореженные бензиновые колонки, отара отчаянно блеющих овец минут на десять запрудила перед нами дорогу. Несколько женщин в черном, толпившихся с кувшинами на площади около каменной чаши фуэнте<sup>1</sup>, услышав шум моторов, испуганно вскинули лица к небу, но ничего там не обнаружили и успокоились, увидев наши машины. Развалины двухэтажного дома, искалеченная церковь и воронки по краям площади объясняли их тревогу. Настоящего тыла не было нигде.

Неподалеку от площади путь преграждали два шлагбаума, а между ними тянулись ржавые рельсы. У ближнего шлагбаума стояли вооруженные республиканские карабинеры, а у другого — французский гард мобиль<sup>2</sup>. Сержант карабинеров заглянул в остановившуюся машину и отдал честь, прикоснувшись кулаком к винтовке. Потом, прижав ее локтем, он не спеша проверил пропуск и документы, возвратил их и, опять

<sup>1</sup> Источник (исп.).

<sup>2</sup> Полевой жандарм (франц.).



отдав честь, приказал поднять шлагбаумы. Французский жандарм взглянул на номер машины и пропустил ее, отрывисто козырнув вывернутой ладонью. «Шевроле», покачиваясь, прополз за нами. И за шлагбаумами мы продолжили пребывать на испанской территории. Граница проходила по самому селению: сразу за линией бездействующей железной дороги правая, по нашему движению, сторона улицы была испанской, а левая находилась уже во Франции. Вдоль испанской стороны висело много желтых в красную полоску каталонских флагов, издали похожих на шкуры невиданных оранжевых зебр. Среди них красно и зловеще выделялось черно-красное знамя анархистов, развевающееся над самым высоким зданием. На левой, французской, половине улицы виднелась вывеска булочной, а дальше — полицейский комиссариат с трехцветным флагом над входом.

Обе машины, тщательно придерживаясь правой стороны, подъехали к весьма невзрачной таверне. Мы вышли, разминая ноги. На противоположном тротуаре появился французский офицер в высоком кепи, с галунами лейтенанта. Увидев меня, он вытянулся и приложил ладонь к прямому козырьку, я ответил, вскинув кулак к фуражке, как полагалось у нас. Лейтенант с любопытством посмотрел, кого я сопровождаю, и перевел взгляд на мой левый рукав, на котором выше локтя была вышита эмблема интербригад: алая, из трех лучей звезда. Удовлетворив законный, если не просто служебный, интерес, лейтенант машинально потрогал свою кобуру и прошел мимо. Он показался мне живым воплощением того, что называется вооруженным нейтралитетом. Если бы я пересек ничем не обозначенную границу, пролегающую посередине горбатого шоссе, он имел формальное право задержать меня; то же самое угрожало ему на нашей земле. Обычно, в целях взаимного удобства, обе стороны проявляли известную широту взглядов.

Мы втроем вошли в затемненную, чтобы не налетали мухи, таверну и уселись за круглый столик; шоферы устроились снаружи. Нам подали кувшин крепкого и терпкого вина, по цвету напоминающего чернила, кусок овечьего сыру, огромную сиреневую луковицу, честно разделенную на три части, и блюдечко маслин. Без карточек здесь, как и во всей Испании, давно уже ничего больше не подавали. Шофер «матфорда», взглянув к нам в темноту, перешел улицу, вошел в заграничную булочную и через минуту с небрежным видом принес нам контрабандный батон. Никому не хотелось ни есть, ни пить, но мы деловито чокнулись и выпили по рюмке мутной бурды, почему-то пахнувшей железом. Белов и Петров снисходительно жевали сыр, который они всегда рассматривали, как скверную пародию на лучшую в мире, по их словам, болгарскую брынзу. Морщась, мы выпили еще по рюмке. Я со старательной бодростью что-то рассказывал, но заметил, что никто меня не слушает. Белов, отвернувшись, внимательно изучал в полумраке помещенные над стойкой портреты Дурутти<sup>1</sup> и Сталина. Петров, подперев щеку кулаком и опустив седеющую чубатую голову, рассеянно водил по столу указательным пальцем правой руки.

Вдруг я с ужасом заметил, что на стол с легким стуком, будто крупные капли дождя, упали две слезы. Я схватил Петрова за плечо.

— Что с тобой, Георгий Васильевич?

Он поднял голову и растопыренными пальцами откинул волосы назад. Белов пристально смотрел на него, торопливо почесывая то одну, то другую руку, как всегда, когда нервничал. Петров сделал глоток вина из недопитой рюмки и заговорил непривычно хриплым голосом; его особенный, похожий на кавказский, акцент стал резче:

— Видишь ли, пока ты тут разглагольствовал, Алеша, я задумался. Для нас с Беловым наступили решительные минуты. Закончился, можно сказать, целый этап жизни. Начинается что-то другое, новое... И вот я невольно вспомнил про тех, для кого уже никогда не наступит ничего нового. Конечно, первым из них я вспомнил нашего Лукача... — Глаза Петрова опять наполнились слезами. — Вспомнил я еще Антека... Помнишь Антека?.. Какой человек был!.. Так вот, и Антека я вспомнил, и Баймлера, и Пичелли, и Гребенарова, и Паровича, и Давидовича, и полковника Шевченко, и бедного Хельбрунна, и этого поляка, которого мы нашли в сторожке после контра-

<sup>1</sup> Вожак испанских анархистов.

ки под Аргандой, а вокруг него было пять фашистских трупов. Всех вспомнил, всех... А потом я подумал еще и о тех, с кем мы прощались в эти дни, о тебе в частности. Ты остаешься здесь, а что тебя ждет? Что нас всех ждет впереди?.. Одно можно твердо сказать: раз мы революционеры, нас ждет борьба, жестокая борьба!..

Он помолчал.

— Нелегко, непросто уезжать отсюда, Алеша. Здесь прожиты, может быть, самые яркие, самые красивые страницы моей жизни. Сейчас они перевернуты, закрыты. Ни за что уже не вернутся назад эти дни... И сколько бы я ни прожил еще,— а до сих пор я жил, могу сказать, честно, и это известная гарантия, что и впредь я буду жить честно,— все равно ничего не будет у меня выше, ничего не будет бескорыстнее того, что было пережито в Испании...

Я посмотрел на Белова. Глаза его подозрительно блеснули. Он встал.

— Ну, вот что. Давайте, ребята, прощаться. А то этак мы неизвестно до чего дойдем. Да и к поезду как бы не опоздать...

Я поочередно крепко обнялся с обоими. Мы вышли из таверны. Мой шофер Андрес, увидев нас, деликатно отвернулся. По испанским понятиям, мужчина не имеет права позволить себе расчувствоваться, а заплакать — неизгладимый позор для него.

Около машины мы еще раз расцеловались.

— Береги себя, Алешка. Наверное, скоро и ты уедешь. Мы еще увидимся, непременно увидимся...— не слишком уверенно повторял Белов.

Они уселись в свою нарядную машину, и та бесшумно тронулась. Я пробежал рядом несколько шагов, в последний раз вглядываясь во взволнованные дорогие лица.

— Когда вы победите в Болгарии, я приеду к вам в гости!..— крикнул я вдогонку.— Салуд!..

«Матфорд» быстро исчез из виду. Я помахал ему вслед фуражкой. Андрес осторожно, стараясь не заезжать на середину шоссе, разворачивал нашу машину. Я сел в нее, захлопнул дверцу.

— Марча, омбре! <sup>1</sup>

И мы поехали обратно, на войну...

## 1. Двадцать лет спустя

Впервые прочитав «Трех мушкетеров» в отрочестве, как и все, совершенно покоренный книгой, я обеими руками ухватился за продолжение знаменитого романа, но свойственный этому трезвому возрасту реализм помешал мне поверить, что три мушкетера (которых, в нарушение всякого здравого смысла, оказывалось на самом деле четыре), распрощавшись и разъехавшись в разные стороны в эпилоге одной книги, через двадцать лет как ни в чем не бывало смогли встретиться в начале другой. Ну, пусть бы это произошло через год или, допустим, через три, через пять наконец, если на то пошло. Но через двадцать? Хорошенькое дело: двадцать лет!.. Ерунда! Сказки!..

Хотя в тридцать два я не был уже так самонадеян, как в двенадцать, но если бы в тот момент, когда, проводив Петрова и Белова, я возвращался на фронт, кто-нибудь предсказал, что мы, как три мушкетера, снова встретимся двадцать лет спустя, я отнесся бы к этому с той же мальчишеской недоверчивостью: ерунда, сказки! В жизни такого не бывает!..

А потому сейчас, собственной рукой выведя над главой столь неправдоподобное заглавие, я чувствую необходимость принести извинения тени Дюма-отца и по личному опыту подтвердить, что встреча друзей через двадцать лет вполне возможна. По крайней мере с Беловым и Петровым я встретился двадцать (и даже с небольшим гаком) лет спустя.

После прощания на испанской границе до меня мало что доходило о них, а с начала сорокового года я совсем потерял их из виду; в свою очередь и я для них был в нетях. Но чем дальше шло время, тем чаще и чаще вспоминались мне Петров и Белов — живы ли они, и где и что с ними сейчас?.. И вот, уже в 1956 году, случилось,

<sup>1</sup> Двигай, человек! (исп.).

что кто-то развернул передо мной «Огонек», и на раскрытой странице, через чужое плечо, я вдруг, не веря собственным глазам, увидел обоих. Они стояли среди прибывшей в Москву делегации депутатов Народного собрания Болгарии и рассматривали зал заседаний Верховного Совета. Судя по фотографии, оба мало изменились, только львиная грива Петрова совсем побелела. Не зная их адреса, но зная их настоящие, не конспиративные имена, я послал им письмо через болгарское посольство. Ответ пришел скоро.

«Мы очень обрадовались, дорогой Алеша, что ты оказался налицо. Да, это хорошо!.. А вот как раз сегодня исполнилось двадцать лет с начала славной испанской эпопеи, в которой мы с тобой принимали участие», — писал Петров.

«Что касается меня, — говорилось в письме Белова, вложенном в тот же конверт, — то я всегда вспоминал тебя, но не было возможности узнать что-либо о твоей судьбе. Вспоминал я множество подробностей нашей боевой дружбы, завязавшейся, как говорят у нас, не на свадьбе, а в условиях, в которых многие сложили головы за правое дело... Трудно в письме рассказать все, что было пережито за последние годы. Можешь поверить, что работы хватало. Теперь я уже помаленьку старею, зато не только дети, но и внуки растут. А душа все та же и будет, наверное, такой же до самого конца. Во всяком случае, до него мне удалось увидеть мою родину свободной и поработать на нее, на то, чтобы она навсегда была связана с твоей великой родиной. А может быть, еще удастся увидеть свободной и шагающей рядом с нами еще одну милую нашему сердцу страну и поклониться праху незабвенного Матэ? Вот было бы хорошо, а?..»

В завязавшей затем переписке нахлынувшим на нас воспоминаниям было слишком тесно, и то ли поэтому, то ли потому, что им запомнился мой прощальный выкрик на франко-испанской границе, но Белов и Петров пригласили меня погостить у них.

По разным причинам мой отъезд откладывался в течение полутора лет, пока наконец дождливым и холодным апрельским вечером в вагоне прямого сообщения Москва—София я не выехал в Болгарию.

Только что рассвело, когда на третьи сутки этот вагон, накануне на советско-румынской границе с поразительной быстротой и ловкостью переставленный с широкой колеи на узкую, приближался по глубокому извилистому ущелью к болгарской столице.

Солнце то появлялось над нами, то закатывалось за вершины гор — в зависимости от их высоты или очередного зигзага, вычерчиваемого бегущей под нами насыпью. Хотя апрель уже кончался, здесь было так же холодно, как в день отъезда в Москве, и окна вагона были закрыты. За ними проносился классический горный пейзаж с буковым лесом и с белой пеной мелкой стремительной речки на дне ущелья. Исподтишка — чтобы не пугать тех, кто опасается сквозняков, — я покрутил оконную рукоятку, приоткрывая верхнее стекло, и в щель пахнул воздух, такой свежий, словно его не вдыхать надо, а пить, как холодный парзан. По противоположному берегу, параллельно железной дороге, вертелась ленточка шоссе. Кое-где, иногда у самой воды, а иногда высоко на горе, стояли крытые черепицей домики из красного кирпича: наверху — в одиночку, внизу — небольшими селениями. Все имело такой аккуратный, организованный живописный вид, будто бы мы в Швейцарии. Вот перед самым окном вагона на полуголых ветках старого бука промелькнул деревянный скворечник, украшенный резным орнаментом. За подобной мелочью скрывается многое. Пусть сам скворец ничуть не интересуется художественными достоинствами своего жилища, но человеку хочется, чтобы все вокруг было украшено его умной рукой, и на резной скворечник ему смотреть приятнее, чем на обычный...

Подъем кончился, и поезд пошел быстрее. Ущелье стало шире, но виды за окном по-прежнему соперничали с альпийскими. Шоссе лежало теперь далеко от поезда и стало менее извилистым. Оно выглядело совсем новеньким и было построено с такой технической щеголеватостью, что я ни минуты не сомневался: его строили немцы, кто же еще так строит дороги?..

Из соседнего купе вышел плотный человек лет сорока, севший в наш вагон в Бухаресте; он болгарин, хорошо говорит по-русски, возвращается домой с заседаний Дунайской комиссии. Я воспользовался случаем, чтобы получить подтверждение своим догадкам:

— Это шоссе проложено, наверное, гитлеровскими инженерами?

— Нет, его построили мы, уже после Девятого,— последовал ответ.

«После Девятого» — означает после 9 сентября 1944 года, когда партизаны и преданные народу воинские части перед приходом Советской Армии произвели антифашистский переворот. Выражение это слышится в Болгарии постоянно, так же как у нас говорили: «после Октября».

С другого конца вагона профессор Московской консерватории, едуший в командировку, неодобрительно поблескивает в нашу сторону стеклами пенсне. Я догадываюсь, что из моего окна дует, и закрываю щель. Специалист по дунайскому судоходству делится своими впечатлениями о Румынии.

— Видите, там наверху памятник? — прерывает рассказчик сам себя.

Отвечаю, что вижу.

— Это моему отцу,— продолжает он эпическим тоном, каким говорят экскурсоводы.— На этом месте фашисты расстреляли его...

Скромный белый памятник исчезает за густым кустарником.

Я думаю о болгаргах, и не только болгаргах, убитых в Испании. На их могилах нет памятников, да и самих могил этих уже не найти.

Около семи часов утра поезд, выйдя из ущелья в котловину, делает последнюю остановку перед Софией. Наш вагон приходится против шлагбаума, перекрывающего выход на привокзальную площадь. Небольшой городок давно уже проснулся, все двери и окна распахнуты настежь; в окнах и на балконах проветриваются подушки, перины, простыни, ковры, одеяла. На тротуарах множество пешеходов, среди них стайки детей, идущих в школу. У всех деловитый, но отнюдь не торопливый вид — должно быть, здесь рано ложатся спать и рано встают...

Тем временем поезд трогается, и в вагоне воцаряется необыкновенно нервная атмосфера. Московские проводники, доведя все купе и коридор до той степени блеска и сверкания, какая достигается разве лишь на корабле перед адмиральским смотром, беспокоятся теперь, чтобы граждане пассажиры снова не насорили, не напылили, чего-нибудь не помяли. Граждане пассажиры, которые заранее напялили на себя пальто и шляпы, потеют и приминутно судорожно хватаются за чемоданы. К моменту приезда солнце спряталось в облаках, а горы расступились во все стороны, скрыв свои вершины в мрачных рваных тучах. По обе стороны пути лежит мокрая светло-зеленая долина; чувствуется, что и здесь в этом году поздняя весна. Постепенно долину заслоняют заборы, кучи угля и балласта, пустые товарные составы, депо и пакгаузы. Под вагоном все чаще стучат стрелки, поезд замедляет ход и незаметно останавливается. Я высовываюсь в окно, но вокзал от нас далеко, и никого не видно. Потом к нашему перрону, пересекая пути, бросается толпа встречающих, угрожающе размахивая букетами. Испуганно оглядываюсь, но по торжественным лицам двух консерваторских дам, которые в пути благоговейно опекали профессора (и которых я про себя в лесковском духе прозвал «женами-мироносицами»), догадываюсь, что толпа и букеты относятся к нему. В самом деле, «жены-мироносицы» почтительно высаживают профессора, толпа встречающих обступает его, и среди поднятых букетов и приветливых лиц благосклонно сверкает старомодное профессорское пенсне.

Меня никто не встретил. Пропустив всех, я последним выхожу из вагона. И вдруг с радостным облегчением вижу, как, разводя руками в стороны, знакомой переваливающей походкой, чуть косолапая, со встревоженным взглядом, устремленным на московский вагон, приближается Белов. Я бросаюсь навстречу, мы обнимаемся, целуемся и, по испанскому обычаю, не разжимая объятий, долго хлопаем один другого обени ладонями по лопаткам. Все это время мы оба непрерывно говорим, но в сознании у меня задерживается немного. Я схватываю только, что Петрова нет, так как он во главе парламентской делегации находится в Венгрии и должен вернуться на днях. Потоптавшись на месте, мы шагаем к выходу, усаживаемся в зеркально-черный совет-

ский лимузин и едем. По дороге я ничего не видел — я, не отрываясь, смотрел на Белова и слушал Белова. При этом сам я тоже что-то произносил, но если кто-нибудь попробовал бы застенографировать наш диалог, то подозреваю, что сам Хемингуэй позавидовал бы его отрывистости, лирической напряженности и сложности подтекста. Тем не менее я улавливаю, что жены Белова нет дома: она больна и находится в клинике; что старшая дочь Герта родила ему внучку; что один сын закончил московский институт, женился на русской и вернулся в Софию, а другой заканчивает вуз в СССР; кроме того, у Белова есть еще одна дочка — что называется, самого последнего образца, 1944 года рождения.

Машина останавливается на тихой, затененной только что зазеленевшими каштанами улице, перед темно-серым шестиэтажным домом, стены которого до крыши покрыты многолетними выющимися растениями. Мы входим в подъемную машину, по-русски называющуюся английским словом «лифт», а по-болгарски французским словом «асансёр»; Белов бросает монетку в десять стотинков<sup>1</sup> в щелку автомата, нажимает кнопку, и мы поднимаемся на пятый этаж.

— Располагайся здесь, Алеша,— открывая дверь в большую угловую комнату говорит Белов.— Это комната сына, но сноха еще в Москве, доучивается, а сам он в армии. Понимаешь, до того умный парень: не получил справки в институте о прохождении военного дела и теперь, вместо того чтобы отбывать сборы для младших офицеров запаса, стал солдатом на два года. По субботам он приходит в отпуск, но на этот случай есть, как видишь, вторая кровать... Ну, а сейчас давай быстренько позазтракаем, выпьем кофе, прими ванну и отдыхай, а меня извини, я на работу. Отдохнешь, выйди погулять — тут рядом садик. Его называют у нас Докторским, в нем памятник русским врачам... Вернусь к обеду, к двум часам.

Проводив Белова и совершив все положенные после путешествия процедуры, я выхожу из дому и направляюсь к парку, который Белов назвал садиком. По левой стороне улицы замечаю витрину магазина, над ним вывеску с надписью «Венеция», а пониже — «Вера Попова». В витрине выставлены свежевыглаженные весьма интимные предметы дамского туалета, без которых и в Венеции, конечно, не обойтись. Больше ничего, что напоминало бы о Венеции, не заметно, зато по «Вере Поповой» заметно, что в Болгарии пока еще существуют частники...

Претенциозное название заведения, торгующего дамскими лифчиками (оно сверх того и прачечная и химчистка), кажется еще претенциознее благодаря отнюдь не адриатической погоде. Холодная московская весна догнала меня в Софии; в плаще не жарко, скорее напротив. Белов успел рассказать, что в конце апреля здесь обычно цветут каштаны, а в этом году они едва едва распустили листья. В парке и деревья и газон, по-видимому, уже давно зазеленели, но как-то не в полную силу. Посредине парка — памятник. Он похож на усеченную четырехгранную пирамиду с гранитным саркофагом наверху и сложен из грубо обтесанных глыб песчаника; основание облицовано мрамором и по углам украшено бронзовыми лавровыми венками с лентами. Бронзовыми же буквами выложена надпись: «Медицинским чинам, погибшим в турецкую войну 1877—1878». На каждой из глыб, в зависимости от ее размера, высечено от трех до семи фамилий. В каждой из четырех граней памятника примерно по тридцати пяти камней, и если взять в среднем по четыре фамилии на плиту, то их получится свыше пятисот. Другими словами, за неполных одиннадцать месяцев войны погибло около пятисот врачей и фельдшеров. Я внимательно вчитываюсь в русские, украинские, польские, немецкие, армянские, татарские и грузинские фамилии тех, кто отдал свою жизнь, спасая чужие. Вокруг памятника играют дети, на скамейках сидят старички. Хороший памятник в хорошем месте! Я обхожу его вокруг и, минуя прекрасное новое здание Государственной библиотеки, иду к центру города.

Прямо против Докторского парка, на открытой площадке, в трусах и майках, не обращая внимания на погоду, скачут, как кенгуру, баскетболистки; в конце улицы, на другой открытой площадке, также огороженной только проволочной сеткой, трени-

<sup>1</sup> Одна сотая лева (болг.).

ругуются длинноногие баскетболисты. Оккупированная баскетболистами улица выводит меня на обсаженную деревьями большую круглую площадь, мощенную булыжником. Посередине возвышается храм Александра Невского, дающий имя и площади. Он сооружен на всенародные пожертвования как наиболее подходящая для тех времен дань памяти воинам России, павшим в борьбе за освобождение Болгарии.

Огибаю площадь и прохожу перед зданием синода болгарской православной церкви. Два рослых попа с выюнмися цыганскими бородами, в камлавках и черных рясах, беседуют у входа; неподалеку от них стоит ярко-красный мотоцикл чехословацкой марки «Ява». Неужели болгарские попы стали гонять на мотоциклах? Я твердо помню, что православным священникам сие не положено. Другое дело католическим. Еще лет двадцать пять назад, во Франции, в эпоху всеобщих разговоров и споров о моторизованных армиях, бургундский крестьянин, кивнув на аббата, пролетевшего мимо на мотоцикле, сказал мне:

— Vous voyez ? Nous avons un curé motorisé...<sup>1</sup>

Продолжая двигаться по аллее, описывающей окружность площади, я выхожу к углу улицы Георгия Раковского<sup>2</sup> и неожиданно оказываюсь у советского посольства. Когда-то для посла Российской империи был выстроен один из самых больших домов старой Софии, но город вырос, и сейчас резиденция чрезвычайного и полномочного посла СССР выглядит излишне скромно и даже провинциально.

Осмотрев здание снаружи, я бросаю взгляд на часы и обнаруживаю, что пора возвращаться. Иду обратно — мимо синода справа, мимо храма-памятника слева, мимо одной и другой баскетбольных площадок, мимо Докторского сада, мимо «Венеции», принадлежащей Вере Половой, — и за десять стотинко возношусь на пятый этаж.

Перед обедом, пока Белов, заменяя большую хозяйку дома, распоряжался по хозяйству, я рассматривал висящую на стене в рамке увеличенную фотографию группы офицеров штаба 12-й интербригады, снятых под Гвадалахарой после победы над экспедиционным корпусом Муссолини. Никакой другой фотографии или картины, за исключением портрета убитого фашистами тестя, в гостиной Белова нет, и одно это доказывает, что его «душа все та же и будет, наверное, такой же до самого конца». На фотографии не весь наш штаб, а случайно оказавшиеся в этот момент на месте. Лица у всех после долгих и тяжелых боев усталые, но счастливые. Посередине, со скатанной в трубку, уже ненужной полевой картой, наш всегда элегантный генерал Лукач; вид у него — иначе не сказать — самый победоносный. Рядом с ним — его заместитель, широко улыбающийся Петров, он никак не элегантен: на ногах у него обмотки, к которым он почему-то питал пристрастие. Белов, в берете и сапогах с короткими широкими голенищами, снял, поставив одну ногу на камень и картинно опершись на колено. Около него молодой венгр, которого мы на испанский лад именовали Педро, и очень добрый, скромный и трогательно застенчивый албанец, имени которого я никак не могу вспомнить; едва окончив военно-инженерную школу в Италии, он отправился в Испанию воевать с итальянскими порабощателями его маленькой страны. По другую сторону от Лукача стоят: испанец майор Хераси, по профессии художник, начальник санитарной службы бригады немецкий эмигрант Хельбрунн, француз Бурсье, временный командир франко-бельгийского батальона, и другие. Из-за спины Лукача выглядываю я — верисе, не я, а не похожий на меня юнец в смятой фуражке, с лейтенантскими знаками различия. Мы снимались в Фуентес де Алкариа в апреле 1937 года, то есть ровно двадцать один год назад.

За обедом я познакомился с Марийкой, быстроглазой младшей дочерью Белова, а также с неотразимостью болгаро-русского гостеприимства; поскольку Белов около двадцати лет прожил в Москве, его гостеприимство носит гибридный характер — одним словом, после обеда мне с трудом удалось отдышаться только к ужину...

Но вот и ужин окончен. Марийка желает нам спокойной ночи и уходит спать. Белов закуривает, и мы начинаем наш большой разговор. Я рассказываю ему о себе и о наших общих друзьях по Испании: о том, что Фриц сейчас дважды Герой Совет-

<sup>1</sup> Видите? У нас моторизованный священник! (франц.)

<sup>2</sup> Болгарский революционер и публицист (1821—1867).

ского Союза и командует округом, что Ксанти — генерал-лейтенант и тоже Герой, что Андрей — полковник в отставке, что Волинский убит в Отечественную, а об Альбино Марвине ничего не известно; мы говорим об Эренбурге, о «нашем» Савиче, вздыхаем о Миханле Қольцове... В свою очередь я расспрашиваю его о знакомых болгарях. Я спрашиваю: где теперь Христов, командовавший в Испании балканским батальоном Джуро Джаковича, и где тихий болгарский комиссар Михайлов, где Железов и жив ли доктор Франек? И что с инженерами Грынчаровым и Ташеком, которых весь наш штаб звал «баджанакми»<sup>1</sup>, потому что Грынчаров в самом деле был свояком Белова? И Белов отвечает, что Христов погиб от несчастного случая, что Михайлов в начале войны, выслеженный фашистской полицией в Сливене, пустил в себя пулю, что Железов сейчас — директор Государственной библиотеки имени Коларова, а доктор Франек — министр здравоохранения, что Грынчаров пропал без вести, а Ташек расстрелян фашистами. Я называю новые и новые имена и слышу короткие ответы: убили, замучили в тюрьме, расстреляли, отрезали голову... И перед моим внутренним слухом начинает звучать знакомая словесная музыка: «...и слышал только в ответ... что Бородавка повешен в Толопане, что с Қолопера содрали кожу под Қизикирменом, что Пидсыткова голова послена в бочке и отправлена в самый Царьград...» И я, понури голову, тоже чуть было в тон раздумчиво не проговорил: «Добрые были козаки!..» Но так как со времен Тараса Бульбы прошло гораздо больше двадцати лет, то я от всей души говорю современными нашими словами:

— Хорошие были товарищи!..

## 2. Четырнадцатая весна

Я проснулся очень рано, в лесу. Поскольку вчера я лег спать в предоставленной мне угловой комнате, это могло быть или чудом или продолжением сна. Я счел более подходящим последнее объяснение, но оказалось, я действительно проснулся, и притом, несомненно, в лесу, потому что меня разбудила горлица.

Многие счастливицы, которым выпадало на охоте заночевать в лесной чаще, наверное, не раз слышали на заре гортанное воркованье этой миловидной птицы. Впрочем, тот, кто издали слышал сильный голос горлицы, редко может судить о ее внешности: она чрезвычайно осторожна и близко не подпускает. Смешно даже подумать, что она могла залететь сюда. Конечно, мне просто почудилось спросонок...

«Гу!.. Гу!.. Гу!.. Гу!..» — прозвучал за приоткрытым окном тот же, только что разбудивший меня грустный и страстный крик.

Честное слово, горлица! Я открыл глаза. Рассветало. Окно выходило на юг, и в молочном сумраке неба четко вырисовывалась вершина Витоши, на самой макушке которой еще белел снег. Ясно, почудилось. Ну откуда возьмется дикая лесная птица в центре города с семьями тысячами населения? Вдруг неподалеку, за окном, про шумели крылья, и — «Гу!.. Гу!.. Гу!.. Гу!..» — раздалась опять четыре отрывистых вскрика. Я вскочил и по мягкому ковру подошел к окну. Внизу лежала обсаженная каштанами тихая, сонная улица. Пасмурное утро стояло над нею. От противоположного тротуара и до подножия далекой горы — куда хватало глаз — крыши домов плавали в садах и парках. С пирамидального тополя передо мной, громко хлопая крыльями, косою свечой поднялась небольшая серая птица и бесшумно, медленно, как на нитке, снова опустилась в бледно-зеленые ветви, и оттуда послышалось то же, с детства знакомое, четырехкратное воркованье. Долго вслушивался я, как над дремлющим городом там и сям, словно петухи в донской станице, перекликались голосом горлицы непонятные птицы. Наслушавшись, я опять лег в постель, размышляя об этой загадке.

В семь утра в коридоре послышался шорох. Я открыл дверь и увидел Белова. В незастегнутой пижаме он с озабоченным видом, прижимая туалетные принадлежности к груди, на цыпочках пробирался в ванную.

— Что так рано? — спросил он меня. — Ты на меня не смотри, ложись, поспи еще.

<sup>1</sup> Свояк (бол.к.)

— Нет, я уже выспался,— ответил я.— Скажи мне, пожалуйста, что это за необыкновенная порода голубей у вас водится?

— А я, право, не знаю, как тебе объяснить... Голуби, как голуби...— рассеянно проговорил Белов, проходя.

Через четверть часа из своей комнаты выскочила в пестром мохнатом халатике заспанная Марийка.

— С добрым утром!

— Доброе утро, Марийка. А ну-ка зайдите ко мне на минутку. Посмотрите вон туда. Как называется этот голубь?

— Гугутка,— уверенно ответила Марийка.

— Как?

— Гугутка. Это по-болгарски.

— А по-русски?

— А по-русски я, дядя Алеша, не знаю как. По-болгарски знаю: гугутка.

Должен сразу сказать: я не успокоился, пока не узнал, как «гугутка» по-русски. Начал я наивно с того, что стал искать в библиотеке Белова болгаро-русский словарь. Не тут-то было! В доме, где каждый был сам себе и болгаро-русским и русско-болгарским словарем, такой бесполезной вещи не держали. Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сообщаю окончательный результат: гугутка оказалась не чем иным, как горлицей. Меня обманул здравый смысл; ухо меня не обмануло. Действительно, тысячи и тысячи горлиц гнездятся в скверах и парках Софии — и, на мой взгляд, это исчерпывающая характеристика счастливого города, похожего на застроенный ботанический сад. Зато сизых голубей в Софии нет, как почти нет и охотничьих, поскольку здесь нет голубятников, этих одержимых любителей виртуозного голубино-голубиного полета, часами гонящих трепетные белые платочки в голубой бездне неба...

Благодаря разбудившим меня в первое утро гугуткам (они и потом ни разу не дали мне проспать рассвет) я делю ранний завтрак с Беловым и Марийкой. И так как к моменту выхода Белова из дому я тоже был готов, он предложил мне проводить его. Мы сели в машину, и, когда она поравнялась с «Венецией», я не удержался, тронул Белова локтем и, кивнув на вывеску, спросил по-французски, повторяя хорошо ему известный лозунг Французской компартии периода Народного фронта:

— Alors, «on defend les petits commerçants»!<sup>1</sup>

Белов усмехнулся.

— Видишь ли, Алеша, мы так рассуждаем. Не трудно было бы хоть завтра повышенными налогами ликвидировать последних мелких торговцев и всяких прочих кустарей-одиночек. Но ведь народ к ним до сих пор обращается, иначе бы они сами позакрывали свои лавочки и пришли просить работы в производственные кооперативы или по крайней мере объединились бы в артели. Налоги на них и так большие, берут частники гораздо дороже, чем кооперация, а к ним ходят. Как это понять? Получается, что мы еще не полностью обеспечиваем население или сроками выполнения, или качеством. Так или иначе, а раз народу они пока еще нужны, приходится с этим считаться. Снабдит кооперация всем, чем нужно, кто же к этим пойдет? А угрозы социализму они, по нашему мнению, не представляют.

— Убедительно.

— А как же иначе? Я не хочу тебе, будто интуисту, все объяснять и показывать. Смотри сам. Чего не поймешь, пожалуйста, спрашивай. Кое-каких успехов мы у себя добились. Ведь мы не первые строим социализм. Мы идем по уже проторенной дороге. Мелкие ошибки на ней, понятно, возможны, но крупных нам никто не простит. Похоже на то, что мы их и не совершили. В нашей небольшой, в прошлом почти исключительно аграрной стране мы начали не с сооружения промышленных гигантов. Даже для той маленькой промышленности, которую мы получили в наследство от капитализма, в Болгарии не хватало электричества. Главным же нашим извечным бедствием были засухи. Вот мы и начали со строительства плотин и электростанций, то есть

<sup>1</sup> Итак, «защита интересов мелких коммерсантов»? (франц.).



погнались сразу за двумя зайцами и обоих поймали: получили и воду для орошения полей и электроэнергию для развития промышленности... Однако, приехали.

Простившись с Беловым у министерства, я до обеда гулял. Даже после Москвы улицы Софии выглядят чистыми, а Москва, насколько мне известно, один из самых чистых городов в мире. Но еще больше, чем чистотой, София поражает количеством и качеством зелени. Дело даже не столько в больших старых парках, в которых размножаются горлицы и которые похожи на настоящие леса, сколько в том, что и люди здесь живут среди деревьев. Редкая улица не обрамлена непрерывными рядами каштанов или тополей, редкий дом не имеет внутреннего сада. Кроме того, длинные прямые бульвары пререзают город, и кажется, что в нем деревья обсаживались домами, а не наоборот. Целые районы похожи на дачные предместья, в них дом от дома отделен раскидистыми липами или густыми кустами сирени. На мостовых, окаймленных деревьями, в общем, пустынно. Легковых автомобилей не много. Еще утром в разговоре с Беловым я отметил это.

— Да, автомашин, тем более собственных, у нас пока маловато, они еще нам не по карману. Буржуазные журналисты на этом отводят душу. Ведь им приходится признавать наши успехи в строительстве социализма, удачу с коллективизацией, достаточно высокий уровень жизни, а вот насчет уличного движения, ничего не поделаешь, острят всюю...

Что ж, пускай острят. Совсем, по-моему, не обидный повод для шуток. Всему свое время. Будет и в Софии сколько угодно машин. А пока я сам невольно улыбаюсь, наблюдая с каким серьезным видом милиционер в общеполитической форме и в белых перчатках дирижирует движением на главной площади. Вот он вытягивается, поднимает магический свой жезл, лихо щелкнув каблуками поворачивается направо, вытягивает палочку горизонтально к левому плечу, указывая, что путь свободен, и мимо него, дребезжа седлом, неторопливо проезжает на велосипеде голоногий мальчишка. Несмотря на такие великосветские порядки, пересекать пустые улицы Софии с неприличиями довольно страшно. Одинокие автомобили мчатся, как хотят и куда хотят. Завидев пешехода, желающего перейти площадь, они метров за двести принимаются тупить так отчаянно, что тот испуганно шарается во все стороны.

Среди движущихся по тротуару мое внимание привлекают попы. На наших улицах они не столь частое зрелище — то ли потому, что их меньше, то ли потому, что у нас они приобрели покровительственную окраску среднего гражданина, не знаю, — и я с законным любопытством рассматриваю встречаемых болгарских священников. При всей архаичности их восточной одежды и особенно твердых камилавков, похожих на перевернутые формы для куличей, у них отнюдь не архаичный, а вполне бытовой, буднично-интересный вид. Болгарское православное духовенство столько веков вместе с народом боролось против турецкого ига, что заслужило со стороны народа по меньшей мере снисходительное к себе отношение. Многовековое участие в национально-освободительном движении привело в конце концов к такому парадоксу, что, привыкнув защищать интересы своей паствы, отдельные священники до недавней поры продолжали ставить эти интересы иногда не только выше собственных, а и выше интересов церкви. Таких случаев несколько, но самый поразительный из них — подвиг попа Андрея, по прозвищу «Красный поп», командовавшего во время Сентябрьского восстания 1923 года единственной батареей из двух пушек, отбитых восставшими у царских войск, и после поражения повешенного фашистами для устрашения ненадежных мирян в его же собственном приходе. Понятно, что в Болгарии нет той враждебности к клиру, которая имела место в период гражданской войны в Испании, где один вид сутаны вызывает в людях неуправляемую ярость. Между прочим, мне показалось оригинальным то, что нынешние отношения болгарского синода с государством осуществляются через министерство иностранных дел...

Начинающийся здесь чуть ли не на рассвете рабочий день по субботам кончается так рано, что до обеда мы с Беловым еще успели съездить в клинику, навестить его больную жену. Она сама видный врач, но от этого ей не легче. Разговор, впрочем, шел главным образом не о ее самочувствии, а о моем и о том, как в ее отсутствие хозяй-

ничает Белов; она твердо убеждена, что он морит меня голодом, и в результате не столько я на нее, сколько она на меня смотрела с соболезнованием.

К обеду явился бравый солдат Алек. Окончив в Москве строительный институт, в Софии он служит в стройбате, что неопровержимо доказывает последовательность мышления соответствующего отдела кадров...

Белов в тот день должен был присутствовать на каком-то приеме, а потому Алек, принявший штатское обличие, и я отправились побродить по городу. Был субботний вечер, и мне пришло в голову посмотреть, как действует «опиум для народа» на болгар; я попросил Алека показать мне две-три церкви. Даже под воскресенье софийские храмы оказались пустыми или полупустыми. В огромном соборе Александра Невского, вмещающем пять тысяч человек, стояло не больше двухсот. Я не называю их молящимися, потому что, кроме меня и Алека, были, разумеется, и другие зеваки, а ведь даже в одном только нашем лице безбожники составляли среди присутствующих целый процент. Акустика для такого громадного помещения оказалась очень хорошей: мужской голос на хорах с непривычными ударениями, твердо произнося «е», бубнил шестопсалмие, и я различал каждое слово. Состав богомольцев удивил меня. Тут не было заметно пахнущих нафталином старичков и похожих на чеховскую Мерчуткину старушек, составляющих основную массу прихожан московских церквей. Здесь я увидел людей главным образом среднего возраста; все было подчеркнуто хорошо одеты, у всех был солидный, я бы сказал буржуазный, вид.

— Какая-то странная публика посещает у вас церковь,— шепнул я Алеку.

— Это все бывшие,— не стесняясь, пробасил он.

Меня несколько смущают его манеры. Я шепотом выражаю ему это. Он, конечно, у себя дома и по-болгарски может говорить все, что ему заблагорассудится, но я-то в гостях и должен вести себя, как подобает гостю, лояльно; он же со мной разговаривает по-русски, все вокруг принимают его за советского гражданина и притом за весьма бесцеремонного, с этим следовало бы считаться... Но мои вразумления, чувствую, остаются втуне. На нас начинают оглядываться, и мы отходим к свечному ящику. Со вкусом одетая, красивая барышня, на пронзительных французских каблучках, покупает свечу. Она долго роется в сумочке, трогает свечи пальчиками и выбирает самую тоненькую, самую дешевенькую свечечку темного воска; заряд помады вишневого цвета на ее губах должен стоить дороже. Я люблю ее и думаю, что не очень-то страшны социалистической Болгарии такие исповедницы; две тысячи лет тому назад кающиеся магдалины были куда щедрее.

Из новейшего храма-памятника Алек ведет меня к самому старому храму и памятнику древней архитектуры, церкви святой Софии. Она стоит на окраине той же площади Александра Невского, которая с незапамятных времен под разными именами была центром города. По дороге Алек сообщает, что на том месте, к которому мы приближаемся, еще во времена римского владычества была поставлена маленькая кладбищенская церковь первых христиан. Ее разрушили вестготы во время нашествия на Сердику (так тогда назывался город). При византийском императоре Юстиниане, строителе знаменитой константинопольской Софии, на развалинах была построена ее тезка и младшая сестра, по имени которой и сама Сердика стала называться Софией. Церковь с той поры не раз перестраивалась, разрушалась, отстраивалась снова, превратилась в мечеть и, наконец, в начале прошлого века рухнула во время землетрясения. Реставрирована она недавно, и таким образом от VI века в ней осталось немного. К тому же в час богослужения праотеческая базилика оказалась совершенно пустой. Может быть, этому в известной степени способствовала детская площадка с качелями, оборудованная у замшелых стен и отвлекавшая часть потенциальных прихожан: Масса нарядного маленького народа возилась на ней, заливаясь хохотом и галдя, как на птичьем базаре, там, где был первохристианский некрополь... «И пусть у гробового входа — Младая будет жизнь играть...»

Мы с Алеком зашли еще в несколько церквей, и всюду было немного богомольцев, везде рядом с настоящими иконами старого письма висели или лежали на аналоях лубочные изображения кудрявых святых, чем-то схожих с восковыми господами и дамами в окнах провинциальных парикмахерских.

Мне уже приходилось слышать, как шофер Белова пренебрежительно величает священнослужителей «божьими агитаторами». После посещения полудюжины церквей стало понятно, откуда это идет. Судя по печатным объявлениям и выведенными от руки церковнославянскими буквами грамотам, красующимся у свечных ящиков, на входных дверях и даже на специальных досках, оборудованных вроде досок для объявлений цехкома, какие имеются у нас на среднем предприятии, болгарское духовенство — это прежде всего обширное лекторское объединение, настоящее общество по распространению антинаучных знаний. Реклама его вещает о десятках лекций на самые живо-трепещущие темы, вроде: «Что такое райское блаженство?», «О нравственной пользе смирения», «Тайна фаворского света» и даже «Коммунизм первых христиан»...

Утром в воскресенье, невзирая на холодную погоду, Белов повез весь наличный состав своего семейства и меня на Витошу — место воскресного отдыха софийцев. Зимой на ее склонах царит лыжный спорт, а летом с середины дня каждую субботу, нагруженные рюкзаками, жители Софии с чадами и домочадцами, доехав на трамвае до последней остановки у подошвы горы, начинают пешее восхождение, ночуют в лесу в специально построенных хижинах, на следующий день добираются до вершины и воскресным вечером, пройдя километров двадцать, возвращаются домой.

И сейчас через стекло машины я вижу пешеходов с палками. Небольшими группами, парами, а то и в одиночку шагают они вверх, вдоль нового, еще не везде достроенного шоссе. С удивлением замечаю, что среди них много глубоких стариков, старух и пожилых женщин. Рядом с бабушками и дедушками бодро топают дети. Большинство мужчин в свободных шерстяных или парусиновых трусах; женщины постарше — в платьях, помоложе — в брюках. Пасмурно и сыро, но многие мужчины обнажены по пояс.

Отсюда открывается необычайный вид на город. К сожалению, сейчас он скрыт густым, как молоко, туманом. Марийка, а вслед за нею Герта и Алек очень жалеют «бедного дядю Алешу», который так никогда и не увидит Софию с Витоши. Машина останавливается в неглубоком лесистом ущелье. Место это называется «Златни мостове». Все четыре дверцы распахиваются, и мы выскакиваем на свежий воздух. Вместо золотых мостов перед нами обыкновенный бетонный мостик через горный поток, русло которого завалено огромными валунами; перескакивая с одного на другой, по ним легко без всякого моста перейти ледяной ручей даже во время вешнего половодья. И вдруг я вижу, что это и есть золотые мосты: гранитные валуны позолочены. Я подхожу ближе к обкатанным водой многотонным голышам и обнаруживаю, что они покрыты сухим желтым лишаем или грибком; оттого и родилось в народе образное название. Вокруг носящих сказочное имя камней — тоже как в сказке — сошлись три времени года. На закрытых от ветра прогалинах лежат белоснежные пуховики снега; там, где снег сдуло или высушило, землю покрывают опавшие листья минувшей осени, а рядом, на прогретых солнцем полянках, пробилась уже молодая трава, среди которой цветут подснежники и дикие тюльпаны. Я, не ленясь, начинаю собирать букетик, чтобы завтра отнести его в клинику жене Белова, но Алек незаметно отводит меня в сторону.

— У нас, — говорит Алек, родившийся и проживший всю жизнь в Москве, — у нас не принято рвать цветы, дядя Алеша. У нас никто этого не делает. Вы у нас никогда не увидите, чтобы кто-нибудь нарвал полевых цветов и тащил их к себе домой. А Витоша сверх того еще заповедник. Но все равно ни здесь и нигде вы не найдете у нас надписи, что траву, мол, не топтать и ветки не ломать. И так все знают. У нас считается, дядя Алеша, что портить природу, ну как бы сказать, очень нехорошо. А в домах у нас ставят букеты только из садовых цветов, из собственного сада.

Алек говорит все это тихо и деликатно, но я чувствую себя посрамленным. И без Алека я должен был заметить, как ведут себя окружающие: кругом пропасть прелестных восковых подснежников и альпийских тюльпанов, а у всех пустые руки.

Преподав мне урок, Алек загоняет нас на вызолоченные камни и, непринужденно придумывая для покорных натурщиков всевозможные принужденные позы, принимается вдвоем со своим зятем Гиргином обстреливать нас из трех фотоаппаратов, один из которых выдавший виды «контафлекс», — как и мы с Беловым, ветеран испанской войны.

Несмотря на ранний час, у Золотых мостов чрезвычайно людно. Через бетонный мостик все идут и идут туристы-пешеходы. Затем подъезжает автокар и выгружает резерв человек в двадцать. Что меня поражает — полное отсутствие не то чтобы нетрезвых, а хоть бы кого-нибудь навеселе. В этом отношении болгары подлинно культурный народ. Я прожил среди них полтора месяца, праздновал с ними Первое мая и другие праздники, встречался со старыми друзьями, присутствовал на двух банкетах и ни разу не видел ни одного пьяного. И при всем том ничего похожего на сухой закон в Болгарии нет, нет даже государственной монополии на изготовление спиртных напитков. Здесь пьют и разные водки и десертные и столовые вина, но пьют умно, сдержанно, пьют, как мужчины. Понимаю, что найдутся скептики, которые не захотят мне поверить, но повторяю: я не видел ни одного пьяного ни в городе, ни в селе за полтора месяца.

Как будто чтобы доказать, что не ханжеское воздержание, а умение пить делает болгар трезвым народом, Белов приглашает нас в ресторан, расположенный неподалеку от Золотых мостов. Там мы выпиваем по рюмке аперитива, а затем, надышавшись стоящим всех аперитивов на свете воздухом, спускаемся обедать в Софию.

— Вот это гора! — с уважением говорю я, оглядываясь на закутанную тучами, как башлыком, вершину Витоши. — Таковую бы горищу под Москву!

— По правде сказать, мы, болгарские эмигранты, лет тридцать тому назад с трудом удерживались от улыбки, когда при нас упоминались Воробьевы горы, — отозвался Белов, сидевший рядом с шофером. — Но все, знаешь ли, относительно. Мы как будто не без основания считаем Витошу настоящей горой, а вот вице-президент Индии, господин Радхакришнан, когда я привез его сюда, сказал с одобрением: «Ничего, красивый холм!..»

За воскресным столом заметно не хватает хозяйки дома, но, очевидно потому, что я ежедневно выпиваю за ее здоровье рюмку сливовой, она быстро поправляется и скоро вернется домой. Мужественно преодолев послеобеденную сонливость, мы с Алексом опять уходим в город. На каждом углу он меня фотографирует, как заезжую кинозвезду. Мне все больше и больше нравится София не только своими гугутками, парками и садами, но и внешним обликом людей. Здесь все одеты как-то одинаково хорошо — со вкусом и просто.

На следующее утро, проводив отца, Алек берется за телефонную трубку, и из соседней комнаты я слышу, как он уговаривает свое начальство разрешить ему не являться в казарму до послепраздника.

— Аз имам един гост от Москва, — говорит он в качестве исчерпывающего объяснения.

По-видимому, в Болгарии «гость из Москвы» — что-то вроде «Сезам, отворись!» арабской сказки: Алек возвращается с видом победителя.

— Отпустили! Живем, дядя Алеша! — Иронически подражая Марийке, он иначе меня не величает. — Сегодня опять буду показывать вам Софию, — радостно басит он.

И мы снова направляемся осматривать старый город, так помолодевший «после Девятого». Бывший москвич Алек — страстный, как все неопиты, софийский патриот и в качестве такового великолепный гид. Единственный его недостаток, мне кажется, — желание показать все сразу, без учета пешеходных возможностей и запасов внимания вверенного его попечению туриста, да еще, пожалуй, излишне подробные объяснения. Он не оставляет абсолютно ничего не объясненным, не вложенным в рот, не разжеванным, не позволяет ни о чем догадаться или чего-нибудь недопонять, вроде того гоголевского шляхтича, который коханке своей Юзысе «растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить». Для начала он показывает мне бывший царский дворец, в котором сейчас картинная галерея, и сквер около него, еще недавно недоступный народу.

Напротив картинной галереи высится белый мавзолей с окаменевшими часовыми, родными братьями тех, что стоят сейчас на Красной площади. Мы заходим в него поклониться набальзамированному телу Георгия Димитрова.

Против выхода, в крыле мавзолея, две плиты из черного мрамора — одна горизонтальная, другая вертикальная; между плитами лежит гранитный земной шар с серпом

и молотом на нем; в горизонтальной плите прямоугольная цветочная клумба, на вертикальной — надпись: «Васил Коларов. 1877—1950». Выше — врезанный в стену скульптурный портрет.

Пройдя через большой сад за мавзолеем, мы выходим к зданию государственного банка, архитектуре которого и снаружи и внутри могли бы позавидовать и Москва, и Ленинград, и Париж, и любой город на свеге. Проходим мимо банка, мимо старинного здания Археологического музея, осматриваем строящийся к Первому мая большой фонтан (Алек объясняет мне по этому случаю, зачем устраиваются фонтаны) и по широкой новой улице проходим к недавно открытому здешнему ГУМу. Потом мимо огромного отеля выходим туда, где при турках находился центр болгарской части города — на бывшую площадь св. Недели, на которой стоит кафедральный собор того же имени. Здесь в 1925 году, во время панихиды по убитому накануне видному фашисту, на которой присутствовали весь двор и члены правительства, взрывчатка обрушила купол. Взрыв, однако, привел не к концу режима, но к еще большему обострению белого террора. Многие сотни болгарских коммунистов были казнены фашистами, а то и просто убиты из-за угла в те дни. Бесчисленными их жертвами, их терпеливыми и опасным трудом в подполье и ратным подвигом советского солдата старая площадь вместе со всей страной была освобождена и носит теперь имя Ленина.

С площади Ленина мой неустанный гид тащит меня посмотреть на еще одну мечеть и на бани над минеральными источниками (где я непременно должен попробовать воду на вкус), на величественный, иначе не выразишься, крытый рынок и на многие другие достопримечательности. В общем, Алек удовлетворен моим поведением: все мне очень нравится, и в награду он угощает меня стаканом бузы. Буза мне тоже нравится.

В тот вечер мне пришлось увидеть еще многое. Напрасно уверял я Алека, что от усталости у меня, как у сеттера, вываливается язык. Мой гид потащил меня еще полюбоваться на статую патриарха Евтимия<sup>1</sup>, и на дом, где был какой-то клуб, а будет другой клуб, и в огромный парк на окраине. Там я впервые в жизни увидел, как нарциссы растут не на клумбах, а в траве, будто они колокольчики. Перегруженный впечатлениями и измученный непрерывной ходьбой, я на обратном пути не мог даже ворчать, и, пользуясь этим, Алек продолжал объяснять всюю...

Двадцать девятого апреля утром Белов предложил мне вместе с ним заехать перед обедом к товарищу, которого в Испании звали Железовым.

— Мне нужно будет сегодня забежать на минутку по одному делу в Президиум Народного Собрания, к часу я освобожусь, так ты подойди в час к боковому входу.

Придя к назначенному времени в назначенное место, я издали заметил знакомую машину, причалившую к словно подстриженным в парикмахерской вечнозеленым кустам сквера, и шофера Косту, облокотившегося на крыло. Увидев меня, он пошел навстречу. Мы присели на сквере на скамеечку и стали беседовать о разных вещах: о том, что Москва все-таки несколько больше Софии, но что София тоже очень большой и красивый город, и о том, что мне здесь пока сильнее всего понравилось. Потом, в связи с приближающимся приездом польской партийно-правительственной делегации, Коста сказал, что другар Гомулка очень хороший человек, но напрасно он кардиналу Вышинскому и вообще поам много позволяет. Я заметил, что ведь и в Болгарии есть попы, и Коста с сожалением признал это. Потом Коста выразил уверенность, что зато в Советском Союзе попов уже не осталось. В свою очередь я с огорчением должен был опровергнуть его и сознаться, что их пока еще хватает. Так мы и разговаривали о том и о сем. Я говорил по-русски, а Коста по-болгарски, но в общем мы неплохо понимали друг друга. Мне помогало то, что в свое время я немного знал сербский и чешский языки, а в детстве учил церковнославянский и даже читал на клиросе, поэтому такие болгарские слова, как «аз», «пегел», «брадат», «власы», «ако», «седмица», «понеже», «врат», «чадо», «хлад», «брашно», «дебел», «ястие», «глас», «овен» и употребление звательного падежа были мне знакомы. Косте же еще больше помогала свойственная всем болгарам, не всегда, правда, достаточно обоснованная уверенность, что он умеет

<sup>1</sup> Последний перед турецким игом болгарский патриарх и духовный писатель.

говорить по-русски. Понимать Косту мне мешали только многочисленные турецкие выражения. Но что сбивало с толку нас обоих, это слова для русского и болгарского языков общие, но имеющие совершенно разное значение. Так, «треска» означает по-болгарски не треску, а щепку; «клепка» значит веко, «чушка» — стручок перца, «клюка» — сплетня, «квас» — дрожжи, «чернило» — горькая жизнь, «грыжа» — забота, «пушка» — ружье, «гора» — лес, «гроб» и «живот», как и на церковнославянском, означают; могила и жизнь; «грозно» надо переводить как некрасиво; «вече» — как ужé и, наконец, «булка» — молодая женщина. С «булками» происходит, естественно, особенно много недоразумений.

Успешно преодолевая все эти препятствия, мы с Костой мирно беседовали, пока ровно в час с плащом на руке из Народного Собрания не вышел Белов. Ага, вот почему ему необходимо было «забежать на минутку по одному делу в Президиум» — на ничем не украшенном темном его пиджаке блеснул новенький орден. Недавно ему исполнилось шестьдесят лет, и, конечно, в связи с этим вспомнили о его заслугах. Со свойственной ему скромностью он промолчал о том, зачем его пригласили. Я крепко обнял его.

— Спасибо, Алеша, спасибо,— торопливо проговорил Белов.

Коста тоже пожал ему руку.

— Благодаря, много благодаря,— повторял в ответ Белов,— обаче, трябва да спиваме на обед...

Мы уселись в машину, и я вблизи рассмотрел орден Димитрова, высшую, как у нас орден Ленина, награду в Болгарии.

— Помогите-ка мне снять его, вот коробочка...— попросил Белов.

Я возмутился.

— То есть как снять?

— Понимаешь ли, у нас не принято... Никто не носит. Только в армии...

— Да подожди ты хоть до дому. Дай Марийке порадоваться на отца.

Белов послушался. По дороге мы заехали к Железову. За двадцать один год он совсем не изменился. Уже тогда это был неопределенно пожилых лет тучный человек с одышкой, но с живыми глазами и юношеским отношением к жизни. Он так же бешено, как раньше, курит, так же рассеян и так же похож на неуклюжего русского интеллигента из семинаристов. Мы поцеловались и, как полагается испанцам, «похлопались». Железов поздравил Белова и предложил нам кофе. Ждать его пришлось довольно долго: сначала за разговорами выкипела вода, потом кофе убежал. Разговаривая, Железов непрерывно рассовывал окурки по разным местам, однако ни один из них не попал в пепельницу. Все-таки мы выпили по чашечке кофе. Повспоминали, повздохали. Перед уходом я от души сказал ему:

— Ты был самым книжным человеком из всех, кого я видел в Испании, и самым воинственным из всех книжников, каких я где-либо и когда-либо видел. Сейчас тебя сделали директором главной вашей библиотеки, ты счастливiec, ты же родился для этого...

Дома Марийка с визгом бросилась на шею отцу. За обедом Алек и я чокнулись с ним. Но, едва встав из-за стола, Белов отстегнул орден, уложил его в футляр и унес в свою комнату — только его и видели...

Накануне Первого мая Белов вручил мне пропуск на трибуну.

— Туда мы поедem вместе, а там я попрошу Алека побыть с тобой, мне придется находиться в другом месте.

Праздничное утро началось еще раньше будничных. Марийка подняла всех ни свет ни заря. Погода оставалась все такой же, похоже было, что собирается дождь, но, презирая стихи, Марийка гладила белую шелковую блузку, пионерский галстук, шерстяную юбку в складках и страшно боялась опоздать на сбор.

Мы с Беловым уже благополучно побрились, но Алек все еще мучился со своей до синевы черной щетиной, которую не брала не только безопасная и тем более электрическая, но не взяла бы и самая смертельно опасная бритва. Из ванной доносились скрип и громкие чертыханья.

Марийка скоро убежала, требуя, чтобы я обязательно узнал ее, когда будет проходить их школа.

В восемь часов мы втроем садимся за стол. Ради праздника Белов разрешает себе и утром не соблюдать диету, и под популярным лозунгом «С утра надо хорошенько заправиться» мы старательно обедаем, иначе не выразишься, и в девять выезжаем к центру. Запруженные нарядными людьми улицы сейчас поразительно похожи на московские, какими они бывают в это же время. Разница лишь в том, что жители Софии выходят на первомайскую манифестацию, а жители Москвы на первомайскую демонстрацию; с филологической точки зрения правы скорее первые.

Неподалеку от мавзолея Коста останавливает машину. Выйдя, мы расстаемся с Беловым. С авторитетным видом Алек ведет меня на трибуну. Неподалеку собирается дипломатический корпус, и Алек совершает сенсационное открытие: впервые на празднование Первого мая явились дипломаты некоторых крупнейших капиталистических держав, до сих пор из болгарских государственных праздников они признавали только Девятое сентября.

Центр площади между бывшим царским дворцом и мавзолеем свободен, но противоположные трибуны, устроенные вдоль дворцового фасада, битком набиты. На них лучшие люди столицы, и сразу видно, что лучших людей в ней очень много. Левее этих трибун расположился сводный духовой оркестр в белых гимнастерках. Над трибунами, на здании нынешней Картинной галереи, портреты Маркса, Ленина и Димитрова, по карнизу протянут плакат: «Пролетарин от всички страни съединявайте се!» По бокам, с одной стороны, портреты членов Президиума нашего ЦК и надпись: «Пламенен привет на КПСС — авангарда на человечеството в борбата за мир и социализъм!», с другой — портреты членов болгарского Политбюро и тоже без перевода понятные слова: «Да живее Българската комунистическа партия организатор и вдохновител на нашите победи!»

Между прочим, есть одна деталь, к которой мне в Болгарии трудно привыкнуть: цвет красного флага. Первое время я думал, что здесь плохо с красителями, потому что красные флаги всегда не красные, а того неопределенного цвета, который называют темно-бордовым. Потом мне рассказали, что болгарские коммунисты, чтобы не иметь ничего общего со своими меньшевиками, отказались когда-то даже от общего красного флага, завели для своего этот цвет, и так с тех пор и осталось. Сейчас настоящий красный цвет я вижу только на галстуках пионеров да на нижнем полотнище трехцветного национального флага.

Ровно в десять по площади прокатился плеск ладоней, и на мавзолее показались члены Политбюро, министры, генералы, руководители иностранных профсоюзных делегаций и старейшина дипломатического корпуса товарищ Приходов, посол Советского Союза. Затем задрожали голоса фанфар, оборвались на высокой ноте, и грянул строевой марш. Первого мая парада войск в Болгарии не бывает, но на площадь широким военным шагом вступают колонны вооруженных рабочих в синих комбинезонах. Вскинув головы направо, к мавзолею, одни крепко сжимая автоматы, другие с винтовками «на плечо», они идут шеренга за шеренгой, оглушительно крича «ура», и трибуны кричат им в ответ и аккомпанируют своему крику рукоплесканиями. Кажется, что вся площадь, ее стены, ее камни восторженно режут. И пока мимо своих руководителей и своего народа, мимо господ дипломатов и мимо дипломатов-товарищей четким строем, батальон за батальоном, с оружием в мозолистых руках проходил победивший рабочий класс, в новой форме осуществляющий свою диктатуру, я думал: «Нет, ничего с ними не поделаешь, ничто уже не сведет их с прямого пути, никому не повернуть историю вспять...»

Девушки-санитарки в таких же синих рабочих спецовках, с пистолетами у пояса и с повязками Красного Креста на рукавах замыкают боевые ряды самоохранный молодого болгарского социализма. Площадь ненадолго пустеет, и сразу ее густо-густо заполняют трудящиеся всех районов Софии. Они несут знамена и рассказывающие о победах плакаты. Проходя, они выкрикивают мавзолею и трибунам приветствия и машут живыми цветами, шарфиками, платочками и шляпами, а мавзолеем и трибуны

хором отвечают им, не переставая хлопать в ладоши. И здесь, как в Москве, проносят макеты «спутников», а вон несут огромный земной шар, на котором укреплена железная клетка, в ней заперта на всякий замок черная атомная бомба, на крыше клетки сидит белый голубь мира и в клюве держит ключ.

И вдруг среди размахивающих зелеными ветками школьниц я в самом деле вижу Марийку. На смуглом лице ее сияют большие, еще детские глаза, блестят ровные белые зубы, густые волосы рассыпались по плечам, она смотрит на мавзолей, возможно видит отца, и вот она тоже что-то радостно кричит, и я вспоминаю, что ей на днях минуло четырнадцать лет, что она родилась всего на пять месяцев раньше своей республики и, глядя ей вслед, узнаю в ней почти плакатное изображение новой молодой Болгарии.

— А в первый раз первомайская демонстрация в Софии, дядя Алеша, состоялась в тысяча восемьсот девяносто восьмом году.— говорит сзади Алек, должно быть предвзвешенно с кем-нибудь проконсультировавшийся за моей спиной.

Ах, если бы они могли встать из могил — те, кто тогда уже верил в неизбежную победу, те, кто тогда выходил на безжалостно разгоняемые полицией демонстрации, те, кто с первомайским лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» шел тогда в тюрьму, на каторгу и на смерть. Ах, если бы они могли встать и увидеть эту победоносную манифестацию своих наследников, своих детей и внуков, могли бы увидеть горячую и под сегодняшним холодным небом, неистово радостную и под накрапывающим сейчас дождем расцветающую свою Болгарию, вот эту Марийку в пионерском галстуке с развевающимися по ветру волосами!..

Но вряд ли остался в живых хоть один из участников первой майской рабочей демонстрации. Зато в четырнадцатом первомайском торжестве победителей участвуют многие из тех, кто его обеспечил, кто годами сидел за решеткой, кто томился в лагерях, обнесенных колючей проволокой, кого приговаривали к смертной казни, кто работал в подполье, кто поднимал оружие против капитализма и в 1918 году и в сентябре 1923 года, кто в 1936 году воевал против фашизма в Испании, кто сражался против собственного болгарского фашизма в партизанских отрядах и кто добивал мировой фашизм в регулярных войсках в конце Отечественной войны. Велика должна быть их радость сегодня!..

Пока я так размышляю, перед нами проходят спортсмены, пробегают в бойкой народной пляске танцоры, и праздничное шествие понемногу подходит к концу. Усталые, но довольные, мы с Алексом пешком возвращаемся домой, где в семейной обстановке состоялся второй обед в этот в буквальном смысле слова насыщенный день. После обеда все вместе мы едем в больницу — поздравить Эмилию Александровну, а оттуда — кто куда. Алек с плохо скрываемым нетерпением устремляется в какую-то более жизнерадостную компанию, Герта с Гиргином уходят к себе принимать гостей, Марийка убегает на школьный вечер. Я же приглашен Беловым на обед, который устраивают вкладчину работники его министерства. Хотя обед этот в пригласительных билетах осторожно именуется товарищеским ужином («вечеря»), но меня не проведешь, я уже научен горьким опытом и знаю, что мне угрожает. Однако как ни называй предстоящее пиршество, а идти на него пора, и, поскольку оно состоится неподалеку, в средней руки ресторанчике, мы направляемся туда пешком.

Несмотря на то, что мы пришли вовремя, оказалось, что внутри почти все места уже заняты и многие, не обращая внимания на холод, расположились на террасе. Два места для Белова все же были оставлены: предполагалось, что он придет с женой. Еще у вешалки Белов познакомил меня с перед нами вошедшим и ищущим места заместителем министра, высоким, красивым, начавшим сидеть и поинтересоваться человеком, которого со смехом усадили затем где-то в углу, за кадкой с тропическим растением, среди целой клумбы молоденьких сотрудниц. Не без труда мы протиснулись на свои места у стены за большим, приборов на сорок, столом. Ужин был обильным, как я и предвидел, но недорогим; в меню входили холодные закуски, два горячих блюда, какой-то десерт и красное столовое вино. В зале стоял непринужденный шум, громкие шутки покрывались общим хохотом, за двумя столами пели хором, присутствие министра и его заместителя никого не стесняло. За исключением коротенькой интимной по



тону поздравительной речи министра не было никаких других тостов и ораторских упражнений. Ели все с завидным болгарским аппетитом, но пили мало. За сладким весь зал, поддержанный террасой, запел партизанскую песню, так же здесь любимую, как у нас в свое время «По долинам и по взгорьям».

Гей, широко поле,  
Широко, зелено, гей!..—

разливался дружный и сильный хор. Мелодия песни поразила меня; жалко, что у нас она мало известна. Особенно выразительно звучал после каждого куплета припев: «Хей, Балкан, ти роден наш»,— и грустно и могуче рокотали басы.

По окончании песни все подняли бокалы. «Гань бэй! Гань бэй!» — послышались голоса. Слово показалось мне непонятным.

— Гань бэй, другари! — громко сказал Белов и отхлебнул из своей рюмки.— Это означает примерно «до дна», Алеша,— повернулся он ко мне.— Когда наша делегация была в Китае, на большом приеме в нашу честь, товарищ Чжоу Энь-лай обошел всех приглашенных, с каждым чокался и каждому говорил «Гань бэй!» Наш переводчик объяснил, что это значит «осушить рюмку», или, как говорят по-русски, «до дна!» Ну, пока переводчик переводил, а мы пили и ели, Чжоу Энь-лай вернулся на свое место и, смотрю, все с той же полной рюмкой. Когда я рассказал у нас в министерстве, как в Китае пьют до дна, всем очень понравилось. Так с тех пор среди наших ребят и привилось это китайское выражение... Давай, однако, на самом деле допьем до дна и пойдем. Поскольку мы выезжаем завтра очень рано, пора, брат, и на боковую...

Пожав руки соседям и кланяясь на обе стороны, Белов, а за ним и я оделись и выбрались на улицу.

— Гань бэй! — увидев его, закричал на террасе.

— Гань бэй, гань бэй! — взмахнув шляпой, крикнул Белов.

На террасе послышался смех. Мы пошли по сырой темной улице к дому. Вдогонку из ресторана донеслась песня, ее пели вдохновенно, но сдержанно. Видно было, что «гань бэй» звучит здесь так же, как и в Китае. Мы повернули в переулок, и стало совсем тихо. София уже спала.

— Знаешь,— заговорил я,— сегодня в один и тот же день я увидел и воплощение вооруженной диктатуры пролетариата, и на этой вашей вечере такой естественный, я бы сказал семейный, демократизм, которому можно порадоваться.

— Ты всегда преувеличиваешь.

— Нет, я не преувеличиваю. Вот уже неделя, как я наблюдаю вас. Счастливые вы люди!

— Мы счастливые потому, что есть Советский Союз,— ответил Белов.

### 3. Накануне

Я сидел сзади и слева, а потому мне хорошо, излишне хорошо был виден обрыв, зияющий под моим левым локтем, и совсем не было видно дороги, по которой взбегала машина, только черное переднее крыло, вороном летевшее над пропастью, показывало, что все зависит от миллиметров. Внизу, приблизительно в километровой глубине (здесь точность до миллиметров не играла уже существенной роли), виднелся похожий на густую траву лес, прорезанный белой ниткой каменного шоссе; оно было построено еще турками для сообщения с гарнизонами в этой части страны. Даже отсюда, с птичьего полета, шоссе выглядело очень солидно, гораздо солиднее узкой и скользкой грунтовой дороги, по которой мы поднимались и которую Белов избрал, чтобы, с одной стороны, сократить путь, а с другой — показать мне, как красивы Балканы.

Красивы-то они красивы, ничего не скажешь: справа торчат поросшие орешником крутые скалы, слева отвесное ущелье, глубину которого иногда маскируют не страдающие головокружением деревья. Беда лишь в том, что нашей карете слишком тесно в рамках этой красоты, она просто не умещается на верткой тропе, где два ослика, навьюченные вязанками хвороста, с трудом разминулись бы при встрече. Громоздкость машины особенно чувствовалась на частых поворотах не по одной напряженной спине

Косты, но и по тому, что через заднее стекло по следу, оставленному шинами, было очень хорошо (опять-таки излишне хорошо) видно, как они только что проутожили самую кромку дороги.

Кроме меня, на заднем сиденье уместились Герта и Гиргин, а на откидных стульях — Алек и Марийка. Белов сидел рядом с Костой. Мы выехали из Софии еще до гугуток, а сейчас уже шел девятый час, и почти все это время молодежь, не останавливаясь, пела. Когда был исчерпан репертуар русских и украинских, а потом и новейших советских песен, семейный квартет, усиленный поддержкой Белова и моей, запел всемирно популярную итальянскую революционную песню «*Bandiera rossa*»<sup>1</sup> с ее всеобъемлющим припевом:

*Evviva il comunismo e la libertal.*<sup>2</sup>

— А эту помнишь, Алеша? — блестя глазами, спросил Белов.

И мы дуэтом спели другую, столетней давности итальянскую песенку, которую так полюбили в Испании, про солдат-гарибальдийцев и капризную блондинку.

— Давай теперь нашу, — сказал Белов.

«Нашу» — это значило мадридскую фронтовую. Опять вдвоем мы запели «*Los quatros generales*»<sup>3</sup>, куплеты о четырех фашистских генералах и о том, что мавры не пройдут парк Каса де Кампо, не возьмут Французский мост через Мансанарес, так как бойцы хорошо его охраняют, и Мадрид, несмотря на бомбардировки, хорошо сопротивляется. В свое время мы продолжали распевать эти куплеты, сочиненные на мотив старинной народной испанской песни о четырех погонщиках мулов, и тогда, когда Французский мост был давно взят марокканцами, и тогда, когда наши окопы проходили по окраине Каса де Кампо. Мы любили ее за хороший конец: в нем говорилось, что в ночь под рождество четыре фашистских генерала будут повешены...

Кончив петь, Белов закурил, и тогда по моей просьбе остальные завели болгарские песни, многие из которых я часто слышал в Испании в артистическом исполнении Гетрова.

Наконец все устали и смолкли. Дорога вошла в сплошной лес. Начался спуск. Белов повернулся вполборота.

— Мы подъезжаем, Алеша, к Копривштице, одному из главных очагов Апрельского восстания тысяча восемьсот семьдесят шестого года против турецкого владычества. Сейчас Копривштица объявлена государственным заповедником. Ее старая часть превращена в исторический музей.

Разбрызгивая грязь и пугая кур, машина с разбегу влетает в узкую улочку, замедляет ход и останавливается на площади. Мы выходим, застегивая плащи: здесь тоже холодно и сыро. Белов идет в здание городского комитета БКП, а мы разбредаемся по площади. На ней, кроме нашего лимузина, стоит несколько пустых автобусов, должно быть иривезших экскурсантов. Посередине площади — памятник героям Апрельского восстания; в окружающих ее домах — ресторан, какие-то учреждения, книжный магазинчик. В витрине, среди болгарских книг и брошюр, детские книжки на русском языке; странно и приятно встретиться здесь с Мойдодыром и дядей Степой.

Пока я разбираюсь в болгарских заглавиях, появляется Белов и, сдвинув шляпу на затылок, ведет нас в гору по извилистой, мощенной белым булыжником улице.

— Подойдите-ка поближе, — говорит он, останавливаясь и обеими руками опираясь на трость. — И Алек и Марийка здесь впервые, как и ты, Алеша, потому, насколько мне удастся, я буду вашим экскурсоводом.

— Папа здорово все знает, — ободряюще поясняет Герта своим цыганским голосом.

— К моменту восстания; — начинает Белов, — Копривштица была городом с двенадцатью тысячами жителей. Отсюда, где мы стоим, начиналась ее центральная часть. Тут жили торговцы, ростовщики, откупщики, то есть возникшая перед концом турец-

<sup>1</sup> «Красное знамя» (итал.).

<sup>2</sup> Да здравствует коммунизм и свобода! (итал.).

<sup>3</sup> «Четыре генерала» (исп.).

кого господства болгарская буржуазия. В нашей истории ее принято обозначать турецким словом «чорбаджин». Большинство чорбаджиев было тесно связано с турками, а если и не было связано, то, во всяком случае, чорбаджи не хотели играть с огнем и подвергать риску свое имущество. Большинство, говорю я, но не все. И среди них встречались патриоты, особенно среди образованной чорбаджийской молодежи...

Мы идем дальше.

— Из Копривштицы родом,— продолжает на ходу Белов,— знаменитый наш писатель Любен Каравелов, долгие годы бывший одним из вдохновителей болгарской национальной революции, и два непосредственных руководителя Апрельского восстания: Георгий Бенковский и Тодор Каблешков.

— Тодор— это по-русски Федор,— успевает вставить Алек.

— Бенковский происходил из семьи бедного ремесленника. Каблешков же был сыном видного чорбаджии. Отец послал его учиться в Константинополь, где он окончил французский лицей. Вернувшись в Болгарию, Каблешков служил на железной дороге не то начальником станции, не то телеграфистом, не помню, но, заболев туберкулезом, оставил службу и поселился в родном доме, чтобы отдыхать и лечиться. Вот его дом,— прибавил Белов, показывая палкой.

Через раскрытые ворота мы вошли в мощный дворик, обсаженный сиренью и акациями. В глубине его стоял ярко выкрашенный вторым этажом болгарской архитектуры нависающим вторым этажом.

— Вот отсюда, вместо того чтобы лечиться, Каблешков повел революционную агитацию и довольно большую военно-организационную работу. Надо знать, что восстание тысяча восемьсот семьдесят шестого года готовилось Революционным комитетом из Румынии. День восстания держался в секрете, намечались две даты: первое мая и одиннадцатое мая.

Я посмотрел на Герту и Марийку. Обе слушали отца, что называется, затаив дыхание, в то время как Алек и Гиргин издали прицеливались в нас фотоаппаратами.

— Так вот,— рассказывал Белов,— в середине апреля в горах, в месте, что зовут Обориште, состоялось собрание делегатов от всех революционных комитетов Пловдивского округа, который тогда именовался Панагюрским. Это было первое в нашей истории народное собрание. На нем обсудили план восстания и его сроки. Решили начать восстание первого мая, но при этом была сделана оговорка: если турки пронюхают и арестуют кого-нибудь из членов местных комитетов, выступить немедленно. Ну, а пронюхать туркам оказалось нетрудно: вместе с делегатами из Обориште спустился в долину и предатель.

— Как же он пролез туда? — негодуяще перебила Марийка.

— Это и по сей день точно не известно.

— Что же было дальше? — волновалась Марийка.

— Дальше? А дальше турецкие власти решили... Вы думаете, что? Не допустить восстания? Ничего подобного. Они решили спровоцировать народ на преждевременное выступление. Это давало им уверенность, что такое неорганизованное и, главное, неодновременное восстание легко удастся раздавить по частям. Поэтому они послали два небольших полицейских отряда в Панагюриште и Копривштицу арестовать зачинщиков. Отрядом из двадцати стражников, который был послан в Панагюриште, командовал трус. Опасаясь засады, он остановился по дороге в город и стал посылать начальству панические рапорты. Второй полицейский офицер, Неджиб-ага, оказался энергичнее. С восемнадцатью конными стражниками он въехал в Копривштицу и остановился в конюшне, как называлась резиденция турецкого наместника. Оттуда он дважды приходил сюда, в дом Каблешкова, заявляя, что привез ему письмо из Пловдива. Оба раза Каблешков скрывался, а его мать, по обычаю, угощала турка кофе и вареньем. Увидев, что ему не удастся взять руководителя восстания хитростью, Неджиб-ага утром двадцатого апреля арестовал двух других, менее осторожных членов копривштицкого революционного комитета. Тогда Каблешков собрал людей и отбил арестованных. Неджиду-аге удалось ускользнуть, но турецкий наместник был убит. Так началось Апрельское восстание...

Белов остается во дворе, а мы поднимаемся в дом. Деревянные колонки лестницы и деревянные потолки украшены виртуозной резьбой. Кроме резьбы, в комнатах изумительные изразцы и расписная глиняная посуда, которая свела бы с ума Пикассо. Все, что изготовлено из меди, железа и кожи или выткано из шерсти, сделано руками настоящих художников и достойно любого музея прикладных искусств. Зато на стенах красуются лубочные греческие иконы и скверные олеографии.

В одной из боковых комнат развешаны семейные фотографии в дешевых рамках. Вот мать Каблешкова, вся в черном, а вот и он сам. Смуглый молодой человек сидит в кресле, облокотившись на столик, на нем белые панталоны, редингот с бархатными отворотами, начищенные штилеты, в руках изящная тросточка. На другой фотографии он стоит, скрестив ноги и опираясь на ту же трость, на голове форменная шапочка с гербом Османской империи, из кармана жилета свисает золотая цепочка с брелочками. И этот слабый здоровьем юноша (ему было около двадцати пяти лет) оказался одним из самых решительных и стойких командиров безумного по смелости восстания.

— Посмотрите, письмо Каблешкова, написанное кровью,— показывает мне Герта на застекленный лоскут пожелтевшей бумаги, на котором видны выцветшие торопливые строки.

С помощью Герты я записываю знаменитое «кървавото писмо» в переводе. Оно гласит: «Братя! Вчера из Пловдива прибыл в селение Неджиб-ага, который хотел схватить несколько человек вместе со мною. Поскольку мне известно ваше решение, принятое на собрании в Обориште, я созвал некоторых юнаков, мы вооружились и двинулись к конаку, напали на него и убили мюдюрина с несколькими стражниками... Сейчас, когда я пишу вам это письмо, наше знамя развевается перед конаком, стреляют ружья, сопровождаемые, как эхом, церковными колоколами, и юнаки целуются на улицах... Если вы, братья, настоящие патриоты и апостолы свободы, следуйте нашему примеру и в Панагюриште... Копривштица. 20 апреля 1876 года».

Письмо это называется «кровавым» не потому, что оно написано кровью, как думала Герта, а потому, что бумага была запачкана кровью убитого турецкого наместника.

Получив письмо, Бенковский ударил в набат и бросился поднимать окрестные села. С письма Каблешкова сняли несколько копий и разослали в разные места. И восстание началось, но не первого мая, как было задумано, и не повсюду. Все происходило именно так, как хотелось турецким властям: преждевременно и неорганизованно. Предполагавшаяся в момент восстания высадка на болгарском берегу четы<sup>1</sup>, сформированной в Румынии из эмигрантов и возглавляемой Христо Ботевым, запаздывала на две недели. А тем временем против восставших было двинуто двадцать тысяч солдат регулярной армии и до ста двадцати тысяч башибузуков<sup>2</sup>. Восставшие сражались шомпольными, а то и кремневыми ружьями, турки же были вооружены английским пехотным оружием и крупновскими пушками. Сверх того, начались проливные дожди, и у повстанцев отсырел черный порох. Восстание было подавлено за неделю, меньше чем за две недели были ликвидированы изолированные вспышки в других округах, и день в день через месяц был убит Христо Ботев.

Из дома Каблешкова мы идем в здание, где помещается главный музей. Рассматриваем стойку с оружием повстанцев: кремневые ружья и кремневые пистолеты, охотничьи курковые одностволки и двустволки, берданку с трехгранным штыком, ножи, ятаганы, кинжалы и сабли. С уважением и страхом смотрю я на — прости, господи! — пушку, сделанную из выдолбленного ствола черешни; для сомнительной прочности в нее вставлена медная трубка из котла, в котором гонят розовое масло. Вот что восставшие могли противопоставить орудиям смерти, изготовленным кашеями бессмертными — Крупном и Виккерсом. Только это, да еще стоящее посередине музея зеленое знамя с вышитым на нем золотым львом, поднявшимся на задние лапы, и словами

<sup>1</sup> Отряд (болг.).

<sup>2</sup> Нерегулярные войска Османской империи, формировавшиеся из местного турецкого населения.

славянской вязью: «Свобода или смерть!». Золотой лев впоследствии перешел с этого знамени на петлицы офицеров болгарской армии, а лозунг «Свобода или смерть!» скоро сто лет как живет в душе болгарского народа.

Легко подавив восстание, турки предали Болгарию огню и мечу. До осени было перебито свыше тридцати тысяч человек, а десять тысяч заточены в тюрьмы. Восемьдесят сел были разграблены и сожжены полностью, и двести — частично. В Европе, протестуя против турецких зверств, прогремел могучий голос Гюго, вознегодовал престарелый Гарибальди, заволновались многие. Но больше всего было потрясено общественное мнение России. Бурная реакция славянофилов не была, понятно, неожиданной, и то что Тургенев и даже Кропоткин оказались в одном лагере с Иваном Аксаковым и Достоевским — это казалось невероятным. Все тогдашнее русское общество объединилось в одном порыве...

Спускаясь к центральной площади, где нас ждет Коста, Белов показывает место, откуда был дан первый выстрел; место отмечено камнем с надписью. Мы переходим через горбатый турецкий мостик, сложенный из каменных плит, и я замечаю направо от нас не типичную для здешних улиц, вполне современную виллу. На ней вывеска: «Родилен дом». Товарищ из горкома партии, присоединившийся к нам около музея, заметив мой взгляд, поясняет, что вилла принадлежала известному софийскому богачу, потомку родовитого копривштицкого чорбаджии. Его предки сотрудничали с оттоманскими чиновниками, а сам он во время войны сотрудничал с гитлеровцами. В Копривштицу он приезжал только летом, поэтому зимой в его вилле скрывалась подпольная организация БКП и была партизанская явка. После Девятого виллу конфисковали, и сейчас в ней кричит новорожденное будущее Болгарии.

Я спрашиваю Белова, какой же была дальнейшая судьба Каблешкова.

— Перед тем как турецкие войска заняли Копривштицу, в чем им немало помогло предательство местных чорбаджиев, — отвечает Белов, — Каблешков и другие вожди восстания ушли в горы, но турки их там скоро переловили. Каблешков был схвачен во время сна. После нескольких суток, проведенных в лесу, туберкулез у него обострился. Каблешков так ослабел, что не мог передвигаться без посторонней помощи. Перенеся первые допросы, он, находясь в караульном помещении, воспользовался оплошностью стражников, схватил пистолет, висевший на стене, и прострелил себе голову.

— Что ж получается, восстание было заранее проиграно? — хмуро спрашивает Алек.

— А ты думаешь, что наш маленький народ, терзаемый классовыми противоречиями, мог один на один разгромить могущественную Оттоманскую империю? И все равно в этом поражении зрело зерно победы. Это понимал вождь восстания Бенковский, когда за несколько дней до смерти, смотря на горящие села, пророчески произнес: «Наша цель достигнута, мы вонзили ржавый нож в сердце Турции...» Апрельское восстание показало Европе, что турки держатся в Болгарии только террором. Без этого восстания русские войска, возможно, еще долго не смогли бы прийти на Балканы...

Мы вышли на площадь. Белов опять остановился.

— Копривштица не только была центром Апрельского восстания, Алеша, — обратился он ко мне. — Она сердце Средней горы, хребта, параллельного Балканскому, а Средняя гора во время войны служила одной из важнейших баз партизанского движения. Тут сражался отряд, носивший имя Бенковского. В здешней земле хорошие корни. В Копривштице родились не только Каравелов, Бенковский и Каблешков, вожди нашей национальной революции, здесь родился также и один из вождей нашей социальной революции, член политбюро Антон Иванов, расстрелянный вместе с поэтом Вапцаровым в тысяча девятьсот сорок втором году...

Коста нетерпеливо поглядывает из машины в нашу сторону, но мы пересекаем площадь и спускаемся в нижнюю часть Копривштицы, чтобы осмотреть дом Каравелова. После недавних дождей здесь стоит страшная грязь — приходится все время глядеть под ноги.

Любен Каравелов тоже принадлежал к чорбаджийскому роду, отец его торговал скотом и был откупщиком. Каравелов окончил греческую гимназию в Пловдиве, а в 1857 году (года через четыре после смерти тургеневского Инсарова) поступил в Мос-

ковский университет. В Москве он попадает в литературную среду и испытывает влияние Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Вскоре отец Каравелова разорился, и жизнь его в России стала еще труднее жизни Инсарова. После университета Каравелов начал сотрудничать в русской периодической печати, а в 1867 году переехал поближе к угнетенной родине — сначала в Сербию, а потом в Бухарест, где издавал газету на болгарском языке и руководил Центральным революционным комитетом.

Нижний этаж дома Каравелова заставлен ящиками со шрифтами и небольшими печатными станками. Повсюду развешаны издававшиеся Каравеловым газеты и прокламации, оттиски его статей, некоторые на русском языке. Нигде до сих пор я так остро не ощущал сплетения судеб болгарской и русской революционной интеллигенции. Не случайно Тургенев сделал героем русского романа болгарина.

Мыдвигаемся к выходу. Я бросаю последний взгляд на портрет Каравелова. Черные курчавые волосы, усы и борода сливаются в сплошное вьющееся руно, из которого выступают громадный белый лоб, классический нос и свежаты большие добрые глаза. Идеальный натурщик, чтобы писать с него апостола Петра. И, как апостол Петр, он тоже дрогнул и отрекся от того, во что верил, когда пришла решительная минута...

Наспех перекусив в ресторанчике на площади, мы с Гертой, Гиргином и Алеком собираемся ехать к месту гибели Бенковского. У Белова оставались в Копривштице какие-то дела, а Марийка заявила, что она устала и хочет отдохнуть.

— Поезжайте, поезжайте,— говорит Белов.— По прямой до могилы Бенковского и двадцати пяти километров не будет, да прямой дороги нет, придется вам покрутиться. Ну, часов за пять обернетесь. Коста вам там все покажет, он знает место.

— Има си хас, да не знам<sup>1</sup>,— подтвердил Коста.— Будем поехать, другарю Алоша,— прибавил он совсем по-русски.

Я так задумался, что не заметил, когда мы свернули с шоссе на мощенную неровными камнями проселочную дорогу, пока замедленный ход и колыхание машины не заставили меня обратить внимание на окружающее. За моей спиной Герта, Гиргин и Алек тихо разговаривали по-болгарски. Мы долго ехали вдоль лесистого ущелья, по которому текла горная речка. Возле нескольких крестьянских домиков, выглядевших беднее обычного, Коста остановил машину. Захлопали дверцы. Дома стояли у самого подножия крутого холма, засеянного овсом, так что мокрые огороды между овсом и домами поднимались вверх и были видны как на ладони. Впереди, вдоль правой стороны дороги, шумел под мелким холодным дождиком частый лес, но слева еще громче шумела река, хотя до нее было шагов двести.

Коста стал рассказывать, как все произошло, будто сам восемьдесят два года назад присутствовал при этом. Вон оттуда, справа, где течет ключ, вышел из лесу прятанный неподалеку в пещере Бенковский вместе с сопровождавшим его настоятелем Калугерского монастыря Кириллом и еще двумя беглецами. Здесь они утолили жажду и отдохнули, а потом, увидев на дороге пастуха, окликнули его и попросили хлеба и брынзы. Пастух принес им поесть и пообещал ночью перевезти на ту сторону и показать безопасную тропинку, на которой они не встретят турок. Они вернулись в лес, а пастух, рассчитывая получить денежную награду, предупредил полицию. Еще засветло много турок засело в кустах, за мостом. Ночью Бенковский и его друзья вышли в условленное место. Когда они ступили на мост, турецкие солдаты открыли огонь. Бенковский был убит на месте, а игумен Кирилл ранен. Он прыгнул с моста в воду, и течением его отнесло далеко, но он потерял сознание, и утром турки нашли его в километре отсюда на берегу. Только одному из патриотов удалось спастись, он и рассказал, как все было. Голову Бенковского в воеводской шапке с павлиньим пером<sup>2</sup> турки отрезали и увезли с собой, а тело добрые люди похоронили здесь же, где нашли.

Мы перешли мост и постояли у каменного креста. Пенистая речка ревела, как водопад, на каменных порогах под самым мостом. Так же шумела она и в ту ночь...

<sup>1</sup> Еще бы не знать (болг.).

<sup>2</sup> Воеводами называли командиров повстанческих отрядов — чет.

— Ты посетил места, где дрались, умирали и были побеждены наши предки,— торжественно сказал Белов, когда во второй половине дня мы выехали из Копривштицы,— а сейчас ты увидишь места, где дрались, умирали и победили ваши. Мы едем на Шипку.

#### 4. На Шипке все спокойно

— Ну до чего же вам не везет, дядя Алеша, подумать только, на какую погоду в Болгарию попали,— сочувствует Марийка.

— Никогда еще второго мая не было так холодно. Хуже, чем в марте,— подхватывает Алек.— Такого и старожилы не запомнят, как говорят в Москве.

Мы давно уже скатились по скользкой дороге из Копривштицы на широкое шоссе и, швыряя брызги, неслись по нему вдоль южных отрогов Старой Планины, как называется восточное продолжение Балканского хребта. Шоссе проложено рядом с железной дорогой, которая, извиваясь, как удав, но не сворачивая, тянется от Софии до Бургасского залива; где-то тут, неподалеку, от нее отходит ветка к югу, на Пловдив, и дальше — на Стамбул. Несмотря на то, что со всех сторон толпятся горы, земля, лежащая по бокам шоссе, чем-то неуловимо похожа на нашу. Собственно, сами по себе здешние промокшие поля, занятые под какие-то плантации, ничем не напоминают ни русские, ни украинские, ни казахстанские поля, а в то же время... И вдруг меня осеняет: межи! Они похожи отсутствием межей, которые везде отличают «заграницу». Как и у нас, болгарская земля больше не изрезана на ломти и ломтики для полуголодных ртов, не похожа на лоскутное одеяло бедняков. Не изуродованная шрамами, она широко разлеглась, как ей хочется, свободная, непроданная, ничья не собственная, всенародная кормилица, общая мать-земля...

Шоссе неожиданно круто повернуло налево и взметнулось на мост, перекинутый через железнодорожное полотно. Направо промелькнула черная пасть туннеля, проглотившая рельсы. Обставленное белыми тумбами шоссе опять развернулось, и машина, оставляя заваленные тучами горы слева, понеслась еще скорее среди залитых дождем тускло зеленеющих полей.

— Отсюда, от этого шестикилометрового туннеля и начинается Розовая долина,— через плечо поясняет Белов.— Марийка права, тебе и в самом деле не повезло, в это время обычно розы начинают уже распускаться.

— И тогда в долине пахнет, как в парфюмерном магазине,— заявила Герта.

— Во всех учебниках географии на разных языках говорится о казанлыкской розе, почему и думают, что Казанлык — это центр Розовой долины. Так было раньше. Сейчас в Казанлыке вырабатывают в пять раз меньше розового масла, чем в этих местах. Фактически Розовая долина кончается здесь, неподалеку от Левскиграда,— обстоятельно рассказывает Белов.

— Город Левского,— октавой аккомпанирует отцу Алек.— Он там родился.

— В этих урожайных местах,— продолжает Белов,— родились: в Сопоте, ныне Вазовград, наш поэт и писатель Иван Вазов, о котором ты, наверное, слышал; в городе Карлово, это и есть теперь Левскиград, Васил Левский; а еще дальше, в Калофере,— Христо Ботев. Левский был и остается величайшим вождем нашей национальной и антифеодальной революции. Он немного не дожил до Апрельского восстания. Сильный был человек. Сын бедного ремесленника, он хотел во что бы то ни стало получить образование в России. Чтобы легче добиться этого, он постригся в монахи и сделался иеродиаконном. Когда, невзирая на все, поездка в Россию не состоялась, он практически порвал с церковью и с головой ушел в революционную работу. Он учительствовал, пропагандировал молодежь, распространял листовки, создавал тайную организацию патриотов, партизанил и, наконец, вместе с Каравеловым возглавлял Революционный комитет. Это после его гибели Каравелов отошел от борьбы.

— А как Левский погиб?

— Турки с помощью предателя священника выследили его в подполье и в тысяча восемьсот семьдесят третьем году повесили...

Некоторое время мы молчали.

— Между прочим,— после паузы говорит Белов,— самое название Розовой долины — поэтический анахронизм. С тем же успехом ее можно называть и Лавандовой долиной, и Мятной долиной. Как только кончают собирать розовые лепестки, здесь расцветает лаванда и начинается сбор лавандовых цветов и стебельков, и за лавандой наступает черед мяты. Хозяйство ведется рационально. Одни и те же сезонные предприятия здесь же, на месте, поочередно обрабатывают все три вида своего душистого сырья и получают драгоценные розовое, лавандовое и мятное масла.

— Которые славятся на весь мир,— поставила точку Марийка.

— Кстати, когда все-таки Петров возвращается? — спрашиваю я.

— Задержался он,— отвечает Белов.— Понравилось, видно, в гостях у Отто.

(Так он по старой памяти называет одного из старейших деятелей Венгерской Коммунистической партии, сейчас всем известного руководителя страны; в Испании он вместе с нами служил в штабе Лукача и назывался тогда Отто Флаттером.)

— Ты, папа, расскажи про Шипку,— попросила Герта, и Белов, полуобернувшись к нам, стал рассказывать в мельчайших подробностях о легендарном «шипкинском стоянии».

— Как хорошо ты все помнишь! — удивилась Герта, когда он замолк.

— Я тоже все это знаю,— заявил Алек.

— Нашел чем хвастать, я и то знаю,— наивно возразила Марийка.

И тогда заговорил молчаливый Гиргин.

— Каждый болгарин знает,— тихо, но твердо произнес он.

— Так, всеки былгарин го всичко знае,— подтвердил и Коста.

Вокруг продолжало моросить, и под мерное, похожее на тиканье маятника, постукивание «дворников» на передних стеклах, Белов, сидя почти спиной к дороге, неспешно рассказывал о том, как отличились в неравном бою под Старой Загорой болгарские ополченцы.

Слушая, я машинально протер запотевшее стекло. За ним было все то же: горы, тучи и дождь. Безразличные к дождю аисты, качая клювами, парами бродили по захлебывающимся полям.

— Для нас, болгар, особенно важно это сражение,— говорил Белов.— Отвага наших добровольцев, потерявших в нем свыше двадцати процентов состава и продолжавших держаться до приказа об отступлении, породила в русских солдатах и командирах уважение не только к ополченцам, но и ко всему болгарскому народу. Нам же самим Апрельское восстание и героизм ополченцев под Старой Загорой и на Шипке давали моральное право принять из рук России наше освобождение от пятистолетнего турецкого владычества...

«Дворники» перестали качаться, дождь прекратился, но даже в закрытой машине чувствовалось, что дует сильный холодный ветер.

— Что ж это я,— вдруг встрепенулся Белов,— ведь тут срезать можно... — Он стал что-то говорить Косте по-болгарски.

— Папа все дороги лучше любого шофера знает,— похвасталась Герта.

Машина свернула с шоссе на покрытую лужами дорогу и сразу замедлила ход. Через несколько километров эту дорогу пересекла другая, и по ней через густые кусты мы выехали к быстрой речке, вода которой цветом напоминала кофе с молоком. Дорога наша вела куда-то в глубину этой реки. Коста остановил машину. С противоположного берега, стоя на возу и откидываясь назад на натянутых вожжах, немолодой крестьянин въезжал в «кофе с молоком» на паре крупных сытых коней. Они еще не добрались до середины брода, как вода подошла им под брюхо.

— Вот глупость какая,— досадовал Белов, пока Коста разворачивал машину,— я совсем не подумал, что после этих проливных дождей пересохшие ручейки превратились в полноводные реки. Жаль. Километров тридцать можно было сократить.

Мы снова пересекли селение, через которое только что проезжали, и на выезде встретили мотоциклиста. Коста опустил стекло, и вдвоем с Беловым они стали спрашивать его, нельзя ли проехать к Шипке в другом месте, которое они назвали.



— Разбира се може<sup>1</sup>, — уверенно ответил мотоциклист и прибавил еще что-то, чего я не расслышал.

— Что он сказал? — поинтересовался я, когда мы тронулись.

— Он сказал, что с полчаса как проехал через другой брод — здесь, неподалеку — и ног не замочил, — удовлетворенно ответил Белов.

Очень скоро худшие мои опасения подтвердились. Человек может быть кем угодно: врачом, токарем, учителем, комбайнером или экономистом, слыть старательным работником и серьезным человеком, но стоит ему сесть на мотоцикл, и он превращается бог знает в кого — в ковбоя, в пропахшего бензином Хлестакова. Болгарский мотоциклист не представлял исключения. Не буду вдаваться в подробности, но там, где он якобы недавно проехал, наша машина чуть не утонула, а нам самим пришлось раздеваться и перебираться вброд, по колени в ледяной воде...

Злополучная «сокращенная дорога» наконец выходит к шоссе, круто поворачивающему в горы. В закрытой машине мы все быстро согрелись. Только Алек, дольше всех принимавший ножную ванну, время от времени чихает. Мы приближаемся к мрачной высокой горе, по которой перекатываются волны тумана.

— Видишь, там, налево, — это Шейново, — показывает Белов. — Скоро Шипка...

Впереди сквозь туман, густой, как молочный кисель, блеснул луч солнца. Нет, это не солнце. Из мутно-белесого моря вынырнули и засверкали на фоне закрывающих вершины сизых туч золотые луковицы церкви.

— Смотрите, смотрите, как красиво! — закричала Герта.

Шоссе вбежало в ущелье, и пять больших золотых куполов с восьмиконечными крестами, а повыше один маленький над шатровой колокольной, как созвездие, засияли над нами. Издали они действительно выглядели необыкновенно красиво посреди мрачного горного пейзажа.

— Памятник героям Шипки. — Белов повернулся ко мне. — Он построен на собранные матерью генерала Скобелева пожертвования. Поэтому и церковь и земля под нею принадлежат Советскому Союзу.

Шоссе штопором ввинчивалось вверх. Еще несколько виражей, и мы на Шипкинском перевале. Машина подъезжает к зданию гостиницы, выстроенной для прибывающих на Шипку туристов. Нас помещают в отдельном небольшом зале. Пока накрывают на стол, пока мы рассаживаемся, Белов уходит переобуться и возвращается в теплых вязаных туфлях, которые нашлись в гостинице. Нам подают обед, и мы, уже обогревшись снаружи, выпиваем по рюмке ракии, чтобы согреться также изнутри. После обеда, оставив Белова досушивать обувь, а Косту досушивать машину, мы впятером выходим из гостиницы. Она построена на том самом месте, где стояла казарма турецкого гарнизона, охранявшего перевал. После занятия перевала русскими войсками в ней помещался штаб и перевязочный пункт.

По аккуратно вымощенной дороге мы направляемся к высоте св. Николая, переименованной в вершину Столетова<sup>2</sup>.

Не успели мы отойти от гостиницы и на двести шагов, как увидели первый памятник из мрамора и гранита, на котором выгравированы имена убитых офицеров и число убитых солдат Орловского и Брянского пехотных полков, 4-й стрелковой бригады и артиллерийской бригады. Дойдя до каменной стены русского военного кладбища, мы разбредаемся кто куда. Я направляюсь к большой гранитной пирамиде с крестом наверху. Она стоит на площадке, где была расположена Стальная батарея, то есть батарея стальных крупновесных орудий, брошенных турками и обращенных против них же. Обойдя памятник и прочитав перечисление всех русских частей и дружин болгарского ополчения, принимавших участие во взятии сел Шилка и Шейново, я спускаюсь к кладбищу. Но Герта, Гиргин и Алек уже ждут меня у подножия гигантской лестницы, которая ведет на вершину Столетова. Бросив взгляд на часы, я понимаю, что обойти все шипкинские позиции мы не успеем. Решаем подняться к главному памятнику и осмотреть Орлиное гнездо. Мы всходим по бесконечной широкой лестнице, с обеих сто-

<sup>1</sup> Понятно, можно (болг.).

<sup>2</sup> Русский генерал, командовавший болгарским ополчением.

рон которой растет густой лес; на нем еще ни листочка. В лицо с горы дует пронизывающий ветер, настолько сильный, что трудно идти. Наконец мы на вершине. Огромный памятник, сложенный из необработанного доломита и украшенный величественным бронзовым львом, очень хорош. Он под стать завывающему вокруг него буйному ветру и пустынной вершине с бесплодной каменистой поверхностью. По углам памятника, жерлами на все четыре стороны света, стоят четыре пушки. А по сторонам опять кресты и плиты над одиночными и братскими могилами «павших в поле боевом», как пелось в старинной песне. Борясь с ветром, мы идем по грозной и славной горе. Недалеко от памятника, на обложженной камнями террасе, уткнувшись стволами в амбразуры, стоит, как тогда стояла, так называемая Главная батарея. Недалеко от Главной, на площадке, словно гнездо ласточки, прилепившееся над обрывом, помещается Малая батарея. Бронзовая доска на болгарском языке сообщает потомкам, что «среди всех героев артиллеристов особенно отличился прапорщик Мамышев». Немного дальше и ниже, на краю вершины,— Орлиное гнездо. Светло-серые скалы идут уступами, торчат острыми гребешками, похожие на окаменевшие волны. Над ними скромный железный крест и опять бронзовая доска. Герта помогает мне записать перевод законно красно-речивой надписи: «Поистине на орлиное гнездо похож этот скалистый хребет, но не горные орлы, а герои 36-го пехотного полка оправдали его название. Здесь сами скалы вздыбились, чтобы остановить врага, но остановили его не скалы, а орловцы. С несказанным героизмом встретили они многочисленные атаки бесчисленных турецких полчищ, сражая их дружными залпами, осыпая тяжелыми камнями, сметая в рукопашных боях. До самой вершины доползали турки, но уже не возвращались назад, ибо орловцы пригвоздили их к скалам острыми штыками. Орлиное гнездо стало символом победы на Шипке. Орлиное гнездо вечно будет говорить о русской и болгарской боевой славе. Поклон вам, бессмертные!... Пальцы, держащие карандаш, стынут на ветру. Подгоняемые им, мы идем обратно. Холодный этот ветер помогает представить себе, что здесь делалось зимой в пятнадцати- двадцатиградусные морозы, вот при таком же ветре со снегом, под метким турецким огнем.

Возвращаясь к гостинице, мы еще издали увидели, что Белов ждет нас около машины, а Коста уже сидит за рулем.

Едва мы расселись, как лимузин наш тронулся. Хотя мы ехали прямо на север, сразу за перевалом заметно потеплело, и чем дальше мы отъезжали от Шипки, тем становилось теплее. Впереди выросли фабричные трубы города.

— Габрово — центр текстильной промышленности, наш Манчестер, — сказал Алек, явно страдающий гиперболизмом; в Софии, показывая мне здание министерства обороны, он назвал его «наш Пентагон».

— Считается, что в Габрове живут самые скупые люди в Болгарии, — заговорила Герта. — О них ходит много анекдотов.

— Например?

— Например? Ну, например, задается вопрос: почему у всех габровских кошек хвосты обрублены? Оказывается, из экономии.

Я не понял, при чем тут экономия.

— За бесхвостой кошкой можно скорее дверь захлопнуть, чтобы тепло не выходило, дрова-то дороги... А вот другая история. В Габрове у одного старика стала протекать крыша. Надо было позвать кровельщика, но ему стало жаль денег, и он полез на крышу двухэтажного дома сам. Только вылез старик на крышу, как поскользнулся и загремел вниз, на камни. Но, пролетая мимо окна кухни, он успел крикнуть своей старухе, чтобы она не переводила продукты, готовила бы обед только на себя...

Пока Герта исчерпала фольклор, посвященный Габрову, мы успели проехать этот город и повернули на Плевен. Начинало смеркаться. Молодежь понемногу затихла. Сначала Марийка, за ней Алек, а потом и Гиргин, убаюканные бесшумным ровным ходом машины, задремали. Теперь было явственно слышно, что из всех канав гремят лягушечьи хоры.

— Как неожиданно потеплело, — заметил я.

— Здесь почти всегда теплее, чем по ту сторону гор, — негромко ответил Белов. Некоторое время мы молчали.

— Да, как приехал, все хочу спросить одну вещь, — начал я. — В сороковом я встретил в Москве одного болгарина, такого актерски красивого человека. Как сейчас его вижу: он носил синий заграничный костюм, а на пиджаке его красовался орден Красного Знамени и медаль «XX лет РККА». До войны ведь ордена были редкостью. Не знаешь ли ты, кто это?

— Отлично знаю.

— Что же с ним? Жив он?

— Ты его завтра увидишь, Алеша.

Мы опять умолкли. Скоро совсем стемнело, и Коста включил фары. Все остальные, кроме нас с Беловым и Герты, продолжали дремать. Она, насколько я мог рассмотреть, оставив свои черные глаза в одну точку, о чем-то глубоко задумалась. Вряд ли она слышала нас. Свет фар, подпрыгивая, бежал перед машиной, освещая ряды деревьев по бокам шоссе, повозку, которую мы обгоняли, или пустые улицы спящего села. Я тоже задумался. Я думал о том, как, в сущности, немного лет прошло с тех пор, когда там, на Шипкинском перевале, решалась судьба Болгарии. Восемьдесят лет, что это? Немногим больше одной человеческой жизни, а кажется, будто бесконечно давно, как все, что было до Октябрьской революции. Теперь там, на Шипке, действительно все спокойно, пускай же будет вечным этот покой...

В темноте чиркнула спичка, Белов закурил.

Я продолжаю думать о своем. Теперь почти невозможно понять, откуда взялся тот массовый героизм, который проявили войска многонациональной России, защищая чужие голые вершины, заваленный сугробами перевал. За что они дрались тогда? За панславистские бредни? За восьмиконечный крест над Айя-Софией? Но каким боком славянофильство касалось воевавших здесь латышей и эстонцев, финнов и литовцев, татар, грузин, армян, осетин? И зачем понадобился восьмиконечный крест над мечтью многочисленным в российской армии мусульманам или пусть даже католикам и лютеранам? Неразрешимая загадка. Дисциплина? Но стоит вспомнить, что Орловский полк несколько дней дрался, потеряв всех до одного офицеров, — кто же тогда поддерживал дисциплину? Нет, и дисциплина не объяснение.

И я говорю Белову:

— Дореволюционные историки изображали эту войну как войну за победу восьмиконечного креста над полумесяцем и славян над турками, а современные как прикрываемую православно-славянофильской фразеологией империалистическую войну за овладение проливами. Но разве простые люди воевали за проливы?

— А знаешь, что сказал Коларов? — в свою очередь спрашивает Белов. — Он сказал, что не так важно, чего хотели цари, важно, за что дрались народы, а в Освободительной войне наши народы сражались за правду.

## 5. Сад на костях

Прорезав фарами улицы спавшего Плевена и отъехав от него несколько километров, мы уже далеко за полночь остановились возле загородной гостиницы. Стараясь не разбудить остальных, Белов и я, а за нами, едва лишь стихло шмелиное гудение мотора, мгновенно, как ванька-встанька, воспрянувший Алек вышли, бесшумно прикрыв за собой двери. В теплом влажном воздухе пахло лесом. Коста погасил фары, и стало темно, как может быть темно южной ночью, когда в небе ни звездочки. Лишь над ступенями у входа в гостиницу светились неяркие матовые шары, да в стоящих рядом с нами невидимых машинах вспыхивали при затяжке огоньки шоферских сигарет. Белов что-то тихо сказал Алеку, и тот окунулся в черноту, слышались только его удаляющиеся шаги. Спустя несколько минут снова раздался стук подошв по камню, и Алек вынырнул из мрака. Оказалось, что гостиница переполнена иностранными делегациями, прибывшими в Болгарию на празднование Первого мая; администрация с трудом нашла два номера. Было решено, что Алек останется с отцом, а Герта, Гиргин и обморочно спящая Марийка вернутся в Плевен и переночуют там в семье друга

Белова. Бедный Коста безропотно развернулся, и вскоре малиновые светляки на корме машины утонули в ночи.

Мы втроем двинулись к гостинице. В ней ныло томное танго. Из темноты ему вторили саксофоны лягушек. Войдя в холл в измятых плащах и обвисших после купания на переправе брюках, мы стыдливо обогнули толпу танцующих и поднялись на второй этаж, где нам отвели одну против другой две небольшие комнаты. Мы оставили в них несессеры и плащи, но спуститься в ресторан не рискнули, а устроились здесь же, на втором этаже, в небольшом баре, где не было ни души, и, быстро поужинав, разошлись. Я настежь распахнул окно в моей комнате и погасил свет. Дерево, освещенное до того как на сцене, пропало в темноте, и на нем сейчас же, пробуя голос, раз-другой щелкнул соловей. Повалившись в постель, я сразу заснул и так до сих пор не знаю, во сне или наяву понемногу распевшийся первый соловей наполнял мою комнату своими трелями.

Хотя здесь и не было гугуток, я не проспал и, как уговорились, около половины восьмого постучал в номер Белова. Оказалось, что он уже завязывает галстук; Алек же с намыленным несчастным лицом, стоя перед зеркалом, еще скрипел бритвой.

— Как спал, Алексей?

— Мертвым сном, как Марийка вчера в машинке. В общем, чудно...

В ожидании Алекса Белов и я спустились на веранду и, неторопливо беседуя, присели на скамейку. Сейчас же откуда-то из кустов выскочил босоногий мальчишка лет двенадцати, с деревянным ящиком под мышкой и подбежал к нам. Он был смугл, оборван, худ, грязен и красив: ни дать ни взять тюзовская артистка, загримированная и одетая Нищим в постановке по Марку Твену. Белов вежливо, употребив обращение «другар», попросил почистить нам туфли. Мальчик, независимо насвистывая, принялся чистить нам обувь с таким деловым видом, что стал похож уже не на Нищего, а на голливудского вундеркинда, который снимается в роли будущего миллионера, начинающего карьеру с чистки чужих сапог.

— Нерешенная еще у нас проблема,— проговорил Белов, когда, схватив свои три лева, мальчишка бросился к новому клиенту, вышедшему из гостиницы. — Мальчик-то цыган.

Я сказал, что догадался об этом.

— Их у нас около ста пятидесяти тысяч. Существует, знаешь ли, версия, по которой балканские цыгане — это выходцы из Индии, где они некогда принадлежали к касте париев. Так вот, в большинстве своем они и сейчас предпочитают оставаться париями. Все по-прежнему: и кочуют шумной толпой, и ночуют в изодранных шатрах, и пользуются всеми прочими благами романтизма в быту. А нажимать на них мы не можем, Алеша, мы стараемся уговаривать, но они пока что плохо уговариваются... Вот попробуй объясни этому парню, что ему не сапоги чистить следует, а учиться! Он и сам знает, а не хочет учиться, и все.

— Это бывает не только с цыганскими отроками.

— Главная беда, что раньше у них было все-таки ремесло: они странствовали от села к селу и лудили посуду. Прибавь еще лечение лошадей, гадание, то да се... Теперь же медной посудой никто не пользуется, а наши «индусы» ничего другого делать не умеют. Ветеринаров в кооперативах тоже предостаточно, а в гадание никто не верит...

Из гостиницы вышел небольшого роста хорошо одетый человек с седеющей головой. Выщипав волосы его напоминали черно-серый каракуль. Увидев Белова, он, улыбаясь, подошел поздороваться.

— Знакомьтесь, — сказал Белов. — Товарищ тоже из нашей интердивизии, но приехал в нее, когда уже не стало Лукача. Комиссар эскадрона. Понимаешь сам, что парень был крепкий, если его к этим запорожцам комиссаром послали.

Пока мы пожимаем друг другу руки, Белов продолжает:

— После конца Республики он отсидел свой срок в концлагерях во Франции. В тысяча девятьсот сорок первом вернулся в Болгарию и здесь, понятно, не остался без дела. В сорок третьем—сорок четвертом годах он руководил плевенской партизанской зоной. После Девятого сентября партизанского командира перевели в министерство иностранных дел заведовать отделом, а на днях он в качестве посла отбывает

в одну капиталистическую державу. В Испании наши ребята прозвали его «Бобчето», что означает «фасолинка». Так до сих пор это прозвище за ним и осталось.

— За границу я его не возьму, — заявляет Бобчето по-русски, но с сильным акцентом. — Посла оно будет дискредитировать. Вдруг на приеме объявят: «Его превосходительство дон Гарбансо!»<sup>1</sup>

Тоже с резким акцентом, но совершенно свободно он говорит по-французски; испанский же его язык вызывает во мне черную зависть. Мы увлеченно разговариваем. Неожиданно сзади что-то щелкает: Алек успел добриться и заработал фотоаппаратом. Но бурно развить свою деятельность ему не удастся. К ступеням лестницы подкатывает коричневая «Победа», и Бобчето прощается с нами — он едет на партизанский сбор в какое-то село неподалеку...

Вместе с прибывшими из города Гертой, Гиргином и Марийкой мы спускаемся к шоссе и по нему поворачиваем направо.

Шоссе тянется вдоль узкого, постепенно расширяющегося ущелья. Направо, за деревьями, по всей вероятности течет ручей: оттуда доносится многоголосая лягушечья какофония. Потом деревья кончаются, и открывается вид на вытянутое озеро, уходящее вместе с шоссе куда-то вправо. Белов останавливается.

— Вот здесь, где скалы по обоим берегам повыше, Тотлебен во время осады Плевны, как по-турецки назывался Плевен, построил дамбу. Это место и поныне носит имя Тотлебенов вал.

— Какую дамбу? Какой вал? В первый раз слышу...

— То-то и оно! — торжествует Белов и рассказывает, как инженерное искусство прославленного героя Севастопольской обороны генерала Тотлебена обеспечило взятие Плевны, которую до его приезда не смогли взять за три кровопролитных штурма.

Затем, взяв меня под руку, он объявляет:

— План кампании будет, значит, такой. Мы с тобой зайдем ненадолго к одному старому знакомому, а вы все гуляйте себе на здоровье в парке, пока не надоест. Встреча ровно в десять у входа.

Мы с Беловым поворачиваем к невысокой плотине, через которую проложена автомобильная дорога. По обе стороны захлебываются и пускают пузыри legiony лягушек.

— Знаешь, к кому мы идем? К тому самому товарищу, о котором ты меня вчера расспрашивал. Он наш, плевенский, по имени-отчеству Иван Гаврилович. Я с ним вот уже скоро сорок лет знаком.

Перейдя на другой берег водохранилища, мы поворачиваем к прилепившейся над отвесной скалой вилле, выбеленной до арктической белизны и кажется даже накрахмаленной.

— Иван Гаврилович лет двадцать прослужил в Красной Армии, дослужился до полковника. У нас его произвели в генералы, дивизией командовал. После войны дивизия стояла здесь. До того, больше чем двадцать лет, Иван Гаврилович не видел родного Плевена. Нужно ли удивляться, что он сделался страстным плевенским патриотом? А надо тебе сказать, что это не так просто. Плевен всегда был очень пыльным городом. Рассказывают, будто во время войны мои сограждане острили, что им не надо строить убежища: пыль, как дымовая завеса, прикрывает их от авиации...

Впереди, почуяв нас, гулким басом залаяла собака.

— Так вот, сразу после войны наш комдив мобилизовал плевенцев, чтобы общими усилиями превратить в парк непролазную чашу, тянувшуюся вдоль речки от окраины города досюда. Конечно, кроме добровольного труда, для этого нужны были деньги. Иван Гаврилович начал с того, что, объявив сбор средств, сам пожертвовал доставшееся ему после смерти отца небольшое наследство. В сравнительно короткий срок здесь был создан один из самых больших и красивых во всей стране парков.

Мы подошли вплотную к вилле, которая вблизи оказалась совсем игрушкой. На лестницу, продолжая отрывисто лаять, выскочил темно-коричневый лягавый пес таких статей, что хоть сейчас на собачью выставку. С первого взгляда было ясно, что хозяин его заядлый охотник.

<sup>1</sup> Турецкий боб (исп.).

— Когда дивизию расформировали, Иван Гаврилович вышел в отставку и взялся за дорожное строительство. А дачу эту плевенские власти за заслуги перед городом предоставили ему в пожизненное пользование, — договорил Белов, пока мы поднимались по ступенькам.

На его голос из дома вышел сам Иван Гаврилович.

— Узнаешь, Алеша? — спросил Белов.

Какое там! Иван Гаврилович постарел, потучнел, стал даже будто ниже ростом. Только те же блестящие веселые и хитрые глаза смотрят из-под набрякших век. Одет Иван Гаврилович в защитный френч с четырьмя планками орденских ленточек на груди и красной партизанской звездой на лацкане. Погон на нем нет, но маленькие генеральские погончики вшиты в петлицы. Алек уже объяснял мне, что в болгарских инженерно-строительных частях ни солдаты, ни офицеры не носят погон; миниатюрные солдатские и офицерские погоны с соответствующими знаками различия нашиваются на воротник.

— Заходите, заходите, — говорит генерал по-русски с заметным акцентом. — Тебя я не помню, а про тебя помню, — обращается он ко мне, пожимая пухлой, но сильной рукой мою руку. — Из вежливости ты тоже можешь сказать, что не помнишь, каким я был. А я был молодец что надо...

На террасу мелкими мягкими шагами выходит худенькая и, несмотря на годы, подвижная жена генерала. Меня представляют ей. Она поразительно чисто говорит по-русски и манерами неуловимо напоминает моих тонных петербургских теток, дрсировавших меня в детстве. Когда она зачем-то выходит, я пытаюсь выразить восхищение ее произношением, но реплика Белова ставит все на свое место:

— Галина Петровна русская. Представь себе, перед самой Февральской революцией успела закончить Смольный институт. А потом почти всю жизнь проработала в наркомате обороны, и уж не помню с какого года, но старый член партии. Вместе с Иваном Гавриловичем была в Испании, только ни мне, ни тебе там с ними встретиться не пришлось...

Через несколько минут Галина Петровна возвращается и ставит на стол три рюмки. Генерал с непредвиденной ловкостью вскакивает, скрывается за дверью и через мгновение несет оплетенную соломой бутылку литров на пять, очень похожую на те, в каких продается кьянти. По-болгарски такая бутылка называется уютным словом «дамаджана». Не пролив ни капли, генерал наполняет рюмки вином цвета вишневого сока. Мы чокаемся. Белов смотрит на меня, ожидая оценки.

— Здорово, — отвечаю я на его взгляд. — Очень здорово.

— Еще бы, — настоящим генеральским баском с хрипотцой самодовольно заявляет Иван Гаврилович. — Это же знаменитая плевенская gymza.

— Неплохое винцо, — вторит Белов. — Из той бочки?

— Из той самой, из тридцать девятой.

— Видишь ли, Алеша, несмотря на то, что Плевен крупный промышленный центр, у всякого коренного плевенца сердце садовода. Возле своего дома он обязательно имеет фруктовый сад, а добрая половина семей обладает хотя бы крохотным виноградником. Еще в тысяча девятьсот двадцать втором году эти мелкие виноградары в борьбе с оптовиками объединились в кооператив и стали производить красное столовое вино под маркой «Gymza», по названию здешнего сорта винограда. Эту самую gymzu ты и пробуешь. Неплоха ведь, а?

Я подтверждаю, что неплоха. Генерал, улыбаясь, щурится. Внезапно улыбка исчезает, лицо приобретает деловое выражение.

— Слушай, ты когда в Севастополь собираешься? — задает он вопрос.

— В Севастополь? — растерянно переспрашиваю я. — Почему вдруг в Севастополь?.. Как будто в ближайшее время не собираюсь.

— Вот еще, — недоволен генерал. — Как это не собираешься? А ты соберись. Подумай, делов! Купил билет и, будь здоров, через два дня в Севастополе.

— Но зачем, собственно?

— Мне крайне необходимо, — отвечает генерал. — В Севастополе, имей в виду,

есть замечательная статуя Тотлебена. Так вот, я хочу точно такую поставить у скалы напротив, где вал был. Тебе показывали?

— Показывали. Но я, право, вряд ли скоро попаду в Севастополь...

— Ну попроси кого, кто поедет. Мне что надо? Надо со всех сторон сфотографировать памятник, и будь здоров, а остальное мой скульптор сделает.

— Так ведь в Плевене около музея есть бюст Тотлебена, — вспоминает Белов.

— Вот еще! Какой интерес одинаковый в двух местах ставить? Нет, я хочу точно такую же статую, как в Севастополе... Главные дела Тотлебена — оборона Севастополя и осада Плевны, и надо, чтоб и там и здесь были одинаковые памятники. А то Тотлебен вал да Тотлебен вал, а посмотреть не на что — ни вала, ни Тотлебена...

Генерал перехватывает дамаджану и наливает gymзу в опустевшие рюмки.

— Выпей-ка еще, чтобы не забыть...

— А зачем рядом с плотиной твои ребята скалу царапают? — отхлебнув глоток, интересуется Белов.

— Заметил? Там скала — навесом, и кладенец течет.

— Что течет? — не понял я.

— Кладенец, ну источник, ключ значит... Думаю, скалу эту использовать, для проезжих буфет устроить. Работы немного, а дело полезное. Нужно только склад с холодильником, плиту, стойку да несколько столиков поставить, а рядом бензоколонку, и будь здоров. Остановится машина, так есть куда человеку выйти и где посидеть, на Тотлебена посмотрит, водохранилищем полюбуется, в жару чего холодного выпьет, зимой — горячего кофе...

— Видал гуманиста? — подмигнул Белов. — А хочешь узнать, за что этот гуманист в тюрьме сидел? Пожалуй-та: за кражу винтовок из казармы, ни больше, ни меньше.

Генерал улыбнулся — по-видимому, такое напоминание не казалось ему зазорным.

— Многие наши низовые парторганизации готовились к вооруженному восстанию еще до того, как ЦК принял этот курс. А какое же вооруженное восстание без оружия? Вот товарищи и добывали его, где могли и как могли. Молодой Ванко, в частности, не раз крал винтовки прямо из казарменных стоек. На каком-то разе он попался и угодил в тюрьму. А я, должен тебе сказать, только что получил право на адвокатскую практику и по решению партии взялся защищать Ванко. Дело, однако, было совершенно безнадежное, и летом тысяча девятьсот двадцать второго года мой подзащитный бежал из-под следствия.

— А кто помогал моему подзащитному в побеге? — ехидно прищурился генерал.

— Кто бы там ни помогал, а побег удался. По профессии Ванко был столяром. Поэтому его из тюрьмы водили к прокурору, которому он бесплатно делал шкаф. Както, возвращаясь от прокурора, он попросил стражника позволить ему зайти к адвокату. Он уже и до того у меня так дважды побывал. Как стражнику отказать? Преступник-то со связями, на самого господина прокурора работает. Ванко пошел к адвокату, а стражник остался ждать у входа. Только он не заметил, что на сей раз его подопечный зашел в соседний с адвокатским подъезд, где помещался партийный клуб. Там Ванко встретился один хорошо знакомый товарищ. Они быстро договорились. Ванко снял с товарища плащ и его известную всей Софии широкополую черную шляпу, накинул плащ на арестантскую одежду, нахлобучил шляпу и прошел прямехонько мимо стражника — только его и видели.

— Да, меня они больше не видели. Вместо меня, будь здоров, сел стражник.

— И тебе его ни капельки жалко не было? — вмешалась Галлина Петровна. — Он тебе поверил, а ты...

— Кто же его просил таким рискованным ремеслом заниматься!

— Иван Гаврилович забыл добавить, что, кроме стражника, посадили и меня, его адвоката. Тем и кончилось мое первое и последнее дело. Больше я таким рискованным ремеслом, как адвокатская практика, никогда в жизни не занимался.

— А я исправился и больше никогда не воровал, — усмехнулся Иван Гаврилович.

— После моего ареста у него нашлась защита понадежнее. Ванко переправили в Москву. Там он поступил на работу по специальности: на мебельную фабрику. Расскажи-ка Алеше, как ты экзамен на чин держал.

— Какой экзамен на чин?

— У Чехова рассказ такой есть... Коротко говоря, приняли Ванко на фабрику. Надо было ему разряд присвоить. Как положено, дал мастер новичку пробу. Ванко старался изо всех сил, сделал. Показывает мастеру. Посмотрел мастер, пошевелил усами. «Ничего»,— говорит. Ванко, как все болгары, считал, что он знает русский язык. Слово «ничего» он уже не раз слышал. «Ничего, значит, не вышло»,— думает. Парень он был самолюбивый, трахнул свою работу обо что пришлось, разбил в щепы, принялся за новую. Из кожи лезет. Кончил — и к мастеру, а тот повертел пробу в руках и опять: «Ничего». Разбил Ванко и эту пробу, и так без конца.

— Не без конца, а три раза. Потом мне кто-то объяснил, что «ничего» означает по-русски все: и да и нет, и плохо и хорошо. Сдал я пробу и, будь здоров, получил сразу пятый разряд. Но не долго пришлось мне доски полировать. В том же году меня направили на курсы ЧОНа. А в тысяча девятьсот двадцать третьем году я занялся вроде как по главной своей специальности доставкой оружия, но уже не под полой, а на баркасе, морским путем. Да не только на баркасе, на чем только я не плавал. Настоящим пиратом был. В тысяча девятьсот двадцать пятом году партия снова послала меня в Болгарию, и тут я чуть-чуть было не влип. Все-таки удалось мне бежать в Австрию, и до тысяча девятьсот двадцать шестого года я работал в Вене по линии МОПРа...

— Ты спроси его, Алеша, как у него обстоит дело с языками.

Я не успел спросить потому, что генерал уже ответил:

— С языками у меня как у Чапаева.

— Но как же ты в Вене?— удивился я.

— А Галина Петровна зачем? У нас с ней так: я думаю, а она на всех языках излагает.

— Ученый попугай,— дымя сигаретой, вставила Галина Петровна.

— А дальше?— спросил я, почти как Марийка.

— Дальше? С тысяча девятьсот двадцать шестого года я в рядах РККА, но стаж у меня с тысяча девятьсот второго года идет. Тогда так было: с какого времени начал воевать с врагами революции, с того времени и стаж в Красной Армии считается. Враг-то общий!

— А за что ты в сороковом боевой орденом успел получить?

— Ну, если про каждую награду рассказывать, до завтра хватит,— уклонился генерал.— У меня девять советских, восемь болгарских, один китайский орден — в Китае я три года провел — и один, будь здоров, югославский: в сорок четвертом пришлось мне в Югославию с парашютом прыгнуть.

— Опять расхвастался,— ворчит Галина Петровна.

Белов вспоминает, что нас ждут, и мы прощаемся. Иван Гаврилович договаривается о встрече в Софии и провожает нас до нижней ступеньки.

— Про Тотлебена, смотри, не забудь,— напоминает он мне, пожимая руку.

Отойдя, мы оглядываемся. Генерал и Галина Петровна стоят рядом на террасе, коричневый пойнтер лает нам вслед.

— Постарел Иван Гаврилович. Тогда, в сороковом году, мне показалось, что он по крайней мере на голову выше.

— Да, постарел,— согласился Белов.— Но только внешне. Инициативы и энергии у него и сейчас хоть отбавляй, если бы имело смысл отбавлять инициативу и энергию. Работает он не за двоих даже, а за троих. Но, кроме заслуг по работе, есть у него еще одна, на мой взгляд, очень большая заслуга, о которой мало кто знает. Заслуга одновременно и перед Болгарией и перед Советским Союзом. Дело в том, что у нас по всей стране можно найти памятники над братскими могилами воинов России, убитых в тысяча восемьсот семьдесят седьмом и семьдесят восьмом годах. Всего их около четырехсот пятидесяти, таких памятников. Многие из них пришли в упадок, курганы осели, надписи стерлись, кое-где упали кресты. И вот Иван Гаврилович, занимаясь порученным ему делом, строя и ремонтируя дороги, обсаживая их деревьями, а заодно, как ты слышал, воздвигая на самых красивых местах дома отдыха, кафе и даже гостиницы, то есть с увлечением работая на Болгарию, ни на минуточку не забывал о сыновнем долге перед своей второй родиной. Следуя велению сердца, он повсюду реставрировал рус-



ские могилы, обсадил их цветами и деревьями, поставил скамейки, разбил фруктовые сады и ягодники. Зайдет кто на бывшее поле сражения, посидит на скамейке, посмотрит на могильные холмы, вспомнит о тех, кто здесь, как говорили в старину, «положил живот свой за други своя», подумает, воды из родника напьется или яблоко съест, вздохнет полной грудью и отправится дальше, унося в душе кое-что...

— Эмоциональная агитация..

— И так можно назвать, если хочешь.

Разговаривая, мы незаметно подошли ко входу в парк. Алек, Герта, Гиргин и Марийка уже ждали нас. Тут же стояла машина. Коста в блаженной позе навалился животом на капот. Белов договорился с ним, когда и куда подъехать, и мы вошли в парк.

— Понравился вам дядя Ванко?— сразу спросил Алек.

— Ты говоришь так, будто он Витоша, или храм-памятник, или какая другая ваша болгарская достопримечательность. А он, если хочешь знать, достопримечательность наша общая, и мне он еще в сороковом году в Москве понравился...

Под теплым, уже летним солнцем парк оживал после холодных дождей и нежно дышал. Используя для мирных целей речку, в свое время использованную Тотлебенем для военных, строители создали по ее течению пруды и заводи. Большой плавательный бассейн сооружен под уютной плюшом скалой. По расположенному ниже большому пруду бегают водные велосипеды, у которых вместо колес поплавки. Над планировкой аллеи и формой клумб в парке поработали не только умелые руки болгарских садоводов, но и глаза выдающегося архитектора. Один из впадающих в речку ручьев сохраняет совершенно естественный вид, но вот он расширяется и образует искусственное проточное озерцо, в котором, лениво шевеля плавниками, стоят бокастые форели. В углу парка, вклиниваемом в острые гладкие скалы, огорожен проволочной сеткой загон, в нем прогуливаются похожие на балерин серны. Насторожив уши, они разглядывают нашу компанию влажными глазами.

Мы идем да идем, а парку все нет конца. Присаживаемся отдохнуть.

— Молодцы наши плевенские? — весело спрашивает Белов.— Какой райский сад отгрохали!

Мимо нашей скамейки под командой черноволосях и горбоносых нянь в белых халатах, парами, держась за руки и шебеча, как воробьи, топает детский сад. Пропустив его, мы двигаемся дальше, тоже парами.

Дойдя до центра парка, мы находим главное его украшение. Огромная естественная пещера все тем же талантливым архитектором превращена в ресторан. И снаружи и внутри все оставлено, как было, если не считать входных дверей, но и они будто вросли в скалистые стены. Кухня, построенная рядом, выложена из той же породы, из которой природа выстроила пещеру. А в ней самой все сделано так, чтобы, ничего не портя, помочь ей превратиться в романтическую таверну. Железные фонари с матовыми стеклами, грубые дубовые столы и вместо стульев — дубовые бочонки. Но, кроме декоративной удачи, ресторан в пещере обладает и важным удобством: даже без установочки для кондиционирования воздуха в нем должно быть прохладно летом, а зимой, когда затопят камин, тепло.

— Хорошо помню, как мальчишками мы продирались сквозь колючки в эту пещеру, изображая хайдуцкую чету,— говорит Белов.— Тогда овчары укрывали в ней от грозы овец. Теперь в июне или в июле, когда стоит страшная жара, приятно вспомнить об этом, сидя здесь в холодке и попивая пиво...

Выйдя из пещерного ресторана, мы пересекаем парк и выходим на шоссе. Коста, заложив руки за спину, неторопливо прогуливается взад и вперед рядом с машиной.

Плевен — город двух- редко трехэтажных домов, и, за исключением центра, в нем почти нет сплошных улиц, он еще больше похож на заселенный сад, чем София: каждый домик отделен от другого фруктовыми деревьями. Наша машина взбирается в гору по узким мощенным неровным булыжником улицам, лавируя между играющими на мостовой детьми.

На окраине Плевена находится самая высокая его точка, за которую некогда велись кровавые бои. На ней вокруг братских могил разбит тенистый сад, носящий имя Скобелева.

С аллеи, огибающей вершину в центре сада, открывается вид на широкую долину. Оттуда на холмы, где мы стоим, грядью наступала многострадальная русская пехота.

Подъем на центральную вершину крут, и туда винтом взбирается каменная лестница. На самом верху торчат из земли серые скалы. На макушке главной из них — железный георгиевский крест примерно в человеческий рост; кругом пушки с двуглавыми орлами. В скале пещера, в ней устроена «костница».

Оставив Белова с дочерьми на скамеечке, Алек и я входим в склеп. Посредине возвышается четырехгранная деревянная пирамида. Вдоль стен расположены низкие витрины, под стеклами лежат собранные в долине смерти медные пуговицы с двуглавым орлом, покорбленные подсумки, кисеты, трубки, оторванная подошва, бляхи, сплюснутые лули, обручальные кольца, ржавые патроны, нательные кресты, медальоны, осколки гранат и среди всего этого, приколотая к пожелтевшей бумажке и обвязанная ленточкой, прядь женских волос. Какой-нибудь молодой офицер или вольноопределяющийся из студентов, уходя на войну, получил ее на прощание в залог любви и верности и неразлучно носил на груди, пока не пал, атакуя Плевну, пожертвовав счастьем двоих и своей единственной жизнью.

Хранитель склепа снимает одну из деревянных граней пирамиды, и под ней открывается вторая пирамида, сложенная из черепов и костей мертвых героев. Я вижу пробитое пулей отверстие в виске одного черепа, щель от сабли или ятагана на темени другого, между ними перепиленная берцовая кость раненого, которому сделали не спасшую его ампутацию. Некоторые черепа совершенно целы; это черепа тех, кто получил пулю в сердце и не мучился, или осколок в живот и умер в страшных мучениях. Откуда-то из тайников памяти выходят и звучат в ушах давно позабытые слова на древнем языке: «сыне человек, прорцы на кости сия»... Но я молчу, что я могу сказать этим костям? И мне чудится, будто в ответ непроизнесенному заклинанию беззвучно шелестит жалоба: «сухи быша кости наша, погибе надежда наша, убиени быхом»... Со стесненным сердцем иду я к выходу...

Мы медленно спускаемся к воротам, проходя мимо могил. Над ними шевелят ветками буки и клены, качаются расцветающие кусты сирени, шумит под ветром густой душистый сад, растущий на костях вокруг пирамиды из черепов российских воинов, павших за свободу и независимость Болгарии...

Главный памятник погибшим под Плевной находится внизу, в центре Плевена. Это часовня-мавзолей, окруженная кипарисами и клумбами. Стены ее снаружи покрыты номерами и названиями пехотных, кавалерийских и казачьих полков, а также артиллерийских бригад, воевавших под Плевной, с фамилиями убитых офицеров и числом убитых нижних чинов каждой части. Цифры потрясающие: всего под Плевной убито тридцать одна тысяча человек. В подземелье мавзолея устроена такая же костница, как в парке Скобелева.

От памятника, хранящего останки павших за освобождение Плевны от турецкого ига, мы переходим к памятнику, увековечивающему павших за освобождение Плевны от ига капитализма. На широкой площади с пирамидальными тополями и гугутками, шумно перелетающими с одного дерева на другое, возвышается обелиск. На нем занесены имена убитых руководителей плевенских партизан и виднейших партийных работников. Среди болгарских имен и фамилий бросается в глаза Митрофан Шилипухин. Кто это? Алек, подошедший со мной к обелиску, не знает. Белов же остался около машины. Гораздо позже, уже в Москве, мне случайно удалось установить, что уполномоченного советского Красного Креста по репатриации, убитого в Плевне белогвардейцами 6 июня 1923 года, звали Митрофан Васильевич Шелепугин... Болгарские товарищи его не забыли!

Возвращаемся к машине. Белов торопит нас:

— Поехали, ребята. Надо еще хоть на минутку к моему учителю заехать и в Быр-кач попасть.

Вот уж не предполагал, что беловский учитель может оказаться в живых. Ему, должно быть, не меньше восьмидесяти...

Машина снова уползает из центра в боковые улочки, и опять вокруг фруктовые сады и дачи среди них. Перед одной Коста останавливается, и мы через чистенький

восточный дворик гурьбой входим в затененные комнаты. Пожилой, но отнюдь не восьмидесятилетний хозяин, его жена и дочь принимают нас как родных, усаживают за стол и начинают угощать тем же, чем мать Каблешкова угощала Неджиба-агу: вареньем и черным кофе. Хлопоча, они успевают высказать свои взгляды на то, как поправилась Герта, как выросла Марийка, как возмужал Алек, а также сообщить все домашние и семейные новости. Хозяин выходит с озабоченным лицом и, вернувшись с дамаджаной, ставит ее на стол.

— Товарищ Василев — председатель того самого винодельческого кооператива, о котором я тебе говорил, — сообщает мне Белов. — Такой гимзы, как у него, ты нигде не найдешь.

Мы пьем то же прозрачное красное сухое вино, какое пили утром у Ивана Гавриловича. После длительной прогулки по плевенским садам и паркам оно кажется еще лучше.

— Вино под стать хозяину, — поднимая рюмку, говорит Гиргин, должно быть, переведа на русский болгарскую поговорку. — Наздраве, бай Христо! <sup>1</sup> — прибавляет он.

— Товарищ Василев, можно сказать, мой партийный учитель, Алеша, — заявляет Белов. — Мы с ним много лет в одной парторганизации состояли.

Так вот почему учитель оказался лишь на несколько лет старше ученика!

— Он коренной плевенский старожил, — продолжает Белов. — Начал трудовую жизнь подмастерьем у сапожника. В тысяча девятьсот десятом году вступил в партию. В тысяча девятьсот двадцать пятом состоял в бюро горкома и по сорок четвертый находился в подполье. После Девятого был избран председателем плевенского горсовета. А сейчас председатель весьма полезного, как сам чувствуешь, кооператива. Мы познакомились сорок с лишним лет назад, когда я, молоденький артиллерийский офицер, приехал с фронта в отпуск. Не много товарищей из нашей тогдашней партийной организации осталось на сегодня в живых...

Он порывисто встает и начинает прощаться. В маленькой комнате возникает вокзальная суматоха. Нас шестеро, а, кроме хозяев, посмотреть на Белова и его семью сошлись кое-какие соседи, их протянутые для рукопожатий ладони образуют перед выходом препятствие вроде частокола.

На крутой улице машине нелегко развернуться. Она осторожно сползает по булыжнику, упирается в каменную лестницу, поворачивает налево — и вот мы опять в центре.

— Обедать будем в Быркаче, дети, — оборачивается Белов, — Потерпите?

— Потерпим, — с деланной бодростью отвечает Гиргин, на этот раз почему-то оказавшийся самым разговорчивым.

Плевен остается позади. С левой стороны от шоссе — зеленые обрывистые холмы, с правой — фабрики и заводы предместья, за ними насыпь железной дороги.

Солнце припекает все сильнее. Лето наступило.

Машина сворачивает на проселок. Переваливаясь и подскакивая, она ползет по разбитой дороге. Сзади тащится пыльное облако, медленно относимое в сторону. Наконец мы въезжаем на просторную, вполне достойную большого города площадь села Быркач. На ней стоят в ряд несколько машин. Мальчишки, прижимаясь носами к закрытым стеклам, изучают их управление и отделку.

— Оште един ЗИС! — кричит кто-то из ребятишек, завидя нас.

Кроме будущих автомобилистов, никого поблизости не видно. Но в противоположном конце площади толпится народ; издали выделяются ослепительно-белые рукава домотканых крестьянских рубах. Люди стоят возле трехэтажного дома городского типа. Наверное, это школа. Я, как и все приезжающие в Болгарию, уже обратил внимание на то, чему за восемьдесят лет до меня удивлялся военный корреспондент Вас. И. Немирович-Данченко: самое большое и высокое здание в каждом болгарском селе — школа. На испанских дорогах мы когда-то узнавали, что скоро будет «луэбло» <sup>2</sup>, задолго до того, как его можно было увидеть по торчащей из земли колокольне. Во

<sup>1</sup> Будь здоров, дядя Христо! (болг.).

<sup>2</sup> Селение (исп.).

Франции при приближении к населенному пункту первой видна та же колокольня или, еще чаще, развалины замка на холме. В Болгарии среди двухэтажных крестьянских домиков издали выделяется школа. Церковь или меньше, или ее совсем нет.

Выйдя из машины, Белов торопливо ушел вперед. Пока мы приближались к школе, Герта и Гиргин объяснили мне, что в Быркаче сегодня партийный праздник, на который съехались и бывшие партизаны, воевавшие здесь, и старые члены партии, вышедшие отсюда, но работающие в других местах. Через распахнутые окна обширного зала видны только головы участников торжественного заседания, но громкоговорители доносят до внимательной толпы каждое слово. Все население Быркача собралось в школьной ограде и вокруг нее. Большинство стариков и старух в народных одеждах, их рубахи с вышивкой похожи на украинские; молодежь одета по-городскому. Множество народу вокруг ограды высокого здания, национальные костюмы, бусы и разноцветные ленты в косах, а также сосредоточенная тишина — все это напоминало престольный праздник в давние годы где-нибудь на Полтавщине, какой-нибудь петров или духов день. Но в Быркаче праздновали День Коммунистической партии, и в школе шел доклад секретаря окружного комитета партии. Сначала я схватывал не все, но Герта и Гиргин с двух сторон помогали мне. И чем дальше я слушал, тем больше речь секретаря походила на главу из учебника курса истории партии в масштабах отдельной сельской ее организации, на фоне борьбы болгарского крестьянства против голода и войны. Село было старое и нищее, а потому активное в этой борьбе. Серьезный голос в громкоговорителе стал называть имена быркачских коммунистов, казненных в 1923, в 1925 и в 1942—1944 годах. Целый мартиролог. Невольно думается о том, какое множество жертв устало современному человечеству его путь в лучшее будущее. После исторического обзора собрание, как положено, переходит к текущему моменту. Я узнаю, что село сейчас сплошь кооперировано. В прошлом году на трудодень всеми видами оплаты было выдано по двадцати семи левов десяти стотинок, а в этом году правление кооператива рассчитывает выдать натуроплатой и деньгами по тридцати левов пятидесяти семи стотинок на трудодень. За годы народной власти в селе построен водопровод. Оно электрифицировано. В каждом доме радиоточка. Гром аплодисментов покрывает заключительные слова председателя кооператива о том, что все эти успехи возможны только в результате общих побед всего социалистического лагеря «начело със Съветския Съюз»<sup>1</sup>. В школе поют «Интернационал». Снаружи его дружно подхватывают болгарские крестьяне.

Заседание еще не кончено, но к нам подходит кто-то из распорядителей и предлагает следовать за ним. Спускаемся в обширный полуподвал под школой, где готовится угощение. Заботливый Белов вспомнил, что мы с утра почти ничего не ели, и попросил нас накормить. Нам подают вкусную, адски наперченную смесь из тушеных овощей и мяса и поят каждого по его вкусу — кого водой, кого вином, кого ракией. Худой, черный, как негр, старик, с торчащим из вышитого низкого ворота рубахи острым кадыком, называет меня «братушка» и усердно потчует сливовой. При участливом содействии Косты мы с ним неплохо объясняемся. Он интересуется, как, по моему мнению, проходит праздник, я отвечаю, что праздник удался на славу. Тогда он спрашивает, понравилось ли мне вообще в Быркаче, и я отвечаю, что очень понравилось, что в Быркаче просто замечательно.

— Борческо село<sup>2</sup>,— говорит он убежденно.

Так мы готовы разговаривать до бесконечности, но молчаливый Гиргин подает знак, что пора собираться. Благодарим, пожимаем множество темных от загара жилистых рук и выходим.

Через полчаса к машине подходит утомленный Белов, его провожает Бобчето и кто-то из быркачских товарищей. Мы рассаживаемся. Машина трогается.

— Салуд! — кричу я Бобчето, поднимая кулак.

— Салуд! — приложив кулак к фетровой шляпе, отвечает он.

<sup>1</sup> Во главе с Советским Союзом (болг.).

<sup>2</sup> Боевое село (болг.).

— До виждане! До виждане! — раздаются приветливые голоса, и мы уже вздымаем за собой облако пыли, в котором скрываются площадь, машины и улыбающиеся, машущие руками люди.

— Ну, как тебе понравилось? — спрашивает Белов.

Я молча показываю большой палец.

— Хороший, крепкий здесь народ. Я это село со своей партийной молодости знаю.

— Борческо село, — подтверждаю я. Мне нравится старославянское звучание этих слов.

Белов устало улыбается в ответ.

Скоро мы взбираемся на шоссе, и машина прибавляет ходу. Солнце близко к закату, но все греет. На горизонте показываются горы. Изредка среди деревьев мелькнет крест над еще одной братской могилой российских воинов, а иногда покажется гранитная пирамида с пятиконечной звездой наверху, стоящая над общей могилой болгарских партизан. По всей стране памятники эти напоминают народу о старых и новых его освободителях.

*(Окончание следует)*



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

АРТЕМ АНФИНОГЕНОВ

★

## АРКТИКА МИНУВШЕГО ГОДА

1

**О**стрие указки легко коснулось центра Земли Франца-Иосифа. — Остров Хейса. Одна из точек, где за полтора года исследователи смогут узнать больше, чем за минувшие сто лет...

Крапинка суши, именно точка среди других островов с такими же нерусскими названиями.

— Ходил я туда,— заметил стоявший рядом летчик-полярник.— Купола там... Ну их вместе с этим Хейсом.

Указка скользнула по Арктике дальше, к местам более доступным и известным. Я последовал было за ней, да вернулся. Остров Хейса... Может быть, он?

Необыкновенный год, наступивший по условному сигналу одновременно в Старом и Новом свете с начальным сроком в восемнадцать месяцев — Международный геофизический год,— был в разгаре.

Миграция научных сил на всех континентах достигла небывалой активности. Научные учреждения шестидесяти пяти государств, причастные к этому событию, находились в состоянии воодушевления. Люди, далекие от науки, также проявляли интерес: пора, полагали они, самое время завершить картину Земли, на которой родился Человек и рос — ведь скоро, нет сомнений, очень скоро приступит он к личному осмотру космических окрестностей планеты.

Среди фактов, подтверждавших это предчувствие, важное место занимали Арктика и Антарктика. Уж на что нежилые края, а и там народу нынче... Чем заняты? Завершают штурм земного шара. Крайние рубежи, последний этап. Что же последует, когда на Земле недоступных мест не останется? Ясно что — миры иные...

И всем материкам радостно было видеть, как налаживаются человеческие связи, нарушенные атомной дипломатией, как новую силу обретает одна из лучших идей современности — идея сближения, идея содружества народов... Грандиозный эксперимент ученых, предпринятый с очень специальными целями, коснулся не суетных интересов миллионов и миллионов; коллективный поиск научной истины оборачивался возможностью лучше узнать, как смотрит на жизнь сосед по континенту, каждый рядовой житель земли мог внести свой пай в дела планетарного масштаба...

Как же разглядеть хотя бы частицу происходящего?

Где место, наивыгоднейшее для журналиста?

На неприступном острове Буве, выступающем над стихиями Атлантического океана? В среднеазиатском поселке Китаб, где специальные приборы денно и ношно следят за движением земных полюсов, влекущим за собой смещение всей сетки географических координат, выброшенной на Землю? В становище Сунтар-Хаята, затерянном в Верхоянах, где выходят наледь, позволяющие читать историю нашей планеты? В магнитном павильоне, сложенном из бамбука на площадке высокогорной обсерватории Ши-Па под экватором?

Арктика и Антарктика имели равновеликие возможности.

Я стал наводить справки об острове Хейса.

Оказалось, что там работают гидрографы Павла Яковлевича Михаленко. Это было приятное открытие. По Северу ходит выражение: люблю море на картинке, корабль с берега, а Арктику — на Диксоне. Михаленко этого не разделяет. Он говорит, что есть Арктика обжитая и та, которую исследуют. Последняя нравится ему больше. Когда он начинает рассказывать о своих товарищах гидрографах, оживают времена Нансена и Русанова. Земля Франца-Иосифа («ЗФИ», как называют ее полярники), по мнению Михаленко, — лучшее место в Арктике. Михаленко из числа сторонников той идеи, что мореходную трассу надо попытаться проложить в глубине Полярного бассейна, по высоким широтам, где льды, возможно, не так тяжелы. Скоро выйдет в ледовое плавание атомоход «Ленин». Неужели и он будет держаться материковой кромки? С такой-то энергией, с такими турбинами — да по старой дороге? А если заранее разведать и подготовить для него трассу по высоким широтам?

Вот одна из причин, по которой гидрографы, исследуя Землю Франца-Иосифа и подступы к ней, находятся сейчас на острове Хейса; наблюдать их жизнь и работу на ледовом промере мне не приходилось...

Я узнавал дальше.

Энциклопедии и сочинения Визе хранили об островке молчание, и не без причины: его большая жизнь началась несколько месяцев назад, когда там развернулось самое северное в стране строительство самой северной нашей обсерватории, спроектированной специально под программу Международного геофизического года. Гидрографы Михаленко, стало быть, не одиноки, с ними в дружбе и соседстве большая геофизическая экспедиция Арктического и Антарктического института. Научные работы, выполняемые ею, очень интересны. В частности, на острове Хейса ведется исследование верхних слоев атмосферы с помощью метеорологических ракет...

Чары других мест для меня померкли.

Новое всегда заметнее в старых, исхоженных местах, и какой рассказчик более дорог, чем собеседник-старожил, знающий тебя по прежним встречам! А самый маршрут? Москва — остров Хейса. Четверть дуги меридиана. Да дело не в километрах. Маршрут, в сущности, дает разрез Арктики, охваченной заботами Международного геофизического года. Научный результат великого эксперимента осмыслится в будущем, когда сложатся в целое усилия всех континентов, а вот человеческая его суть, то, что волнует рядового участника, — это выступает как раз сегодня, и лучше всего может быть схвачено в знакомых обстоятельствах, на родной земле.

Выбор был сделан.

Задерживала главным образом луна.

Мне объяснили:

— Пассажирского сообщения между Москвой и Хейсом нет. Сейчас в Арктике ночь. Полярной ночью самолет на остров ходит, когда бывает погода и луна. Ждите полнолуния. Постараемся доставить.

И я ждал с извечным страхом пассажира-опоздать, но не к московскому самолету, нет: надо было поспеть на самолет, который заблаговременно прошел на Диксон и ждет там восхода луны, чтобы уже с кратчайшего расстояния совершить прыжок через купола, окружившие обсерваторию острова Хейса. Медлить из-за меня он не будет....

## 2

За Архангельском нос московского самолета решительно обращается на восток, в сторону Амдермы. Удобно расположившись в креслах, пассажиры начинают исподволь готовиться к тому, когда каждый — с улыбкой ли, с вздохом, но всегда не равнодушно — сможет сказать себе: «Я в Арктике».

Близость Арктики ощутима, и, может быть, прежде всего тем, что день сменяется ночью здесь не так, как на Большой Земле. Вначале такое впечатление, будто за окном кабины просто испортилась погода. Спряталось солнце, стало пасмурно. Но

странное беспокойство, предчувствие неповторимой перемены не проходит. Слева, откуда того и жди дохнет со всей силой Ледовитый океан, небо раскалено, как это бывает на земле перед восходом. Но не полностью, не все небо — лишь самый его край, алая полоска по горизонту. На эту свежую утреннюю краску наваливается просиненная тьма. И вот уже вместо недавних светлых бликов на конце неподвижного крыла появился зеленый огонек. Под моторной гондолой, где долго переливался перламутровый диск винта, обрисовались раскаленные бивни патрубков. Они переняли эстафету той кумачовой краски внизу, но дальнейший путь им держать в одиночестве — вороненая чернота, смело расширившись, все потеснила, нежная заря растворилась в ней полностью...

Может быть, все отличие от Большой Земли только в том, что эта смена красок на закатном небе никого не оставляет безучастным. Пассажиры, не стовариваясь, молчат. Надо привыкнуть к мысли, что утром не посветлеет, что весь огромный край, раскинувшийся впереди, подавлен мрачной тенью. Стрелка альтиметра движется вправо, на подъем, но скорее можно подумать, что прибор испорчен, потому что мрак, густая за окном, напоминает постепенный спуск куда-то, холодящее душу погружение... И когда под колесами раздается шуршание гальки и оба мотора, попеременно проревев, смолкают, пассажиры выходят из самолета, сплоченные в табунок.

Отличие пассажира-полярника от других странствующих теперь особенно наглядно. В каждом населенном пункте, сколько их ни встретится на арктической трассе, коренной полярник начинает с того, что разыскивает своих друзей и товарищей. В самолет возвращается настроенным на различные воспоминания — после встречи они всегда богаче, — либо же, опустившись в кресло, с надеждой ждет следующей стоянки. Не имеет значения, работал он там прежде или нет, день ли, ночь на дворе, сколько времени продлится остановка, — не быть товарищей у старожилы Арктики не может, и свою обязанность перед ними он выполнит.

Так сейчас и поступает мой сосед, инженер-электрик.

— Кто хотел видеть Жусова? — спрашивает официантка в столовой. — Он сейчас, только оденется.

— А сколько по местному?

— Час ночи.

Входит заспанный Жусов. Электрик радостно поднимается ему навстречу.

— Не поздно?.. — из вежливости спрашивает электрик. — Детишек побудим...

— Ничего, мы шепоточком!.. Шепотком.

Теперь до пяти утра, до самого отлета.

Часть пути я иду за этой парой следом. Светло, морозно, снег верещит под ногами. Луна, огромная лунища, светит сбоку.

Когда люди долго не виделись и спешат, в расспросах — самое главное, самое первостепенное.

— Вот наша аэрология. — Жусов замедляет шаг.

— Отдельный павильон?! А газогенератор?

— Рядом. Видишь? Левее.

— Понятно. Метеорология где?

— Мсж тех фонарей, как раз посередке.

— Тоже просторно. Людей прислали?

— Полный комплект.

— Свет круглые сутки, что ли? Ведь поздно.

— Все двадцать четыре часа!

Они выравнивают шаг.

— Было, по-моему, до двенадцати? — припоминает электрик.

— Это когда... У нас по МГГ круглосуточная отчетность.

— Говорят, в Амдерме при чистом небе видно, как на Хейсе пускают ракеты?

Я стараюсь сообразить, где он сейчас, остров Хейса.

Тропка вьется между сугробами размерами с дом, переваливает их. Это самые крупные возвышения, пока встреченные мною в Арктике, я привык думать о ней, как о совершенной равнине. Но где-то высятся еще купола...



С бугра видны белые трубы, над которыми стоят спокойные параболы дыма, столбы под сильными лампами без плафонов. Придерживая шапку, отыскиваю Полярную звезду. Наверно, на ЗФИ, чтобы посмотреть на нее, ложатся на спину. Я представляю теперь, где он, остров Хейса. Далеко еще.

### 3

Утро напомнило: мы на бойкой арктической дороге.

С началом МГГ она еще более оживилась.

На Диксон прилетела большая группа ученых и специалистов во главе с профессором Никольским, выполняющая инспекторский осмотр полярных станций, ведущих исследования по программе МГГ. Эта мирная компания походила на оперативный отдел войскового штаба — ученые имели в своем распоряжении самолет и располагали самой полной информацией о положении на всех участках Арктики. Мне вспомнилось лицо фронтového газетчика с выражением торжества, большой удачи, когда на подступах к переднему краю ему повстречались башенный стрелок сгоревшего танка и летчик с парашютом на спине, добравшиеся к своим. Были первые часы нашего большого наступления, и корреспондент жаждал самых свежих новостей... Но теперь мне повезло много больше, чем тому газетчику: во-первых, наступление здесь не захлебнулось; во-вторых, я встретил людей, действительно умеющих дать обзор событий. В состав инспекции входил, например, профессор Александр Игнатьевич Лебединский, председатель рабочей группы по полярным сияниям советского Междудементального комитета МГГ.

Позже, слушая на Диксоне, «Колбе», в Амдерме рассказы разных людей об этом полете ученых в Арктику, я уже подготовленным ухом воспринимал подробности, связанные с формированием новой, в сущности, службы, проникающей в беззвучную, пеструю и многозначную тайнопись Вселенной — полярные сияния, — и вот как раскрылись передо мной заботы и волнения председателя рабочей группы.

Несколько лет назад профессор Лебединский приступил к разработке основных идей, связанных с созданием аппаратуры, способной удовлетворить запросы современной науки. И теперь, к началу МГГ, советские геофизики и астрономы могут опираться уже не на усердие безоружных наблюдателей, оценивавших полярные сияния на глаз и, понятно, всегда не безгрешных в своих описаниях, а на средства инструментальной регистрации, способные глубоко проникнуть в процесс «возбуждения» атомов и молекул корпускулярным потоком.

Камеры для фотографирования полярных сияний, в конструировании которых участвовал большой творческий коллектив, получили название «С-180».

Киноплёнка каждой такой установки позволяет увидеть и подробнее исследовать картину полярного сияния с момента первой вспышки до полного затухания. Объективы тридцати двух камер «С-180», выстроившихся под арктическим небом на широком фронте от Шпицбергена до Уэллена, а также патрульные спектрографы и локаторы и образуют сеть, которой никогда прежде ученые не располагали. Сомкнувшись с наблюдательными пунктами зарубежной Арктики, она составляет теперь примерно третью часть гигантского дозорного кольца, обращенного к сияниям арктического неба; естественно, что материалы, полученные посредством нашего сектора, поступают в распоряжение ученых всего мира...

Аппаратура, тонкая и нежная, приживалась в Арктике с трудом. Монтажные работы на зимовках не ладилась, в камерах, как это всегда бывает с новым инструментом, обнаружались слабые узлы. Одни паниковали и бомбили Александра Игнатьевича телеграммами, другие, напротив, затевали игру в молчанку. Разобраться в такой обстановке, находясь в Москве, было сложно. Чего Лебединскому особенно не доставало, так это ощущения реальных условий, в которых доводится сеть. Аппаратура сама по себе, люди сами по себе, а общей, цельной картины, которую ему важно было иметь, не получалось.

Нетерпение, в котором он находился, вылетая с инспекцией, было велико, а остановки на всем пути от Москвы получались, к сожалению, короткие. Профессора трогала

готовность местных товарищей отозваться на его просьбы, везде однообразные и всякий раз неотложные: первым делом он хотел повидать своих знакомых.

Людей, которых ему не терпелось видеть, Александр Игнатьевич делил на две неравные группы.

Одну составляли вчерашние студенты-физики, выпускники университетов. Они чаще других испытывали неудачи, то теряясь перед новизной суровых хозяйственных проблем вроде создания угольных запасов на зиму, то обнаруживая склонность к умозрительному подходу там, где надо было просто взяться за паяльник. Этим специалистом Александр Игнатьевич знал. Он читал им курсы, слушал их студенческие доклады и споры на семинарах, знал, как подготовлены они в теории; об их увлеченности физикой Солнца говорил уже тот факт, что Арктика избрана ими добровольно; при всех провалах, омрачавших работу университетской молодежи с новой аппаратурой, Александр Игнатьевич верил, что они в конце концов свое возьмут.

Смушение, глубокую тревогу внушала ему другая, более многочисленная группа, в руках которой по существу и находилась сеть. Это тоже была молодежь, но как о ней думать — профессор затруднялся. Он то утешал себя, говоря, что дела на произвол судьбы молодые люди не бросят, то верх брали сомнения, и тогда он повторял: от них можно ждать всего.

Он встретился с ними в Мурманске, где в связи с работами по МГГ были созданы специальные курсы по изучению камеры «С-180» и спектрографов. Слушателями курсов были молодые загорелые парни, одетые по-дорожному, настроенные довольно бесшабашно. Вернее сказать, нетерпеливо и зло настроенные. Все они были знакомы между собой и собрались в Мурманске после шести благословенных месяцев отпуска, проведенных на материке. Рассказывали друг другу, как их приняли дома, кому и какие сделали подарки. Вспоминали Мисхор, украинскую вишню, Алтай, Рижское взморье. Кто рисовал на газетке стеллажи для книг с врезной полкой под сервиз, которым тоже обзавелся, кто выкладывал расчеты, из которых отважился строить дачу («участок немалый, тридцать соток, все лето из грядок не выбирался»), кто похвалялся «Москвичом», кто только очередь на него, кто пускал по кругу фотографию — «двадцать шестого расписались, придет пароходом...»

А ждала ребят четвертая, пятая, а некоторых и седьмая полярная ночь. Вахты-двухсменки, встреча солнца, охота по весне, ожидание продуктов свежего подвоза, бессонная суматоха навигационной поры, проводы последнего парохода — знакомая, привычная, трудная жизнь, уж тем превосходящая это послеотпускное прозябание на Большой Земле, что свободна от таких забот, как: что купить на завтрак, где пообедать, стоит ли сегодня ужинать. И вообще как дотянуть до полочки?

Потому-то и отказались ребята платить за общежитие, потому-то и не терпелось им на курсах, потому-то первый вопрос, обращенный к автору камеры «С-180», когда он там появился, был: «А что мы с этого будем иметь?»

Александр Игнатьевич остро помнит тот момент.

Посреди комнаты общежития, в которую он вошел, вокруг стола собрались человек восемь слушателей, надумавших под вечер перекусить чем бог послал. Вопрос задал парень, сидевший к нему вполоборота. Жестковато щуря глаза, он терпеливо ждал ответа. Остальные тоже примолкли, разглядывая ученого из Москвы. Радисты, метеорологи, механики, они по своему профессиональному складу были больше расположены к практике, к эксплуатации, чем к науке (семь, восемь классов образования, реже — десятилетка). Курсы ввели их в новые сферы знания. Теперь, в дополнение к своей основной специальности, к своей немудрой аппаратуре и к своим хлопотливым обязанностям на радио- и метеовахтах, каждый из них получал камеру с наклонным пультом, усеянным тумблерами густо, как клавиатура пишущей машинки, с хрупкими зеркалами полуметрового диаметра, до которых опасно лишний раз дотронуться пальцем, спектрографы с удивительным устройством, имеющим на одном миллиметре по шестисот штрихов. По прибытии на место каждому предстояло принять из корабельных трюмов эту технику, смонтировать ее своими руками, пустить в ход. Затем, поддерживая ее в порядке, регулярно высылать пленки в Москву.

И они, не имевшие прежде дела с подобной работой, ждали теперь, что Лебединский скажет, из какого расчета будут им оплачивать весь дополнительный труд.

На этот естественный и прямой вопрос ответа у профессора Лебединского не было. То есть такого ответа, который устроил бы сплоченную надеждой аудиторию. Добиться пересмотра штатного расписания полярных станций Межведомственному комитету не удалось, все оклады остались прежними. Из этого следовало, что дополнительной оплаты за обслуживание камер и спектрографов не будет. И это было единственное, что интересовало сейчас парня, задавшего вопрос, и его товарищей, это-то, как понимал Александр Игнатьевич, и определит их отношение к будущей работе. Сеть, которая виделась ему живой и уже отлично налаженной, лишалась опоры...

— Я могу сказать,— раздельно, вполголоса произнес Лебединский, охваченный злостью и досадой на себя, на комитет, на всех, по чьей близорукости в практических целях не была предпринята десятая, пятидесятая атака на финансовые органы.— Я могу сказать, товарищ...

— Вершинин,— спокойно назвалса парень, не меняя позы.

— Вершинин...— проговорил Александр Игнатьевич с возможной для него грозностью, отчего лицо его приняло холодное, безучастное выражение.

Он решил переломить настроение, припугнув ребят, напомним о строгих мерах, ожидающих каждого нерадивого... Но усмешка, скользящая по губам Вершинина, общее шевеление за столом показали ему, что он ошибся, взял не тот тон. Тогда, собравшись с духом, он объяснил все как есть. Добавил, что имеется единственная возможность справиться со всем объемом работ — уплотнить рабочий день... Сказав правду, он почувствовал себя много спокойнее, но из комнаты не ушел. Слово за слово — он стал рассказывать. Его слушали, не забывая о еде.

—...Чтобы лучше видеть Солнце и понять его, человек, то есть каждый из вас, поднимается к самым высоким широтам земли, поближе к полюсу... Шаг расчетливый и обещающий.

...Благодаря тому, что слон газа, в которых происходят полярные сияния, отражают импульсы радиоволн, Володя Довгер и его товарищи, находясь на Диксоне, смогут наблюдать за верхней атмосферой с помощью локатора. Такие исследования будут одновременно с Диксоном проводиться на трех других станциях, расположенных по земному шару цепочкой, вытянутой по долготе. Представляете?

...На вас падает львиная доля работы... Ваши снимки будут изучать американцы, англичане, канадцы, шведы, поляки, чежи, норвежцы, финны... Когда материалы, которые вы представите, дополнятся тем, что получают наблюдатели других стран, мировая наука сможет глубже проникнуть в проблему взаимосвязи земных явлений и солнечных. А что это значит?..

Он говорил и разъяснял в тот вечер долго, и расстались они вроде бы по-хорошему.

Но настроение, с каким слушал его радиотехник Вершинин, и весь тот вечер среди поскучневших, сникших ребят врезались ему в память; и глухая, смутная тревога уже не оставляла Лебединского. По временам ему казалось, что миллионные грузы, отправленные с кораблями, развеялись по ветру, что вместо сети на огромном пространстве пощелкивает, может быть, единственная камера...

Стремительное передвижение инспекции в глубь Арктики привело к тому, что толком осмотреться Александр Игнатьевич смог, когда приземлился в конечном пункте маршрута.

К самолету высыпали чукчи. Их было много. Они приветствовали летчика, громко крича: «Йетти!», что можно было перевести, как «снежный человек». Но тут же выяснилось, что никакого намека на снежного человека в возгласе не содержится: чукчи, не имея обычая здороваться, говорят прибывшему «йетти» — «ты пришел». Пришел, прилетел их земляк-летчик. Работая на трассах полярной авиации, он умудрился не навредить родной поселок четыре года кряду. Здесь же Александр Игнатьевич впервые увидел ярангу, единственную в Уэльене. Старый чукча, ее хозяин, горестно разводил руками, объясняя гостю муку своего раздвоенного существования: ему недостает решимости оставить кров старейших, как это сделали другие соплеменники, а с другой стороны,

очень велик соблазн деревянного дома — свет, простор, тепло. И вот он не знает, как быть. Предпринял было компромисс: оставаясь в яранге, пристроил к ней деревянный тамбур, обнес ее щитами из досок... Но покой в его душе не водворился. С печальным вздохом самокритичный чукча добавил по-английски: кошка хотела бы поесть рыбы, но боится замочить лапки. Пословицу произнес чисто, без акцента.

Звеньшко сети в Уэллене обслуживал специалист Крылов, которого Лебединский помнил по курсам. С волнением начал Александр Игнатьевич на краю земли первую проверку своей камеры. Качество монтажа приободрило его. В нем не было чистоты, но грамотность не вызывала сомнений. Пленка же получилась просто удачной. Отдельные кадры были так хороши, так выразительны, что у них с Алексеем Петровичем Никольским вышел интересный разговор: Никольский развивал свои мысли относительно второй зоны полярных сияний, и они проговорили допоздна...

В дороге Лебединского настигло письмо из Москвы. Обратный адрес был: остров Врангеля, Вершинину. Радиотехник подробно описывал, при каких обстоятельствах вышел из строя дорогой и сложный механизм — хронометр. Ремонту на месте он не подлежит, а без хронометра камера не действует. Письмо где-то долго блуждало. Лебединский сопоставил даты. Выходило, что остров Врангеля стал мертвой точкой одновременно с наступлением полярной ночи. Пилюля была горькой, потеря крупной. На Международной конференции в Торонто, предшествовавшей МГГ, многие делегации выражали свою заинтересованность в снимках, которые будут получены на острове Врангеля, и не мудрено: остров близок наблюдательным станциям Аляски и Америки, он важное звено сети. И Лебединский не раз — с трибуны и в кулуарах — подтверждал готовность советских ученых поставить там камеру. Он даже указывал на карте точку, где она будет находиться, — в бухте Роджерса.

Снова — в который раз! — вспомнил он свою встречу с Вершининым.

Теперь ничего другого не оставалось, как исключить остров Врангеля из отчетности по МГГ. Задним числом, разумеется.

Александр Игнатьевич, никаких удовольствий от встречи с Вершининым не ожидавший, отметил все же, что брюки грубого сукна с твердым рубцом, ломавшимся в напуске, и пропитанные каким-то северным жиром сапоги на гулких подковочках, и приглаженная ковбойка спокойной расцветки — все на радиотехнике сидело ладно, было к лицу, с характерным для него выражением неторопливого внимания. Отметил его собранность, умение проявить свое достоинство. Поочередно представляясь членам инспекции, он и Лебединскому сказал: «Вершинин, Василий Васильевич, радиотехник», показывая, что к воспоминаниям он не расположен. Похоже, он вообще бы счел за лучшее не касаться аппаратуры Лебединского: все приготовления Вершинина были связаны с прилетом непосредственного начальника, инженера по радио, — что-то смастерил, наверно, и хотел ему показать, получить авторитетную оценку. Искал начальника глазами, выглядывая за дверь, сник немного, когда узнал, что инженер задержался, будет позже... Вершинина все-таки смущало присутствие профессора. Чем-то связывало. Избегая взгляда Лебединского, он проговорил:

— Чтобы времени не терять, могу показать новейшую технику...

Не то ирония, не то сомнения слышались в его словах.

Он снял с полки жестяную плоскую коробку и с шугливой торжественностью в движениях и в то же время очень серьезно пронес ее к Лебединскому. Молча вручил коробку профессору.

— Спасибо, — сухо вато сказал ученый. — Что это?

— Пленка.

— А хронометр?

— Не работает.

— А пленка?

— Отснята. Камерой «С-180».

— Позвольте... Василий Васильевич...

— Все сияния, какие были. Шестьсот восемьдесят метров. Вот пробный кадр.

Не допуская мысли, что все происходящее забава, и опасаясь какого-то подвоха, Александр Игнатьевич принял плотно смотанную пленку. Пробный кадр оказался превосходным.

— Вроде бы получилось, не знаю,— продолжал Вершинин, в окружении незнакомых москвичей затрудняясь с выбором слушателей и обращаясь то к одному из них, то к другому.— Заниматься этим агрегатом,— он указал на камеру,— увлекательно. Все внове, знаете, и современно. Чтобы довести, соображать приходится. Экспозицию тоже сам переменял. У нас нынче так сияло, что все удивлялись. Я, честно сказать, в снимках не очень понимаю, но так по всему небу полыхало... сразу видно, что максимальный год для Солнца.

— О чем говорить! — подтвердил Александр Игнатьевич, испытывая в этот момент не радость и не облегчение, а одну неловкость за Вершинина, который именует его в третьем лице; этому парню, каким он его сейчас видел, совсем не шло такое обращение.

— Я помню, как вы про них объясняли.— Вершинин поднял глаза на профессора. Тон, каким он говорил, и выражение его серьезных глаз — все показывало, что радиотехник отмечает в прошлом, известном им обоим, то, что является важным.— Насчет коллег за рубежом, международных обязательств с нашей стороны и так далее... Помню. Пусть посмотрят, как у нас сияет.

...Мне неизвестны другие края, где вопрос, ради чего прибыл сюда человек, ставился бы обязательно и так прямо, категорически, как в Арктике,— с кем бы ни заговорить. Тут все: и благородные мечтания, и пестрые житейские обстоятельства, и откровенные расчеты на деньгу...

Пропорционально складываясь, эти ответы в своем множестве образуют живую сводку ожесточенной борьбы, которая будет длиться, пока ветвистые корешки собственности полностью не пересохнут в человеческой душе, уступив безраздельно коммунистическому началу.

Рассказ о Вершинине прояснил: корыстные влечения еще потому вовек не подчинят себе души, что в противовес им выступает всегда высокое в нашем гражданине стремление вложить свой честный, добрый пай в дела, предпринятые совместно с другими нациями. Эта ответственная готовность — с Октября, она в крови, почему же мы иногда забываем как следует рассказать о ней?!

Человеку нужен весь земной шар, вся природа. Чехов, думавший так, верно чувствовал масштабы, достойные человека. Много раньше, чем ожидал русский писатель, вышел человек на просторы всей земли. Нынче, впервые за тысячелетия, достиг он возможности оглядеть ее свободно, ни в чем не стесняя своей любознательности. Полярные окраины, избегавшие хозяйского взгляда дольше всего, оглядываются им неторопливо и тщательно. Теперь, когда эта работа, не утратив тяжести и риска, перешла в разряд будничных и не вызывает былого шума прессы, когда в ней участвуют не десятки, а сотни и тысячи, люди и к себе прислушиваются, присматриваются внимательнее, чем прежде.

Сближая людей, Арктика развивает умение, прежде не сильно ценившееся,— умение вжиться в огромные пространства, представить их реальность. А нынче, когда суждения и догадки о космосе стали трамвайной темой и расстояние до Луны усвоено каждым, как таблица умножения, люди замечают за собой новый интерес, новое любопытство к далеким немереным просторам. Именно к расстояниям прежде всего.

Так, следуя рассказу участников инспекции, я с острова Врангеля перенесся на противоположный край Арктики, на мыс Желания — северный склон Новой Земли. Там наблюдатели сияния, когда в установке «С-180» хрустнула деталька, изготовленная, ввиду ее особой сложности, не штампом, а путем индивидуальной обработки, вышли из положения, поступив, как заводские мастера: выточили уникальную шестерню вручную. Потом перемахнул на остров Четырехстолбовый, что в устье Колымы. Подступы к Четырехстолбовому на редкость трудны. Его берег напоминает отвесный ледяной барьер, на острове нет ни одного подъемного механизма, вездеходы и вертолеты его не обслуживают. Все сорок тонн грузов, завезенных сюда в связи с началом МГГ, были подняты на шестидесятиметровую высоту и перенесены в склады и научные павильоны руками зимовщиков...

Таковы детали обстановки справа и слева от Диксона.

Фронт геофизических исследований, опоясав земной шар, лишился флангов. Тем интереснее одна его точка — Диксон, столица Арктики.

Что в ней?

## 4

Рабочая площадка здешней обсерватории носит название с лабораторным оттенком — «Колба» — и расположена в двенадцати километрах от Диксона. Радисты Диксона приняли и передали на «Колбу» сигнал «Алерт». Сигнал означает, что на Солнце и в космосе возникли процессы, полный охват которых требует одновременных усилий всех, кто может за ними наблюдать. Кроме того, «Алерт» предупреждает участников МГГ о возможном объявлении специального мирового интервала — СМИ. СМИ — это уже призыв к самой высокой активности, команда, обязывающая каждого проявить на своем посту полное напряжение сил, внимания, энергии. Многие признаки позволяли зимовщикам «Колбы» думать, что вслед за принятым «Алертом» возможно поступление СМИ...

Но едва был получен «Алерт», как ударивший мороз вывел из строя телефонный кабель. Всякая связь между Диксоном и «Колбой» прекратилась. Тогда магнитологи, ионосферисты, аэрологи, отрезанные от своего командного пункта, решили вести наблюдения, как если бы СМИ был ими получен. Результаты ответственной вахты собачьей упряжкой транспортировались на остров для немедленной передачи в Москву. Вчера, к исходу вторых суток этой напряженной работы, на «Колбе» стало известно, что СМИ не объявлялся...

А сегодня суббота — день «мужской бани» (нет лучшей бани в Арктике, чем на Диксоне). Люди отдыхают. Кто на танцы, кто в гости, кто письма писать.

Между «поляркой», как называют полярную станцию, и клубом — глухой овражек. Летом его вымывают ручьи, сбегаящие сюда отовсюду. А полярной ночью, как сейчас, над оврагом поставлен прожектор. Он освещает стезжку в сторону клуба на случай пурги. Под склоном, с которого льется свет, в укромной тени время от времени появляются парочки... Но я не теряю надежды увидеть то, чего не встречу, не узнаю нигде, кроме Диксона. Ведь легкомыслием было бы считать, что первоклассная сеть наблюдений за полярными сияниями и многие другие новшества возникли здесь на голлом месте. Какой несправедливостью было бы замолчать лишения и подвиги многих полярников, связавших свою судьбу с суровым фасадом России не на год, а навсегда... Сейчас мне и хочется побыть среди них. У меня есть один верный адресок. Но вот не рано ли? Там собираются обычно к ночи, расходятся под утро. Это рядом с приемным центром, на втором этаже. Комната в одно окно, 9,73 квадратного метра...

Нет, самое время — Игнатченко, Гольдгубер, Ярлыков на месте. Игнатченко, правда, не за передатчиком, а пристроился на подоконнике. Дымит папиросой, опустив глаза, — слушает. Рабочий вечер клуба радиолюбителей в разгаре. Жаль, что недоступны мне лирические строки, которые сталкиваются сейчас в эфире. Они идут от души к душе, их можно смело складывать в строфы, не заботясь о размере и рифме. Все дело в том, чтобы проникнуть в них, как это умеет Игнатченко. Он слушает подзвездный говор, а мне видна лишь внешняя сторона, обстановка, в которой жители нашего полушария выходят на свидание со своими антиподами.

Ровное электрическое гудение приглушено инкубаторным писком, сухим потрескиванием игрушечных молний. Быстрые вспышки рубиновой нити, судорога заголенных по локоть рук на ключе. За аппаратом сидят двое. Тот, кто справа, пригласивая челку, бросил из-под локтя взгляд на Игнатченко. Игнатченко неподвижен, глаза прикрыты. Голова немного склонена набок. На лице радиста глубокая сосредоточенность: он внемлет планете.

На днях какой-то канадец, ведя с ним обмен, вспомнил русского по фамилии Игнатченко. Тот русский был первым советским, с кем канадец установил связь. Дело происходило, как пояснил корреспондент, лет двадцать назад, русский жил в Сибири...

Вот такое совпадение фамилий. Дело в том, что сам Валентин Игнатъевич Игнатченко довоенные юные годы свои провел на Украине. Первенствовал на областных, участвовал во всесоюзных состязаниях коротковолнников, вел широкий любительский обмен. А двадцать лет назад Кренкель выделил его среди других и доверил ему пост радиста на полярной станции Диксон.

Он прибыл сюда одним рейсом с Давидом Гольдгубером.

Вдвоем заступили они на первую свою вахту — сели рядком, заняв всю аппаратную и спинами чувствуя взгляд их властного начальника. Женились на подругах, свадьбу играли общую...

Да, двадцать лет. В Москве растет сын Игнатченко, Валька. Они частенько переговариваются на коротких волнах — остров Диксон и московский дом товарища, прекрасного радиста, которого Диксон не забыл. Разговор бывает легкий, больше с шуткой: как здоровье, как радикулиты, не тоскует ли ремень по Валькиной спине... Сердечных мест не касаются. В московском доме товарища вырастает его черноглазый Валька — дети всегда остаются с матерью. А Игнатченко, оказавшись перед выбором, остался в Арктике. С Диксоном, на котором еще зияли воронки, взрытые снарядами немецкого линкора «Адмирал Шеер», с ветреным берегом, на котором лежал, выбросившись на камни, герой «Семен Дежнев», разбивший своей единственной сухопутной пушечкой стальную корму «Шеера»... Не мог Игнатченко переступить все это, бросить... А тревожное счастье, каким отзывалось в нем доверие моряков и летчиков, когда они, готовясь к своим операциям, заходили на прощание на радиостанцию? Игнатченко знал их годами, многие из них ночевали в его доме, и мысль о том, что люди делятся на преданных Арктике и неверных ей, стала в общении с ними для него несомненной.

Минувшей весной, окончив к своему сорокалетию вечернюю школу, начальник диксоновской радиостанции Валентин Игнатъевич Игнатченко поступил в институт на заочное отделение. Парень с челкой держался с ним рядом с седьмого по десятый класс, вместе с ним ездил в Ленинград сдавать экзамены. Когда Игнатченко садится за приемник, парень вертится поблизости: начальник представляется парню мастером по извлечению из эфира редкостных голосов и удивительных вестей. Конечно, Диксон не Гоа с ее единственным любителем-коротковолнником, позывной которого вызывает на всем земном шаре переполох, но все же и на Диксон спрос не маленький. Игнатченко, разумеется, имеет обмен с Гоа. И с Непалом, и с Огненной Землей. Какой-то житель Калабрии, услышав Диксон, обрушил на Игнатченко шквал имен: Нобиле, Абрुцки, Финала, торопливо объясняя, с кем из них и в каком родстве он находится. Затем потомственный полярник пожаловался: «У нас очень прохладно, плюс 10». Игнатченко его утешил: «У нас еще прохладнее, минус 35». Парень с челкой нашел ответ начальника превосходным, остроумным, таким, как надо, громко рассказывал о нем в столовой... «Сейчас зацепит Гонолулу!» — возбужденно предрекает он всякий раз, когда Игнатченко начинает работу.

А между тем, если и ждет кого Игнатченко по-настоящему, если кого и караулит в эфире, если с кем и мечтает поговорить подольше, так это с Антарктикой, с Мирным. Там его товарищи, там все его друзья, работавшие, как и он, на Диксоне, на Шмидте, на Челюскине. Кроме Антарктики, нет другого места на земле, где бы так выступала вся оправданность жизни, отданной Арктике. И ему, Игнатченко, давным-давно бы следовало там побывать. Ему бы отправиться туда еще с первой нашей экспедицией, закладывать Мирный и вести первый разговор с Москвой, как впервые вел его когда-то с Диксона Василий Иванович Ходов, суровый учитель Игнатченко. Не пустили в первую — так возьмите во вторую. «Навигацию проведешь — поедешь...» После этого: «Вот закончим реорганизацию...» Теперь складывается четвертый коллектив. «Обеспечить экспедицию на СП...»

— Мирный «вылез»!

При здешней остроте жилищной проблемы не знаешь, чему больше удивляться: самоотверженности диксоновцев, лишивших себя почти десяти квадратных метров жилья, или же хватке радистов, сумевших отвоевать такую площадь. После возгласа «Мирный «вылез»!» видно, однако, до какой степени стеснен в ней темперамент хозяев. Игнат-

ченко, слава богу, пробрался к аппарату без затруднений. Жена Гольдгубера, мелькнув в дверях (час поздний), отступает восвояси без всякой надежды, одна,— Гольдгубер тоже ждет Антарктику.

— Петя Целищев,— объявляет Игнатченко, узнавая радиста Мирного по руке.— Разрушается припай... Перенесли камеру «С-180»... Установили нейтронный монитор...

За узким оконцем радиоклуба видны двухэтажные жилые дома. Их наружные стены выбелены инеем, по карнизам вздулись снежные наросты, напоминая побеги упругого гриба по березовому стволу.

— Поезд на Советскую прошел сто двадцать километров,— продолжает перевод Игнатченко.— Рыхлый снег... глубокая осадка саней... Участники похода продолжают смену вахт...

Обстановка за спиной Игнатченко чисто клубная, едва ли не каждый может судить о далеком континенте по личному опыту, но президентское место отдано Игнатченко. Общее внимание сейчас привлечено к санно-тракторному поезду. Ярлыков вспоминает превосходную работу передатчиков во время антарктического похода на станцию Восток, другой радист разъясняет, что это значит: рыхлый снег, глубокая осадка саней.

Как у Бабарыкина с ногами — вот что я лично хотел бы сейчас знать.

Виталий Кузьмич Бабарыкин — парторг поезда и начальник зимовки внутриконтинентальной станции Советская, я хорошо знаю его по Арктике. На дрейфующей станции «Северный полюс 4», потирая свои ноги выше колен сосредоточенным движением массажиста, Виталий Кузьмич спрашивал у врача, почему это сквозные пулевые ранения, скошившие его в Бреслау, совсем не отзываются на морозы под восемьдесят пятым градусом северной широты, в то время как пустыковая перемена погоды дома, под Москвой, укладывает в постель. Врач давал этому различные толкования... «Не объяснишь,— смеялся в ответ Бабарыкин.— Я, хочешь знать, потому и пошел в аэрологи, чтобы сбить погоду эту привычку к вольным переменам. Что, в самом деле, за капризы! Температура и давление воздуха не должны так прыгать...» Виталий Кузьмич разгонял набрякшие дождем облака, когда они мешали авиации, и самолично повелевал осадкам выпадать, когда высохли колхозные поля. Все это выполнялось, правда, в виде эксперимента, и нельзя сказать, что намеченная цель уже достигнута, но он на пути к ней... Девять лет без малого числится он студентом. Подросла дочурка, стала школьницей, теперь заканчивает шестой класс — он все студент. Тянет, как говорится, держится крепко, все глубже, все серьезнее берет науку, подступаясь к ней с двух сторон. Случалось, годами не появлялся он в своем вузе. Приказы деканата значили студента Бабарыкина в академических отпусках — он проводил их то в Арктике, то в экспедициях по средней полосе, то в Антарктике. Медленно поднимался он по ступенькам, переходил с курса на курс. Товарищи по армии, вместе с которыми демобилизовался, обрели уже стаж, округлость талии и то, что называется положением. Он худ, поджар, как десять лет назад, все не покроет своих долгов по английскому и только нынче, на тридцать пятом году, сможет по возвращении сесть наконец за написание диплома... Я представляю, как Бабарыкин, а с ним Маликов, Константинов, Зотов, медленно, с трудом переступая по зыбучему снегу и тяжело дыша, расправляют, растягивают в нитку стальные жгуты, продевают их сквозь серьги, ладят голыми руками, соединяя тягачи поезда цугом... Ноги, как его ноги?

Кто узнает, прежде чем окончится зимовка!

Что ведет человека в такие походы, в такие места?

Почему по доброй воле оставляет он свой теплый дом, детей, любимых и пускается в скитания по ледяным пустыням, где ничто, кроме жизни, не гибнет и не разрушается? Полюс относительной недоступности золотых сокровищ не таит, а что до воспетой жажды приключений, то после четырех лет фронта, совпавших с молодостью, ее двигательная сила, по-моему, не так уж велика... Что же ведет человека?

Вопрос, звучавший во все века. Каждое время отвечало на него по-своему. И как трудно представить, что в другие эпохи важность его была столь же огромна. Во всяком случае, все выводы седой старины на этот счет не сравнятся в моих глазах с теми переменами, какие произошли в наших побуждениях к поступкам за самый малый



отрезок времени. Например, за последние пять-шесть лет. Ведь в человеческом деянии, кроме общей моральной основы, всегда существует конкретный мотив, который возбуждает энергию, придает всему освещение, служит главной меркой вложенных усилий. У каждого времени — свое мерило, свой девиз. Антарктический поход или, масштабом мельче, предстоящий перелет на огражденный тьмой и куполами остров Хейса, возможно, позволит мне лучше увидеть, что усилилось, окрепло в человеке теперь, когда фанатической безоглядности поубавилось, а многое осозналось яснее, чем прежде..

Одна лишь близость ночного старта заостряет мысль, мобилизует нервы.

Полный ожиданий, поторапливаешь время.

## 5

Грузов для молодой обсерватории скопилось столько, а характер их таков, что наступил момент, когда начальница диксоновского отдела перевозок, Нина Шандровская, кося лукавый взгляд на пассажиров, вплотную подступивших к массивному барьеру, ограждавшему ее рабочий стол, протелефонировала летчику Ступишину, Герою Советского Союза, в гостиницу: «Миша, тебя тут собираются побить!..»

В тишине, воцарившейся после этой информации, трубка не зарокотала, рычаг в ней не звякнул, и щеки молодой начальницы не стали покрываться краской. Напротив, она теснее прижала трубку к уху и, не обращая больше внимания на пассажиров, отвечала летчику с большой серьезностью, в духе полного взаимопонимания:

— Только первой срочности, конечно, остальные подождут!.. Ах, ручная кладь — слезы, чемоданчик на троих... Запас карман не тянет, а машину не пускает, это верно... Но вот вопрос: за счет чего?..

Пассажиры слушали, боясь проронить слово, напряженно следя, куда клонит Ступишин. На его самолет было погружено, кажется, все, в чем испытывала нужду обсерватория. Экипаж доставит ящики с болтами, из-за которых задерживается монтаж и подъем радиомачт. В жилых домах не работает электроотопительная система — Ступишин везет автоматические регуляторы, и обогрев помещений наладится. Оборудование для магнитного павильона и стартовый движок, водяные насосы и электрокабель, тепловые и мембранные манометры для метеорологических ракет...

Пойдет Ступишин или опять отбой?

Объяснение по телефону затягивалось. Горький опыт подсказывал пассажирам, что это ничего хорошего не предвещает. Они тяжело молчали, не сводя глаз с начальницы. Та своей солидарности с летчиком не скрывала. Да, придержала начальница вздох, не ускользнувший от пассажиров, она знает — на Хейсе горы, купола. Возврат Васильева — на что уж мастер Васильев — оставил неприятный осадок, все об этом говорят. Но, откровенно сказать, ей тоже несладко. У нее ведь две такие точки: Русская Гавань и остров Хейса. В Русскую Гавань даже сброс не могут сделать, такая обстановка. А Хейс сбросом не обслужишь, на Хейсе надо садиться... Она-то думает при теперешних условиях следует, конечно, немного подождать...

Среди пассажиров ропог. Начальница вскинула на них глаза, неожиданно строго, взывая к порядку.

— А за счет чего? Мяса? Сгрузить мясо? И вкатить бочку бензина? Это вариант, но, Михаил Протасович, кто позволит вылет, когда над Хейсом облака?.. Рабочая сила найдется... Есть перегрузить машину!

Медленно, цепляясь за острые выступы диабазы, перекачивается луна по краю острова, выставляя пепельные штрихи своего таинственного ландшафта. Искрится в антеннах, высоко провисших в редкозвездном небе. Со стороны «полярки» звучит гармоника. Голоса, ее окружившие, отчаянно смелы: «...вся из лунного серебра...» На таком морозе песня слышится, слышится. До самой «Колбы», наверно, достает. Что «Колба» — луна рядом, рукой подать...

Нет, до чего она близка! «Хозяйка гостиницы», производя побудку, с надеждой провозгласила на весь этаж: «Граждане пассажиры, луна — симфония». Когда грузились на полуторку, кто-то тихонько ахнул, повторив: «Луна-то, луна!.. Правда, что симфония...» Луна так вплелась в общие ожидания, что перестала быть небесным фонарем, который должен подсветить летчикам, когда они приблизятся к вершинам Хейса. У каждого нашлось, что сказать о ней и вспомнить... Мотивы, древние, как сам подлунный мир. Их оживило, им придало новый актуальный интерес сознание возросшей близости к луне, ставшее ныне всеобщим. Это чувство прежде никто не испытывал, оно сложилось в нас только что. И есть, вероятно, поступки, в которых это чувство себя уже проявляет...

На стоянке молчаливо хлопочут, тенями снуют легкие фигуры, выдувая из железных печей на саночках жар и пересылая его по гибким трубам к застудившимся моторам; лампочки-переноски проникают во все углы, описывая подле самолетов траектории, какие рисуют, изображая строение атома. Вдали, на «полярке», мигают синеватые пятна дневного освещения. Тявкают псы, рядом скрежещет гусеницами вездеход. Русская зима за рабочей околицей... А здесь окраина России, не поселка, и путь людей не кончен. Какая в самом деле даль этот остров Хейса — еще пять часов лета...

Эти минуты, когда решение принято, вылет разрешен, все обговорено и на самолетах идет последняя осмотрительная работа перед стартом, для летчиков всегда трудны. Командиры двух экипажей, Поляков и Ступишин, перебрасываются между собой короткими замечаниями. Поляков летит на остров впервые, Ступишин там уже бывал. Ступишин немного «окает», фразы Полякова отрывисты, ироничны, но не всегда понятно, кому адресуются.

В последний раз на Хейс пытался пройти Вячеслав Васильев. Цели Васильев не достиг. Пробыв одиннадцать часов в полете, он на остатках горючего дотянул до земли. После этой неудачи командование приняло решение посылать на остров экипажи парами, чтобы в случае беды не задержаться с помощью. Они, Ступишин и Поляков, первая такая пара.

— По коням! — весело напутствует Нина.

В самолет Ступишина впереди других входит инженер Орловский.

Когда Орловского снаряжали на материк за грузами для обсерватории, он, по свойственной ему стремительности в делах, решил, что сумеет раздобыть все необходимое и обернется недели за две. Он ошибся дней на десять, и в том еще не было беды. Но на обратном пути, перед самым финишем, инженер попал в жестокую ловушку: луна зашла, воздушная связь между Диксоном и островом Хейса прервалась. За месяц ожидания накал страстей достиг, естественно, предела.

Следом за инженером — седоголовый мастер уральского завода. Мастера ждут на острове Хейса, как министра, потому что только с его опытом, с его уверенностью и хваткой можно отважиться в тех условиях на полную перемотку генераторов, засланных на острог по ошибочной накладной. Неудача мастера означала бы выход из строя всей обсерватории, а его успех обеспечит экспедиции бесперебойное и достаточное энергоснабжение. За уральцем — электромонтажник Дима. Его на острове Хейса никто не ждет. Сам он тоже туда не собирался. Он честно отслужил свой срок по договору и держал путь на материк, в отпуск, когда ему повстречался Орловский, умыкнувший мастера, получивший на волжском заводе нестандартные регуляторы, только что продвинувший самые спешные грузы вплоть до Диксона. Орловский и Дима знакомы по Арктике тринадцать лет — где только вместе не работали... Едва они встретились, как инженер понял, в чем ахиллесова пята заводского мастера, чего ему недостает: уральцу необходим как раз такой помощник, как арктический монтажник Дима. Так и переменялся Димин маршрут...

Теперь, когда самолет наконец в воздухе и лег курсом (верить ли?) на остров, Орловский говорит, что самое страшное, слава богу, осталось позади. Попутчики согласны с инженером.

Грузовой отсек, в котором они разместились, не прогрет, на ребрах шангоутов наросла изморозь, отражая единственную лампочку, как зимний туннель. Дима, разо-

стлав на ящиках брезент, укладывается спать. Подобрал к животу колени и втиснув между ними ладони, он терпеливо пристраивается к изголовью, нащупывая виском удобное положение. Острый приступ аппетита, сопровождающий каждый полет Орловского, еще не кончился. Опорожнив банку тушенки, инженер остругивает тяжелым ножом рыбину, аккуратно отделяя от нее узкие доли ременного цвета.

Поскольку Дима припал к искомой точке, Орловский обращает свою речь к уральцу, недостаточно осведомленному в укладе полярной жизни.

— В Арктику надо завозить не домочадцев, а механизмы,— говорит инженер.— Болты вот по воздуху транспортируем. Толь еще где-то валяется, скобы,— он ищет глазами толь, скобы,— все обиходные предметы... На Диксоне валяются: сами, дескать, цилиндры льем. Молчали бы! При такой технике, как у них, эти цилиндры в ужасную цифру выливаются. Или болты. На материке этот болт выточить — копейка, а у нас одна штука на двенадцать рублей тянет. В Арктике все золотое: уголь, дрова... Или возьми плотника, который завербовался в Арктику,— продолжает Орловский.— Работничек едет один, а с ним еще шесть ртов. Каждый едок переваривает своим желудком за год в среднем тонну харча. Клади, следовательно, на этого плотника еще шесть тонн продовольствия. Такая арифметика. А вместо того на шесть бы тонн энергооборудования. Чтобы на том же пилзаводе, скажем, не музыкать всей артелью один брус...

Дверь пилотской рубки, приоткрывшись, обрывает разговор. Ступишин, привалившись кожаным плечом к потертому косяку, то отставляет створку на размах руки, то подтягивает к себе — водит ею.

— Кто же меня намеревался бить? — спрашивает Ступишин.

Проснувшийся было Дима смежает очи. Мастер, впервые пользующийся воздушным транспортом, вытянул шею и вперился в пещерную тьму за спиной летчика, обеспокоенно высматривая оставленный командиром штурвал. Орловский, который хорошо представляет, сколько персональных объяснений по поводу задержки ждет его на острове, без улыбки говорит:

— Честно сказать, такая мысль имелась.

Ступишин перестал играть дверкой.

— Больше ничего не умудрили?

— Товарищ писал заметку в «Правду». — Инженер кивает на мастера, показывая летчику, что все они держатся одного мнения. — Вы же знаете, какую роль играют грузы, которые мы проталкиваем. Как самая северная обсерватория, остров Хейса с началом МГГ...

— Брось-ка, слушай,— глухо произносит Ступишин. — Везут тебя, и будь доволен. Понял?

Яйцевидная дверка пилотской рубки захлопнулась.

— Ответственности у нас никто не любит,— говорит Орловский.

Командир экипажа среди пассажиров больше не появляется. Он проходит в левый угол своего отсека, садится перед темным смотровым стеклом. По стеклу ходит алый огонек — папироса молчаливого штурмана; в двух-трех местах лучатся ультрафиолетовые блики — в стекло попадают лампочки-подсветки, направленные на приборы. Вдруг яркость этой изнутри возникшей иллюминации на стекле блекнет, а обзор за ним становится еще свободнее и шире. Небо, мгновение назад аспидное, просветлело, вид его непрерывно меняется. Ступишин как-то рассказывал: в этой быстрой игре свежих ледяных красок полярного сияния иногда пробивается глубокий, мягкий цвет, который всякий раз напоминает ему осенний закат из окна рисовального класса училища: тропа меж голых берез, и студеный ручей, и клубы пыли над стадом — все прохвачено этим легким цветом покоя... Да вот он, я тоже его различаю. Локти Ступишина придавливают поручни кресла, ноги в стоптанных унтах сняты с педалей, широко расставлены — всем телом своим сливается летчик с ходом машины, повисшей над океаном. Вверенная автопилоту, она не шелохнется, словно неподвижно замерла. Она позволяет ему разглядывать, не отвлекаясь, все, что происходит вокруг.

Фантастический свет сияния, проникая в командирский отсек сверху и пробегая по нему, выхватывает из темноты чеканный профиль второго пилота, колени бортмеханика, чоботы штурмана «прощай молодость».

В одно мгновение все небо гаснет — и звезд не видно.

Штурман Марьян протягивает Ступишину бланк: координаты сияния, его вид, время. Документ подлечит отправке в центр по сбору данных МГГ, требуется подпись командира... Погасло небо. С летчиком бывает так: уткнувшись в цифры, он продолжает жить увиденным. Позапрошлой полярной ночью Ступишин поднялся с Диксона и первым из летчиков отряда, не имея на руках карты Хейса, сел там возле бочки горящего соляра, чтобы взять на борт рабочего-гидрографа, внезапно заболевшего сердцем. Растроганный Михаленко подарил ему тогда едва просохшую кальку, выполненную геодезистами, по ней летчик увидел истинные высоты и расположение куполов, между которыми его счастливо пронесло...

Как издавна водится среди людей, занятых одним делом и достигших высокой выучки, в кругу полярных летчиков сложилась своя меткая градация, указывающая сильные стороны дарования отдельных пилотов. Фронтальной опыт при этом, как принято говорить, не котируется, даже если он очень богат: слишком своеобразны условия арктического неба. Ступишин, лет десять проходивший в молодых, стал причисляться к среднему звену отряда сравнительно недавно. Его военные заслуги чтут, с ним считаются, но он-то знает, чего ему недостает и чего ждут от него. В настоящем летчике Севера всегда видны особые, именно полярные черты; за десять лет они созрели в нем, но законченной формы еще не получили. Необходим толчок, какой-то случай.

...И вот остров Хейса, место, резко отличное от условий, в которых испокон веку пролегают трассы отряда. Припомнив тот его рейс за большим рабочим и посадку возле бочонка с горящим соляром, среди куполов, Ступишину поручили ответственное задание. Разговоры, вызванные этим заданием, до летчика не доходили. Но один ветеран, завидя его, махал рукой: «Хейса, привет!» Другой спрашивал: «Пойдешь по куполовичам?» Это говорило ему о многом.

— Запроси погоду посвежее, облака пошли, — говорит Ступишин штурману, возвращая бланк.

Сцепив ладони и подавшись на кресле вперед, летчик заглядывает через штурвал. Тонкие палочки в полспички величиной, облученные ультрафиолетом, фосфоресцируют, склонившись парами, согласно, как оркестровые смычки, на одну сторону по нижнему обрезу приборной доски. Даже беглым взглядом видно, как чувствуют себя моторы. Хорошо чувствуют. Напряженное в таком полете создает не техника, а облака и люди. Те, которые позади, в пассажирском отсеке, те, которые на земле. В отряде. Дежурят в диспетчерских, следят за исполнением инструкций и приказов, создают их. Или попросту ждут.

— Облачность над Хейсом восемь баллов, ветер усиливается.

Восемь баллов, ветер крепчает. Похоже, все идет к тому, чтобы поставить его перед необходимостью возврата, как Васильева. С той лишь разницей, что горючим он запасся. А если что-нибудь случится в сегодняшнем полете, командир в ответе один и горюшка хлебнет, конечно, предостаточно.

— Я в приемном центре разговор слышал... — Это первая неслужебная фраза после взлета, которую позволяет себе штурман. Неизвестно, закончит ли он ее, так он медлит с продолжением.

— Ну? — подталкивает его командир.

— Поезд на Советскую... застрял.

— Ай-ай-ай! — раздельно и громко, сочувствуя, произносит второй пилот Каш, зимовавший в Мирном. — При таком минусе... Это как если бы нам сейчас на вынужденную загреметь...

— Не каркай, Алексей, — настораживается бортмеханик.

— Нас Поляков подхватит, не пугайся, а вот им теперь... Попляшут они вокруг елочки, пока с места сдвинутся. Мы в Мирный вот такую елочку привезли, карманную. Сейчас ее Бабарыкин принял. Говорил, поставит в Советской... Шестерня главных передаточных, ай-ай-ай! Жуткое дело. Это весь мотор разбирать.

— Затребуют от Перова помощи, — говорит бортмеханик, не сводя глаз с приборов.

— Перов следом не идет, — замечает Каш.

Некоторое время никто не говорит.

— Я Бабарыкина по фронту знаю,— нарушает молчание Ступишин.— Вместе по «пантерам» жухали. Они только-только тогда появились, «пантеры». Бабарыкин первым со своей батареей отличился, причем крепко. Маршал ему на месте «Невского» подвесил...

К дипломной работе Бабарыкина, к реферату, который он задумал, эта внезапная остановка посреди ледяной пустыни, все авралы, вызванные ею, не прибавят ни единой строки. И трудно пока сказать, выработается ли из него ученый. Но свое слово в арктической науке складывается, набирает вес и силу только на пути, которым он идет,— тут нет сомнений... Может быть, три часа потеряют участники похода, может быть, трое суток, пока будет ликвидирована авария, но от цели своей не отступятся, на полпути не увязнут, выберутся; из таких каждодневных побед и вырастает вера в советских людей, работающих на виду двенадцати антарктических экспедиций.

— Дойдут,— соглашается с командиром Қаш, принимая радиограмму.— «Ветер неустойчивый, будьте осторожней». Слышишь, командир?

Все, кто теснится возле Ступишина, и пассажиры, отделенные от летчиков дюралевой стенкой,— все люди на борту корабля, нацелившись на остров Хейса, обращены к антарктическому поезду спиной. Но при таком полярном движении ночного самолета и тех застрявших в опасном снегу тягачей вряд ли сыскать на всей земле две другие людские ячейки, более близкие между собой. Достойное, ответственное дело, ставшее почти что личным,— вот что их вяжет.

— ...Подходим, Михаил Протасович, включить командную?

— Не спеши. Как облачность?

— Семь баллов. Насчет ветра все предупреждают.

— Страхуются. Не могут определить направление и страхуются,— вполголоса, больше для себя, произносит Ступишин.

Спина его напряжена, он сдвинулся на самый край сиденья. Штурман отвел огонек папиросы за спину, чтобы не мелькал на стекле. Что видит впереди командир? В машине, вышедшей из-под бездушной власти автопилота, появилась игривость: она покачивается, ее потряхивает, будто на булыжной мостовой, по временам она проседает, как бы влетая в глубокую рытвину... Что же высматривает Ступишин? Контуры поселка, обозначенные фонарями?

— Передувчики будут... Пассажиров на посадке — в хвост.— Ступишин облизнул губы.

Нет, огни поселка ему неинтересны, теперь я вижу это. Но я никогда не замечаю, чтобы так смотрели на луну. Диск ее ясен, зеркально чист. Ни кратеров, ни хребтов, ни морей, таких прекрасных на Диксоне. Но не думается о том, как близка она, по-прежнему холодная к людским делам. Летчик взглянул на нее, как могут смотреть на смертельный пролом, зияющий меж скал, когда его надо взять, полагаясь на одни собственные силы; луна, посветив командиру корабля секунды, пропала. Когда самолет снова выскочил в полосу ее мучного света, на крутом спокойном лбу Ступишина прорисовался косой рубец. На войне такие шрамы обычно получали пилоты «ИЛ-2», не выпускавшие штурвала, пока в руках была сила, а глаза видели землю. Вероятно, в боевом самолете он любил сидеть так же, подавшись вперед, чтобы вовремя все заметить и оценить.

Луна больше не выходила.

Окончательно стряхнув с себя оцепенение, созданное жесткой хваткой автопилота, машина с капризным своеволием рвалась из его рук; толчки, глухие удары круто взвихренных воздушных потоков подливали масло в огонь. Ступишин приструнивал машину, парируя ее уловки и внезапные броски, и не сводил глаз со странного облака, возникшего впереди. Пересеченное узкими резкими тенями, оно высилось впереди панцирем гигантской черепахи. Огонек на крыле, избегая соприкосновения с ним, стал поспешно и плавно забирать вверх. Выше, выше... Но так и не ушел, не уклонился — сек темную глыбу по самой макушке.

— Купол,— сказал летчик, быстрым движением коснувшись переносицы, и снова беря штурвал обеими руками.

В следующий момент корабль швырнуло вверх, потом он прынул вниз. Бидон, наполненный подтаявшим льдом, стеклянно стукнул в дверцу, распахнув командирский отсек. И непрофессиональное ухо умеет уловить в полете каждый новый звук, тем более эти молотобойные удары, ломающие корабль. В настроении пассажиров — перемена. Кажется, теперь они ближе к пониманию происходящего. Освещенные сверху, они молчат, сохраняя каменную неподвижность. Инженер, его товарищ, заводской мастер — каждый из них также безразличен к мнению людей, на виду которых проходит его жизнь. Все, что накопело за месяц на летчиков, — отсюда. Ах, если бы сделал Орловский сейчас четыре шага, стал бы возле командира, взглянул бы его глазами вперед...

— В хвост! — прогремел механик не оборачиваясь, но так властно, что его слова пересилили гул моторов, и пассажиры, постигнув грозный смысл команды, быстро откатились в промерзший хвост.

Близок, я чувствую, момент приземления, и можно понять куда: в тесную улочку из желтых посадочных фонариков. Но как? Между самолетом и теми узко разостланными огнями поднимается, быстро растет в размерах горб. Купол, о котором на Диксоне летчик сказал, что он похуже... Скрученные воздушные струи, устремляясь навстречу кораблю, все тяжелее бьют по фюзеляжу, вызывая громово-гулкий отзвук. Как же он сядет? Горб поднимается на пути кабины в проулок, придвинутый к подножию. Туда можно разве что скатиться, скользнув над самым отрогом. Но сделать это без луны, во тьме, на ощупь невозможно... Удар в борт, в крыло, все заваливается набок.

Вдруг сильный сноп света выхватывает впереди оголенную грудь купола на высоте, задолго до посадочных знаков: упреждая свой годами выработанный навык, Ступишин включил фару. Обе фары — выпускную и ту, что вделана в крыло. И стал хозяином положения. Такие мгновения стоят месяца на трассе, ради них Ступишин и летает...

Выбросив вперед прожекторный луч, машина на взревевших моторах совершает одновременно прыжок через глянцевиный, треснутый поверху ледяной горб и вслед за тем плашмя, брюхом валится. Под ногами возникает пустота, пыль, взвихрившись с пола кабины, ударяет в лицо. Воют моторы, поддерживая корабль, зависший, как собака в стойке...

Через мгновение самолет неслышно вкатывается в проспект из карликовых фонариков.

— Припечатали! — Ступишин обеими руками обхватил штурвал и раскачивается вместе с ним на убегающих назад неровностях заснеженной тверди острова Хейса.

## 6

Я знал, что в молодой обсерватории, появившейся среди куполов Земли Франца-Иосифа, метеорологические ракеты поднимают в небо приборы, которые за облаками купаются в лучах солнца, на полгода скрывшегося от людей, а устройства в глухих цементных нишах научного павильона улавливают частицы, приносящиеся из космоса, что здесь выполняются другие важные исследования по программе Международного геофизического года.

Но странное дело! Едва доставленные самолетом грузы были сброшены на землю и машина Михаила Протасовича, с большим проворством и решительностью ускользя от пурги, круто вздыбив нос — на взлете опять-таки купол, — пронеслась над головами встречавших и можно было наконец оглядеться, как я спросил: «А где гидрографы?» Не специалисты по зондированию верхних слоев атмосферы, не магнитологи, исследующие приполюсный район, не озонметристы и не аэрологи — мой интерес обратился прежде всего к тем, кто с МГГ непосредственно не связан, но кто вырос в Арктике, исходил ее вдоль и поперек, заново открывая моря, проливы, острова, в частности Землю Франца-Иосифа, на которой поставлена эта новая обсерватория.

Неказистое жилье гидрографов было, собственно, на виду: глухая, без окон, банька, жилой дом, какие рубят под Архангельском, утепленный навозом и снегом свинар-

ник с пещерным входом, собачий кутух — все это выступало в сильном контрасте с полуколосьмом элегантных строений, воздвигнутых по образцу далекого Мирного, с их круглосуточным освещением, электропаровым отоплением, водопроводом. И тут мне вспомнилось застрявшее в юго-западных кварталах столицы село Семеновское, его почерневшие избы, тесно, уже с трех сторон, окруженные наступающим жилым массивом...

И труд и жизнь самих гидрографов, когда я стал знакомиться с ними, ближе всего подходили тоже не современному, а как раз традиционному представлению об Арктике. В их экспедиции центральные фигуры — производитель работ и каюр, основное тягло — собачья упряжка, главный груз — выюшка на колковых нартах. Вот отправляются на первую пробу льда гидрографы Войгачев и Деметьянов. Все выходят на крыльцо. Кто пробует постройку, кто подтянет груз на нартах, кто напомним про манильский трос: «Взяли?» — «Не на купола идем!» — «Да ведь знаешь...» И каюр Деметьянов вскидывает на плечо карабин.

Деметьянов и Войгачев должны разведать лед Австрийского пролива и дать ответ: сможет пройти по нему в район основных работ вездеход Разманова или нет? Войгачев горит порывом, кабина реактивного истребителя — лучшее место, которое виделось ему с детских лет. В походе он быстр, неутомим, всех превосходит на себя. Вон он как идет за упряжкой! У него даже походка переменилась — вон он как идет! Носки глядят немного внутрь; подавая вперед свое легкое и сильное тело, Войгачев не просто шагает, а как бы ввинчивает свои широкие ступни, как бы засекает некий рубеж... Так ходят люди, работающие среди торосов. От результатов их разведки зависят сроки начала общих работ, и Войгачев сообщает по радио: «Сильно пуржит, поход продолжаем». Пурга может в час короткого отдыха сорвать вместе с колыями и унести легкую армейскую палатку. Или заставит их окопаться в снегу и ждать — неделю, десять дней, пока не утихнет, не прояснеет небо. Но они идут. Может разойтись под ногами ноздреватый нехрусткий морской лед, за который нельзя удержаться, когда все спасение из губельного провала — в пещне, протянутой верным товарищем. Но они идут. Лед молод, не толст, двадцать пять — тридцать сантиметров. Он гудит под ногами, как пустая тара, иногда зияет трещинами. Одни проломы дышат, ширясь на виду, другие неподвижны, пока не приблизится упряжка... Повинуясь взмаху плечистого Деметьянова, его властному голосу, псы, запряженные веером, с визгом и лаем прыгают. Следом, сильно толкнувшись, перемахивает низкий дымок над водой Войгачев. Вот и весь полет его, мечтавшего о реактивном истребителе. Но разведка проведена, цель достигнута, и на базе ликуют: Войгачев и Деметьянов дали «добро».

На морские карты лягут теперь точные сведения о глубинах, прояснятся береговые очертания, и капитаны не станут посылать возмущенно-иронических радиogramм: «Согласно карте, иду по суше».

Наблюдая работу гидрографов, я, кажется, постепенно додумал, уяснил себе, с чего же это так сильно к ним потянулся. В их суровых буднях, полных острого напряжения, риска, удивительных находок, жива романтика, открытая глазу, слуху, чувству; здесь воочию сталкиваешься с тем, что присуще Арктике издревле. Мир, освоенный литературой.

Однако резервы нехоженых земель в Полярном бассейне давно поиссакли, белых пятен на земном шаре не остается, романтика географических открытий кончается. Видный из домиков обеих экспедиций знак Разманова — деревянная пирамидка, названная в честь гидрографа Вениамина Разманова, — может быть, уже одно из последних наименований, нанесенных на карту ЗФИ, а вместе с тем и памятник уходящей романтике...

Ибо под сень высокого знака, на стартовую площадку ракетчиков и в лаборатории телеметристов, к магнитно-вариационным станциям и кубическому телескопу, вынесенным поближе к полюсу, проникает новая для Арктики романтика, порожденная временем, — романтика планетарного, космического поиска. Войти в ее сферы, освоиться в ней трудно. И потому, что сама она еще складывается, и потому особенно, что не хватает знаний, опыта, который бы помог сравняться с теми, кто про-

двигается к новым рубежам; с горькой досадой, с болью видишь, что просто бессилен порой опережить волнения, доступные искателям,— как же рассказать о них? Невольно начинаешь утешать себя старыми словами: раньше было проще.

Между прочим в них много правды.

Один из тех, чьи рассказы я предвкушал еще в Москве, до отлета на остров Хейса,— магнитолог Константин Куприянович Федченко. Свое служение Арктике он начал лет двадцать пять назад, зимуя в Кармакулах вместе с женой и с помощью простейшего устройства наблюдая земные токи. Когда наши исследователи приступили к поискам второго магнитного полюса в Полярном бассейне, Федченко со своей маленькой палаточкой селился обычно «на хуторах», в стороне от дрейфующего лагеря, появляясь в нем лишь во время обеда. На магнитологе была длиннополая куртка без единой пуговицы, опоясанная брезентовым ремнем с обрезанной пряжкой; свои ручные часы он отдавал на хранение товарищу. Благодаря такой предосторожности все его приборы, нетерпимые к присутствию металла, проявляли спокойствие и примерную чуткость. Одновременно Федченко проводил первые в Арктике наблюдения за космическими лучами. Тут он напоминал одного из тех одержимых, для кого первая отрада — долбить толстый озерный лед и околевать на нем с леской в руке. В своей длиннополой куртке, охваченный подобием кушака, Федченко часами присаживал над голубым стаканом лунки, куда опускались цилиндрики, способные «улавливать» частицы, несущиеся из холодных высот мироздания.

И я видел, в какую он впал тоску, как петлял вокруг лунки и заглядывал в нее, когда оборвался и булькнул на дно один его цилиндрок, и каким простодушием и счастьем просияло его обветренное лицо, когда стало известно, что другой цилиндрок «уловил» космическую частицу рекордной, непостижимой энергии в миллион миллиардов электроновольт. Я мог также оценить трезвую мужественность ученых, когда в итоге двухмесячных поисков, связанных с большими затратами, им пришлось признать, что второго магнитного полюса в Полярном бассейне не существует, и с волнением очевидца, причастного к редкому событию, наблюдал, каким будничным торжеством был наполнен тот день на льду, когда Гаккель и Тимофеев впервые нащупали подводный хребет, получивший имя Михайлы Ломоносова,— день одного из крупнейших географических открытий нашего века. Я понимал, что испытывают люди, вместе с которыми находился, представлял, как об этом писать.

А теперь, на острове Хейса, завершив обход геофизического павильона, я слушаю объяснения Федченко в лаборатории космических лучей, и этой уверенности нет во мне. «Нейтронный монитор»,— с долей нежности в голосе говорит Федченко. Я совершаю вокруг агрегата по возможности степенный круг. Монитор, понятно, не чета тем цилиндрикам в лунке, это-то я схватил. Габаритное устройство. Вроде автомата, продающего газированную воду... Да. «Позволяет исследовать составляющую космического излучения, обладающую малой энергией»,— внятно произносит Федченко. Внимательно слушаю. Пробую ногтем качество покраски. Очень ровное покрытие. Составляющая... Малые энергии... Прекрасно.

Наступает пауза. Вся суть, может быть, в том, чтобы дать ей полное истолкование. Потому что, с одной стороны, со стороны Федченко, в этой паузе некоторая неловкость, затрудненность перед тем, чтобы в доступной форме передать, сколь серьезны, сколь значительны надежды, возлагаемые на капитальную оснащенность этой лаборатории, занимающей треть вместительного здания. Ведь ему, кандидату наук, и его молодому коллеге физику Олегу Одинцову, и друзьям Олега — всем им выпало одно из лучших мест для наблюдений на планете: восемьдесят первый градус северной широты. Магнитное поле Земли, сортируя поток частиц, несущийся к нам из космоса, львиную долю отводит к полюсам. Космические лучи уже принесли исследователям позитрон и мезон, открыли виды материи, стоящие на грани вещества и излучения, ведут человека в глубь атомного ядра, которое взрывается под их напором. Откуда она, эта поразительная энергия? И откуда они сами, эти частицы, какой межзвездной циклотрон непрерывно изготавливает их? Множество других, более тонких, детальных, острых, первостепенных вопросов, поднимая за собой целый океан человеческих чувств, готовы выплеснуться с одной стороны наружу во время воз-



никшей паузы. Но, едва поднявшись, они отхлынут назад, без ошибки угадав неспособность другой — моей — стороны должным образом воспринять, охватить, выразить все это богатство...

И так на каждом шагу.

Столовая, как мне и говорили, общая: в одной стороне места геофизиков, в другой — гидрографов. Здесь крутят фильмы, сражаются в настольный теннис, забивают «козла». Здесь можно наблюдать церемониал вручения радиogramм и войти в курс самых последних новостей.

— Сергей Федоров говорит, что в основном Гаттерас, понимаешь ли, прав.

— Этот... из новеньких?

— Гаттерас? Жюль Верн про него писал, деревня.

— Не попадалось.

— Путешествовал на Северный полюс. Дошел до полюса, а там — вулкан. Он так огорчился, что у него вроде бы реле залипло... слегка рехнулся.

— То-то и видно — вулкан...

— А Федоровы обработали свои сейсмограммы, и Сергей подтверждает, что на полюсе вулкан.

— Н-да. Еще один Гаттерас.

Чета сейсмологов — Ирина и Сергей Федоровы — ввели меня в темную комнату и указали на прибор, «перед которым мы благоговеем». К такому заявлению я был отчасти уже подготовлен. «Вчера нас опять трясло!» — поспешила обрадовать меня эта пара, едва я переступил порог, чтобы познакомиться с ними. Представившись, Сергей развернул узкую пленку сейсмограммы и с гордостью сказал: «Роскошь, правда?» После этого они вдвоем объясняли, как устроено их жилье, чистое и светлое. Библиотека, которую Сергей привез из дома, «подобрана умно» — твердо отметила Ирина, не сводя своих больших глаз с мужа, а стены спальни, благодаря малярному искусству Ирины, «приобрели такой теплый оттенок» — заметил Сергей. Я отвечал на все, как подобает гостю. И на то, что в Москве они живут больше у Сережи, «потому что так велела бабушка», и на то, что электрический звонок над кроватью «нехитрая, но превосходная штука». Этот звонок, соединенный с приборами за стенкой, пулей срывает Сергея с постели, едва в земной коре подопечного ему сектора Арктики произойдет колебание. Сейсмические установки, внушавшие молодым специалистам трепетное чувство, так глубоко в этот район никогда еще не проникали.

И вот теперь, при входе в темную комнату, счастливая случайность спасла меня от необходимости высказать личное к ним отношение. Когда, ступая, по примеру хозяев, на цыпочки, я переступил порог едва освещенной лаборатории, раздался слабый щелчок. Я скорее догадался о нем, чем расслышал, — оба мои провожатые вдруг замерли. Остолбенели. Расширившиеся в темноте глаза маленькой женщины с торжеством устремились на мужа. Дыхание их пресеклось... но прибор высочайшей чуткости не сработал. Мгновение ложной тревоги приоткрыло мне, чем они живут, — напряженным предчувствием первого открытия.

Молодой инженер, проводивший ракетные зондирования, доказал мне свой дневник. Записи начинались решительной строкой: «Бросаю курить и отпускаю норвежскую бороду. Она проста по виду и согласуется с полярными условиями. Если будет расти клоками — сбрею». Инженер и его ближайшие товарищи впервые в Арктике. «Нас предупредили, что высадимся там, где не ступала нога человека. Все ли выдержат испытание?»

По дневнику можно видеть, как нетерпеливо ждали появления именно неведомого, пустынного острова эти молодые люди. Но день встречи с островом отмечен следующей негодующей записью: «Стыдно за ответственных товарищей, изрекавших красивые фразы, вроде: «Сойдем там, где не ступала нога человека». К спекуляции на таких чувствах могут прибегать авантюристы, либо те, кто не верит в свои силы. Ложь и обман, примешиваясь к доброму делу, глушат лучшее, что есть в человеке. Не признаю цели, которая оправдывает подобные средства. Для чего понадобилась ложь?»

Встреча прибывших ракетчиков со старожилыми-гидрографами сопровождалась эпизодом, хорошо обрисовавшим взаимоотношения старон.

«Взмокшие, усталые, грязные, стояли мы возле стартовой платформы, доставленной на место. Могли говорить только о том, как все происходило, когда платформа двигалась к берегу, прогибая лед, но связного разговора не получалось. Подошел гидрограф в танкистском шлеме, управлявший головным трактором. Этот парень — герой дня. Если бы не он, не видать нам платформы. Я ждал его справедливой насмешки. Обойдя платформу и попиная ее ногой, тракторист очень серьезно спросил:

— Когда они сами-то приедут? Профессора с академиками?

Я подумал, что его интересуют ученые, которые будут посещать обсерваторию в ходе МГГ. На всякий случай уточнил:

— Гости, что ли?

— Ну, кто будет ракеты пускать.

Нам осталось пожать плечами».

Ожидание и внутренняя готовность молодежи к арктическим невзгодам все больше уступает место тем волнениям, которые связаны с проникновением в мир непознанного. Запись, сделанная за несколько дней до первого ракетного запуска, особенно характерна.

«Жизнь наша напоминает коммунизм, каким он должен быть по моим представлениям. Деньги изъяты из обращения. Люди заняты полезным трудом на общее благо. Труд такого характера, что я, например, испытываю в нем потребность. Кинокартин хватает с избытком. Вразрез с этим идут различные отрицательные стороны. Правда, они проявляются не так, как на Большой Земле, но суть не меняется.

«В Арктике человек прозрачнее», — говорят старожилы. Я думаю, изречение сложилось еще в те времена, когда Арктика создавала для пришельцев угрозу гибели, смерти, вблизи которой всегда открывается лицо человека. В жизни обсерватории повседневным является мерило, общее с Большой Землей, — труд. Есть такие типы, у которых волчий аппетит, медвежий сон и полное отвращение ко всякой работе. Кое-кто исправляется, кое-кто прощается с Хейсом. Об этих фактах много разговоров, но все же не они определяют общее настроение.

Вот Толя. Садясь обедать, брезгливо протирает клочком бумаги клеенку, осторожно высматривает, куда поставить локти; прежде чем пустить в ход ложку или вилку, пристально исследует их на свет. Таков же он и за работой. В ярком пятне электрической лампочки на его столе — ни одного лишнего предмета. Чистота почти стерильная. Он еще время от времени обдувает этот заколдованный круг, машинально сгоняя невидимую пыль. Весь инструмент отодвинул в тень, отвертки и ключи берет уверенным движением, не отрывая острого глаза от детали, которой занят. Выражение полной сосредоточенности может не сходить с его суховатого лица часами, пока он бьется над деталью, доводит ее. Ничто в его лице не переменится и в тот момент, когда наконец он постигнет, в чем заковыка, и методически «дожмет» деталь. Его тонкие губы сомкнутся еще плотнее. Отодвинет сделанное за пределы круга, точным движением введет в светлое пространство очередную деталь, вопьется в нее. Свою радость Толя выпивает сам. Торжествует, не призывая свидетелей.

Володя каждый предмет своих забот охаживает, будто перед ним живое существо, с которым ему интересно и приятно повозиться. Влюбленно осматривает его, просит не робеть. Едва ли не треплет ладонью. Закончив сборку агрегата, может прочесть ему небольшую нотацию, напомнить об ответственности, о надеждах, на него возлагаемых. «Тебе ведь нетрудно быть примерным, — говорит Володя, — всего несколько минут». Удачно пропаяв узелок, может поднести его ко мне на ладони и сказать: «Посмотри, какая прелесть». Если что-то не ладится, полное лицо Володи принимает скорбное, мученическое выражение.

Все это я вижу, не покидая своего места, и в каждый момент общая картина мне ясна. Но настроить себя на положение высшей инстанции, настроить твердо и реши-

тельно, не удастся. Сто раз на день охватывает меня это тревожное чувство: после меня — никого. Приняв доведенную деталь, громко, во всеуслышание заявив, что с этим покончено, я снова и снова к ней возвращаюсь. Ничьи руки, более искусные, ничей глаз, более зоркий, ничья голова, более мудрая, не подвергнут нашу работу проверке, к чему мы привыкли. До самого момента пуска ракеты — и в тот момент! — все будет только так, как сделаем мы. Единственное, что может служить гарантией и приносить какое-то успокоение, — взаимный контроль».

Не знаю, достаточно ли сказанного, чтобы понять, почему в день ракетного запуска, когда товарищи, свободные от вахт, поспешили на дальний берег пустынного озера, откуда хорошо видны стартовая площадка и самый эффект пламени и дыма и звучно слышен шелестящий грохот ракеты, просверливающей арктическое небо, — почему в то светлое утро я заранее притаился в лаборатории телеметристов, куда не доносился даже звук начального взрыва? А было именно так.

Нащупав главный нерв здешней жизни, я мечтал подобраться как можно ближе к сути, далекой, конечно, от красочных зрелищ.

В аппаратной па два окна, задернутых льдом, было свежо. Из своего угла я видел небольшой экран. Вот быстрая зеленая клинопись, скользнув по нему беспокойной строкой, сообщила, видимо, что-то важное, потому что бородатый инженер скинул свою лыжную куртку, присел, хрустнув коленками, спортивно распрямился и приник к окуляру, как к бойнице. «Сейчас пойдет», — сказал он о ракете. Его напарник почиркал карандашом, проверяя отточенный грифель, — он готов был вести хронометраж. Я знал, что молодые инженеры женились перед самым отъездом в экспедицию, что оба ленинградцы. Как-то спросил: «Войну помните?» — «Куда там, — махнул рукой один, — мне девять лет было». — «Мне одиннадцать», — сказал другой. — Помню, как на станцию влетел горящий эшелон, полный раненых». Интернат, эвакуация. «Самое страшное — голод. Бомбежка ерунда. Голод». Ужас и отчаяние детей, которых кто-то спасал, защищал от смерти, а она гналась по пятам — вот чем остались для них те суровые годы. Ожидание, в котором находились сейчас молодые исследователи, придавало их солидарности новую черту — углубляло ее. Бородатый, в легкой безрукавке, взяв в свои руки управление аппаратом, сдержанно проговорил: «Пошла... хорошо пошла». Динамик заверещал. «Утенок-то кря-к, кря-к...» Его товарищ похоже и очень забавно передразнил радиоголосок со стокилометровой высоты, в самом деле напоминавший писк утенка. А бородатый, не отрываясь от раструба, добавил: «Проситесь, поймите меня, дескать... Будь спокоен, не отпустим».

Этим кряканьем и писком передавался на землю самый обстоятельный, никем и никогда еще не читанный рассказ о том, что происходит в глубинах арктического неба. Физический смысл картины оставался мне неясен, как работа нейтронного монитора, как достоинства сейсмографов. Но эти же самые минуты позволили приблизиться к тому, что дорого и важно не менее научного результата. В своем углу, где в свежем воздухе держится острый запах жженой канифоли и пота, где потолок повит серпантинном просыхающей пленки с разведанными о трассах близкого будущего, — в телеметрической аппаратной острова Хейса я словно почувствовал, как святой исследовательский озноб прохватывает все лаборатории, появившиеся в этом необыкновенном году под всеми широтами планеты.

Передо мной раскрывалась частица огромного труда, которым люди завершают освоение земного шара, проникают в его космические окрестности и сплавляют свои ряды во имя новых дел, достойных человека.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Академик С. СТРУМИЛИН

★

## РАБОЧИЙ БЫТ И КОММУНИЗМ

**В** годы развернутого строительства коммунизма хочется себе представить не только общие контуры, производственно-техническую базу и, так сказать, внешний фасад этого нового общества, но и все то, что украсит в нем наш повседневный труд и быт — его внутреннюю обстановку и содержание, социальные интересы и духовный облик.

Хочется знать, что нового принесет с собой коммунизм в отношении людей к семье и собственности. Что останется от таких элементов нашего быта, как браки и разводы, алименты и завещания, сберегательные книжки и домашние копилки на «черный день»?

Какие взаимосвязи между каждой семьей и школой, общественным потреблением, материальным производством и культурной самодеятельностью соединят коммунаров в большие коллективы теми или иными общими задачами?

В каких формах будет сталкиваться сознание коллективизма с пережитками индивидуализма в семье (ревность, измена, родительский эгоизм, неблагодарность детей) и в общении людей (зависть, клевета, интрига)?

В каких сочетаниях личных и социальных инстинктов, воспитанных «условных рефлексов» общественного бытия сложится та новая мораль, которая в последнем счете исключит собою за ненадобностью все предписания закона и формы принуждения?

Хотелось бы предугадать даже типы архитектурных ансамблей, достойных стать жилищной базой тех больших коллективов трудящихся, какие можно будет назвать трудовыми и бытовыми коммунами.

Такова задача автора этих заметок.

Речь идет не о том, конечно, чтобы сочинить еще одну утопию в стиле фаланстеров Фурье, возвещавших о мировой гармонии. С тех пор прошло более полутора столетия, и коммунисты из мечтателей давно уже превратились в строителей. Они уж построили социализм и продолжают совершенствовать жизнь общества — и производство, и быт, и сознание людей. В этих условиях гораздо легче многое предусмотреть и предугадать, исходя из уже определившихся тенденций развития. Правда, возможности, вкусы, устремления и чаяния людей многообразны и, устраивая свой грядущий быт, они, надо думать, найдут каждый для себя и своего коллектива, по собственному выбору, много равновозможных решений. Но бытие определяет сознание. И потому, отнюдь не пытаясь даже представить себе все такие частные варианты решений и в принципе отвергая готовые шаблоны и штампы, в которые уложились бы все живые ростки коммунизма, нам хотелось бы все же, исходя из «бытия», наметить хотя бы в самых общих чертах те линии, по которым мыслится развитие и общественных нравов, и семейных устоев, и единоличной психики людей ближайших поколений.

Начнем хотя бы с устоев семьи в условиях коммунизма.

## 1. СЕМЬЯ И БРАК

Семью можно рассматривать как самый элементарный коллектив, ячейку или молекулу, из которой складывается современное общество. Семья — это наиболее естественный первичный союз, спаянный узами личных влечений и кровного родства, общим хозяйством и длительными заботами о воспитании детей, отвечающий тем самым основной задаче самосохранения и дальнейшего воспроизводства всего человеческого рода. В основу семейных связей заложены мощные глубинные инстинкты рода, но на этой целинной почве поднимаются такие социальные всходы, как непринужденное сотрудничество и взаимопомощь всех членов семьи, как невольное их преклонение перед организующим разумом старших и покоряющей красотой мужества и юности во всех ее проявлениях и как сама — увенчанная всеми цветами и песнями, готовая на любые жертвы и подвиги, вдохновенная и все возвышающая — юная любовь.

Институт семьи со всеми его приметам — это как раз та важнейшая особенность, которая отличает общество от орды или стада и возвышает его над всеми отрядами животного царства.

В буржуазной среде все явственнее наблюдается глубокое разложение семейных нравов. Браки заключаются, но целью их становится не рождение детей, а всякого рода деловые соображения. И потому число абортвов значительно обгоняет число рождений. «Деловые соображения» не могут заменить любовь. Брачная жизнь становится слишком пресной, и в поисках более острых переживаний супруги обращаются к адюльтеру, буржуазная литература и искусство расцветивает блуд всеми средствами порнографии. Но весь этот купленный «пыль», как и любой поддельный товар, быстро теряет всякую цену, и подлинной семьи ни в браке, ни вне брака не получается.

В Японии, как известно, разрешаются браки и на срок, скажем, на год. Проходит год, родится ребенок, и отец, бросая мать и ребенка на произвол судьбы, свободен для новых приключений. В этом случае извращение задач брачного союза становится совершенно очевидным. Но и там, где формально браки бессрочны, они все чаще становятся весьма кратковременными. Так, например, в США на каждую сотню браков ежегодно приходится до двадцати шести разводов; около сотни тысяч браков длятся не свыше одного года или даже нескольких месяцев. Ясно, что судьбы детей в таких разбитых семьях весьма гадательны. Но еще печальнее участь детей, рожденных вне брака. А между тем число их все растет, удваиваясь через каждые пятнадцать лет, и к 1955 году в США превышало уже сто восемьдесят тысяч внебрачных рождений за год.

Всего ярче вырождение буржуазной семьи сказывается в нежелании выполнять основную свою задачу — рожать детей.

Таким образом, можно сказать, что в борьбе социальных инстинктов сохранения рода с индивидуалистической распущенностью семейных нравов буржуазного общества проявляется вполне определенная тенденция: падение нравов тем глубже, чем выше поднимается над общим уровнем ничем не сдерживаемая в своих вожделениях верхушка общества.

Принципиально иное положение в условиях социалистического общества.

Прежде всего в этих условиях, конечно, исчезает сама буржуазия. Ликвидация крайностей богатства и нищеты вносит серьезное оздоровление в семейные нравы. Женщинам за равный труд обеспечено везде равное с мужчинами вознаграждение, почет и уважение. Они все больше высвобождаются от кухонного рабства и неблагодарной роли не то неполноценных иждивенцев в семье, не то домашней прислуги. В советских условиях муж и жена везде — и у станков на заводе, и в колхозной бригаде, и в домашнем быту — чувствуют себя равноправными и равноценными членами общества. Брак по расчету становится редчайшим явлением, а мир и любовь в семье — все более обычной нормой.

Характерно, что брак в СССР заключается в более ранние годы и чаще, а разводы реже, чем в капиталистических странах. Рождаемость в условиях социализма много выше, чем на буржуазном Западе. Например, в 1958 году на тысячу душ населения в СССР приходилось 12,5 зарегистрированных браков, в то время как в США их было

8,3, в Англии — 7,6, во Франции — 7. Число разводов в СССР не превышало 8,5 на сто браков, а в США оно достигало 26,3, то есть в три с лишним раза выше, чем у нас.

Как же можно представить себе судьбы семьи в дальнейшем, по мере продвижения общества от социализма к коммунизму?

Каждый социальный уклад определяет свои особые черты в развитии семьи и особые законы народонаселения. Но в первой фазе коммунизма — в условиях социализма — эти закономерности не могли еще найти себе полного выражения. Тем интереснее те важнейшие тенденции, какие уже ныне могут быть подмечены в этой области, в той или иной мере предвещая и наше ближайшее будущее.

Важнейшими из них на протяжении всего периода социалистического строительства в СССР являются такие неоспоримые факты, как неуклонный рост благосостояния и связанное с ним резкое сокращение смертности трудящихся масс Советского Союза. Общеизвестно, что в нашей стране народный доход из расчета на душу вырос с 1913 года по 1958 год в пятнадцать раз, а смертность сократилась в четыре с лишним раза. Это огромный скачок, благодаря которому смертность в СССР — 7,2 на тысячу душ — уже теперь ниже, чем в любой из богатейших стран капитализма<sup>1</sup>. И, конечно, с дальнейшим ростом изобилия и профилактических забот о народном здоровье на путях к коммунизму эта тенденция к снижению смертности — и общей и в особенности детской, на радость всем матерям, — сохранит все свое действие. Но из этой тенденции совершенно закономерно вытекает и другая. Сокращение смертности во всех возрастах влечет за собой рост как общей продолжительности жизни всех трудящихся, так и длительности ее в трудоспособном и брачном возрастах. В частности, в нашей стране средняя продолжительность жизни составляла к 1897 году всего тридцать два года, к 1927 году — сорок четыре года, к 1939 году — сорок семь лет и к 1958 году — уже шестьдесят восемь лет. Общая смертность населения в СССР уменьшилась по сравнению с дореволюционной в четыре раза, а детская смертность — в шесть раз.

Ясно, что такие достижения в оздоровлении жизни советского народа не могли не сказаться весьма существенными сдвигами и в возрастной структуре рабочей семьи и на показателях рождаемости. В царской России в 1913 году на каждые сто случаев рождений приходилось немногим больше двух тысяч душ населения всех возрастов, а к 1958 году, в условиях социалистического быта, их стало уже без малого четыре тысячи. Реально это означает, что в новых условиях удельный вес старших возрастов в семье возрос почти вдвое по сравнению с дореволюционным временем. Семья становится беднее иждивенцами, но богаче взрослыми, работоспособными членами, в том числе женихами и невестами. Именно поэтому такая семья раньше дробится, выделяя из себя новые, экономически самостоятельные семьи.

Эта экономическая независимость как предварительное условие возможности образования новой семьи и приводила к необходимости образования на низких уровнях производительных сил самых больших, патриархальных семей. В петровский период (начало XVIII века) крестьянская семья феодальной русской деревни насчитывала в среднем до 9,5 душ обоюго пола. В эпоху капитализма, по переписи 1897 года, средняя семья в России сократилась на селе уже до 5,9, а в рабочей среде — до 4,7 душ.

В капиталистической Америке среднее число членов на одну семью еще в 1890 году по всем типам хозяйств не превышало 4,9 душ, а к 1956 году, в условиях империализма, число членов семьи, за исключением бессемейных одиночек, сократилось уже до 3,4 душ на семью (двор), в городах и того ниже. При этом много женщин брачного возраста в США остаются вовсе бездетными, в 1956 году их было не менее девятнадцати процентов в возрасте от сорока пяти до пятидесяти лет. А детей у всех матерей старше сорока пяти лет оказалось не более 2,7 на семью. Таким образом, эти американки не слишком себя утруждают, даря своей стране новых сограждан за весь брачный период в двадцать пять—тридцать лет не чаще, чем однажды за целое десятилетие. Такая же тенденция к сокращению размеров семьи представляет собой доволь-

<sup>1</sup> Для сравнения напомним, что в США за тот же период времени национальный доход на душу поднялся всего на семьдесят шесть процентов, а смертность упала с 13,2 до 9,5 на тысячу душ — на двадцать восемь процентов.

но общее явление во всех культурных странах и объясняется не только порчей буржуазных нравов.

В СССР, по данным последних лет, среднее число членов в семье не превышает уже 3,7 душ. Важнейшей причиной такого дробления старой большой семьи в условиях социализма надо считать новые общественные отношения в производстве. Женщина становится менее экономически зависимой от заработков отца и мужа и, стремясь наравне с мужчиной к повышению уровня культуры, все более тяготеет кухонным чадом, пеленками — всем тем, чем старый быт ограничивал ее кругозор. От обязанностей кухарки и няньки ее отвлекают гораздо более привлекательные производственный труд и культурная деятельность. Идти под начало в мужнюю семью, к своей свекрови, и взять на себя дополнительные заботы еще и о других, по существу чужих людях, юные невестки отнюдь не стремятся. Двум хозяйкам у одной печки вообще тесно, и каждая из них сама хочет в собственной семье чувствовать себя полной хозяйкой. Отсюда и неизбежное дробление семьи.

Посмотрим теперь, что происходит в деревне.

Как только женщина выходит из примитивной обстановки индивидуального крестьянского хозяйства, где сами условия производства требуют семейной кооперации и общего напряжения трудовых ресурсов всей семьи, она сразу же целиком освобождается от уз этой кооперации. С переходом в колхоз или в город, на завод, из индивидуального в общественное производство, женщина-работница получает вместе с личным заработком полную возможность располагать своей судьбой. Правда, вступление в чужую семью все еще нередко угрожает всякого рода неприятностями житейского характера, но, свивая себе собственное гнездышко, самостоятельные молодые люди избегают и этой опасности. В советских условиях особенно заметно, как облегчается судьба работницы-женщины: она может работать на одном заводе, муж — на другом, питаться обним можно и в общественной столовой, а детей воспитывать в яслях, детских садах, школах-интернатах. Непропорционально большой дополнительной хозяйственной нагрузки в таком быту от женщины по сравнению с мужчиной не требуется. И тем больше времени остается у них и для труда, и для культурного роста, и для семейных радостей.

Любовь как важнейшая спайка будущей коммунистической семьи уже ныне становится все более свободной, то есть не принужденной никакими внешними соображениями, расчетами и обстоятельствами. Но коммунисты никогда не смешивали свободу любви с половой распушенностью буржуазных нравов. Те, кто готов хоть каждый день переходить из одних объятий в другие, достойны сожаления, ибо они вовсе не знают, какое это глубокое и захватывающее чувство взаимного тяготения двух сердец — индивидуальная любовь. Она исключительна и неделима. Красавицы, которым нравится водить за собой целый хвост вздыхателей, не любят ни одного из них. Донжуаны, готовые соблазнить целый гарем поклонниц, вовсе не стоят их любви. Для стоящей любви не требуется больше двух партнеров. Но и брачная пара без любви — это только узаконенный разврат.

Правда, иные наши писатели очень охотно обыгрывают в своих романах разные варианты темы о любви в «треугольнике». Два героя любят одну героиню, но первый — муж — целиком поглощен своей работой, и жена уходит от него к другому, который больше уделяет ей внимания. В другом варианте две героини и один герой, мечущийся между ними. Жену свою он уже разлюбил и любит другую, но развестись с женой не решается, а бросить детей еще труднее — и вот новая, крепкая и достойная любовь трагически обрывается. Все такие тяжелые конфликты и коллизии — между деятельной индивидуальной любовью и служением обществу или между любовью к женщине и заботой о судьбах ни в чем не повинных детей — в современных условиях весьма вероятны и не могут быть сброшены со счетов. Но все же это не норма, а отклонения от нее. В условиях коммунизма найдутся способы примирить интересы семьи и общества. Однако все такие возможности в наши дни, в условиях социализма, еще крайне ограничены. Учреждений общественного воспитания пока очень мало; предприятий общественного питания тоже совершенно недостаточно, а главное — и по цене и по качеству

это питание оставляет желать еще многого. И потому в полной мере войдут в рабочий быт такие ростки коммунизма, как общественное питание и воспитание детей, лишь как элементы построения самого коммунизма. Эти ростки, впрочем, у нас уже налицо. И нет никакой загадки в том, как они будут развиваться.

## 2. СЕМЬЯ И ДЕТИ

Дети должны рождаться здоровыми и физически крепкими, воспитывать их надо так, чтобы они стали достойными членами того общества, в котором им предстоит жить и строить свою судьбу. И если первую задачу можно целиком возложить на семью, то вторую может гораздо успешнее выполнить только само общество.

Норма поведения, вытекающая из глубин инстинкта самосохранения каждого индивида,— это неистребимое и в известных границах — пока такое эгоистическое чувство не перечит еще более глубинным, социальным инстинктам сохранения всего человеческого рода — весьма полезное приспособление к наличным условиям существования. Брачный союз, если его крепит любовь,— это уже, так сказать, эгоизм вдвоем. Рождение желанных детей расширяет этот семейный «эгоизм» и за рамки брачной пары. Но даже в пределах столь узкого коллектива, как самая тесная и дружная семья, назревают противоречия интересов, в которых чрезмерная родительская любовь к детям угрожает им порой прямой гибелью. В качестве наглядного примера сошлемся на такой действительный случай.

В одной интеллигентной семье вдруг появилась заразная болезнь. Медицинский осмотр показал, что и муж и жена уже основательно задеты ею, а их единственное дитя еще здорово. Супругов необходимо было на длительное время изолировать, а ребенка передать в детский дом. Но любящие родители категорически отказались расстаться с ним.

— Это наша единственная и последняя радость!

Можно как угодно высоко расценивать родительские права и чувства, но нельзя приносить им в жертву судьбы детей. Мы отвергаем те старые традиции, по которым мужа своих жен, а родители — детей рассматривают как свою частную собственность, распоряжение которой никем не может быть ограничено. Каждый ребенок уже с того момента, как вместе с пуповиной порвана его связь с материнским сердцем, становится сам субъектом, а не объектом чьих-либо на него прав. Вся ответственность за судьбу нового члена общества и прежде всего за его воспитание как человека и гражданина может взять на себя само общество, возлагая на семью только те функции в этом отношении, которые без вреда для детей могут быть ей вполне доверены.

Задачи воспитания не всякому по плечу. Для успеха в этом деле требуются особые задатки и специальная педагогическая подготовка. И, разумеется, далеко не во всякой семье можно встретить таких одаренных педагогов и воспитательниц. К тому же огромное большинство родителей значительную часть дня занято на работе, и воспитанию детей они могут уделить не столь уж много времени.

Бесспорно, в наших условиях найдется немало очень культурных и талантливых женщин, любящих детей и готовых по собственному влечению посвятить себя целиком их воспитанию. Таким и книги в руки. Чтобы полностью использовать их призвание и педагогические таланты, им и должно предоставить широкое поле общественного воспитания детей, не замыкаясь лишь в собственной детской, а шефствуя над целыми коллективами октябрят, пионеров или юных комсомольцев. К сожалению, далеко не все матери способны на это. Большинство из них, одержимые материнским эгоизмом, ревнуя ко всем чужим, любят, в сущности, только своих собственных детей. А это неважная база для воспитания.

Для такой матери свой ребенок, даже если он самый ординарный балбес,— это чудо природы и верх совершенства. Она оберегает его и от товарищей, и от зноя и холода, и от свежего воздуха, она пичкает его сладостями и лекарствами, оделяет игрушками и безделушками, старается не утруждать излишними умственными занятиями. В результате такого воспитания маменькиного сынка, если его не преодолеют иные влияния, вы-



растают большие себялюбцы, вззирающие сверху вниз на все окружающее, а по сути дела ничтожные хлюпки, жалкие стилиаги, ни к чему не пригодные лоботрясы, которые не находят себе места в советской действительности.

Но есть еще одна категория детей — это дети матерей-одиночек, то, что мы называем безотцовщиной. Их следовало бы в первую очередь помещать в ясли, детские дома и сады, школы-интернаты, брать государству на свое полное иждивение.

Преимущества общественного воспитания так велики и осязательны, что ими окупятся любые затраты общества — в любых масштабах, для всех детей страны. Природа устроила так, что ребенок, начиная с самого нежного возраста, тянется к своим сверстникам — в детский сад, в пионерский лагерь, в комсомольские отряды, вообще в свой товарищеский коллектив, где он, на равной ноге с другими, чувствует себя и в играх и в любых иных коллективных затеях как рыба в воде.

Детский коллектив, в особенности если его без нажима направляет опытная рука педагога, в воспитании у ребенка лучших общественных навыков способен дать гораздо больше, чем самые сердобольные и любвеобильные матери. Дружная реакция такого коллектива на все антисоциальные проявления эгоистических задатков ребенка глушит их в самом зародыше. И наоборот, в коллективе все врожденные социальные инстинкты и симпатии ребенка оживают, развиваются за счет новых условных рефлексов, образующихся в процессе товарищеских взаимоотношений, и закрепляются всей повседневной практикой нашей трудовой школы и дошкольных учреждений.

В интересах коммунистического воспитания советская практика уже ныне осваивает такие тенденции развития детских учреждений. Отдавая общественным формам воспитания безусловное преимущество перед всеми иными, нам предстоит в ближайшие годы неустанно расширять эти формы в таких темпах, чтобы через пятнадцать—двадцать лет сделать общедоступными — от колыбели до аттестата зрелости — всему населению страны. Каждый советский гражданин, уже выходя из родильного дома, получит направление в детские ясли, из них — в детский сад с круглосуточным содержанием или детский дом; затем — в школу-интернат, а из нее уже отправится с путевкой в самостоятельную жизнь — на производство или на дальнейшую учебу по избранной специальности. Конечно, детские учреждения должны быть организованы в каждом доме, под одной крышей со взрослыми, но в отдельных помещениях, со специальным обслуживающим штатом и на полном иждивении государства, так же как и школы-интернаты.

Возникает вопрос: не будет ли такой ранний отрыв детей от семьи слишком тяжким испытанием и для родительских чувств и для малышей, столь чутких к материнской ласке?

На этот вопрос можно ответить так. Общественная организация воспитания детей вовсе не ставит своей задачей полный их отрыв от родителей. И в наши дни каждая мать в период кормления своих «сосунков» грудью получает возможность в рабочее время регулярно выполнять эту материнскую обязанность. Тем более никто не помещает ей навещать своих детей в свободное от работы время, заглядывать в детские помещения, находящиеся в ее же доме, столько раз, сколько это предусмотрено установленным режимом.

«Витамины любви» нужны всем детишкам в равной мере, а тем из них, кто без отца или без матери, нужнее, чем другим. Но утолить эту их потребность легче всего как раз в системе учреждений общественного воспитания. Требуется лишь возможно шире привлечь к обслуживанию детворы и шефству над детскими учреждениями в первую голову самих матерей (и ласковых бабушек) этой детворы, располагающих достаточными данными и досугом.

Можно полагать, что в каждой из будущих бытовых коммун будет создан специальный совет жен и матерей, которому поручат шефство, наблюдение и контроль над службами, обеспечивающими население коммуны всем необходимым. Тому же женскому шефству придется принять на себя заботу и о пенсионерах и инвалидах труда. Конечно, в грядущей коммуне людям преклонного возраста, как и детям, будут обеспечены за счет общества, независимо от наличия семьи и ее возможностей, и теплый кров, и покой, и ласка.

Отдав все силы и знания на служение обществу, ветераны труда, разумеется, заслуживают с его стороны той отдачи, какая им требуется в годы упадка их сил и старческой слабости. Однако порой можно еще услышать и иные суждения. Недавно, например, один наш ученый, при обсуждении дальнейших перспектив развития СССР, коснувшись проблемы долголетия, заметил, что, по его мнению, жизнь человека представляет известную ценность — субъективную для самого себя и объективную для всего общества — только до тех пор, пока человек этот сохраняет, независимо от своего возраста, определенную трудовую активность. Когда же старость стала уже пассивной и совершенно бесплодной, она и для себя становится в тягость и для общества не представляет ценности, то есть являет собой, в сущности, величину отрицательную. Таким образом, эту категорию населения не следует принимать во внимание при расчетах государственных ресурсов.

С утилитарной стороны вопроса это положение трудно оспорить, а по существу оно глубоко ошибочно. Едва ли даже «активные» возрасты в предвидении, что и им не миновать «пассивной» старости, согласятся с такой точкой зрения. Грядущая коммуна будет достаточно богатой, чтобы оплатить любые накладные издержки, необходимые для украшения жизни и облегчения человеческих судеб даже самых беспомощных и слабых своих сочленов. И малых и старых, и активных и пассивных. В этом и сказывается высокий гуманизм коммунистического общества.

В этом обществе никто не будет чувствовать себя негодным балластом в безнадёжном пассиве. Впрочем, и ныне возрастные грани, которые отделяют «пассивную» старость от активной, чрезвычайно условны. Правда, в СССР работники старше шестидесяти лет, а работницы уже в пятьдесят пять лет получают возможность на правах пенсионеров закончить свой трудовой стаж и уйти на покой. Но их все же было бы слишком преждевременно зачислять в пассив социалистического общества — они и при пониженной трудоспособности могут оказать обществу неоценимые услуги. И если не в материальном производстве, то в домашнем быту, общественной деятельности и культурном строительстве они их и ныне оказывают. Нужно ли напоминать о легионах врачей и учителей, художников и писателей, инженеров и ученых, которые на культурном фронте проявляют творческую активность до последнего своего дыхания? Но в условиях коммунизма потребуется много больше людей для общественной деятельности и в области культуры и по устройству нового быта — по уходу за детьми, в общественном пижании, в различных шефских организациях.

И можно не сомневаться, что участие в такой коллективной работе с охотой, по первому же призыву, примут и новые легионы стариков — дедов и бабушек всех возрастов. Это не пассив, а резерв трудовой активности, к сожалению, далеко еще не использованный. С повышением долголетия в условиях коммунизма этот резерв человеческой доброй воли и активности будет лишь возрастать.

Как же отразится на судьбах семьи такая коллективизация грядущего быта, при которой все бремя материальных забот о престарелых членах семьи и воспитании малолеток будет переложено с плеч отдельных глав семей на весь коллектив каждой коммуны, а в последнем счете на всех трудоспособных членов общества?

Думается, что такая обособленность и материальная независимость нетрудоспособных членов семьи от постоянно занятых на работе не противоречит тем взаимным чувствам и влечениям, какне связывают людей родственными узами по восходящей и нисходящей линиям. В условиях, когда престарелые родители не могут стать уже «балластом» и «обузой» для своих нисходящих, а растущие дети не ждут с нетерпением никакого «наследства» от своих восходящих, родственные чувства между ними могут стать даже теплее и чище. Но чувства чувствами, а член семьи, выбывший из состава постоянных ее иждивенцев, — это уже отрезанный ломоть. И прежняя семья все суживается до наиболее, при всех условиях, прочной — брачной или внебрачной, но нерасторжимой, до тех пор пока ее связывают узы любви — семейной пары. А когда и такие узкие семьи признают уже нецелесообразным расходовать массу труда на ведение у себя, всего на двоих, самостоятельного домашнего хозяйства, то тем самым и семья вообще как хозяйственная ячейка, сливаясь с другими и перерастая в большой хозяйственный коллектив, растворится в составе будущей бытовой коммуны.

### 3. БЫТОВЫЕ КОММУНЫ

Французское слово «сопטיפе» означает то же, что и русское «община», и охватывает весьма различные типы общения людей. В это понятие укладывается и весь первобытно-коммунистический общественный строй доклассового общества, и тот коммунистический уклад, который мы только еще строим, преодолевая в своем быту и сознании пережитки старого мира классовой эксплуатации с господствующей в нем идеологией индивидуализма. Правда, между первобытной общиной и коммуной грядущих поколений простирается примерно такая же пропасть, как между крайней нищетой и неограниченным изобилием, но имеется и немаловажное структурное их сходство. В каждой из них все элементы общества, подобно атомам в крупных молекулах, крепко, органически связаны между собой не только внешним переплетением, но и внутренним, «химическим» их сродством. В основе взаимного тяготения отдельных производственно-потребительских коллективов нетрудно обнаружить цепную связь общих им всем кровных и культурно-экономических интересов.

В этом главное отличие такой социальной структуры от всех типов классового общества, в котором «человек человеку — волк» и где все молекулы общества под высоким накалом социальных противоречий уже не тяготеют, а отталкиваются друг от друга.

Коммунистическое общество, по мысли классиков марксизма, складывается в качестве «системы самоуправляющихся ассоциаций», или трудовых и бытовых коммун. Коммуны, выполняя во взаимной связи и трудовой кооперации все производственные и потребительские функции, будут связаны между собой единым централизованным планом действий во все расширяющемся — областном, национальном и межнациональном — масштабе мировой федерации стран и народов. Такая федерация мыслится марксистами в качестве чисто хозяйственной, безгосударственной организации. Но в основу трудовой координации всей такой системы самоуправляющихся трудовых коммун и их федераций коммунисты, в отличие от анархистов, кладут принцип демократического централизма.

Напомним мысли В. И. Ленина об этом принципе в связи с его высказываниями о трудовых и производительно-потребительских коммунах. Уже в первом, черновом его наброске программной статьи «Очередные задачи Советской власти» находим такие строки: «Каждая фабрика, каждая артель и земледельческое предприятие, каждое селение, переходящее к новому земледелию с применением закона о социализации земли, является теперь в смысле демократических основ Советской власти с а м о с т о я т е л ь н о й к о м м у н о й (Разрядка моя.— С. С.) с внутренней организацией труда». А несколькими страницами дальше он пишет об этих демократических основах: «Мы стоим за демократический централизм. И надо ясно понять, как далеко отличается демократический централизм, с одной стороны, от централизма бюрократического, с другой стороны — от анархизма. Противники централизма постоянно выдвигают автономию и федерацию, как средства борьбы со случайностями централизма. На самом деле демократический централизм нисколько не исключает автономию, а напротив — предполагает ее необходимость. На самом деле... даже федерация нисколько не противоречит демократическому централизму...»

И вот, подобно тому, как демократический централизм отнюдь не исключает автономии и федерации, так он нисколько не исключает, а напротив, предполагает полнейшую свободу различных местностей и даже различных общин государства в выработке разнообразных форм и государственной, и общественной, и экономической жизни. Нет ничего ошибочней, — утверждал еще тогда В. И. Ленин, — как смешение демократического централизма с бюрократизмом и с шаблонизацией».

И если такой категорический отказ от всякой ш а б л о н и з а ц и и форм существования «различных общин» нашел себе у нас признание даже в первой фазе коммунизма, то тем более он окажется уместным в отношении организации форм труда и быта различных коммун второй, безгосударственной фазы законченного коммунизма. Чем больше свободного творчества и меньше шаблонной регламентации будет в формировании семейного и трудового быта в каждой из будущих коммун самого различного

назначения, тем многообразнее и богаче будет и вся жизнедеятельность коммунистического общества.

«Социалистическое государство может возникнуть лишь как сеть производительно-потребительских коммун, добросовестно учитывающих свое производство и потребление, экономящих труд, повышающих неуклонно его производительность и достигающих этим возможности понижать рабочий день до семи, до шести часов в сутки и еще менее»,— писал Ленин в том же 1918 году. Но в этой сети коммун и тогда мыслилось большое многообразие объединяемых ими индустриальных и аграрных коллективов и возлагаемых на них задач. В частности, уже в программе Коммунистической партии, утвержденной VIII съездом РКП(б) в 1919 году, предусматривалось создание и производственных «сельскохозяйственных коммун, как совершенно добровольных союзов земледельцев для ведения крупного общего хозяйства», и «потребительских коммун и их объединений» в области снабженческой кооперации потребителей, и чисто бытовых «домов-коммун» взамен порабощающих женщину и крайне непроизводительных форм домашнего хозяйства. «Не ограничиваясь формальным равноправием женщин,— читаем мы в четвертом пункте этой программы,— партия стремится освободить их от материальных тягот устарелого домашнего хозяйства путем замены его домами-коммунами, общественными столовыми, центральными прачечными, яслями и т. п.»

В других пунктах программы вдобавок к этому предусматривалось: «проведение бесплатного и обязательного общего и политехнического (знакомящего в теории и на практике со всеми главными отраслями производства) образования для всех детей обоого пола до 17 лет»; «создание сети дошкольных учреждений: яслей, садов, очагов и т. п., в целях улучшения общественного воспитания и раскрепощения женщины»; «снабжение всех учащихся пищей, одеждой, обувью и учебными пособиями за счет государства»; «постановка общественного питания на научно-гигиенических началах»; «обеспечение общедоступной, бесплатной и квалифицированной лечебной и лекарственной помощи»; «максимальный шестичасовой рабочий день» и многое другое.

Конечно, в условиях тех лет все такие задачи были еще очень далеки от своего решения. И когда слово «коммуна» у нас стало употребляться слишком легко, В. И. Ленин, будучи великим реалистом, сразу же в своей вдохновенной статье «Великий почин» напомнил всем, что «столь почетное название надо завоевать долгим и упорным трудом, завоевать доказанным практическим успехом в строительстве действительно коммунистическом... Сначала,— писал он,— докажи свою способность на бесплатную работу в интересах общества, в интересах всех трудящихся, способность «работать по-революционному», способность повышать производительность труда, ставить дело образцово, а потом протягивай руку за почетным званием «коммуны!»»

Потребовалось сорок долгих лет и неисчислимо количество практических успехов в нашем строительстве, чтобы на новом уже уровне производительных сил возник в конце 1958 года новый коллективный почин: «Работать, учиться и жить по-коммунистически». Его подхватывают сотни тысяч рабочих, они хотят и могут не только образцово работать, но и доблестно, по-коммунистически жить. И на новом этапе, этапе развернутого строительства коммунизма, продуманная программа организации целой сети трудовых и бытовых коммун становится все более реальной и неотложной необходимостью.

В каком же виде представляется элементарная ячейка этой сети коммун, то есть бытовая коммуна? Как осуществить ее назначение, то есть коллективизацию рабочего быта с возможно полным освобождением женщины от безрадостной участи домашней работницы в каждом индивидуальном домашнем хозяйстве?

В разных условиях эта задача, вероятно, будет решаться по-разному. Можно мыслить себе такие бытовые коммуны в каждом большом доме, организованные по типу теперешних здравниц или гостиниц, с общественным питанием и полным обслуживанием всех живущих там семей. Возможно, что для этой цели будут сооружены комбинаты, в которых такие дома или дворцы-коммуны окружат центральное производственное предприятие, где работают все жители этих коммун. Очевидно, что для каждой бытовой коммуны потребуются целый комплекс обслуживающих ее коллекти-

вов или подсобных трудовых коммун — учебного, лечебного, пищевого и прочих назначений. И тогда такие комплексные коммуны в больших городах образуют собою микрорайоны, и жители смогут здесь удовлетворить все свои повседневные бытовые и культурные нужды.

Подобного рода строительные комплексы, в предвидении будущего, уже ныне проектируют наши лучшие архитекторы. Они заботливо предусматривают такое расположение жилых, дошкольных и школьных помещений, внутренних дворов и скверов микрорайона, при котором население его вовсе ограждено от опасностей городского автомобильного движения. Отдельные корпуса и массивы такого комплекса, соединенные крытыми переходами, позволят детям попасть из дому в детское учреждение или школу и обратно в любую погоду без всяких приключений.

В мелких городах и селениях, по-видимому, не потребуется столь сложных строительных конструкций. Но рассыпной строй крестьянских домишек или даже односемейных коттеджей мало пригоден для будущих сельских коммун, когда они станут крупными фабриками зерна и мяса с первичной переработкой всей сельскохозяйственной продукции в продукты сахарной, консервной и пищевой промышленности. Современные колхозы уже ныне начинают укрупняться и перестраиваться по городскому типу. Фридрих Энгельс еще в прошлом столетии предвидел в «Принципах коммунизма» для таких агрогородов: «Сооружение больших двorcов в национальных владениях, в качестве общих жилищ для коммун граждан, которые будут заниматься промышленностью, сельским хозяйством и соединять преимущества городского и сельского образа жизни, не страдая от их односторонности и недостатков».

Велики ли будут эти дворцы-коммуны? Некоторые экономисты проектируют их в слишком больших масштабах — до десяти тысяч жителей в каждой. Возможно, что и такие потребуются для крупнейших трудовых коллективов страны, но средней размер советских предприятий по числу работников не достигает пока и тысячи человек. Учитывая все более расширяющуюся автоматизацию производства, едва ли потребуется заметное увеличение рабочей силы. При этих условиях типичная бытовая коммуна будет вмещать, включая детей, стариков и обслуживающий ее персонал, не свыше двух—двух с половиной тысяч душ. В небольших городах, примерно до тридцати тысяч жителей, таких бытовых коммун потребовалось бы не более пятнадцати. Проектируя жилые дома в три-четыре этажа, объемом до двухсот пятидесяти тысяч кубических метров, каждой из них можно было бы уделить участок под дом и садик до семи с половиной гектаров. И все же город этот, включая его производственные предприятия, коммунальные учреждения — электростанцию, теплоцентраль, фабрику-кухню, хлебозавод, радиоузел, а также библиотеку, вуз на три тысячи студентов, до пятнадцати школ-интернатов на шесть тысяч учащихся, больницу, универмаг, театр, клуб и стадион, — занял бы площадь не свыше трехсот гектаров, из которых половина ушла бы под зеленые насаждения. В таком городе, площадью до трех квадратных километров, любое расстояние от окраины до центра можно пройти максимум за десять минут. Значит, здесь не потребуются ни метро, ни троллейбуса, ни даже лифтов для подъема в «стратосферу», как это практикуется в американских небоскребах. Все много проще и доступнее.

В каждом дворце-коммуне с жилой площадью до сорока тысяч квадратных метров можно разместить в нижнем полуподвальном этаже все служебные помещения, бюро обслуживания, здравпункт, почтовое отделение, парикмахерскую, прачечную, а в остальных этажах — всех обитателей коммуны. Скажем, на втором этаже в одном крыле размещаются детские апартаменты, в другом — старики, нуждающиеся в уходе, и обслуживающий их персонал, на третьем этаже — квартиры в две-три комнаты для семейных; на четвертом — отдельные комнаты для рабочей молодежи, студентов и вообще холостяков. По имеющимся расчетам, уже лет через двадцать можно обеспечить каждого человека жилой площадью в шестнадцать—восемнадцать квадратных метров, не считая площади общих столовых, читален и других помещений, например: для детской игр, музыкальных и хоровых кружков и других видов художественной и спортивной самодеятельности. В каждом из жилых этажей для этой цели может быть предоставлено от восьмисот до тысячи квадратных метров площади.

Дворец-коммуна можно, разумеется, спланировать, разбив его на ряд секций или корпусов, соединенных между собою крытыми галереями, с внутренним садом между ними, спортивной площадкой и даже плавательным бассейном и катком. На площади около восьми гектаров для всего места хватит.

К счастью, теперь уже никто не мыслит будущих бытовых коммун в виде злочастных общежитий с общими кухнями и вечной склокой жильцов. Коммуна должна удовлетворять потребность в радостях товарищеского общения.

Трудовому человеку нужен спокойный отдых, без чужих людей, в своей семье или даже совсем одному. Хорошо побыть одному, без помехи, когда о чем-либо глубоко задумаешься или когда увлечен интересной творческой работой. Неплохо иной раз любящей брачной паре забыть в молчаливом «одиночестве вдвоем»; вдвоем с сердечным другом, как говорят, и дорога короче и отдых полнее. Вот почему каждый труженик жаждет располагать отдельной комнаткой, а семья — хоть небольшой, но изолированной квартирой.

Но длительный отрыв от других людей становится уже тягостным, ибо сами по себе все люди весьма общительны. И хорошо отдохнув, с приливом новой энергии, здоровый человек уже сам ищет общения с другими на почве общих интересов и симпатий. А дворец-коммуна как раз обеспечит своими помещениями личного и общественного назначения не только необходимое уединение в любое время, но и все возможности широкого, свободного и активного общения всех своих сочленов.

Такой повседневный контакт людей в нерабочее время осуществим уже за каждым обедом и ужином в общих столовых. Возможно, что кое-кто из семейных коммунаров пожелает получать готовый обед к себе на квартиру или даже сам его готовить на своей плите, по собственному вкусу. Но несомненно, что огромное большинство не захочет тратить на это лишнего времени и предпочтет встречу друзей и обмен новостями в непринужденной беседе за общим столом коммунаров. Еще больше возможностей товарищеского сближения представят частые их встречи в помещениях дворца-коммуны, предназначенных для различных видов самодеятельности — научной и литературной, музыкальной, хореографической, спортивной и всякой иной. Если учесть, что основную социальную спайку все взрослые обитатели дворца-коммуны получают уже на своем производстве, то станет ясно, какое многообразие связей может объединить бытовые и трудовые коммуны в единый производственно-потребительский и общественный коллектив.

При всем разнообразии индивидуальных устремлений и талантов отдельных членов такой коммуны, она будет представлять собой монолитный хозяйственный и социальный организм, способный к крепкой взаимной поддержке и живому чувству дружеского локтя во всех случаях, когда этого требуют общие интересы коллектива. И в этом лучший залог развития тех принципов сотрудничества и моральных устоев, на которых строится все коммунистическое общество. Бытовые коммуны — существенный элемент этого строительства.

Но естественно возникает вопрос: не рано ли еще нам думать о бытовых коммунах и широкой перестройке быта на новых началах? Ведь пока не решен целый ряд других, более насущных проблем, и прежде всего еще не изжиты одна из самых насущных забот — жилищная нужда. Лишь для того чтобы обеспечить всех благоустроенным жильем по самой скромной санитарной норме, нам, как известно, потребуется еще не менее десятка лет и сотни миллиардов рублей. И хотя уже решено обеспечить со временем каждую семью отдельной квартирой в две-три комнаты, пока бывает так, что в каждую из таких комнат нового дома вселяют по целой семье, и новая квартира опять превращается в переуплотненное общежитие со всеми безрадостными от сего последствиями, какие скорее могут отпугнуть, чем привлечь кого-либо к идее «коммунизации быта».

Вполне приемлемая бытовая коммуна, даже без всяких излишеств, потребовала бы на две — две с половиной тысячи душ по нынешним ценам около пятидесяти миллионов рублей вложений; на все население Советского Союза пришлось бы затратить до пяти триллионов рублей. И потому даже через пятнадцать лет, когда мы будем раз в пять богаче и давно обгоним США, на осуществление такой программы бытового

строительства потребуется еще пять—десять лет. Значит, бытовые коммуны — это проблема не сегодняшнего или завтрашнего дня.

Однако в плановом хозяйстве приходится рассчитывать на десятки лет вперед. И если в ближайшие годы мы настроим много жилья без оглядки на запросы уже коммунистического быта, то потом придется дорого расплачиваться за свою непредусмотрительность. Ведь строятся не временки, а дома на многие годы.

Могут сказать, что мы еще не готовы к массовому внедрению коллективных форм быта. Действительно, это так, но для отдельных опытов в этом направлении имеется уже вполне назревшая возможность. Давно миновало то время, когда в первые советские годы в отсталой деревне возникали из рядов бедноты первые наши «коммуны», полуграмотные и полунцие, и, возникнув, тут же разваливались во враждебном кулацком окружении. Теперь и культуры у нас намного прибавилось, и страна наша с тех пор раз в двадцать богаче стала, и окружение ныне совсем не то. В авангарде движения коммунаров вместо сотен деревенских ячеек насчитывается в одних лишь городах около двухсот тысяч бригад, смен и участков коммунистического труда, а в них свыше пяти миллионов рабочих, техников и инженеров, готовых не только работать, но и жить по-коммунистически.

Строительство коммунизма становится, таким образом, уже практическим делом миллионов советских людей. «Коммунизм строится,— как сказал Н. С. Хрущев,— трудом ученого в его кабинете или лаборатории, рабочего на заводе, трудом доярки на ферме и тракториста в поле. Каждый советский человек на своем участке должен доблестно выполнять порученное дело и тем самым ускорять продвижение нашей страны к коммунизму». Это относится, конечно, и ко всем архитекторам, планировщикам новых городов и селений, строителям новых жилищно-коммунальных микрорайонов и комплексов.

Особенно важно и ценно было бы уже теперь учитывать растущую у нас потребность «жить по-коммунистически» в таких малонаселенных и необжитых еще районах, как Сибирь и весь наш Восток, где в ближайшие годы потребуется очень много передовых квалифицированных рабочих. Туда привлекают пока кое-кого «длинным рублем». Но это далеко не лучший способ сколачивать кадры. И, может быть, гораздо умнее было бы вместо повышенных индивидуальных ставок создавать, в порядке опыта, где-нибудь на Ангаре или Енисее повышенные условия коллективного труда и быта, сооружая для этого первые образцовые города и дома-коммуны и привлекая в них ту рабочую молодежь, которая уже сегодня горит желанием жить по-коммунистически.

Нет сомнения, что такой пионерный опыт оказался бы полезным для всей страны. Ведь по образцу и типовым проектам бытовых коммун, пользуясь государственным кредитом, стали бы все чаще строиться по собственному почину и сами рабочие коллективы повсюду, где для этого созреют материальные предпосылки.

Понятно, что никого и нигде при этом не придется привлекать в эти коммуны против их желания. Коммуна всегда будет добровольным сообществом единомышленников и друзей, готовых к сотрудничеству и взаимной поддержке. Все индивидуальности по призванию и воспитанию, а также прирожденные мизантропы-затворники и отшельники смогут при желании и впредь оставаться вне коммуны на положении одиночников. Но преимущества коллективного быта, все расширяясь с приближением к условиям полного коммунизма, будут так велики, что отказываться от них найдется слишком мало охотников даже среди бдюков.

#### 4. КОММУНА И КОММУНИЗМ

Нынешним школярам и студентам предстоит со временем стать общественными деятелями одной из величайших демократий, а затем и самим управлять в ней «вещами и производственными процессами». Но для этого уже со школьной скамьи требуется соответствующая общегражданская подготовка. Макаренко, который применял у себя методы школьной демократии и самоуправления, воспитав даже из беспризорных сорванцов и сорвиголов добрых советских граждан, показал верный путь к этой

цели. К сожалению, у нас доньше лишь на словах восхищаются «Педагогической поэмой», а на практике идеи ее автора частенько игнорируют.

Средняя школа может дать каждому, покидающему ее стены с аттестатом зрелости, не только зачатки знаний из физики, механики и других наук, но и умение применить их на деле. Знать и уметь — это разные вещи, но одна без другой неполноценна. Высокая наука должна спускаться на землю. Из мозговых извилин она способна прочно проникать в мышцы рук и ног и, освоенная там, вооружить их к почти автоматическому выполнению велений разума. Уже школьники младших классов должны уметь делать все, что требуется для самообслуживания, учиться резко бегать и плавать по всем требованиям гигиены здоровья, петь в хоре и играть на рояле или в школьном оркестре, лихо плясать и танцевать и с не меньшей охотой утешивать в самой будничной общей работе ребят в саду или огороде вокруг школы.

В пятых—восьмых классах вдобавок к этому можно осваивать и такую технику, как решение задач с помощью арифмометра или других счетных машин, выполнение диктанта на пишущей машинке, пользование типографским набором и печатной машиной для своей многотиражки и иных школьных целей. В старших классах учащихся надо знакомить с современной техникой моторов. Школьник должен уметь собрать и разобрать мотор, научиться управлять трактором и автомобилем, а может быть, и вертолетом. В случае мелкой поломки он должен сам отковать в кузнице нужную деталь, выточить на токарном станке новый болт, опилить и нарезать новую гайку. Коммунизм должен идти и придет, по предвидению В. И. Ленина, «к воспитанию, обучению и подготовке всесторонне развитых и всесторонне подготовленных людей, людей, которые умеют все делать».

Подготовке к такому коммунистическому воспитанию должны служить и дошкольные учреждения бытовой коммуны. Каждому возрасту детей присильны, конечно, разные задачи, и потому уже в детских яслях целесообразно различать по их потребностям и способностям такие естественные три группы: еще совсем несмышленные «сосунки», начинающие уже мыслить и говорить «ползунки» и полные действительной энергии «прыгунки» двух-трех лет. Каждой из этих групп требуется особый режим, разные игрушки и пособия и различного качества воспитатели.

Иные и все более сложные задачи воспитания вытекают в отношении детворы детских садов от трех до семи лет. Им требуется не только телесная пища, но и духовный рост и здоровье. Им уже внушаются и гражданские чувства товарищества. Каждый ребенок учится познанию добра и зла. Частная собственность на игрушки, коньки, велосипеды и тому подобное здесь не пользуется признанием. Любые приношения, съедобные и несъедобные, поступают в общий котел, для всех. И во всех отрядах малышей-однолеток — от самых младших, трехлеток, до самых старших, шестилеток, — царит один закон: всем детям крепко дружить, старшим защищать младших и никому не жадничать — ни в еде, ни в погоне за лучшими игрушками вне очереди. Во всем должны соблюдаться порядок и дисциплина. Дружить — это хорошо, не жадничать — отлично, а вот, скажем, потянуть для забавы кота за хвост, подставить кому-нибудь ножку или здоровенному мальчугану девочку-малышку обидеть — это совсем нехорошо и даже вовсе никуда не годится. Такие заповеди очень элементарны. Но в них уже зреют черты коммунистического сознания и поведения.

В детских садах коммунаров будут решаться и другие чисто познавательные задачи. Детворе в этом возрасте, прежде чем ее засадят за букварь с картинками, целнее всего расширить свой непосредственный опыт в ознакомлении с природой в оригинале, собственными глазами, осязанием, обонянием, всеми чувствами. Для этого ребят нужно поменьше держать взаперти и как можно больше на воле — в цветниках, в саду или огороде, устраивать дальние вылазки в поле, на речку, в лес за ландышами, за ягодами, за орехами и грибами, в колхоз, в зоопарк, в планетарий... Сколько новых представлений, слов и понятий осядет на всю жизнь в пустых еще складках цепкой детской памяти за время таких свиданий с живой природой! Сколько детских радостей и незабываемых эмоций обогатит юную душу!



Так, возникая еще в детских яслях и постепенно расширяясь с возрастом, умножаются связи юных коммунаров с окружающей природой, элементами науки и труда, а затем и со всем трудовым коммунистическим обществом. Коллективы октябрят с переходом из бытовой коммуны в школу-интернат вливаются в отряды пионеров и комсомольцев и осваивают там уже и принципы коммунистического поведения. Вступая затем в еще более зрелые трудовые коллективы, они объединяются там общими задачами: «Трудиться, учиться и жить по-коммунистически!»

Бытовые коммуны многократно возникали и в прежние, даже очень отдаленные времена. По свидетельству апостольских «Деяний», уже первые христиане пытались создавать общины, в которых у всех «было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее... и каждому давалось все, кто в чем имел нужду». Пытались и много позже ~~жить~~ общинами и верующие сектанты и неверующие социалисты-утописты, но каждый раз попытки кончались полной неудачей. От всех подобных опытов не сохранилось ничего, кроме досадных воспоминаний. Устраивали такие опыты, между прочим, и толстовцы. Но сам Л. Н. Толстой, говоря о них, так расценивал их судьбы: «Сколько людей устраивались общинами, и из этого ничего не выходило. Сначала вся энергия уходила на внешнее устройство жизни, а когда устраивались, начинались ссоры, сплетни и все распадилось...»

Отнюдь не оспаривая этих наблюдений великого моралиста Льва Толстого, мы все же никак не могли бы все причины неустойчивости общинного быта прошлых веков свести лишь к таким чертам их личного характера, как особая сварливость или неистребимая склонность к сплетням сторонников мирного жития в условиях общей, коллективной собственности всех членов общины. Тем более, что кротких вегетарианцев-толстовцев с их непротивлением злу или даже легендарных первых христиан с их ореолом святости зачислять оптом в однозную категорию кротких склочников и святых сплетников не приходится. Значит, причины распада всех созданных ими братских общин нужно искать глубже. Не в психологии, а в экономике. И прежде всего в том глубоком противоречии между господствующей частной собственностью во всем досоциалистическом строе общества и полным отрицанием ее в тех отдельных социальных ячейках этого строя, в которых зарождались впервые идеи коммунизма. Частная собственность и частные интересы, противостоящие общин, — вот что становилось яблоком раздора в этих ячейках и вело к их распаду.

Каждая такая ячейка, как заброшенный островок мирной дружбы, была окружена целым океаном чужой собственности и всеми соблазнами мятежных страстей и злых интриг, ожесточенной рыночной конкуренции и товарно-денежных спекуляций в интересах овладения чужой собственностью и личной наживы. И не мудрено, что все такие соблазны и страсти затопляли собой в этом океане частной собственности все чужеродные ей идеи и социальные микрообразования. Порождали эти соблазны и жадность, и зависть, и сплетни, и интриги, и склоку в неустойчивой среде, воспитанной в традициях преклонения перед «священной» собственностью. Но бывало и хуже. Напомним хотя бы общеизвестный библейский рассказ о самой первой из христианских общин, в которую входили все апостолы евангельского учения, и о том, как один из них, будучи казначеем этой общины, предал ее за тридцать сребренников и затем сам удавился. А ведь, помимо денежных соблазнов, возникает много и других корыстных мотивов, разъединяющих людей.

Известный социалист-утопист Шарль Фурье готов был поставить на службу «социальной гармонии» все страсти, даже такие, как «страсть к интригам», по его оценке, «царствующую и направляющую» среди всех других. Приводя в качестве примеров этой страсти «интриги на бирже при ажиотаже» или «интриги в семье для заключения выгодного брака», Фурье и сам чувствует, что пробуждают в людях эти страсти не любовь, а корысть, жажда наживы, алчность собственников, то есть все то, что разделяет людей, удерживая их «в постоянном расколе», и никак не может послужить задачам социальной гармонии.

Только социализм, упраздняя частную собственность во всем обществе, впервые создает почву как для возникновения отдельных бытовых коммун и трудовых комму-

нистических бригад, цехов и заводов, так и для объединения их в прочные союзы таких коммун в общей системе «самоуправляющихся коммунистических ассоциаций трудящихся». Но социализм упраздняет лишь частную собственность на средства производства, сохраняя до времени групповую «собственность» колхозов и личную собственность на средства существования отдельных граждан. Общественная собственность на средства производства исключает возможность частного предпринимательства и классовой эксплуатации в производстве. И это уже очень большое социальное достижение. Но, как показывает наш опыт, она еще не исключает ни корыстной спекуляции дефицитными товарами из-под полы, ни прямых хищений казенного добра, ни всяких иных зловредных покушений на чужую собственность, хотя бы и личную — в форме средств существования или денежного их эквивалента. На первый взгляд кажется, что от таких антиобщественных действий, вызываемых эгоистическим началом, заложенным в самой природе человека еще тысячелетия назад, никакие социальные преобразования практически не смогут до конца оградить общество. Но это далеко не так.

В странах капитализма, где имущественное неравенство достигает самых крайних пределов, так называемые «преступления против собственности» находят для своего роста особенно благоприятную почву. Напомним, кстати, что и сама собственность в этих странах заслужила не слишком лестное, но достаточно меткое определение Прудона: «Собственность — это воровство». В такой стране, как США, число преступлений из года в год растет и уже в 1956 году составляло два с лишним миллиона учтенных случаев за один год. Очень показательны при этом, что свыше девяноста пяти процентов из них падает на кражи и прочие «преступления против собственности». Еще примечательнее, что в годы высокой рыночной конъюнктуры число преступлений против собственности снижается, а в годы кризисных спадов, наоборот, возрастает. К слову сказать, даже в США, где неимущие классы трудящихся составляют огромное большинство, на долю явных воров и грабителей приходится по уголовной статистике менее полутора процентов всего населения. Таким образом, если склонность к хищениям выводить лишь из эгоистической природы человека, то придется признать, что даже в этом царстве наживы честных тружеников раз в шестьдесят больше, чем прирожденных хищников, и альтруизм явно преобладает над эгоизмом в природе человека.

Однако гораздо правильнее будет заключить, что в буржуазных странах источником всех конфликтов на стыках между богатством и бедностью, не исключая и уголовных, является не греховная природа человека, а такие пороки современного общества, как крайнее имущественное неравенство и нищета, хронические кризисы производства, постоянная безработица и вообще все те социальные устои частной собственности, какие навсегда ликвидирует коммунизм.

В самом деле, представим себе дворцы-коммуны, подобные нашим здравницам, в которых все обслуживание и обстановка — библиотеки, рояли, телевизоры, бильярды, воспитание детей и повседневное питание, одежда и обувь — в достаточном количестве обеспечиваются коммунарам за счет общественных фондов страны, а на работе они получают в дополнение — по труду — определенное количество чеков на приобретение в общественных магазинах любых благ сверх того достатка, какой уже обеспечен всем членам общества в соответствии с их повседневными потребностями. Спрашивается, какие же стимулы для хищничества останутся в таком обществе? Для личного потребления и насыщения? Но оно уже удовлетворено. Для продажи? Но кто же станет покупать у частника то, что он получает в достатке даром? Для сбережения и накопления? Но денег уже не будет, скоропортящиеся блага не годятся для этой цели, а для значительного количества всякой рухляди не найдется и места в рационально рассчитанных помещениях коммун. Да и не видно никакой цели для таких накоплений без перспективы их реализации. Можно, конечно, как сорока-воровка, тащить в свой тайный угол все, что ярко блестит. Но с такими пережитками неразумных инстинктов в общественной среде нетрудно уже бороться.

Роль общественного мнения в нашей среде и теперь огромна. Она велика в трудовом соревновании коллективов, в цехах и заводах. Но еще во много раз большее значение приобретает общественное признание или, наоборот, общественное осуждение,

порицание, бойкот в будущей коммуны, где все друг друга знают близко, дружат и соревнуются в общественной и художественной творческой самостоятельности.

В социальной среде, в которой уже вовсе отпала частная собственность на средства производства и все ограниченнее становятся потребности в личной собственности на средства существования в обильно обеспеченной ими коммуны, отпадут прежде всего преступления против собственности. Не возникнет ведь ни у кого соблазна похитить у приятеля, с чужого плеча, поношенный пиджак, старые штаны или бывшее в употреблении белье, когда все это и многое другое можно заказать себе по собственной мерке и вкусу в общей мастерской за общественный счет. Но преступления против собственности — это девяносто пять процентов всех преступлений. Да и большинство других проступков, не исключая убийств, физических повреждений, подлогов и фальсификаций, в конечном счете связано преимущественно с теми же покушениями на чужую собственность.

Всего этого, однако, не будет у членов коммунистического общества. Унаследовать от родителей можно будет лишь их доброе имя. Заботу о приданом для молодоженов возьмет на себя коммуна. О воспитании детей и об иждивении стариков позаботится все общество. Исчезнут и разговоры об алиментах, а вместе с ними исчезнут все судьи и споры по этой части.

Наиболее действенными станут средства высокой коммунистической культуры. Они очень могущественны. Общественное мнение и теперь подчас сильнее многих писанных запретов и декретов. Осуждая сквернословов, сплетников и клеветников, непойманных жуликов и явных лодырей или гуляк-хулиганов, оно действует на них крепче судебных приговоров.

«Стыд не дым, глаза не ест», — утешают себя бесстыжие. Но это слабое утешение, и таких «мудрецов» все меньше остается в советском обществе. А в условиях коммунизма, где ни у кого уже не останется обывательской отговорки «моя хата с краю, ничего не знаю» и когда каждое постыдное действие встретит дружный отпор в любой бытовой коммуны, — стыд не только проймет до слез, но доберется и до глубин природы нарушителя порядка. Общественное мнение продиктует всем нерушимые нормы поведения. И этот неписанный закон, не отменяя писанных, останется постоянно действующим, всегда живым, объединяющим в своих нормах принципы красоты, морали и общественного поведения законом.

В грядущей коммуны, не отягощаемой частной собственностью, исчезнут последние противоречия между личными и общественными интересами всех ее членов. Уже в «Манифесте Коммунистической партии» можно прочесть о коммуны, что это «ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». И не только условием, но и результатом. Здесь связь взаимная, интересы всех и каждого находятся в полной гармонии. Чем свободнее и полнее развитие каждого, тем ценнее и плодотворнее его участие «по способности» в общих производственных достижениях всей ассоциации. А вместе с тем она в свою очередь получает возможность все полнее и шире удовлетворять повседневные нужды «по потребности», предоставляя одновременно все больше свободного времени для творческой самостоятельности и дальнейшего саморазвития, а стало быть, и для дальнейших успехов всей коммуны. В таких условиях не требуется уже делать добро из-под палки, во имя долга или иных велений и запретов. Интересы общего блага всей коммуны не ослабляются, а даже подкрепляются здесь индивидуальными интересами каждого из ее членов. Мораль становится свободной. Ее «веления» выполняются тем охотнее всеми членами коммуны, что они вполне гармонируют с собственными их социальными устремлениями.

Естественно, самостоятельность коммунаров в науке, искусстве, литературе и иной области уже в самой себе находит высокое удовлетворение. Но полнота такого удовлетворения во много раз возрастает, когда творческий труд каждого реализуется в коллективе и в общении с ним, умножаясь, достигает всей своей эффективности. Творчество актера, например, трудно себе представить без зрителей. Но и труд ученого или писателя нельзя себе даже мыслить без аудитории или без читателей. А творчество художников и музыкантов разве не нуждается в коллективной аудитории?

И даже в спорте, который, как и всякая самодеятельность, развивается лишь в условиях плодотворного соревнования, дело не пойдет без участия сочувствующего окружения. Правда, соревнование футбольных команд «Динамо» и «Спартак» можно себе мыслить и без десятков тысяч «болельщиков» на трибунах. Но такое состязание, без контакта спортсменов с волнуемым, а порой и беснующимся вокруг них коллективом друзей и противников, не может вызвать того подъема ответного волнения самих игроков, каким их вдохновляет бурная аудитория заполненных трибун.

Мы еще не проникли в тайны коллективной психологии и не можем объяснить, какое «поле» взаимного тяготения душ и какие психические токи возникают между любимым писателем, выдающимся ученым, талантливым артистом, незаурядным музыкантом и их аудиторией. Но они, несомненно, возникают. И этот контакт вдохновляет выступающих и глубоко волнует и возбуждает их коллективную аудиторию. Чем шире при этом коллектив, тем глубже это потрясающее его волнение. Так, например, на массовых рабочих демонстрациях до революции один лишь горячий лозунг оратора или несколько тактов революционной песни вызывали такой взрыв ответного волнения, который мог поднять весь коллектив на любой подвиг.

Современная наука разрабатывает теорию гравитационного поля, электромагнитного поля и других «полей», насыщающих все пространство различной энергией. Но она еще вовсе не исследовала законы того психического взаимодействия, скажем, между трибунами и ареной самого ординарного футбольного поля, по которым даже столь ничтожный, казалось бы, повод, как забитый ногой или головой гол, способен вызвать на трибунах целую бурю душевных эмоций многотысячного коллектива взрослых людей. Откуда берется такая психическая энергия в едином импульсе? Какими резонаторами душевных струн она усиливается? Какими радиолокаторами эмоций передается друг другу? Это все еще не известно. Но ясно уже, что в грядущих коллективах коммуны все переживания людей будут более полнокровными, творчество радостнее, эстетические вкусы тоньше, моральный облик выше, общественное осуждение тягостнее, а все возможности коммунистического воспитания могущественнее, чем когда-либо.

Нам не всегда удастся найти ту «волну», на которую всего легче созвучно настроиваются человеческие сердца. Но когда эта волна найдена, то даже в нынешнем, расколотом «холодной войной» на части человечестве ее организующее действие, как убеждает нас современное движение за мир, становится непреодолимым. В спянных узах дружды и постоянного сотрудничества коллективах будущей коммуны такие «волны» общего душевного подъема и солидарного действия будут еще естественнее и сильнее. И даже самые необузданные страсти отдельных лиц будут все успешнее сдерживаться в своих проявлениях общим коллективом в границах разума и гуманности.

\* \* \*

Подведем некоторые итоги сказанному. Упраздня разделяющую людей собственность, коммунизм ликвидирует и ту почву, на которой возникали все имущественные преступления и большинство иных. Общественное мнение коммунаров станет достаточной силой, чтобы практически исключить со временем и все остальные. Значит, вместе с тем будет все сокращаться и отпадать потребность в уголовной юстиции и полиции, судах и тюрьмах, прокурорах и адвокатах, сыщиках и палачах и всех прочих профессиональных агентах правосудия. Без действия окажется и весь свод уголовных законов. А если все же где-нибудь возникнут серьезные споры или обиды, то их разберет товарищеский суд по совести и в полном согласии с требованиями общественного правосознания.

После ликвидации частной собственности и частнохозяйственного оборота без действия окажутся и нормы гражданского права. А затем подобная же участь постигнет один за другим разные участки государственных образований и государственного права. Уже ныне поставлен, например, перед всей мировой общественностью вопрос о всеобщем и полном разоружении народов. И раньше или позже все государства останутся без армий — этого важнейшего признака государственности. В нашей стране в ближайшие годы осуществляется освобождение всего населения от налогового обложения.

Исчезнет, стало быть, и весь налоговый аппарат. Но государство без армии и налогового аппарата, без судилищ и тюрем и всего аппарата государственного принуждения уже перестанет быть государством.

Однако, теряя все черты военно-политической организации с бюрократической централизацией управления, свойственной странам Запада, СССР приобретает все более четко выраженный характер хозяйственной демократии с последовательной централизацией народнохозяйственного планирования и растущей демократизацией самоуправления и самодеятельности на местах. За последние годы в этом направлении проведено уже немало решающих шагов. Эти шаги, развязывающие местную инициативу миллионов людей в хозяйственном управлении «вещами и производственными процессами», самым непосредственным образом отвечают задачам развернутого ныне строительства коммунизма.

Трубадуры капитализма превыше всего восхваляют в нем частнохозяйственную инициативу предпринимателей, без которой, за уничтожением частной собственности, должен зачахнуть, по их словам, и сам социализм. Однако это в лучшем случае горький самообман с их стороны.

В сущности говоря, ни один из крупнейших представителей монополистического капитала, при всех возможностях частной инициативы, не выдумал пороха, не открывал внутриатомной энергии и не изобретал космических ракет, хотя и не прочь был извлечь из всего этого бизнес в «холодной» или горячей войне. Все они лишь нанимают при случае изобретателей или покупают за гроши чужие изобретения и, обратив их в свою монопольную собственность, оберегают, как собака на сене, от широкого и свободного использования. Однако хозяев в этом мире монополистов всегда было во много раз меньше, чем рабочих. И лишь при социализме, где каждый рабочий впервые начинает чувствовать себя хозяином общественного производства, действительно открывается полный простор и для коллективной производственной инициативы коммунистических бригад и для массового индивидуального изобретательства в невиданных еще масштабах, притом без всяких попыток на монопольное использование, замалчивание или замораживание новых изобретений.

В результате такой инициативности самих трудящихся в СССР за один 1959 год в народное хозяйство внедрено свыше двух миллионов изобретений и рационализаторских предложений, что дает свыше одиннадцати миллиардов рублей экономии в расчете на год. Сейчас в одном лишь Ленинграде насчитывается более ста тысяч признанных изобретателей, а во всей стране раз в двадцать больше. И с каждым годом их число неуклонно умножается. И все они строят коммунизм!

И уже нет сил, какие могли бы нас остановить на этом светлом пути!



---

---

А. ХАВИН

★

## «СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ...»

### 1. ПРОБЛЕМА «ИЗЛИШКА» РАБОЧИХ

**И**а одной из заводских конференций я был свидетелем примечательной перепалки. Выступал начальник механического цеха, старый, опытный работник, говорил о работе своего коллектива, как вдруг его речь прервала реплика главного инженера:

— А задание по производительности труда вы все же провалили!

Начальник цеха немедля ответил:

— Да, провалил. Но почему? По той простой причине, что вы не взяли из моего цеха пятнадцать высвободившихся рабочих... Ведь что получается? Задание по автоматизации цех даже перевыполнил, а производительность труда на одного рабочего почти не выросла, себестоимость продукции не снизилась... Противостоит ли? Нет, закономерно: ведь сколько было в цехе токарей, столько и осталось. Хотя половина из них сейчас уже не нужна...

Потом, когда окончилась конференция и я поговорил с главным инженером, стала понятна суть дела. Это была своеобразная проблема «излишка» людей: на каком-то участке производства совершенствование техники уменьшило потребность в живой мускульной силе. Высвобожденных рабочих не представилось возможным использовать по их специальности и квалификации, и они некоторое время стали числиться за цехом как «сверхштатные» со всеми вытекающими отсюда экономическими неурядицами.

Сейчас у нас в связи с резким ускорением технического развития такого рода явления возникают то здесь, то там, и с этим нужно считаться. Происходит это чаще всего потому, что в свое время не продумали до конца, в какой мере автоматизация того или иного производственного участка отразится на трудовом балансе завода в целом и как наиболее целесообразно и безболезненно следует решить вопрос о перераспределении рабочих кадров. Именно так и получилось на заводе, о котором здесь идет речь.

Бывает и так, что в цехе держат людей на тот случай, если вновь сооружаемая автоматическая линия «может вдруг заикариться» — застопорится производственный процесс, а рабочих на этом участке уже не окажется, их распустили по другим цехам. Но обычно такая перестраховка себя не оправдывает, автоматическая линия действует, как положено, а в цехе понапрасну толкаются «излишние» рабочие, о трудоустройстве которых заблаговременно никто не позаботился.

Как следствие технического прогресса возникает проблема перестановки рабочей силы. И получается: на одном заводе озабочены тем, что пятнадцать токарей оказались как бы не у дел благодаря автоматизации производства, а в то же время буквально рядом, у соседа, хватаются за голову: «Недостает токарей. Что делать?»

Каждый день мы видим в газетах и на витринных досках, слышим по радио: «Нужно столько-то рабочих таких-то специальностей», «Требуются...», «Срочно требуются...» Однажды я подсчитал, что газета «Вечерний Ленинград» за один голюк месяц поместила около четырехсот объявлений предприятий и учреждений, нуждающихся в людях. В одном, взятом наудачу, номере газеты «Голос Риги» напечатаны анало-

гичные призывы четырнадцати предприятий. Примерно такая же картина в Киеве и Харькове, Иванове, Горьком и Калининне, Сталино, Луганске, Ростове, во всех крупных промышленных центрах. Что ж, это и понятно — семилетке нужны обширные кадры работников. Ведь только за 1959 год в строй вступило свыше тысячи новых мощных государственных предприятий!

В то же время в ходе реконструкции, в процессе механизации и автоматизации на том или ином заводе, фабрике образуется некоторый избыток людей. Так что же мешают перевести их на другие предприятия, где так нуждаются в рабочей силе?

— Да,— сказал мне один старый профсоюзный работник,— перераспределение кадров между предприятиями, расположенными в одном городе, будет происходить. Но процесс этот не так прост. Тут надо рассудить по-человечески. Трудно бывает человеку порвать с коллективом, с которым уже сжился, сменить привычную обстановку на новые, неведомые условия... Нет, одними административными мерами ничего не сделаешь. Нужно использовать какие-то другие пружины, прежде всего личную заинтересованность. Вот, например, не так давно мы организовали перевод на другой завод двадцати литейщиков с большим производственным стажем. И сделали это безболезненно: дали людям квартиры вблизи завода, гарантировали прежний заработок на время, пока они освоются с новой обстановкой. Ну, конечно, постарались, чтобы на новых местах их встретили по-родственному.

Слов нет, это был верный подход к решению столь сложной задачи, как перестановка рабочих кадров. Но ведь не везде такое отношение к делу. Да и происходило-то все это в пределах одного города. А как быть с перемещением из одной местности в другую?

Семилетний план знаменует новое широкое развитие производительных сил. Наша индустрия делает стремительный скачок на две тысячи километров к востоку. За семь лет в восточных районах будет осуществлено капитальное строительство, по своим масштабам лишь немногим уступающее всему тому, что было сооружено во всей стране за двадцать с лишком лет — с 1929 по 1950 год.

Районы новостроек заселены очень слабо. На долю Сибири и Дальнего Востока приходится половина всей территории страны и лишь одна десятая населения СССР; на долю Казахстана соответственно — тринадцать и менее пяти процентов. По плотности населения Московская область превышает Красноярский край в двести тридцать раз.

Для создания большой индустрии Востоку потребуется от старых промышленных районов большая помощь кадрами. С трибуны XXI съезда партии Н. С. Хрущев призывал «широко развернуть движение за то, чтобы в эти богатейшие районы страны пошли новые многочисленные отряды работников в области промышленности, энергетики, транспорта, строительства, сельского хозяйства, а также работников различных отраслей науки и культуры».

Подобно тому, как Урало-Кузбасс строил весь советский народ, так и третью металлургическую базу в Сибири и Казахстане создает вся страна.

И, думается, одна из крупнейших и, может быть, сложнейших задач семилетки состоит в том, чтобы организовать широкое, планомерное, систематическое перемещение кадров из наших старых промышленных районов в новые центры индустрии. Ведь сдвиги в территориальном размещении производительных сил требуют и перераспределения работников.

Сегодня Восток нуждается главным образом в строителях, и по зову партии десятки тысяч советских людей пришли на строительные площадки Братской и Красноярской гидроэлектростанций, «Казахстанской Магнитки», Соколовско-Сарбайского, Абаканского рудников и других новостроек. Но уже теперь во весь рост встает проблема укомплектования построенных предприятий производственниками. Конечно, в старых индустриальных районах промышленность по-прежнему будет развиваться, однако относительно более замедленными темпами, чем на Востоке. Применение новейшей техники поможет высвободить здесь часть людей для восточных районов.

Приведем такой пример. В конце семилетки добыча угля в стране возрастет на сто пять—сто семнадцать миллионов тонн против 1958 года. Две трети этого прироста

должны будут дать Сибирь, Дальний Восток и Казахстан. Значит, тут потребуются немалое пополнение шахтерских кадров. Где же его взять?

На шахтах Донбасса полным ходом идет работа по комплексной механизации всего технологического процесса. Меняется самый характер горняцкого труда, отмирает ряд старых профессий. А результаты таковы: число рабочих, необходимых для добычи каждой тысячи тонн угля в сутки, можно будет уменьшить почти на триста человек.

В Подмосковном бассейне в связи с новыми, возросшими требованиями к экономике производства добыча угля в семилетке снизится на тридцать процентов.

Кому же, как не горнякам Донбасса, Подмосковного бассейна прийти на помощь своим собратьям в Сибири и Казахстане? В Ирше, Бородино, Назарове, Черемхове, Экибастузе почетные трудовые посты гарантированы не только бывалым, многоопытным шахтерам. Нет, и молодому горняку здесь легче пробиться к таким высоким рабочим «должностям», как проходчик, машинист экскаватора, комбайна и тому подобное, не то что в старых «перенаселенных» угольных бассейнах.

Такое же положение и на «Казахстанской Магнитке» и на других заводах. И здесь перед каждым металлургом открываются перспективы получить наиболее интересную работу, стать в короткий срок горновым, сталеваром, оператором крупнейших в стране доменных, мартеновских печей, прокатных станов.

Все это важный стимул для привлечения рабочих кадров в новые районы. Но он не единственный. Людям, осваивающим промышленную «целину», должны быть созданы наиболее благоприятные условия.

Некогда новоселы Магнитки, Кузнецка, Березников годами ютились в угрюмых бараках, испытывали серьезные лишения. Страна тогда была бедна и большего дать не могла. Теперь времена иные, ныне не составляет большого труда сразу же обеспечить коллективы, создающие новые очаги индустрии, всем необходимым. В Братске, например, совсем отказались от временок, его дома, улицы, бытовые и культурные учреждения сделают честь любому старому, обжитому городу. Почему бы теми же путями не пойти строителям и другим промышленных центров? Надо, чтобы планирующие, снабжающие и торгующие организации поставили дело удовлетворения нужд жителей этих населенных пунктов так же, а может быть, и еще лучше, чем в наших больших городах с их давно налаженной жизнью. Это будет не только вполне целесообразно с общегосударственной точки зрения, но и вполне справедливо: тому, кто стоит на наиболее важном и наиболее трудном участке коммунистического строительства, — максимум внимания, максимум преимуществ!

Речь идет не только о материальных благах. О чем говорила на Всесоюзном совещании по энергетическому строительству бетонщица В. А. Жаркая — о форсировании жилищного строительства? Об улучшении рабочего снабжения? Нет, от имени строителей Братской гидроэлектростанции она требовала открыть филиал вечернего политехнического института, вечерний техникум. Комсомольцы Алтая решили добиваться того, чтобы в ближайшие три года молодежь всех целинных поселков могла смотреть телевизионные передачи. Комсомол края взял шефство над сооружением трех телевизионных центров и радиорелейных линий.

На новостройках обосновываются советские люди, которые привыкли широко пользоваться библиотеками, регулярно посещать спектакли и концерты. Редкие, от случая к случаю, приезды гастролеров их не устраивают. И это должно быть учтено — в новых городах и поселках нужно создавать массовые библиотеки, стационарные театры, концертные залы, позаботиться о переселении сюда профессиональных актеров, музыкантов.

Укомплектование кадрами новых индустриальных очагов — крупнейшая политическая и народнохозяйственная задача. А между тем дело это ныне почти целиком отдано на откуп вербовщикам, рассылаемым стройками и предприятиями; по сути, оно поставлено на самотек. Неправильно это!

Мне вспоминаются годы первых пятилеток. В то время подбор кадров для Магнитки, Кузнецка, угольных бассейнов Востока считался важнейшим делом партийных организаций старых промышленных районов. Когда карагандинцы в 1931 году обратились к шахтерам Донбасса с просьбой прислать подмогу, там развернулась боль-



шая агитационная работа; так было и в Сталино, и Горловке, и Макеевке, и Ирмино. В итоге очень скоро сотни опытных шахтеров выехали в Казахстан, туда, где строилась третья угольная база.

Претворив в жизнь Закон о сокращении Вооруженных Сил СССР на миллион двести тысяч человек, наше народное хозяйство получит значительное пополнение кадров. Сотни тысяч людей возвратятся из армии на заводы и фабрики, в колхозы и совхозы. Многие из них охотно поедут на работу в новые экономические районы.

В подборе желающих отправиться работать на новостройки, в организационной стороне этого перемещения видную роль должны были бы взять на себя совнархозы и профсоюзы. Большую помощь им могут оказать печать, кино, радио. Может быть, следовало бы подумать о посылке в Сибирь, Казахстан рабочих делегаций, с тем чтобы они рассказали на своих предприятиях о великом строительстве на Востоке, о том, какое огромное значение имеет оно для нашего народа, для каждого советского человека.

Хочется коснуться еще одного вопроса. Велика сила привычки, налаженного быта, ее нелегко преодолеть даже самой убедительной агитацией. Надо, чтобы люди сами испробовали, как живется и работается на новом месте, и в то же время не потеряли возможности возвратиться в свой родной город, даже на прежнюю квартиру.

И, конечно, лишь единицы, может быть десятки, поедут обратно, а сотни и тысячи навсегда свяжут свою судьбу с новыми индустриальными центрами. Через короткое время они будут с гордостью называть себя ангарцами, черемховцами, иршинцами, точно так же, как урожденные макеевцы, днепропетровцы уже много лет зовут себя магнитогорцами, кузнецанами...

Мы начали разговор с проблемы «излишка» рабочих некоторых специальностей, образовавшегося в одном из цехов московского завода в связи с автоматизацией производства. Это тормозит рост производительности труда коллектива, повышает себестоимость продукции. Но такое положение может образоваться не только на отдельном участке цеха, а и на предприятии в целом, даже во всем экономическом районе.

Экономист Е. Русанов произвел весьма поучительные подсчеты. Он взял группу северных районов, где на предприятиях ощущается большой недостаток рабочей силы, и группу районов в центре СССР, имеющих некоторый ее избыток, и сопоставил показатели использования трудовых ресурсов. Оказалось, что в первой группе районов производительность труда выросла за год на двадцать один — двадцать три процента, тогда как во второй группе всего лишь на три — шесть процентов. Исследователь объясняет это тем, что на предприятиях с нехваткой кадров творческая мысль каждого рабочего, техника, инженера, всего коллектива исключительно настойчиво ищет и находит новые пути к совершенствованию производства, люди смелее экспериментируют, вскрывают резервы повышения продуктивности труда. По-иному складывается борьба за технический прогресс там, где работников вполне достаточно и даже в избытке для выполнения определенной программы. Здесь процесс роста производительности труда протекает не столь энергичными темпами, относительно более вяло.

Выводы, к которым приходит Е. Русанов, таковы: «Необходимо... осуществить некоторое перераспределение трудовых ресурсов. Есть некоторые излишки рабочей силы на предприятиях совнархозов отдельных районов РСФСР, Украины, Белоруссии, которые можно при определенных условиях переключить на Восток».

На наш взгляд, за создание вот этих «определенных условий» и надо взяться неотложно, имея в виду фактор времени.

## 2. НОВЫЕ КАДРЫ НА СТАРОМ ЗАВОДЕ

К концу семилетки производительность труда в нашей промышленности должна вырасти в полтора раза. И это в условиях самого короткого в мире рабочего дня!

Подобная задача, будь она поставлена в капиталистическом обществе, могла бы решаться лишь путем интенсификации, перенапряженности труда, введения потогонной системы, приводящей к преждевременному изнашиванию человеческого организма.

Повышение производительности труда при социализме достигается применением новейших достижений науки и техники, рациональной организацией производственного процесса, глубоко сознательным отношением работника к своему делу. Однако все это требует непрерывного роста культурно-технического уровня кадров.

Так жизнь выдвигает еще одну, первейшей важности проблему.

Надо со всей ясностью представлять себе трудности осуществления этой проблемы. За последние годы произошли значительные перемены в личном составе большинства предприятий. Данные ЦСУ свидетельствуют, например, о том, что свыше половины всех машиностроителей работает в промышленности менее десяти лет.

Эти цифры превратились в живую иллюстрацию, когда в цехах московского машиностроительного завода «Борец» я знакомился с его людьми.

Завод этот начал жизнь задолго до революции. Как и каждое старое предприятие, он был силен своими кадрами, сформировавшимися в течение многих десятилетий. Мне часто приходилось бывать здесь, и всегда радостное впечатление оставляли вот эти династии рабочих, связавших свою судьбу с заводом, целыми семьями работавших на нем, многие по четверть века.

Недавно я после долгого перерыва снова побывал на «Борце». И удивился прошедшим переменам: кругом — молодежь, зеленая молодежь. Оказывается, каждый четвертый рабочий пришел на завод не раньше чем в течение двух последних лет. Старых кадровиков осталось совсем мало. Процесс дальнейшего «омоложения» коллектива продолжается.

И это вносит свои коррективы в жизнь заводского организма.

Начальник второго механического цеха Петр Васильевич Галкин начал свою трудовую жизнь тринадцатилетним подростком в 1920 году.

Сурина была в ту пору жизнь страны, каждый кусок хлеба добывался ценой больших усилий. Петра приняли на завод чернорабочим — подметать заводские корпуса. Получить станок было тогда делом нелегким: оборудование тощее, на каждое рабочее место десяток желающих. Постепенно, путем упорного труда, подымался Петр Васильевич со ступеньки на ступеньку, пополнял опыт, учился и учил других. Вечерний техникум Галкин закончил, когда ему стукнуло уже пятьдесят.

Теперь жизнь у молодежи складывается совсем не так, как у отцов. Станка уже не приходится добиваться, каждый молодой рабочий может его получить — была бы лишь охота! Но вот что досадно: есть среди юнцов и такие, кто воспринимает завоевания целых поколений как нечто должное, не только не чувствует себя обязанным, а считает, что государство должно быть ему благодарно за то, что он стал работать на заводе.

Материальное положение советской семьи неизмеримо улучшилось, и величина заработной платы вновь испеченного рабочего — Пети или Васи — в семейном бюджете решающей роли, как правило, не играет.

— Невелик был мой месячный заработок в первые годы работы, по тогдашним ценам — три-четыре пуда хлеба можно купить, не больше, — рассказывал мне старый мастер Сергей Федорович. — И все же каждая моя полчка была большой подмогой в бюджете семьи. Я хорошо понимал это, был горд своей помощью родителям. А нынче Шура — младшая моя дочка, она первый год на заводе — четыре сотни зарабатывает. Это двадцать пять пудов хлеба. И так уж повелось, считаем в семье, что это ее собственные деньги. Живет же она на всем готовом... — Сергей Федорович помолчал и добавил: — Когда говорю об этом жене, она возражает. Ты, мол, все старым живешь, теперь другие времена...

Нередко отцы и матери, вынесшие на своих плечах немалые тяготы, вдоволь познавшие лишения, знающие цену труда, хотят, чтобы их детям жилось беззаботно. И, сами того не сознавая, осложняют их жизненный путь, воспитывая иждивенческие взгляды.

Вполне законная забота о жизнеустройстве своих детей в случаях неумелого, обывательского подхода к делу подчас приводит к тому, что детям прививают пренебрежение к физическому труду, и, увы, часто это бывает именно в рабочих семьях:

«Сам-то я всю жизнь провозился у станка, зато у моего сына руки будут чистыми, он обязательно станет инженером».

Обо всем этом говорили мне старые, заслуженные рабочие завода «Борец».

Заводские активисты поглощены проблемой воспитания нового поколения рабочего класса.

Молодежи, только-только вступающей в трудовую жизнь, нужны люди, которые бы не только учили производству, но и передавали весь свой богатейший житейский опыт, благородные традиции рабочего класса. Интересную мысль высказал в разговоре на эту тему мой давний знакомый, мастер Никита Петрович Аносов.

— Есть,— сказал он,— у нас на железных дорогах замечательная специальность, и называется она по-хорошему, уважительно — «наставник». Наставник передает своим питомцам такие знания, какие ни в одной инструкции, руководстве или пособии не почерпнешь. Эти люди найдутся и на нашем «Борце» и на любом другом заводе. Они будут хорошими производственными инструкторами и в то же время подлинными воспитателями. Простым, рабочим языком, на опыте всей своей славной, хотя и трудной жизни они научат заводскую молодежь дорожить заработанной копеечкой, гордиться ею, ценить все те великие блага, которые завоеваны дедами и отцами.

Что ж, идея прекрасная!

Таковыми наставниками могли бы стать и ветераны труда, ныне ушедшие на пенсию. Известно, что очень многие из них страстно жаждут какого-либо дела, посильного, конечно. Что и говорить, далеко не для всех легок резкий переход от многолетней трудовой деятельности к полному и безмятежному отдыху. И каждый из пенсионеров сам ищет, как бы ему заполнить новым содержанием свою жизнь. Одни с головой уходят в дела семейные — нянчат внуков, возятся на кухне, ходят по магазинам и рынкам, другие увлекаются огородами, садами, дачным строительством. Но, право, огромное большинство старой гвардии все же тоскует по любимому делу, которому отдана вся жизнь. Старые производственники никак не желают примириться с ролью уважаемых, даже почетных, но все же сторонних наблюдателей.

По действующему законодательству, два месяца в течение года пенсионеры могут работать с сохранением полной пенсии. Вот и надо организовано, наиболее рационально использовать эти «рабочие» месяцы ветеранов. Сейчас эти люди кое-где приглашаются заменять отпускников в летние месяцы непосредственно у станка. А между тем они были бы незаменимы в роли учителей, инструкторов, наставников тех новых кадров, которые нынче пришли в цехи.

### 3. ШКОЛЬНИКИ У СТАНКА

На фрезерном станке работает ученик одиннадцатого класса 607-й школы Владимир Парский. Ему присвоен третий разряд, он знает и токарный станок.

Вступаю в разговор с этим юношей. Он охотно делится своими мыслями.

— Нам много и хорошо говорили в школе о поэзии труда, немало я читал о ней в книгах. Все это впитывалось в сознание как-то механически, запоминалось наподобие какой-либо алгебраической формулы. Но, сказать откровенно, не очень-то волновало. И вот пришло время, я своими руками пустил в ход станок. Все школьные понятия сразу стали на свои места. Только теперь, на собственном опыте, я, видя обработанные мною детали, по-настоящему понял, что такое радость труда и что такое сладость заслуженного отдыха.

Итак, положено начало приближению школы к производству, сделан еще один важный шаг в правильной подготовке кадров для народного хозяйства.

Но было бы неправильно умолчать и о трудностях.

Из сорока школьников, работавших на «Борце» и окончивших одиннадцать классов, семнадцать поступили в вузы. А из остальных двадцати трех только пять осталось работать на заводе по своей специальности. Девушки перешли на предприятия легкой промышленности, несколько человек предпочли работать продавщицами в магазине. Часть юношей не удовлетворилась работой на «Борце», перекочевала на другие заводы и осваивает теперь новые профессии.

А ведь все они на протяжении целых двух лет проходили здесь производственное обучение. Сколько средств затратило на это государство!

Работники «Борца» делают правильный вывод: нельзя механически, целыми классами посылать молодежь на один завод, надо учитывать индивидуальные интересы, влечения, склонности.

Конечно, очень важно научить юношу или девушку токарному, фрезерному, слесарному мастерству. Но не менее значительно и другое: суметь воспитать у молодежи чувство рабочей гордости, глубокого уважения к труду — и собственному и своих товарищей по заводу, — короче говоря, «вылепить» из молодого человека сознательного, передового рабочего.

— Сломается у кадрового производственника резец, — рассказывал мне начальник цеха П. В. Галкин, — он спешит его заменить. И это понятно: ему будет стыдно перед товарищами, если снизится выработка. Да и заработок играет роль. А если у иного одиннадцатиклассника испортится орудие производства, он не очень торопится в инструментальную кладовую. Нет еще у него сознания ответственности за выполненные задания, считает себя школьником и не хочет понять, что на заводе он такой же рабочий, как и все, обязанный выполнять норму: ведь он занимает станок. Нет у него заинтересованности в заработке; при работе три раза в неделю в качестве ученика или по первому-второму разряду школьник много и не может заработать. И никто — ни в семье, ни в школе, ни в комсомольской организации — не вразумит его, что заработанный своими руками рубль дороже и милее сотни, полученной от не в меру щедрых папаша и мамаша.

Очень важно, чтобы уже первые шаги школы к производству были сделаны в правильном направлении. Упущенное здесь время может обернуться уже не рублями и не тоннами продукции, а человеческими судьбами.

Об этом много думают педагоги из школы № 607. На эту же тему шла у меня беседа с директором этой школы Я. Б. Пирятинским.

— Включение в атмосферу непрерывного производительного труда, в строй людей, этим трудом занятых, вызывает у наших ребят огромную психологическую реакцию, — говорил Яков Борисович. — Как же: вчерашний мальчуган, быть может, впервые почувствовал себя созревшим.

По мнению Якова Борисовича, многое зависит от того, насколько школьник с первых же дней на производстве окажется увлеченным своей работой. В этом отношении заводским воспитателям, как говорится, и книги в руки. Они не хуже школьного учителя должны уметь определить склонности парня или девушки, заинтересовать их. Был такой случай. К директору школы пришли несколько старшеклассников с жалобой, что на заводе вот уже чуть ли не целый месяц им поручают делать одно и то же — обрабатывать крышку компрессора, что это ужасно им надоело, они как люди грамотные могут выполнять несравненно более сложные задания. Всю «обиду» как рукой сняло, когда этим школьникам очень толково и живо объяснили, какую роль играет эта деталь в нефтяном деле, да заодно поговорили с ними и вообще о значении нефти для экономики страны. Беда наша, сказал в заключение Я. Б. Пирятинский, в том, что вот об этой заинтересованности школьников своей работой никто на заводе и не заботится. Да и людей, коим по должности положено жить этой заботой, тоже нет на заводе.

Немало выявляется организационных неполадок, требующих быстрее их удуления.

В одном из цехов завода «Борец» я встретил студентку-первокурсницу, работающую в качестве... кладовщицы. Оказывается, в цехе для нее не сумели найти станок. И ни одна живая душа из управления заводом не подумала о том, что посадить студента втуза на выдачу инструмента и материалов — это значит в корне исказить замечательные идеи, положенные в основу перестройки высшей школы.

По пути сочетания учебы с производством идут все школы, и не только в виде каких-либо экспериментов, поисков наилучших форм, а с тем, чтобы фундаментально обосноваться в цехах на самом законном положении. Следовательно, надо принять все меры к тому, чтобы скорее были определены наиболее разумные методы производст-

венного обучения. И педагоги и заводские работники, с которыми мне довелось говорить на эту тему, склонны считать, что нужно в широких масштабах создавать на предприятиях учебно-производственные цехи, оснащенные первоклассным оборудованием, обслуживаемые опытными преподавателями-инструкторами. Это и в интересах производства, это необходимо и для коренного улучшения системы обучения.

Но где же взять для этого средства?

На «Борце» проектируют совместно с тремя соседними предприятиями создать один общий такой цех, в котором молодежь будет обучаться станочным и слесарным специальностям. Каждое из предприятий примет на себя долю расходов.

Много могла бы дать общественная инициатива. И здесь стоит обратиться к ветеранам производства — пенсионерам. А почему бы не взять над этим цехом шефство инженерно-техническим коллективам заводов? Вот в Ростове, да и во многих других городах видные профессора-медики после рабочего дня приезжают в рабочие поликлиники для бесплатной консультации. Разве это не пример инициативы и для инженеров? Ведь речь идет не только о передаче элементарных навыков, но прежде всего о том, как заинтересовать молодежь новыми профессиями, пробудить в ней интерес к технике, суметь раскрыть перспективы данной отрасли производства.

Приход на производство тысяч и тысяч учащихся, необходимость серьезного и вдумчивого их распределения по предприятиям — все это возлагает новые функции и на совнархозы. И осуществлять эти функции им должно в тесном содружестве и с руководителями предприятий, и с педагогами, и с родителями, и обязательно с учетом пожеланий самих учащихся.

Статистика сигнализирует о значительной текучести кадров на предприятиях. Достаточно сказать, что, например, почти каждый пятый машиностроитель имеет стаж непрерывной работы на заводе меньше одного года и почти сорок процентов — до пяти лет. Надо ли говорить о том, что в условиях широкого распространения новейшей техники такая текучесть особо вредит делу.

Значит, перед заводской общественностью встает вопрос о воспитании рабочей этики, так сказать, производственного патриотизма, и, если хотите, прямой самодисциплины.

На том же «Борце» идет большое жилищное строительство. Но нередко молодой рабочий, получив прекрасную комнату или квартиру и, таким образом, добившись своего, тотчас же увольняется с этого завода. И, как ни странно, заводской коллектив на это не реагирует. Правда, в нашей стране нет запрета на переход с предприятия на предприятие по собственному желанию, но ведь существует моральный долг каждого работника перед своим предприятием. Ты получил от завода квартиру — следовательно, обязан как бы отработать ее, отдавая свое умение этому заводу. Ты получил на заводе мастерство, завод потратил много средств и сил, чтобы обучить тебя, — твоя святая обязанность ответить на это делом. Назрел ряд новых вопросов в области, я бы сказал, заводской этики, морали, призванных внести поправки к букве закона.

\* \* \*

Бурный рост нашей науки, непрерывное совершенствование техники, комплексная механизация и автоматизация — все это предъявляет высокие требования и к квалификации и к общей культуре кадров. В коллективы предприятий вливаются все новые и новые отряды юношей и девушек, которых предстоит не только возможно быстрее обучить мастерству, но и воспитать, дать им политическую закалку.

Поиски лучших путей для решения этой большой задачи должны находиться в центре самого пристального внимания советской общественности.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## Обсуждаем проблемы современного романа

В. СУРВИЛЛО

★

### НА ПУТЯХ РОМАНТИКИ

*Статья третья\**

**Х**арактерные для литературного развития нашего времени многообразные и оживленные поиски новых художественных форм и изобразительных средств вызваны потребностями самой действительности, необходимостью найти выражение тому новому, что в ней каждодневно рождается. И только в том случае, если писатель идет в своих поисках в направлении к действительности, если в ней он видит цель и в ней черпает материал, средства, краски, только в этом случае поиски плодотворны.

Эта правильная мысль пользуется общим признанием и часто повторяется. Некоторое затруднение — мнимое — возникает, когда ее прилагают к характеристике поисков на путях романтики. Затруднение вызывается той чертой, присущей романтическому стилю, какую определяют словами: отлет от действительности, пересоздание действительности, отход от жизнеподобия. Эта черта в своем историческом происхождении являлась выражением разрыва художника с действительностью, несоответствием между действительностью и его идеалами; и чем глубже была пропасть между мечтой и жизнью, тем бесцеремоннее обращался художник с жизнеподобием, тем необузданнее пересоздавалась жизнь его творческим воображением, тем неистовее, пламеннее выражалась мечта. Нет никакой пропасти между идеалом и действительностью у советского художника, и то, что утверждается им, утверждается действительностью, то, что ниспровергается ею, ниспровергается

им, его идеал — идеал действительности, идеал народа. Но в утверждении своего идеала, страстном и восхищенном, неприкрыто направленном на то, чтобы эмоционально подчинить себе читателя, заразить его своей страстью и восторгом, ему не заказаны ни отход от внешнего жизнеподобия, ни пересоздание действительности, ни фантастика, ни условность. Изменились мотивы, цели, побуждения. Теперь они многообразнее, ярче, живее, жизненнее. Это и побуждение вомотреться в завтра, воплотить в образе то будущее, что уже сегодня возникает и прорастает, ускорить, приблизить это будущее. Это стремление найти формы для выражения необыкновенного, что ежедневно рождается в жизни, того нового, что ищет новых художественных форм для своего выражения. Это поиски образов — пусть фантастических, условных, гиперболических, — способных воплотить такие социальные явления, гигантские исторические сдвиги, для определения, выражения и анализа которых успешно применяются категории социологические и философские, художественному же анализу привычными приемами они поддаются с трудом. Но конечная цель исканий на путях романтики одна — служение действительности, ее правде. Правдой и проверяются эти поиски.

Традиции служат новому. Существует романтический герой. Он традиционен. Характерной его чертой является исключительность. В литературе старого романтизма эта исключительность ставила героя над обществом, над массой, над обыкновенным человеком, делала его недостижимым. В своей отчужденности герой замыкался в гор-

\* См. «Новый мир», №№ 4 и 9, 1959.

дом одиночестве. И нынешний романтический герой исключителен. Но только что перечисленные свойства исключительности решительно не подходят положительному романтическому герою нашего времени. Его исключительность состоит в том, что он с исключительной полнотой, силой и яркостью выражает черты, присущие массе, народу. Между ними нет пропасти; наоборот, между ними существует исключительная, небывалая слитность и единство. Что произошло с романтической традицией? Она подчинилась действительности и зажила новой, новаторской жизнью.

Романтический герой традиционен. Но он всегда нов. Он всегда решает задачи своего времени.

Однако, кроме творческого, новаторского следования традициям, существует и эпигонское. Распространяется оно, конечно, не только на способы построения характера героя, а и на все вообще приемы и средства художественного изображения, выработанные романтизмом. На некоторые черты такого эпигонского использования романтических изобразительных средств указывалось в предыдущих статьях «На путях романтики».

Эти статьи вызвали возражения. Иные из них носили очень возбужденный характер. Например, вот это. Уличив статьи в том, что в них романтическое в литературе рассматривается как постоянная, неизменная совокупность формально-стилевых изобразительных признаков и что в них «нет ни слова об идейной стороне романтического», автор возражений пишет: «Критик (то есть автор упомянутых статей.— В. С.) выступает благородным рыцарем, защищающим нежную малютку-романтику от бесчисленных посягательств Шундика и Очеретина — этих ужасных разбойников... Критик с одержимой сосредоточенностью, с рыцарским постоянством все сводит к одному — к романтике, заявляя, что она, Дульцинея, не дается писателям, что их посещают лишь бабы дебелие да глупые — лжеромантика, псевдоромантика, выпрениная романтика и т. п.». «Взявшись писать о романтике как о составной части социалистического реализма», автор статей «швыряет это хорошее слово и так и этак»<sup>1</sup>. Статьи, вызвавшие запальчивость, гово-

рили, собственно, не о романтике как составной части социалистического реализма, а о такой романтике, какая с ним не составляется. Приемы «пересоздания действительности» и расцветка статьи оппонента дают повод отнести ее «с одержимой сосредоточенностью» к романтическому стилю критики. Огорчительнее всего то, что автору статей, вызвавших весь этот пламень, нечем умерить его; наоборот, есть опасение, что дальнейшие его рассуждения способны лишь подлить масла в огонь.

Вот начало одного романтического произведения — «Всадников» Ю. Яновского.

«Лютовали шашки, и кони носились без седоков, и Половцы не узнавали друг друга, а с неба палило солнце, и гиканье бойцов напоминало ярмарку, и пыль вставала, как над стадом; но вот все рассеялись по степи, и Оверко победил. Черный шлык бился у него по плечам. «Рубай, братва, белую кость!»

Пыль оседала. Кто из отряда Андрия сбегал. Кто простирал руки, и ему рубили руки, подымал к небу покрытое пылью и потом лицо, и ему рубили шашкой лицо, валялся на землю и грыз землю, захлебываясь в предсмертной тоске, и его рубили по чему попало и топтали конем... Степные пираты сцепились бортами, и кружил их удушливый степной шторм. Стоял август неслыханного тембра».

Все характерно в этом романтическом произведении. Характерны его романтические, неистовые, беспощадные, бушеваемые страстями предельного накала герои. Характерна романтическая, то есть архинапряженная, исключительная ситуация. Характерны для романтической стилистики метафоричность и все приемы словесного изображения. Среди них очень характерны эти совершенно романтические «и» и «а».

«И» и «а»! Какое следующее по крепости слово после «одержимого» будет «выдано» по поводу столь чудовищного формально-стилевого утверждения?

Но ничего не поделаешь. Существуют, как было сказано, романтические герои — положительный и отрицательный. Они контрастно, как два полюса, противопоставлены друг другу в романтическом повествовании: положительный возвышен и прекрасен, отрицательный низмен, подл; в их образах, зеркалах своего времени, сосредоточивающих и усиливающих собранные лучи, ху-

<sup>1</sup> В. Буш и н. Реклама и факты. «Литература и жизнь», № 127 за 1959 г.

дожник раскрывает свои идеалы человеческого поведения: в положительном — путем прямого утверждения, в отрицательном — путем разоблачения его гнусности. Так выражается, утверждается, изображается художником прекрасное и возвышенное, объективно существующее в действительности. Художника-романтика влечет к себе небывалое, необыкновенное. Ему чертовски повезло в наше время: действительность каждодневно, повсечасно рождает небывалое, необыкновенное. Жизнь раскрывает небывалые перспективы. Спеша за нею, опережая ее, художник рисует эти перспективы красками наирячайшими, средствами самыми выразительными. Среди этих средств — динамичная, стремительная, увлекательная фабула с неожиданными поворотами, часто с заманчивой тайной, фабула, рассчитанная на постоянное возбуждение интереса читателя к внешним событиям; среди этих средств — ситуации необыкновенные, удивительные, захватывающие; среди этих средств — высокое слово, пламенная патетика; все это — во имя раскрытия прекрасного и возвышенного, объективно существующего в жизни.

А если не во имя? Если неожиданное, необыкновенное, эффектное, звонкое, «романтическое» становится самоцелью? Тогда незачем обращаться к действительности. Тогда достаточно обратиться к накопленным за многие десятилетия романтическим штампам и шаблонам, готовым, затасканным ситуациям, к фабульным стандартам, к застывшей напыщенно-бессодержательной фразеологии. Литературные штампы вездесны. Они вовсе не удел только ремесленничества. Они проникают в замыслы самые прекрасные, становятся на пути развития темы самой современной, ложатся под руку писателю, решающему задачи самые насущные. Без борьбы с ними литературное развитие невозможно. Конечно, главная роль в этой борьбе принадлежит самим художникам — в своем творчестве они рвут с ними, преодолевают их, создают новое и по-новому. Обязанность этой борьбы лежит и на критике.

В одном из рассмотренных в статьях «На путях романтики» произведений было так: ради извлечения эффекта неожиданности был введен в повествование бесцельный. ни для развития сюжета, ни для выявления черты характера не служивший эпизод

с пощечиной, была разыграна нелепая сцена похищения ребенка, положительный герой принял обличье нищего. Эпизоды эти лишены какого бы то ни было идейного, сюжетного, характерологического назначения, это «романтика» чистой воды. Почему именно романтика? Некогда подобные ситуации, осколки которых в данных эпизодах нашли применение, были характерны для романтических сюжетов: и очень эффективная кара унижительной пощечиной, наносимой негодю возвышенным героем, и похищение младенца, и переодевание благородного героя в нищего; в общем потоке образов романтического произведения эпизоды служили развитию романтического замысла, идеи; затем они были подхвачены, размножены, заштампованы эпигонской литературой и служили пошлости. Какова их роль в случаях, разобранных в наших предшествующих статьях, уже говорилось: они мешают, срывают замысел писателя. «Как плохо надо думать о писателе, чтобы предположить, будто в образе побирушки он может усмотреть нечто романтическое», — пишет В. Бушин. По-видимому, ему и такое словосочетание, как «романтический злодей», кажется совершенно непропорциональным; уж если романтический, то, значит, только благородный и никак, например, не злобный. Что ж, тем свободнее от нареканий будет примененное выше определение его критики как романтической.

Однако сомнения проникли и в серьезные статьи: не являются ли статьи «На путях романтики» замаскированным подкопом против всякой романтики? Л. Швецова в статье «Против недоверия к романтике» («Новый мир», 1960, № 4) пишет: «Отношение критика к романтике достаточно ярко характеризуют такие словосочетания, как «романтическая судорога», «романтическая пенка», «романтическая короста». И так, словосочетание «мышечная судорога» следует понимать как неприятие мышечной системы, а выражение «накожная короста» — как выпад против кожных покровов человека и животных. Странная мнительность! Недавно «Литературная газета» (№ 49 за 1960 г.) воспроизвела словосочетание А. В. Луначарского: «романтическая белиберда». Слово «романтическая» не взято в кавычки, не снабжено пристройками «ложно» или «псевдо» — видимо, непоколебимой была уверенность, что это выражение никто не станет рассматривать как



осуждение всякой романтики, а не только той, о которой шла речь.

Более существенны замечания Л. Швецово́й против шатких и сбивчивых критериев романтического, против слишком широкого определения романтики. Она цитирует место из статьи «На путях романтики», где названа совокупность некоторых черт, характерных для романтического письма и нашедших свое бледное выражение в разбираемом романе, рассыпает эту совокупность, распределяет черты по классикам и заключает: «Под столь широкое определение романтики можно подвести все, что угодно: трагедии Шекспира с их бурным кипением страстей, пьесы В. Маяковского с их выявлением социальной сущности образа путем сужения его многомерности и условными приемами, романы Л. Леонова с их образами-символами». Это верно, подвести можно. Что же будет доказано? Во-первых, то, что та или иная черта «сама по себе еще не делает погоды», как замечает Л. Швецова о тайне, характерной для романтического стиля. Во-вторых, будет подтверждена правильность мнения М. Горького, что в творчестве каждого подлинного художника черты романтические находят свое выражение. Л. Швецова хочет абсолютно четких, «железных» определенных явления, не имеющего абсолютных границ. К какому стилю отнести «Тараса Бульбу»? Романтическому? Реалистическому? Возникает определение: романтико-реалистическая эпопея. Является ли абсолютным критерием пересоздание действительности? А в каком истинно художественном произведении оно не осуществляется? И где та точная мера, соблюдение или превышение которой делает произведение реалистическим или романтическим? Она существует и в каждом конкретном случае установима, но жесткому, лишённому малейшей «расплывчатости» общему определению едва ли поддается. Является ли четким критерием субъективно-оценочный момент, характерный для романтического стиля? В каком же подлинно художественном произведении он отсутствует? И где та безукоризненная дозировка, какая установлена для реалистического и для романтического стиля? Граница существует, но это живая, подвижная граница, и часто она так извилиста и прихотлива, что возникает необходимость говорить о сочетании, вариациях, струях и т. п. Определения ро-

мантики, приводимые в статье Л. Швецово́й, хороши, но они отличаются двумя свойствами: во-первых, ни одно из них не вступает ни в малейшее противоречие с критикуемыми ею статьями, и, во-вторых, всем этим определениям при желании можно приписать расплывчатость, шаткость, излишнюю широту.

В числе доводов, направленных против статей «На путях романтики», был и тот, что для разбора едва ли не умышленно были взяты произведения «малоудачные, надуманные» (Л. Швецова), «доказывать их слабость сравнительно нетрудно» (В. Назаренко<sup>1</sup>). Между тем произведения эти получили ряд положительных отзывов, на что в статьях и указывалось. В данной статье пойдет речь о произведении, которое выбрано не для того, конечно, чтобы рассеять подозрения в стремлении критика к легкой жизни, но все же хорошо, что на этот раз они, надо полагать, не появятся. Будут рассмотрены некоторые стороны произведения, высоко оцененного и читателями и критикой, принадлежащего перу писателя, дарование которого ни в ком не вызывает сомнения, — романа «Орлиная степь» М. Бубеннова. Это роман на долгожданную героическую тему — о подвиге советской молодежи на целине. Это хороший роман.

Трудности начинаются с первых же строк произведения. Читатель помнит их:

«Утром в степи появились орлы. Они прилетели сюда издалека — на властный зов жизни. Немного отдохнув, они вновь поднялись с земли и, быстро набрав высоту, достойную их могучего, вольнолюбивого племени, тут же ворвались в незримо кочующие над степью воздушные потоки: нет ничего сильнее чудесной страсти парящего полета!»

Образ орла — устойчивый образ народной поэтики. Он широко применяется и в поэзии, и в ораторской речи, и в быту, и нет никаких признаков эмоциональной истощенности, выработанности этого традиционного образа. Писатель стремится усилить его восприятие путем детализации. Он пользуется при этом оборотами и словами, зарегистрированными в словарях как книжные: властный зов, вольнолюбивое племия, незримо, чудесная страсть парящего полета. Хорошо это или плохо?

В связи с суждением, в котором призна-

<sup>1</sup> «Литературная газета», № 130 за 1959 г.

вались некоторые достоинства патетических картин труда в романе Очеретинна, построенных, в частности, на детализации образа «Трудовая симфония», Л. Швецова высказалась категорически: псевдопоэтические красоты. Оба суждения (то есть автора этих строк и Л. Швецово́й) были достаточно голословны, обе оценки носили вкусовой характер. Поэтому, чтобы не повторять той же ошибки, правильнее вопрос поставить так: противоречат или не противоречат словесные средства создаваемому образу? Создается возвышенный символический образ; никакой претензии на описание нравов пернатых здесь нет, нет их и в картине схватки орлиной супружеской пары при устройстве гнезда — это всего лишь проспект одной из сюжетных линий романа. Книжные слова не противоречат, а подчеркивают символический характер создаваемого образа; по-видимому, это входило в намерения автора. Это будущие герои романа — орлы, об этом оповещает автор, подготавливая и настраивая на нужный ему лад читательские эмоции; а к тем орлам, что летят над степью в прелюдии, повествование вернется лишь мимоходом.

Другое дело слово «куртины» («куртины тарначей»), употребленное чуть ниже на тех же открывающих роман страницах для образа степи, образа не символического, а вполне реального, имеющего огромное значение для романа. «Куртина» — слово французского происхождения, соответствующее по значению слову английского происхождения «клуба». Созданию образа бескрайней, не тронутой рукой человека степи ни слово «куртина», ни слово «клуба» не содействуют. Возможен спор — со ссылкой на побочный смысл, на право писателя расширять значение слова, на местное словоупотребление, на зависимость значения слова от контекста (хотя не только слово зависит от контекста, но и контекст зависит от слова), но такой спор не входит в планы статьи, тем более что «спор о словах» вызывает часто раздражение, странно совмещающееся с признанием слова как первоэлемента литературы. Но в замечании следует подчеркнуть ту его сторону, что образительное средство взвешивается не на весах вкуса, а с точки зрения его соответствия или несоответствия создаваемому образу, замыслу, идее повествования.

Прилетели орлы в степь. Это прилетели юноши и девушки на целину, это их взлет

к трудовому подвигу, и первый среди них — Леонид Багрянов, герой-богатырь, огненная натура, волевой характер, человек, пламенно преданный высоким идеалам труда и служения народу. В его подлинно романтическом образе нашли воплощение мечты и стремления советской молодежи. Автор, как это и свойственно романтическому повествованию, не скрывает своих оценок, своего восхищения героем. Вот несколько характеристик героя и наиболее тесно с ним связанных персонажей. «Лицо Леонида было спокойно-суровым, даже властным... большие серые глаза казались дерзкими и светились необычайно ярко». «Взгляд его серых глаз, необычайно быстрый, смелый и пронзительный, больше всего говорил о напористом, горячем, а возможно, и крутом нраве». На лыжной прогулке «у него точно вырастали незримые крылья». «Выражение его лица в эти секунды (при виде тонущего лося. — В. С.), к удивлению Светланы, стало темноватым, суровым и властным, а взгляд засверкал, как лезвие ножа с оселка». «Из всех парней только Багрянов, конечно, обладал тем властным и притягательным качеством, каким положено обладать вожакам». «Но отчего-то вся душа Багрянова вдруг облилась огнем, каким не обливается никогда в жизни, холодным и жгучим...»

О том, как настойчиво применяется в повествовании типично романтическая фразеология, позволяет судить и такая, например, характеристика уже отрицательного персонажа — Дерябы. Деряба держит в руках своих подручных, систематически обыгрывая их в карты. Об этом сказано так: «...точно околдованные, они оказывались в тенетах дерябинской страсти».

Особенностью всех этих характеристик является их повышено-эмоциональный, по отношению к положительным героям восхищенный тон. Открытое восхищение повествователя направлено к тому, чтобы развить им и читателя. Но при этом — что довольно часто случается в произведениях романтического склада — в повествование вкрадываются ошибки, срывающие намерения автора. Это происходит, в частности, при неоправданном завышении эмоциональной оценки явлений, поступков или высказываний самых ординарных. Едут по степи Багрянов и Галина Хмелько. Она сообщает, что после освоения уедет дальше на восток, так как любит все новое. О тех людях, ко-

торые будут не только осваивать, но и обживать целину, она говорит, что у них сидячий характер. «Какой? — вы тарашил глаза, переспросил Леонид». Он вытарашил глаза, найдя характеристику собеседницы до изумления диковинной. Затем она назвала его характер опрометчивым. «Вот как! — озадаченно произнес Леонид». Она оглянулась и увидела, что Светлана, с которой только что попрощался Леонид, все еще смотрит в степь, вслед им. «Да она стóит! — изумленно прошептала Хмелько». Озадаченность героев явлениями самыми обычными придает им черту незадачливости, простоватости, чуть ли не придурковатости. В расчеты повествователя это, конечно, не входило, намерения были прямо противоположного характера.

Багрянов написал в ЦК партии заявление о необходимости организовать совхоз для освоения целинных земель, так как колхозу эта задача не под силу. Для выяснения вопроса приезжает комиссия крайкома партии. Приехавшие знакомятся с Багряновым, спрашивают, писал ли он в ЦК.

«— Да, писал. — ответил он после секундного замешательства, смело встречаясь со взглядом седовласого человека из краевого комитета партии.

— Вы и сейчас придерживаетесь мыслей, высказанных в вашем письме?

— Да.

— И сейчас считаете, что правы?

— Да.

Приехавшие почему-то заулыбались, а седовласый, оборачиваясь к ним, сказал с некоторым удивлением:

— Глядите, как держится!»

Здесь бесстрашие, проявленное, когда страшиться нет причин, рисуется как чуть ли не героическое; нормальное поведение — как стоящее выше нормы, как удивительное. Тем самым внушается мысль, что такое поведение редкостно для изображаемой действительности и среды; легкая тень, которая при этом падает на действительность, на обычную норму поведения людей, безусловно не входит в задачу повествования; изобразительный прием работает против замысла художника.

Все это частности, о которых говорят, что они «не заслоняют». Но они заслоняют. Какое это имеет отношение к романтике?

Создается образ романтического героя. Эти частности — средства, при помощи которых раскрывается его яркость, незаурядность, это приемы его возвышения, его романтизации.

Опасно также искусственное создание условий для проявления героизма персонажа, оно подрывает эмоцию восхищения им. Провалился на льду лось, Багрянов спасает его. При этом присутствовали и другие здоровые парни, но они не были допущены к спасению лоса по мотиву шаткому и неубедительному: лось испугается. Лось находился на другом конце польны и почти скрылся в дымке, но он, надо полагать, хорошо отличал парней от девушек, так как участие хрупкой девушки в спасении его не испугало. Парням запретили проявить свою доблесть искусственно: померкла бы доблесть героя, усилия его не были бы столь титаничны, эмоция читательского восхищения рассредоточилась бы на несколько персонажей. И герою были созданы соответствующие условия.

Пока художник создает тот или иной конкретный эпизод — все детали в его власти. Но горе ему, если он, завершая эпизод, не уследил за одной какой-нибудь из них, не полностью подчинил ее своему общему замыслу: деталь вырвется из-под его власти и начнет хозяйничать по-своему там, где ее не ждут, влиять на эпизоды, в которых нет ее, эпизоды, созданные ошибочно.

На селе побойше. Пьяный бандит Деряба, раскидывая всех, гонится с ножом за трактористом Репкой. Настиг. «Но в тот момент, когда он замахнулся со всей силой, чтобы произвести с Репкой полный расчет, совсем рядом блеснул огонь, и его оглушило дуплетом. Деряба вытарашил обезумевшие глаза и начал мгновенно трезветь: перед ним с ружьем в левой руке стоял Леонид Багрянов, обвешанный по всему поясу сизоперой болотной дичью...

— Дай сюда нож! — сказал Багрянов, сузив глаза».

Деряба, опомнясь, ярится. Он готов перейти в наступление. Вот он сделал шаг вперед... «Той же секундой он уже летел со стоном назад, под ноги толпы.

— Бок! — пояснил кто-то восхищенно». Читатель, несомненно, также испытает восхищение героем в этой сцене: так мерзок хулиган, так отвратительно все его поведение, так справедлива и желанна кара,

<sup>1</sup> Разрядка везде моя. — В. С.

так красиво бесстрашие Леонида на фоне общей растерянности и сумятицы. Это их первая схватка. Так начинается единоборство положительного и отрицательного героев.

Что можно поставить в вину этому эпизоду? Решительно ничего. Но никакой эпизод в романе не изолирован, он воспринимается в сцеплении и соотнесенности с другими. Его соотнесенность со сценой спасения лося не повредила, кажется, читательскому восхищению. Еще не повредила. Но эпизод соотнесен не только с предыдущим, а и с последующим. Последует же такая сцена.

Провалился под лед и затонул трактор. Его безуспешно пытались спасти по очереди двое: тракторист Репка и Багрянов. О попытке тракториста рассказано так: он, «спасая свой трактор, довольно долго работал в ледяной воде». О его подвиге не сказано больше ни слова. О таком же подвиге, тут же следовавшем и с таким же исходом, но совершенном Багряновым, рассказано наиболее подробнейшим образом. Рассказано, как нырял он, прикрепляя тросы, как «ледяная вода не могла остудить точно налитую зноем душу Леонида и все его взвихренные чувства», как он «все время находился в состоянии неукротимой, ослепляющей и бессильной ярости, от которой, бывает, внезапно брызжут слезы», как его потом понли и растирали спиртом, как «слезным криком кричал он про себя», как он «беззвучно — одной душой — заплакал от обиды и ярости».

Что имеет предъявить критик повествователю? Он отрицает неоспоримое право художника выдвигать на первый план одни фигуры, отодвигать другие? Он отрицает законы перспективы? Критик ничего не имеет предъявить художнику. Он может лишь повторить слова о сцеплении и соотнесенности эпизодов с предшествующими и последующими.

В последующем эпизоде наносится новый сокрушительный удар по силам, нашедшим наиболее яркое воплощение в образе Дерябы. Удар направлен не на самого Дерябу, хоть он и присутствует при этом, а на его покровителя и орудие, на директора МТС Краснюка. Страшный, хмельной от ярости и спирта, движется на него Багрянов, и жалкий трус с диким криком в ужасе обращается в бегство.

Деряба после драки на селе остался на

целине для мести Багрянову за позор поражения. Мечь его носит не только узколический характер: он ненавидит в Багрянове его идейность, в планы его мести входит доказать, что эта идейность ничего не стоит, что Багрянов и его соратники такие же хищники, как сам Деряба, только мельче и трусливее: стоит им столкнуться с настоящими трудностями и лишениями, стоит запугать их — они обратятся в бегство с целины. Поэтому в единоборстве Багрянова и Дерябы эпизод с волчицей, которую Деряба натравил на стан новоселов, имеет существенное значение. В нем с большой силой показана безграничная подлость и гнусность негодяя, и каждая подробность его поведения в подготовке нападения обезумевшей волчицы вызывает к нему омерзение. Тем контрастнее, тем ярче выступают в этом эпизоде бесстрашие, благородство, сила Багрянова. Сцена его единоборства с волчицей, написанная с сосредоточенной энергией, является одной из наиболее художественно впечатляющих в романе. Велика также роль этой сцены и в образном развитии идейного содержания произведения. Вместе с тем следует также отметить, что в нем находит свое наиболее отчетливое выражение «единоборческое», так сказать, начало, то там, то здесь проявляющееся в развитии образа главного героя.

Теперь можно, уже не повторяя больше слов о значении сцепления и соотнесенности отдельных эпизодов, перейти непосредственно к апофеозу романа. Теперь будет понятно, почему восприятие, уже натруженное теми средствами, в том числе и ошибочными, какими осуществлялось возвеличение героя, болезненно отзывается на такие строки багряновского апофеоза:

«На нем сосредоточивалось внимание всех, кто имел отношение к севу у Заячьего колка. Молодые новоселы торопились дисковать и бороновать землю — для Багрянова; лебяженцы день и ночь возили семена — для Багрянова; если где-либо заходила речь о бригаде, то в первую очередь говорилось о работе Багрянова; всякий, кто приходил в Заячий колок, направлялся прежде всего к Багрянову...»

Были эпизоды, в которых герой вызывал неподдельное восхищение; были эпизоды, в которых восхищению что-то мешало; эти помехи, ощущаемые все более, требовали своей разгадки, своего определения; оно

вертелось на языке, теперь оно само срывается с губ; там — блик, нанесенный неверно, здесь — краска, наложенная слишком густо, тут — ответ, мешающий взгляду. И вот самопроизвольно возник на полотне колорит культа героя. Колорит этот был свойствен старой романтике. Он помеха романтике наших дней. Культ — не восхищение, не восторг, он — оковы для них, он ведет к омертвлению этих чувств. Культ героя настораживает против героя, отталкивает от него.

Где культ — там и священнодействие. И ему — увя! — дано быть в книге.

Багрянова, родившегося и выросшего в деревне, с детства тянуло к земле. «Хлеб — всему голова» — помнит он — завет своего отца. Отец его, человек беспокойный и ищущий, вывел особый, замечательный сорт пшеницы. Ему помогал при этом и маленький Леонид. Это был нелегкий, утомительный труд — в долгие зимние вечера сортировать зерна, отделяя на посев самые крупные. Но «каждое зернышко, отобранное на семена, мгновенно освещалось чудесной мечтой о новом, собственном сорте пшеницы, которую уже прозвали в колхозе «багряновкой». Во время войны командир, раненный в поле, засеянном этой пшеницей, заповедовал: «Каждое зернышко сохраните! Пусть не переводится у вас эта пшеница! Сделаете? — Сделаем». Когда Леонид поехал на целину, он взял с собой бережно хранимый как фамильная реликвия мешочек этой пшеницы. «В нем был немалый вес, так что его приходилось нести в обеих руках». И вот теперь на Алтае во время сева Леонид Багрянов при каждой заправке сеялок, проходя вдоль них, отсыпает из увесистого заветного мешочка по горстке отцовских семян и перемешивает их с алтайской пшеницей. «Колдует он, что ли? — Подсыпает что-то... И глаза, как у шамана».

Так Багрянов загубил дело отца, нарушил обещание матери, данное раненому вину на поле боя, отрекся от собственной взлелеянной в детстве мечты. Нет, в романе вовсе нет этих слов осуждения, в романе эта картина исполнена самого высокого пафоса. Для Багрянова сев был «чем-то вроде священнодействия, таинством, которому он отдался весь, всем своим существом, как глубоко верующие люди отдаются молитве».

Художник стоит перед задачей выразить

самое высокое, самое красивое чувство — энтузиазм в труде — и почему-то черпает краски для выражения красивого чувства в чувстве религиозном. Но что скажет этот образ человеку, который молитвенного экстаза не испытывал? Здесь ведь не просто словарь возвышенной архаики, здесь сравниваются именно чувства.

Все это — ради торжественной символики, ради романтики, это ее, романтики, проявление. Но какая романтика была бы сильнее и ярче — романтика долгого, упорного, многолетнего труда, продолжающего дело отца и воплощающего собственную мечту, или романтика, в которой обессмысливается, гибнет эта мечта?

Художник предпочел вторую — таинство причастия. Этот выбор не содействует задаче повествования, он мешает ей. Упреки вызывает не романтическая приподнятость романа. Оручение вызывает падение, спад, срыв романтической приподнятости. Это ведь падение, спад, срыв романтики, когда выражение новых чувств подменяется обрядностью с мерцающей в ней чуждой и ветхой символикой. Не взлет мечты вызывает горечь, а ее падение.

К сожалению, приходится остановиться еще на одном серьезном срыве.

В бригаде новоселов не хватает людей. Это очень озабочивает Багрянова. Он раздумывает, как выйти из положения. Зреет план: привлечь в бригаду людей, находящихся под влиянием Дерябы. Отвоевать людей у противника, привлечь их на свою сторону, противопоставить тлетворной силе разложения силу высоких целей и идей, повести бой за сознание людей — не правда ли, в одной наметке такой задачи уже есть прекрасная романтика, романтика нашего времени, продолжающая ту, что зажигала революционеров в подполье, вдохновляла и вдохновляет с дней Октября коммунистов, умевших в самых трудных условиях завоевывать человеческое сознание на сторону своей правды. Это новая романтика новой правды. Нужны новые способы и средства художественного выражения этой романтики, нужны новые и новые поиски этих средств. И не правда ли, в «Орлиной степи» ее недоставало и был даже в ходе событий момент, когда из-за отсутствия этой черты нашей действительности была ощутима в романе брешь — это когда еще в селе, где была драка стала рассыпаться по злему умыслу Дерябы

его бригада и никому — ни коммунисту Зиме, ни комсомольцу Багрянову — не пришла в голову мысль хотя бы попытаться соблазнить бегущих и поговорить с ними; была другая мысль: «если кто бежит, пусть бежит».

Но никто, разумеется, не может диктовать автору то, а не иное развитие сюжета.

Мысли, не пришедшие в голову героя ранее, не приходят ему, однако, и потом. У Багрянова созрел иной план, им была избрана другая романтика. План Багрянова состоял в засылке в стан врага соблазнительницы с поручением обольстить собой, силой своих женских чар, людей Дерябы и таким образом заманить их в стан Багрянова. Этот план совершенно точно и недвусмысленно был изложен Багряновым той, которая была им намечена в соблазнительницы — игривой и разбитной гулене Аньке Ракитиной. Он начал разговор с ней наедине у пруда, в стороне от палаток. Приглашение поговорить она приняла за любовные намерения и стала вести себя соответствующим образом. Случилось так, что он, освобождаясь из ее непредусмотренных объятий, «разом сорвал с себя руки Аньки, но вместо того, чтобы тут же оттолкнуть ее, вдруг, точно в беспамятстве... наклонился над ней и угрожающе опросил:

— Ты что, колдовка, делаешь?»

Словом «колдовка» он определил ту силу, которая едва не привела его в беспамятство, — силу ее эротического воздействия. Эту силу он и покупает.

«— Будешь у Дерябы — смани его дружок в бригаду. Слышишь? Людей у нас не хватает...

— Как же их сманишь? Ты что? — ответила Анька.

— Околдууй! Околдуешь — дарю на платье».

«По **наивной** мысли Багрянова, это обещание должно было стать главным козырем в разговоре с Анькой, но даже Аньку оно возмутило: «Думаешь, я и на самом деле продажная шкура?» Тем не менее Багрянов отпускает Аньку к Дерябе, давая ей понять, что он не отступает от своего плана и обещания.

Предмет и цель найма названы определенно, определена и цена. Коммерческую добросовестность покупателя подчеркивает то обстоятельство, что он снова заговорил об оплате, когда Анька привела все-таки

двух парней от Дерябы (по наущению Дерябы).

В образе Леонида Багрянова воплощены моральные принципы наивысшего качества. Его отношение к женщине чисто, это нашло яркое воплощение в перипетиях его любви к Светлане. Не только Анька пыталась соблазнить его — его искушала и Галина Хмелько, которая нравилась ему, которой он любовался. Чистота его отношения к женщине и к любви проявилась в той самодисциплине и воле, с какой он отверг домогательства Хмелько, несмотря на бурные вспышки чувственности, им при этом испытанной. Но он не прощает себе этой невольной чувственности, и в решении исповедаться в своем влечении к Хмелько перед Светланой, как бы это ни было обоим мучительно, сказались его исключительная честность, совестьливость и снова, и снова — чистота отношения к женщине. Наряду с этим — вот эта сцена с Анькой. Наряду с этим — не стесненная никакими шевелениями совести готовность использовать низменные инстинкты других людей. Готовность эта накладывает тень на последующие его угрызения из-за тайного влечения к Хмелько, на решение покаяться в греховном помысле. В свете неожиданного цинизма, проявленного теперь, слишком уж щепетильным выглядит его отношение к собственной белизне, что-то в этом есть от фарисейства.

Однако не пора ли прервать критика резким и прямым вопросом: он пишет об элементах культа героя в произведении, о чертах цинизма в герое, о тени фарисейства, упавшей на высокие и искренние чувства; он пишет все это о произведении, о котором сам сказал ранее: «хороший роман». Он пишет это о герое, о котором ранее написал: «в его подлинно романтическом образе нашли воплощение мечты и стремления советской молодежи». Если эти оценки не были дымовой завесой, под прикрытием которой задумывалось уничтожение замечательного произведения, а заодно и романтики, то как это все совмещается?

Это не было дымовой завесой. Это совмещается. Это, к сожалению, «совмещено» в романе. Дело в том, что, кроме элементов культа героя, в произведении есть еще и сам герой. И он вовсе не циник и уж никак не фарисей.

Критик осторожно писал не о культе героя, а о колорите, об элементах культа ге-

роя. Эта осторожность была продиктована не робостью или соображениями перестраховки. Но в романе действительно нет такого эпизода, ткнув в который можно было бы сказать: вот тут культ героя. Не является таким и эпизод сева, в котором все делалось для Багрянова, ради Багрянова, из-за Багрянова. Ведь, собственно, это реальный, бытовой факт, иногда положительный, когда все помогают и участвуют в работе подлинного мастера своего дела, замечательно передовика, или отрицательный, когда искусственно создаются условия для прославления заранее намеченной кандидатуры. Но Багрянов действительно трудился беззаветно.

Говорилось не о том, что отчетливо и в чистом виде проявилось в том или ином эпизоде, а о том, что возникло в сцеплении и сочетании, говорилось о том, что в таком-то эпизоде, например в сцене спасения лося, была натяжка, в другом, например в эпизоде паники директора перед Багряновым, слишком густо была наложена краска, словно бы прямо из тюбика выдавленная на полотно, а в третьем, в сцене спасения трактора, неподвиженный блик мешал рассмотреть изображенное. Этот блик был вызван резкой, демонстративной разницей в отношении к двум персонажам, занятым одним трудным делом. Восприятие, уже задетое другими черточками усиленного выдвижения, иногда почти проталкивания героя на первый план, раздражено: опять он красуется, опять его выставляют. А он не красуется. Блики мешают разглядеть подлинно прекрасный поступок. Багрянов вожак бригадир. Его никто сверху не принуждает лезть в ледяную воду. Но он настоящий вожак и знает, что бывают моменты, когда нужно самому брать на себя самое трудное. Да и не то что знает, логически приходит к решению, а такова его натура: она рвется к трудному. Вот эта черта была недостаточно проявлена, заслонена в эпизоде. Заслонена частностью, о которой принято говорить, что она «не заслоняет».

Герой подлинно романтичен. Главной чертой, делающей его таким, является его отношение к труду. Он сам считает отношение к труду главным в человеке. Оттого он и ненавидит Дерябу и Красюка (волка и суслика) — паразитов, туеядцев, хищников, ведет с ними беспощадный бой не только в

прямых с ними схватках, но и в труде, в который он бросается, как в бой, испытывая «яростное вдохновение атаки». Трудовой азарт, наслаждение работой, упоение трудом, трудом самозабвенным, тяжким, потребовавшим огромного упорства, настойчивости, собранности, бесстрашия, — в этом прежде всего и больше всего проявилась высокая и подлинная романтика героя, кипящего, бушующего, рвущегося вперед, «рискового и отчаянного парня», богатыря, человека простой жизни, большой и светлой души. И вот эту настоящую новую и высокую романтику по какому-то наваждению вдруг подменяет романтика эпигонская, романтика священнодействия, романтика таинства, бессодержательной символики.

В системе образов, в которых находят воплощение высокие идеалы, вдохновляющие Леонида Багрянова, решающую роль играет образ степи, нарисованный художником с огромной любовью, яркостью, многообразием и щедростью. Леонид воодушевляет гордое сознание своей нужности, необходимости для этой безбрежной степи. Образ степи перерастает в образ Родины, любовь к Родине воплощается в трепетном восторге перед просторами и даями степи. «Когда я всматриваюсь в степь, мне даже чудится, что я начинаю видеть на сотни, на тысячи километров вокруг! И мне бывает очень хорошо. Просто удивительно, как хорошо! Глядишь и не наглядись! Ты знаешь, я читал где-то у Герцена, что природа именно своей далью, своей бесконечностью приводит в восторг. Только вот здесь я понял, как это верно подмечено и здорово сказано!» «Когда-то у меня была маленькая родина — наша деревня на взгорье. Началась война, и она стала вдруг очень большой: от западных границ до Москвы. Ну, а теперь ее границы полностью совпадают с границами нашего государства. Это так ясно, моя зоренька!» Так говорит Багрянов Светлане, своей любимой девушке, своей «маленькой», своей «зореньке». И любовь к ней повенчена в его сердце с любовью к степи, к Родине. «Его любовь к Светлане всегда была его восторгом перед ней (перед Светланой). — В. С.). Леонид невольно сравнивал ее сейчас с зарей, медленно разгорающейся в тумане. Заря была прекрасна уже тем, что всюду пробудила жизнь и тронула в мире многозвучные струны. Но еще прекраснее она была тем, что обещала вот-вот

открыть и сделать для человека в этой безбрежной, как жизнь, степи...»

Самые высокие моральные принципы утверждаются в истории отношений Леонида и Светланы. Местами в эту историю проникают ослабляющие ее сентиментальность и умиление, образ Светланы страдает некоторой анемичностью. Но наполняет его большим содержанием, дает ему крепость и силу как раз труд, вдохновенный трудовой порыв девушки во время черной степной бури. Преодолевая в подвиге свою собственную слабость, она стала «чем-то сильнее сильных», и на эту высоту подняла ее любовь. В соотносительности, перелетении, слитности образов труда, степи и любви рождается единый романтический образ, творимый произведением в целом, его образ-идея, образное выражение его идеи. Понятно поэтому, как велика роль каждой из составных частей этого образа. И вот в чистую и светлую атмосферу чистой и светлой романтики любви и благоговейного отношения к женщине дохнуло затхлым духом эпигонской романтики в сцене циничной покупки женщины. Лицо героя искажила — страшно сказать! — дерябинская гримаса. И пусть будет произнесено запретное слово: его образ передернула романтическая судорога.

Кажется, чуть ли не своеобразным литературно-критическим этикетом стало говорить о недостатках хорошего произведения где-то в конце, мимоходом, вскользь. Это нездоровый этикет. О недостатках нужно говорить подробно. И особенно подробно о них нужно говорить, когда речь идет о произведении значительном, написанном на насущную и важную тему, тему современности. Если в общем потоке образов та или

иная антиэстетическая деталь войдет в сознание воспринимающего незамеченной, ее воздействие на эстетические вкусы станет от этого не менее, а более пагубным.

Страшен грех литературщины. Он принимает самые разнообразные формы и виды. Не надо бояться определений его видов и форм. Это необходимо для борьбы с ним. И если при этом будет названа романтика — лжеромантика, псевдоромантика, мнимая романтика — это не будет святотатством. Это будет название вида. Если будет сказано: вот жучок, не нужно изводить себя негодованием, утверждая: это не жучок, а насекомое, это не «романтика», а литературщина.

Литературное развитие не может идти без постоянной и настойчивой борьбы с литературными штампами, шаблонами, стандартами, рутинной. Среди них наиболее въедливы и живучи романтические.

Закончить статью небесполезно наблюдением, сделанным двести лет назад.

«Ни в чем красноречие так не утверждается на примерах и на чтении и подражании славных авторов, как в витиеватом роде слова; и нигде больше не служит остроумие, как в сем случае; ибо не токмо сие требуется, чтобы замыслы были нечаянны и приятны, но сверх того весьма остерегаться должно, чтобы за ними излишно гоняючись не завраться, которой погрешности часто себя подвергают нынешние писатели» (М. В. Ломоносов).

Конечно, погрешность здесь названа словом, не приемлемым для современного литературно-критического языка. При чтении цитаты его следует мысленно заменить: допускают ошибки.





---

---

М. ТУРОВСКАЯ

★

## ГЕРОИ БЕЗГЕРОЙНОГО ВРЕМЕНИ

«**В** отличие от большинства романов в этой книге нет ни одного вымышленного образа или события... Автор стремился создать абсолютно правдивую книгу, чтобы выяснить, может ли такое правдивое изображение событий одного месяца и страны, в которой они происходили, соперничать с творческим вымыслом».

Так написал один из замечательных писателей нашего времени, Эрнест Хемингуэй, предвзято «Зеленые холмы Африки».

Кажется, теперь уже никто не сомневается в том, что правдивое изображение событий какого-нибудь одного-двух месяцев, проведенных в Африке, Гималаях или на Тихом океане, не только может соперничать в глазах читателя с творческим вымыслом, но даже иногда одерживать над ним верх. Серия Географгиза «Путешествия, приключения, фантастика» и родственные этой серии книги, выпускаемые Детгизом и «Молодой гвардией», заняли настолько прочное место в читательских симпатиях, что порой вытесняют художественную литературу. Не будем относить это лишь за счет читательского легкомыслия. Эти книги имеют неоспоримое преимущество: их авторы являются в то же время их героями. Недостаточное знание жизни не угрожает им. Необычайное приобретает здесь устойчивую достоверность факта. Действительность, как это часто случается в наш век, перешагивает через вымысел, и документальность наступает на пятки искусству.

Одни ищут здесь просто занимательного чтения, не обремененного излишней философией. Других увлекает романтика необычайного. Третьи находят примеры человеческого мужества и героизма, четвертые за героическими деяниями отдельных отважных людей хотят разглядеть какие-то

общие черты жизни современного Запада.

Именно этой теме была посвящена статья И. Соловьевой «Люди для людей» в третьем номере «Нового мира» за прошлый год. Это интересная попытка ввести документальный приключенческий жанр, рассматриваемый обычно как периферия литературы, в круг вопросов и проблем большой литературы современного Запада.

Да, эти книги несут в себе этическое начало и, говоря о подвиге, наглядно свидетельствуют смысл подвига.

Но попробуем взглянуть на тот же вопрос с несколько иной стороны и продолжить разговор, начатый на страницах «Нового мира» И. Соловьевой.

«Почему забираются в такие места?—спрашивал в своем дневнике после трехмесячного одинокого пребывания на метеостанции «Ледниковый щит» в Гренландии, отделенной от любого живого существа 225 километрами пути, морозами и отсутствием радиосвязи, Огаст Курто.—...В старину думали, что движущей силой была погоня за сокровищами, но сокровища исчезли, а люди продолжают странствовать по свету» (Дж. Скотт «Ледниковый щит и люди на нем»).

Люди продолжают странствовать по свету и в эпоху межконтинентальных ракет и мощных океанских лайнеров.

«Что заставляет человека штурмовать вершины?— гласит старый вопрос. Многие поколения белых людей тщетно старались найти ответ,— замечает в предисловии к книге Тенцинга «Тигр снегов» его литературный помощник Джеймс Рамзай Ульман. Характерно — вопрос не относится к герою книги: «Что касается Тенцинга, то не надо искать никаких слов: вся жизнь его служит

ответом». Вопрос касается «чилина-нга» — «белого человека», человека Запада.

В самом деле, что заставляет его в далеких Гималаях час за часом рубить ледяные ступени на отвесном, подставленном всем ветрам склоне, ставшем могилой для стольких его предшественников? Обливаясь потом, страдая от жары, насекомых и лиан в джунглях Амазонас, искать встречи с гигантским водяным удавом анакондой?

Нырять наобум в глухую расщелину подземного потока, не зная точно, куда он вынесет и вынесет ли куда-нибудь? Коченеть и мерзнуть на дереве в неудобной позе, подстерегая встречу с тигром-людоедом? Долгими неделями чувствовать под ногами лишь шаткие бревна плота, плывущего через океан, и прислушиваться по ночам, как перетираются связывающие его лианы?

Возможно, Тур Хейердал, прославившийся своим путешествием на «Кон-Тики», сошлетя на скептические улыбки специалистов, заставившие его подтвердить практикой овою теорию заселения Полинезии из Перу, а доктор Ален Бомбар, автор книги «За бортом по своей воле», — на статистику кораблекрушений, жертвам которых надо дать надежду. Джим Корбетт, рассказавший о своих приключениях в «Кумаонских людоедах», укажет на необходимость освободить целый район от ужаса перед тигром-людоедом, а Рольф Бломберг («В поисках анаконды») приведет самую прозаическую причину охоты за живой анакондой — нужду в деньгах. Допустим, что все это с прибавлением спортивного азарта и честолюбия («я отчаливаю преисполненный ярости, честолюбия и веры в успех» — Бомбар) будет верно. И все же...

На плоту «Кон-Тики», кроме Тура Хейердала, было еще пять человек. По крайней мере трое из них, выражая согласие на это фантастическое путешествие, имели самое приблизительное представление о его цели.

«Я сел и сочинил коротенькое письмецо Эрику, Кнюту и Торстейну. В нем было сказано без всяких околнностей:

«Собираюсь плыть на плоту через Тихий океан, чтобы подтвердить теорию о заселении Полинезийских островов из Перу. Поедете со мной?..»

От Торстейна поступила следующая телеграмма: «Еду. Торстейн».

Остальные двое тоже приняли мое предложение».

Все произошло так кратко и просто («Еду. Торстейн»), что можно подумать, они только и ждали, пока кто-нибудь предложит им возможность плыть на плоту через океан.

Герои «Кон-Тики» — не вымышленные литературные персонажи. Каждый из них, вероятно, мог бы обстоятельно и разумно объяснить, что побудило лично его, бросив все дела, отправиться за тридевять земель в отнюдь не безопасное путешествие. Но, кроме этих личных и разных причин, есть же нечто общее, что соединило их всех на подобии древнего инкского плота посреди Тихого океана!

«...С каждым разом все более и более интересные открытия вознаграждают того, кто берется за тяжелое дело подземных исследований...»

...Сражаясь с бородами древних сталактитов, задыхаясь, еле переводя дух, погружаясь в грязь, которая, кажется, еще сохраняет влажность от вод потопа, путешественник под землей чувствует сильнее, чем кто бы то ни был, радость открывателя — почти опьяняющее сознание, что он первый ступает там, где не ходил никто с начала мира».

Так пишет в книге «Десять лет под землей» Норберт Кастере, герой пещер и пропастей, энтузиаст одной из самых оригинальных наук — спелеологии.

«Радость открывателя»... Конечно, кроме пестрой суммы частных ответов, можно дать самый общий, общечеловеческий ответ. И тогда это будет то же неутомимое стремление к познанию и достижению, которое подгоняло древних финикийцев, вело Ливингстона в глубь загадочной Черной Африки, Пржевальского — в пустыни Азии и не давало остановиться капитану Скотту в его трагическом пути к Южному полюсу.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» — гордый девиз каверинских «Двух капитанов», девиз всех капитанов, всех путешественников и первооткрывателей.

Первооткрыватель, первопроходец, первый! Вечно притягательное слово, вечно притягательная слава, героический риск, где проигрыш — жизнь, а выигрыш все-таки больше: иногда новая земля, порой новая гипотеза и всегда — новое знание.

Но тому, кто захотел бы вслед за Хейердалом повторить его путь, пришлось бы заново пройти через те же опасности, а меж-

ду тем он лишен одной из самых заманчивых наград — заслупи быть первым.

И однако такие последователи у Хейердала находятся, хотя их рискованный маршрут едва ли прибавит еще один гран вероятности к его теории. Прогулка на плоту через океан становится едва ли не спортом, и это дало повод Алену Бомбару обратиться в послесловии своей книги с призывом:

«Молодежь, дети, все, кто думает, что можно прославиться или просто бесплатно прокатиться на плоту в Америку или еще куда-нибудь, заклинаю вас, подумайте лучше или обратитесь ко мне за советом. Обманутые миражем, увлеченные заманчивой идеей, представляя себе такое плавание как увеселительную прогулку, вы поймете всю серьезность борьбы за жизнь лишь тогда, когда будет уже слишком поздно, для того чтобы успеть собрать все свое мужество. Ваше смятение будет тем большим, что вы подвергли свою жизнь опасности без всякой пользы».

«Без всякой пользы», — говорит Бомбар и прибавляет: «А ведь в мире существует столько прекрасных и благородных целей, ради которых можно рисковать жизнью!»

Да, в мире есть столько прекрасных и благородных целей, ради которых можно рисковать жизнью! И все-таки находится немало людей, которые рискуют ею без видимой пользы. Одним удается снять кинокартину или написать книгу, другие не делают и этого — путешествий гораздо больше, чем книг о них, — и, не получая великой славы, все-таки рискуют жизнью. Неужто здесь дело только в них самих, в их личном легкомыслии, или в том, что у них ослаблен инстинкт самосохранения? Нет ли здесь еще каких-то причин, не покрываемых ни узколичными («надо заработать деньги»), ни самым общим («бороться и искать, найти и не сдаваться»)?

Большинство тех подвигов, о которых рассказывают упоминаемые здесь книги (а также и те, о которых книги ничего не рассказывают), имеют трудноуловимую и все же бесспорную для внимательного читателя общность. Очень приблизительно я бы назвала ее словом «необязательность».

В самом деле, Магеллану понадобилось фанатическое упорство, чтобы снарядить свою экспедицию. И все же можно с уверенностью сказать: если бы не он — кто-нибудь другой прошел бы его путь. То же относится к Колумбу. Америка должна была

быть открыта — и ее открыли, хотя и приняли сначала за Индию. В то самое время, когда Скотт замерзал во льдах Антарктики, Амундсен достиг Южного полюса.

Тенцинг и Хиллари поднялись на вершину Эвереста 29 мая 1953 года. Это могло случиться годом раньше или позже, флажки на вершину могли донести Бурдиллон и Эванс или Тенцинг и Ламбер. «Третий полюс» земли ждал овоих восходителей.

Но — характерный штрих — Тенцинг рассказывает, что среди шерпов «взятие Эвереста вызвало почти столько же огорчения, сколько радости; шерпы опасались, что теперь не будет больше экспедиций, не будет работы». Они рассуждали просто: полюс высоты достигнут — и Гималаи потеряют для восходителей свою притягательную силу. Однако на деле случилось обратное: количество экспедиций резко возросло. Именно после памятной весны 1953 года различными европейскими экспедициями были взяты главные восьмимысячники Гималаев и Каракорума: К-2, Канченджанга, Макалу, Чо-Ойю, Манаслу, страшная Нанга-Парбат.

Путешествие на «Кон-Тики» через Тихий океан поражает воображение, но его могло бы не быть. Как ни полемично путешествие Бомбара через Атлантический океан по отношению к Хейердалу (а эту полемичность он сам вынес на страницы своей книги), о нем можно сказать то же самое.

Конечно, доктор Ален Бомбар совершил подвиг гуманизма, дрейфуя в океане на своей надувной резиновой лодочке с многозначительным названием «Еретик» и доказав собственным самоотверженным и героическим примером, что потерпевший кораблекрушение может выжить, имея в качестве питания сырую рыбу и планктон, а в качестве питья — сок из той же рыбы и соленую морскую воду.

И все же, говоря его собственными словами, в мире существует еще так много прекрасных и благородных целей, ради которых можно рисковать жизнью!

Иными словами, эти подвиги не стояли на очереди, дожидаясь, кому первому удастся их совершить. На них нужно было натолкнуться, их нужно было придумать. И тогда находятся отважные люди, которые готовы принять участие в их реализации.

Джек Пальмер прошел с Бомбаром первую часть его пути по Средиземному морю, и, быть может, если бы не роковая

остановка в Танжере... «Джек Пальмер сопровождал бы меня до конца».

А ведь Джек Пальмер не был, подобно Бомбару, врачом и не имел «теоретической базы» для оправдания мучительного голода и жажды посреди моря...

Предприимчивые путешественники отправляются на ловлю неизвестных редких зверей, на поиски вымирающих этнографических типов, спускаются с киноаппаратом в глубины океана и в жерла действующих вулканов, устремляются по следам «ужасного снежного человека». Они переживают действительные трудности и опасности, им сопутствуют газетная шумиха и сенсация, часто — клевета и сплетни. Иногда реальное, научное и познавательное значение их экспедиций оказывается огромным, иногда — ничтожным. И бывает, что само путешествие, само приключение не менее значительно для них, чем цель, которую они себе ставят, будь она возвышенна и гуманна или корыстна и пошла.

Джим Корбетт, убивший однажды тигра-людоеда, когда тот спал, вместо того чтобы радоваться удаче, старается оправдаться перед самим собой и перед читателем:

«Я понимаю, что мои личные ощущения в данном случае представляют для других мало интереса. Но возможно, и вы считаете, что в этом случае дело шло не об игре в крокет, и тогда мне хотелось бы привести аргументы, которые я приводил сам себе в надежде, что вам они покажутся более удовлетворительными, чем я думал. Эти аргументы таковы: тигр был людоед, и поэтому лучше, что он стал мертвым, безразлично, был ли он убит, когда бодрствовал или спал, и, наконец, если бы я отступил, увидев, как подымается и опускается его брюхо во сне, я взял бы на себя моральную ответственность за гибель людей, которых он мог убить впоследствии.

Вы согласитесь, что эти аргументы оправдывают мой поступок. Но остается сожаление, что из опасения последствий лично для себя или из-за боязни упустить случай, который мог более не представиться, я не разбудил спящего зверя и не дал ему возможность честной охотничьей борьбы».

Это говорит человек, чьи подвиги (а охота в одиночку на тигра-людоеда всегда подвиг) имеют едва ли не наибольший практический и гуманистический смысл.

Шкура каждого такого тигра оплачена десятками беззащитных человеческих жиз-

ней, не говоря уже о полном расстройстве нормального существования целого района. Но, достигнув цели, охотник сетует, что не предоставил тигру (которого он называет «великодушным джентльменом беспредельной храбрости») возможности честной охотничьей борьбы.

Если было бы можно, он предпочел бы честный поединок охоте, и в действительности этот знаменитый охотник часто предпочитал киноаппарат ружью, проводя бесчисленные часы в засаде на тигров и прибавляя к своим трофеям футы киноплёнки вместо тигровых шкур.

Напротив, для Рольфа Бломберга рискованная охота за гигантской живой анакондой, «героиней» кинофильма, отснятого в джунглях Амазонки, лишь средство добыть деньги для организации другой, не менее рискованной экспедиции в одно из самых гиблых мест Южной Америки — Льянганати — где согласно легенде хранится инкский золотой клад. Может показаться наивно-авантюрным и слишком уж низкокорыстным этот азарт кладоискательства, владеющий Бломбергом и его эквадорским другом Андраде. Право, стоит ли мифическое богатство той затраты сил, тех лишений и трудностей, которые друзьям довелось уже и доведется еще испытать в непролазных чащах и топях «страны фальшивых обещаний и разбитых надежд» — Льянганати?

«— А если ты найдешь клад, что ты станешь потом делать, Андраде?

— Даже не знаю... Только не думаю, чтобы моя жизнь сильно переменилась. Ведь меня влечет не столько золото, не столько возможность разбогатеть, сколько желание во что бы то ни стало разгадать загадку. Раскусить орешек, о который столько людей обломали зубы... К тому же ведь это страшно увлекательно — вся эта история про Вальверде, про падре Лонго и многочисленных кладоискателей, которые пытались здесь счастья на протяжении веков...

Солнце уже зашло. Я забрался в спальный мешок и при свете пылающего костра стал размышлять, что бы я сделал, если бы нашел клад».

Право, если даже обманчивый инкский клад опять ускользнет от них, кажется, что Бломберг и его друг Андраде могли бы повторить вслед за Кастере, нацарапавшим однажды на глиняном полу подземного коридора, приведшего его к тупику, слова.

вложенные Ростаном в уста Сирано: «И это особенно хорошо тем, что бесполезно».

Было время, когда буржуазия переживала свой героический период. Тогда ей нужны были подвиги. Знаменитые и безыменные мореплаватели снаряжали каравеллы, бриги и фрегаты и отправлялись во все стороны света на поиски новых земель, богатств и познаний. Без этого буржуазия просто не могла бы развиваться. Ей были необходимы бескорыстные и самоотверженные исследования «черного континента», Индии и Австралии, хотя бы ради последующей экспансии. Подвиги путешественников — мореплавателей и исследователей — лежали на главной магистрали развития капитализма.

Сейчас необязательные и добровольные подвиги все больше становятся частной инициативой одиночек. Они существуют сами по себе, на периферии жизни, поддерживаемые упорством их авторов, частной благотворительностью падких на сенсацию меценатов, иногда получающая помощь военных кругов, если это может послужить испытанием какого-либо нового вида снаряжения.

Из общественной необходимости подвиг все более становится делом личным и лишним нормальному распорядку буржуазной действительности.

Надо оговориться: я вовсе не хочу подвергнуть сомнению моральную ценность подвига, которую так пристально и всесторонне рассматривала и утверждала в своей статье И. Соловьева.

Но, как всякая моральная, этическая категория, подвиг есть в то же время категория историческая. Неизменным остаются человеческое мужество, воля к борьбе, стремление к познанию. Но меняется конкретное общественное содержание, место подвига в социальной действительности.

Согласимся с И. Соловьевой, что «самый материал, с которым имеют дело авторы этих книг, предопределяет некоторую отстраненность, от социальной проблематики, некоторую абстрагированность в решении вопроса о смысле героического деяния».

Но попробуем, в таком случае, вернуть подвиг в лоно его социальной проблематики, в недра той действительности, из которой он вырывается, оставаясь в то же время причинно с нею связанным. Попробуем преодолеть невольную абстрагированность в решении вопроса о смысле героиче-

ского деяния, взятого лишь в одном нравственном, этическом аспекте, и заглянем для этого по ту сторону подвига, в обыденность, с которой он так или иначе связан.

«В отличие от большинства романов в этой книге нет ни одного вымышленного образа или события... Автор стремился создать абсолютно правдивую книгу...»

«Зеленые холмы Африки» — книга, у которой документальность жанра путевых очерков, помноженная на жестокую документальность обычной хемингуэвской манеры, все же не отняла черт своеобразной художественности, представляет как бы формулу перехода, средостение между бесхитротным жанром путешествий и приключений и литературой в собственном смысле слова. Хемингуэй не только описывает, он размышляет.

«Я любил Африку и чувствовал себя здесь как дома, а если человеку хорошо в какой-нибудь стране, помимо родины, там ему и нужно жить...»

С нашим появлением континенты быстро дряхлеют... Земля устает от обработки... Стоит только человеку заменить животное машиной, и земля быстро побеждает его. Машина не в состоянии ни воспроизводить себе подобных, ни удобрять землю, а на корм ей идет то, что человек не может вырастить...

Я бы приехал еще раз в Африку, но не для заработка... Я вернулся бы сюда потому, что мне нравится жить здесь — жить по-настоящему, а не влечить существование. Наши предки уезжали в Америку, так как в те времена туда все стремились. Америка была хорошая страна, а мы превратили ее черт знает во что, и я-то уж поеду в другое место... Пусть в Америку теперь переезжают те, кому невдомек, что они задержались с переездом...

Может показаться несколько старомодным этот руссонизм, отрицающий технику в век фантастического расцвета техники. Но Африка для Хемингуэя «хорошая страна» не только потому, что «там много всякого зверья, много птиц», что там хорошая охота и рыбная ловля.

«Хорошая страна» — это страна, где еще можно, сонзируя свои человеческие силы в единоборстве с природой, «жить по-настоящему, а не влечить существование».

«Хорошая страна» — это страна, где человек еще не до конца отделился от при-

роды, не окончательно обезличен механизированной буржуазной цивилизацией.

Головокружительная техника, реализующая в цифрах и фактах все старые романтические сказки человечества, сказочная техника, все более делающая человека господином природы, в то же время превращает своего творца в раба социальной машины. Техницизм, возведенный в философию, обезличивает индивидуальность, а комфортабельный быт, организованный по последнему слову техники, поглощает ее. Таков горький парадокс буржуазного технического прогресса.

Даже те, кого, казалось бы, прогресс этот обслуживает, даже та буржуазная верхушка, которая пользуется его плодами, — даже она, будучи главным потребителем материального прогресса, сама становится жертвой своего потребительства.

Хемингуэй, подобно своему герою, писателю из рассказа «Снега Килиманджаро», отправляется в Африку в надежде, что «ему удастся согнать жир с души, как боксеру, который уезжает в горы работать и тренируется там, чтобы согнать жир с тела».

Но зачем отправляется в Африку, покидая американские бары и парижские отели, Фрэнсис Макомбер со своей светской супругой («Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»)? Они, как выразился репортер «светской хроники», «полагая, что элемент приключения придаст остроту их поэтичному, пережившему года роману, отправились на сафари в страну, бывшую Черной Африкой до того, как Мартин Джонсон осветил ее на тысячах серебряных экранов; там они охотились на льва Старого Симбо, на буйволов и на слона Тембо, в то же время собирая материал для Музея Естественных Наук».

Обычная заметка из «светской хроники», за которой последовал трагический конец.

Если бы не этот конец, путешествие в Африку Фрэнсиса Макомбера и его жены, светской красавицы Марго, осталось бы всего лишь эскападой богатых бездельников из той «веселящейся верхушки общества», которую и до них обслуживал профессиональный охотник мистер Уилсон.

Но меткий выстрел миссис Макомбер, уложивший на месте мистера Макомбера, проясняет многое.

Простая история: выйдя в первый раз на льва, Фрэнсис Макомбер струсил. Он бросился бежать, позорно предоставив Уил-

сону добивать раненого и потому особенно опасного льва.

Описания охоты на льва так документально точны, что невольно приходят на память рассказы Джима Корбетта, охотника за «кумаонскими людоедами». И два коротких слова — «замечательный лев», — сказанные Уилсоном и не понятые Макомбером, означают то же, что «великодушный джентльмен» тигр под пером Корбетта.

Но лев убит Уилсоном, а Макомбер остался со своей трусостью, с презрением жены — откровенным — и Уилсона, скрытым под профессиональной вежливостью.

Жена уходит ночью к Уилсону, и может показаться, что это извечная история мужчины и женщины, всегда предпочитающей сильнейшего.

Но тут, собственно, и происходит то, ради чего (вероятно, даже не сознавая этого) Макомбер приехал в Африку.

На следующий день, преследуя буйволов, Макомбер внезапно понимает, что страх в нем больше нет.

«Страх больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине. То, что делает его мужчиной».

Достичь совершеннолетия, стать мужчиной — называет это Хемингуэй. Почувствовать себя человеком — скажем мы.

Африка — «хорошая страна». Там «много всякого зверья, много птиц». Там хорошая охота и рыбная ловля. Но Фрэнсис Макомбер едет туда не за охотничьими и рыболовными трофеями. Буржуазный человек отправляется в «хорошую страну» на поиски самого себя.

Фрэнсису Макомберу «было тридцать пять лет, он был очень подтянутый, отличный теннисист, несколько раз занимал первое место в рыболовных состязаниях».

Но он был трусом задолго до того, как африканской ночью, лежа на своей койке под сеткой от москитов, впервые услышал жуткое рычание льва.

Он был трусом, когда переводил время на мотоцикл, собак и теннис, чтобы не остаться наедине с собой; когда думал и рассчитывал, что Марго его не бросит, потому что он богат, а она уже вчерашняя красавица; когда сам он оставался с ней просто оттого, что не умел давать женщинам больше. Когда жил понятиями и ограниченностью своего круга.

«Неизвестно, с чего это началось», — думает Уилсон. Может быть, это ни с чего не началось, а просто у него всегда было слишком много досуга и денег и слишком мало случаев стать человеком.

Изнеженный всеми благами цивилизации, забывший, что такое борьба, когда цена этой борьбы не спортивный приз и не признанная светская красавица, ставший трусом, еще не успев испытать истинную меру своих возможностей, буржуазный человек ищет померяться силами с природой, чтобы вернуть себе то, что отняла у него дряхлеющая буржуазная цивилизация.

Пусть охотничьи подвиги Макомбера под надежной защитой штуцера мистера Уилсона кажутся бесцельными и не столь уж героическими — глядя в налитые кровью свиные глазки буйвола, он освободился наконец от половничатости и соглашательства, трусости и бессилия, от всего, что так долго сопутствовало его буржуазно налаженной душе. И тогда раздался выстрел миссис Макомбер.

Стареющая женщина поняла, что богатый муж ее бросит. Да, но не только это. Светский круг понял, что Макомбер ему изменил. И буржуазная ограниченность испугалась. Такой он ей не нужен. Человек, впервые ощутивший меру своих человеческих сил, буржуазной жизни страшен. Вот почему так трагически кончилась эта охота.

Нет, Фрэнсис Макомбер не герой. Он не из тех, кто спускается в пропасти или штурмует вершины. Не из той породы. Но именно потому, что он довольно заурядный буржуазный человек, его путешествие так многозначительно.

В нем буржуазная цивилизация как бы изживает себя изнутри. Она обнаруживает внезапную несостоятельность там, где, казалось бы, ее наибольшая сила. Ибо, даже предоставляя своим баловням максимум материальных благ, она рождает у тех, кто сохранил хоть каплю человеческого, своего рода духовную нехватку — нечто вроде нравственной кислородной недостаточности. И чем более кичится современный капитализм своим материальным прогрессом, чем более бесцеремонно прогресс этот оттесняет духовную жизнь современного западного человека, оглушая его потоком стандартизированных кино- и теледетективов, притупляя ему нервы наркотиками, порнографией и футболом, тем более

растет в обществе ощущение этой кислородной недостаточности. Процессу всеобщего омешанивания сопутствует исподволь нарастающее разочарование в основном стремлении буржуа — максимальном удовлетворении материальных потребностей.

Год назад, во время недели французских фильмов, нам показали комедию, поставленную знаменитым мимом Тати, — «Мой дядюшка». О природе и путешествиях в ней может напомнить разве что птица, поющая под солнечным лучом у дядюшки в мансарде, да груды оранжево-экзотических апельсинов на тележке парижского зеленщика. И все же сто́ит вспомнить этот фильм, самая популярность которого на Западе кажется симптоматичной.

«Мой дядюшка» — остроумная и очаровательная пародия на буржуазно-пластмассовый рай современного обывателя.

Миниатюрный семейный рай этот опрятен, удобен и рационализирован до предела. Новейшие пластмассовые стулья, такие гладкие, что, кажется, пылинке не за что уцепиться. Новейшая суперкухня, оборудованная столь совершенной кухонно-электронной аппаратурой, что бифштекс на сковородке, подпрыгивая по-лягушечьи, сам послушно переворачивается на другой бок. Даже сад оборудован по последнему слову техники, и разноцветная (тоже, по-видимому, пластмассовая) травка на аккуратных газончиках куда удобнее полевой, дикорастущей, нахальной и буйной травы. Все для удобства обывателя. И только ручной, укрощенный, послушный нажатии кнопки голубой фонтанчик иногда пытается взбунтоваться и вспомнить, что когда-то он был частью могучей водной стихии...

Так живут: отец — служащий пластмассовой компании, мать — блюстительница этого семейного электроочага, сын и собака.

Но мальчику отчего-то не по вкусу яичко в нейлоновой... ну да, рюмочке (хотя, кажется, посели здесь курицу, и она станет нести яйца в новейшей нейлоновой скорлупе). Он мается в этом модернизированном домашнем раю, где не только дорожки между газонами заранее распланированы, но даже путь по самим газонам четко обозначен аккуратными площадочками для ног; где желания исполняются прежде, чем успели зародиться, а человеческое воображение, смелость и мускулы покрываются жиром и атрофируются за ненужностью. Его мечта — прогулка к дя-

дюшке, в мансарду, на окраину, где нецивилизованные, «дикие» мальчишки на пустыре предаются своим исконным мальчишечьим забавам и мечтают о дешевом пироге с повидлом, испеченном тут же, на примитивной жаровне, и захватанном жирными пальцами уличного продавца...

Речь, конечно, идет не о том, чтобы доказать преимуществу старой, скрипучей лестницы, поднимающейся бесконечными маршами на дядюшкину голубятню, грязных рук уличного торговца и старой доброй зеленой тележки Кренкбиля, где всякую головку капусты можно потискать, прежде чем уплатить за нее несколько кровных су...

Но живой, нормальный мальчик, не успевший еще вырасти в механизированного обывателя, не может примириться с духовной нирваной пластмассового рая.

Смешной и грустный парадокс этого фильма заключается в том, что, достигнув как будто максимального удовлетворения своих материальных потребностей, современный мещанин, вместо того чтобы освободиться от власти быта, более чем когда-либо становится его рабом. По мере того как он обставляет свою физическую жизнь все большими удобствами, духовная жизнь его замирает, целиком отданная на обеспечение этих удобств. Его человеческая личность без остатка поглощается круговоротом обыденности и теряет всякий самостоятельный волевой импульс, не говоря уже о возможности поступка героического.

Нужно возвращение к «естественному», так сказать «асоциальному» состоянию, чтобы этот порочный круг был прорван. Нужно возвращение к детству, чтобы обитатель пластмассового домика захотел высунуть нос за его автоматизированные ворота. Племянник выходит за ворота и отправляется в гости к дядюшке.

Нелепый, длинноногий и нанвный, этот дядюшка (его играет сам Тати), расстраивающий налаженный ход пластмассового производства, обламывающий по рассеянности симметричный декоративный кустарник и приводящий в замешательство благонамеренных гостей, олицетворяет в фильме современного «естественного» человека. Увы, для того чтобы во взрослом состоянии сохранить свою свободу от власти механизированной обыденности, этот «естественный» человек должен в неприкосновенности сохранить свою инфантильность.

Все, что он может предложить племяннику, — это старая поэзия парижской мансарды и еще не застроенный новейшими коттеджами грязный пустырь своего детства...

Миниатюрное «путешествие на пустырь», предпринятое мальчиком из пластмассового дома, конечно, весьма далеко не только от героического плавания через океан или головокружительного спуска под землю, но даже от увеселительной поездки какого-нибудь Макомбера на сафари, где все-таки есть настоящие львы. Но и оно имеет самое непосредственное отношение к нашей проблеме, потому что в своей эксцентрической, комедийной форме свидетельствует, с одной стороны, как далеко зашел процесс дегеронизации современного буржуа (даже путешествие на пустырь кажется ему опасной авантюрой), а с другой — каким широким становится протест против этой дегеронизации, бездуховности жизни...

Человек выходит на дорогу, на понски своей «хорошей страны», где можно «жить по-настоящему, а не влачить существование». Для одного — это Гималаи, для другого — Африка, с наемным охотником мистером Уилсоном, для третьего — хотя бы пустырь, смотря по обстоятельствам и масштабу его человеческой личности.

Подвиги редки, а «путешествий на пустырь» становится все больше. Разве шведские «раггары», мчащиеся сломя голову на своих допотопных машинах по отличному дорогам одной из самых обеспеченных и самых скукающих стран Европы, не те же путешественники на пустырь?

Грозные гималайские вершины — и накаленные шоссе, подвиги во славу человека — и бесцельная гонка на высоких скоростях за сильными ощущениями, — что между ними общего? Только то, что это два полюса, две крайности выражения того кризиса буржуазных устремлений, который становится все очевиднее.

Молодые люди, у которых впереди холодильник и образцовый мещанский рай, сознательно или бессознательно пытаются этой бешеной скоростью и бессмысленными дорожными приключениями восполнить то же сосущее чувство духовной кислородной недостаточности... Молодые люди с собственными машинами уже не верят, что «хорошую страну» можно создать. Пока они молоды, они стремятся лишь уехать от того, что создано для них их отцами и де-



дами. Они выходят на дорогу. Дорога, дорога, дорога никуда...

Человек отправляется на поиски своей «хорошей страны». По мере того как буржуазная цивилизация продвигается все дальше, настоящих «хороших стран» остается все меньше: путешествие на Луну пока еще не под силу даже самому щедрому меценату. «Хорошие страны» приходится изобретать, спускаясь в жерла вулканов или отправляясь через океан на первобытном плоту.

«И почему это вас так тянет в море? — спрашивают нас часто практичные люди, — пишут Кусто и Дюма, герои и авторы книги «В мире безмолвия». — Джорджа Меллори спросили как-то, почему ему так хочется влезть на Эверест. Он ответил: «Потому что он существует!»

Чем дальше, тем путешествия становятся фантастичнее. Тем меньше опоры для них в самой действительности.

Регулярные (хотя от этого ничуть не менее невероятные) спелеологические исследования Кастере или приуроченные к нуждам местного населения охотничьи подвиги Корбетта столь же характерны для эпохи первой мировой войны, как одинокие и героические путешествия Хейердала и Бомбара — для второй.

Едва ли случайно, что биографии по крайней мере половины экипажа «Кон-Тики» связаны с антифашистским движением. Это не случайно хотя бы потому, что, подбирая возможных участников плавания, Тур Хейердал обратился именно к военным воспоминаниям. Торстейна он впервые встретил в Финмаркене, где тот с маленьким передатчиком работал в фашистском тылу, имя Кнута связано со знаменитым взрывом завода тяжелой воды в Норвегии.

Людам, закалившим волю и мужество в суровых военных испытаниях, некуда приложить их в будни буржуазной действительности. «Могу поклясться, что им обоим осточертело слоняться без дела дома и они с радостью согласятся прокатиться на плоту». Хейердал не ошибся. Так появилась знаменитая телеграмма: «Еду. Торстейн».

Еще раз: индивидуальные побудительные мотивы подвига могут быть бесконечно разнообразны. А общечеловеческие мотивы и в наши дни сохраняют свой извечный смысл. Речь идет лишь о месте подвига в современной буржуазной действительности.

Та отстраненность от социальной проблематики, на которую справедливо указывала И. Соловьева, говоря об этих книгах, сама по себе есть явление социальное. И сегодня добровольный героический подвиг какого-нибудь путешественника и исследователя есть в то же время бунт — сознательный или бессознательный — против мещанской власти обыденщины, против бездуховности и дегеронзации действительности.

Одних эта действительность устраивает, и они всю жизнь стремятся к тому единственному «идеалу», который она предлагает, — к все более полному удовлетворению своих материальных потребностей. Другие вступают на путь непосредственно социальной борьбы, желая переделать самую эту действительность. Третьи, наконец, не найдя или потеряв свой общественный идеал, пытаются искать выход на путях индивидуального героического деяния. Их невольный протест против безгеройности и бездуховности мещанского существования чуждается открыто социальных форм. Напротив из сферы нормальных социальных отношений они как бы вырываются в «асоциальное», где человек находит себя в борьбе с природой, а человеческие связи сводятся к простейшим и наиболее надежным. Они «выламываются» из привычной рутины существования, чтобы в прямом столкновении со стихийными силами природы, в борьбе с ними найти иное, человеческое, а не буржуазное представление о счастье, осуществить свои личные, индивидуальные поиски идеала.

«Далекий путь! Далекий путь! Но какова его цель? Для чего я построил этот плот и плыву все дальше и дальше в глубь Тихого океана, в тех его просторах, где редко проходят корабли?»

Вот и еще один плот из семи бальзовых бревен под названием «Семь сестричек» вышел в океан, неся на себе кошку Микки, попугая Икки и единственное человеческое существо — Вильямса Виллиса, шестидесяти лет от роду. Зачем он вышел в свой долгий стопятнадцатидневный путь?

«Это не прихоть и не простое приключение. Я не хочу доказать какую-либо научную теорию или открыть новый путь, чтобы по нему шли другие. Я хочу доказать этим путешествием, что всю жизнь шел по правильному пути.

Я пришел в мир с крепкой верой в природу и всегда был убежден, что если ста-

ну вести деятельную и простую жизнь, сообразно ее законам, то смогу еще больше к ней приблизиться и почерпнуть у нее силы. Для меня это была дорога к счастью... И геперь, пока я еще полон духовных и физических сил, мне хочется подвергнуть себя суровому испытанию, какому должен, по моему, подвергать себя каждый человек».

Оставим на совести автора этой книги («На плоту через океан») его несколько старомодную позу гордого индивидуализма и недостаток юмора, который невыгодно отличает его от младших коллег — Хейердала и Бомбара. В конце концов Виллис имеет право на патетику — он прошел свой невероятный путь на плоту, а победителей не судят. Он заслужил наше уважение и доказал то единственное — очень частное, но и очень общее, — что хотел доказать. Он доказал, что человек может быть человеком, если захочет. Сама бесцельность была целью его путешествия, и если с точки зрения практической, научной и какой угодно другой его подвиг может быть назван бесполезным, то это высокая и поучительная бесполезность...

Человек хочет чувствовать себя человеком. Он хочет познать и измерить истинную меру своих сил. И, минуя сложную систему современных буржуазных отношений, которые обезличивают его и делают рабом обыденности, он вступает в прямое единоборство с природой.

Недаром те, кто сохранил в душе потребность героического, так охотно возвращаются к опыту ранних эпох человечества (Тур Хейердал) и так остро чувствуют свою преемственность с далекими доисторическими предками, отстоявшими право человека называться человеком в жестокой борьбе с природой (Кастере). В глубине пропасти, на ледниках Гималаев, под водой или на плоту среди океана, всюду, где жизнь зависит лишь от его личного мужества, выдержки и силы, человек снова ощущает себя Атлантом, держащим мир на своих плечах.

Человек хочет знать истинную цену человеческих связей. Он хочет знать, что ря-

дом с ним такой же настоящий друг, как он сам. И, минуя ложь социальных отношений, которые делают его жертвой предательств и игры корыстных интересов, он ищет товарищей там, где цена товарищества в то же время цена жизни. Альпинистская связка — наглядное, почти символическое выражение этих первичных человеческих связей, где жизнь одного не фигурально, а буквально в руках другого.

Человек хочет иметь нечто более высокое и общее, нежели только личное благополучие и маленькое мещанское счастье; нечто, ради чего стоит рискнуть даже жизнью; нечто, что когда-то называли идеалом, ну хотя бы целью или задачей. И если одряхлевший буржуазный мир больше не в силах предоставить ему такой общий, скажем, общественный идеал, он отправляется на поиски своего личного идеала, цели, задачи, ради которых не трудно рискнуть даже жизнью. «Мы были равны в труде, в радостях и в горе. И мое самое горячее желание — чтобы, сплотившись перед лицом смерти, мы остались братьями на всю жизнь», — пишет в предисловии к своей книге победитель первого из гималайских восьмитысячников Аннапурны Морис Эрцог. («Аннапурна — первый восьмитысячник»).

«Переступив пределы своих сил, познав границы человеческого мира, мы осознали истинное величие Человека.

В самые ужасные моменты агонии мне показалось, что я постиг глубокий смысл жизни, который прежде был от меня скрыт. Я понял, что правда важнее силы...

Эта книга нечто большее, чем рассказ, это — свидетельство. То, что кажется лишним смыслом, порой имеет глубокое значение. Таково единственное оправдание бесцельных, на первый взгляд, поступков».

Да, человек может остаться человеком даже среди всеобщего омещанивания, даже подавленный мощью техники и обезличенный могущественной рутинной быта. Он остается героем даже в безгеройное и бездуховное время. И если буржуазной действительности больше не нужны его героизм, его мужество, игра его духовных сил, это означает всего лишь банкротство этой действительности.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Ю. Буртин.** Поэзия деревенского детства.— **Г. Владимов.** Образы и комментарии.— **И. Питляр.** Остановить мгновение! — **А. Меньшутин.** Книга о Влоке.— **Г. Белая.** «...Насколько едина маленькая планета...».

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Н. Крутикова.** Новое издание биографии В. И. Ленина.— **Л. Ерихонов,** кандидат филологических наук. Борцы за свободу Болгарии.— **А. Бельская.** Западный Берлин как он есть...— **С. Обручев,** член-корреспондент Академии наук СССР. Ценное издание.

## Литература и искусство

### Поэзия деревенского детства

**Н**овая книга Владимира Солоухина принадлежит к числу тех счастливых книг, которые читаются не просто с интересом, а с искренним удовольствием. Прочтешь иную страницу, и жаль с ней сразу расстаться: вместо того чтобы перевернуть ее, медленно перечитываешь еще раз. И наперед знаешь, что через какой-то срок снова снимешь книгу с полки и ту же самую, уже хорошо знакомую страницу с прежним чувством перечтешь вновь.

Чем объяснить радость общения с этой книгой?

Безупречно выделанной, художественно совершенной ее назвать нельзя. Недостатки есть, и видны они, так сказать, невооруженным глазом. Наиболее крупный из них (чтобы не омрачать укоризнами заключения, скажем об этом сейчас)— очевидное несоответствие содержания книги ее замыслу.

В самом деле, в авторском предисловии, не без некоторого кокетства построенном в виде диалога, замысел определен так:

**Владимир Солоухин.** Капля росы. «Знамя», №№ 1 и 2, 1960.

«Это книга про мое родное село Олепино. Если у вас из прочтения как бы отдельных и как бы разрозненных картин составится одна, общая и цельная, если вы будете иногда вспоминать и думать об Олепине, а главное, если вы будете вспоминать и думать о нем тепло, как о хорошем, добром знакомом, то больше мне ничего и не нужно».

Из того же предисловия следует, что в книге найдет себе место и история села Олепина («Всякое дерево состоит не только из листвы и плодов, даже не только из ствола, но у него есть еще и корни...»), и портреты людей («много людей, несколько десятков человек»), и природа, и «чисто колхозная тематика» («в своем месте будут помещены целые таблицы цифр») — словом, задуманная картина мыслилась писателем не только цельной, но и весьма полной, захватывающей если не все, то многие стороны жизни небольшого владимирского села.

В действительности все это получилось несколько иначе. «История» свелась к тому, что был приведен и кратко прокомментирован один — не слишком любопытный —

исторический документ. «Чисто колхозная тематика» заняла в книге несколько больше места, но и тут автор не пошел дальше общеизвестных положений о причинах неблагополучия в нашем сельском хозяйстве в первые послевоенные годы и тех мерах, которые вызвали его быстрый подъем в течение последних пяти-шести лет. Художественного анализа перемен, которые за тридцать колхозных лет произошли в труде, в быту, в реальных отношениях и в сознании крестьян села Олепина, то есть того, чего всего естественнее было бы ждать от этой книги, в ней нет. Природа... Но о ней позже. Что касается «портретов», то намерение В. Солоухина «представить» читателю всех олепинских жителей, заранее зная, что многих из них он сможет только назвать, уже само по себе вряд ли было правильным. И хотя несколько лиц обрисовано настолько определенно и живо, что ради них одним стоило бы прочесть эту книгу, тем не менее в целом, как и почувствовал автор, «обход тридцати шести домов» местами действительно кажется «долог или даже обременителен».

После всего сказанного едва ли нужно добавлять, что картина жизни села совсем не получилась такой полной и цельной, какой хотел видеть ее писатель.

Да и могла ли получиться? Здесь стоит вспомнить еще одно авторское указание: «я взял за главное правило при написании этой книги пользоваться только тем, что вошло в мою память само собой, постепенно, исподволь, в то время когда у меня не было еще и мысли писать книгу про Олепину». «В то время...» Но какое же это время? Не надо даже знать заранее биографию писателя В. Солоухина, достаточно со вниманием прочесть его последнюю книгу, чтобы ответить на этот вопрос со всей определенностью: это первые четырнадцать-пятнадцать лет его жизни, детские и отроческие годы. Пятнадцатилетним он приезжает в отчий дом уже только на каникулы, и с этих пор в Олепине он гость; может быть, не такой уж редкий, но гость. Вот и выходит, что реальной основой книги стали впечатления детства — добротный, но, по размаху авторского замысла, явно недостаточный материал.

Просчет чрезвычайно поучительный! Он показывает, в какой степени глубоким должно быть проникновение писателя в жизнь, если картину этой жизни он хочет сделать

по-настоящему художественной. Приступая к работе над книгой, В. Солоухин был, конечно, уверен, что знает свое родное село насквозь, вдоль и поперек, во всех отношениях, во всех измерениях. В действительности оказалось не так, и эта неравномерность знания материала точнейшим образом отпечаталась в художественной неравноценности отдельных страниц и глав книги. Все, что находится за пределами личного опыта деревенского мальчишки, то есть, конечно, весьма многое из «взрослой» жизни села, или совсем не отразилось в произведении, или описано правильно, небезынтересно, но не больше. И только когда речь заходит о том, что этот мальчишка доподлинно знает, лишь тогда у читателя холодноватый интерес сменяется наслаждением и возникает желание перечитать только что прочитанную страницу.

Оставим же теперь в стороне неосуществленную «энциклопедию олепинской жизни» (хотя здесь тоже есть великолепные места), и займемся ценнейшей и лучшей, как мне кажется, частью лирических очерков В. Солоухина. Это, если хотите, тоже своего рода «энциклопедия» — поэтическая энциклопедия деревенского детства. К счастью для читателя, хотя и в явное нарушение авторских планов, она заняла в книге довольно много места.

Книга открывается словами С. Т. Аксакова:

«...Передавать другим свои впечатления с точностью и ясностью очевидности, так чтобы слушатели получили такое же понятие об описываемых предметах, какое я сам имел о них...» Этот эпитаф удачен втройне, ибо одновременно указывает и на метод автора — воспоминания, и на связь книги с определенной литературной традицией, и на то основное требование, которое ставил перед собою В. Солоухин. «Точность и ясность очевидности» — именно так можно определить художественное качество страниц, отданных изображению деревенского детства. Впрочем, судите сами.

«До войны в нашем колхозе был обычай: около шести часов утра косцам в луга носили завтрак. А так как жены косцов, то есть наши матери, заняты в это время стиральной, а вторая женщина — сноха ли, дочь ли — найдется не в каждом доме, то завтрак носили дети и подростки.

...Все необыкновенно для нас в мире в эти ранние часы, в которые мы всегда спим, а

сегодня оказались на лугу, возле реки. К воде подойдешь, она тихая, еще не прощнулась, темная, таинственная. Желтые кувшинки замерли и телерь, утром, горят ярче, чем даже в солнечный полдень.

Хоть мы и одеты по-утреннему: в пальтишках, в кожаных сапогах и фуражках,— хоть еще и не пригревает солнце и зябко будет, если раздеться, все же решаемся купаться. А сами разговариваем вполголоса, как разговаривают возле спящего человека, как будто река и правда спит. Сумела что-то такое внушить река, что не слышно ни смеха, ни громкого разговора.

Разделся, так надо прыгать, не целый день стоять голышом на берегу! Кто-нибудь потрогает рукой воду и вскрикнет от неожиданности: «Парное молоко!» И ты знаешь, что теплой покажется вода, но все равно она неожиданно, чрезмерно тепла по сравнению с прохладным воздухом утра. И все равно, как ни готов к этому, восклицнешь удивленно: «Ой, братцы, парное молоко!»

Когда прыгнешь в воду и немного очуствуешься, ждет новая неожиданность. Оказывается, вода не так уж тепла, она сильно, крепко сжимает и освежает тело. а на берегу ожжет его, мокрое, утренним холодком».

«Змей нету в нашем лесу. Безбоязненно оправились мы, оснащенные глиняными кринками, к которым матери приделали удобные державки из веревочки; несешь кринку, как ведро на поцепке.

Попадется безлесный склон холма, окруженный темным квадратом елей. Не ощущаешь не то чтобы ветерка, но и никакого движения воздуха. Испарения смолы, сухие и жаркие, устоялись возле еловых пней, струятся, колеблются над поляной, как неразмешанный растаявший сахар в стакане горячего чая.

Вокруг каждого пня растут ягоды. Так у нас называют землянику, а уже другие все ягоды зовутся по именам: брусника так брусника, костяника так костяника. Ягоды на открытых полянах возле раскаленных пней некрупные, вроде бы сохшиеся, но очень сладкие.

На молодой порубке, где не поймешь, что выше: сочная трава или осиновая поросль,— в тенистой, сырой прохладе вызревают ягоды величиной по наперстку, полные земляничной влаги своей, мягкие, нежные. с беленькими пятнышками там, где держа-

лись за материнскую ветку. Горсть за горстью кладешь в кринку. Сначала кринка заполняется скоро, но как дойдет до самого широкого места, так и замрет: кидаешь, кидаешь, а киданого нет.

...Я не помню, чтобы кто-нибудь из нас когда-нибудь принес «с краешками», не говоря уж про то, что «стогом». Но и та, что принесешь, высыпанная на белую тарелку, способна так распространить свой аромат, что все уголки избы наполняются им. Тотчас нужно класть землянику в чашку, заливать молоком и есть с мягким хлебом.

Ночью ляжешь спать, только задремлешь, а веточка земляники с пятью крупными ягодами ясно встанет в глазах, проглотит, качнется в зеленой траве, и долго еще в глазах ягоды, ягоды, ягоды...»

Деревенское детство и беднее и богаче городского. Беднее — это каждый знает: ни роскошных дворцов пионеров, ни театров юного зрителя, ни встреч с писателями и Героями Советского Союза. Богаче — это тоже, пожалуй, известно, но известно гораздо менее точно, в слишком общей и неопределенной форме. Книжка В. Солоухина делает видимыми те сокровища, которыми безраздельно владеет сельская детвора.

В первую очередь это богатства родной природы.

Природа средней полосы России нашла в Солоухине проникновенного выразителя и певца. Читатель почувствовал это уже по «Владимирским проселкам». В новой книге картины природы заняли еще большее место, а мастерство Солоухина-пейзажиста поднялось на новую ступень: сохранив в своих новых картинах присущую ему четкость рисунка, он в то же время стал более шедр на краски.

Пейзаж встречается в книге в двух видах. Во-первых, это те чисто «пейзажные» места очерков, где нет человека, нет действия и где перед нами предстает «природа сама по себе», природа как предмет созерцания и любования. Целые страницы посвящает писатель то заросшему кустарником и травами лесному буераку, то весеннему паводку на небольшой речке Ворше, то сверканию росного луга в лучах восходящего солнца. любовно и тщательно, с шишкинской полнотой выписывая все детали картины. В двух-трех случаях описание показалось нам излишне литературным («чистое и голубое небо разлиновано, ис-

хлестано розовым дождем высоких точкоствольных берез...»), но в целом пейзажные страницы книги очень хороши. Красивые без украшательства, они исполнены жизнелюбия и патриотического чувства.

Выдержки, которые мы привели выше — сбор ягод на лесной вырубке, купание ранним июльским утром, — иллюстрируют другой (и, пожалуй, основной для этой книги) способ изображения природы. Вместо пространных пейзажных описаний здесь несколько ярких и точных деталей, которые, бегло наметив обстановку той или другой сцены, выделяют в природе лишь то, что в данный момент имеет значение для деревенских ребятишек. Само слово «пейзаж» в этом случае как-то мало подходит. В том-то и дело, что природа здесь не нечто наблюдаемое со стороны, не «пейзаж», а живая участница человеческой жизни, раскрывающаяся для тех, кто с ней постоянно общается, не только свои внешние достоинства (красота), но и всю необъятность своих внутренних оювств.

Для сельской детворы луг и гора, река и лес — неиссякаемый источник радостей и развлечений. Взять хотя бы лес. Ведь это не только земляника или костяника, брусника или малина, но и сладкий, душистый березовый сок; и перепрыгивающая с ветки на ветку, дразнящая мальчишеские охотничьи инстинкты белка; и белое чудо весенних черемух; и вдруг найденная лисья нора или гнездо лесных пчел; и вырезанная в молодом орешнике или в старом можжевельнике палочка; и белый гриб, надежно спрятанный в осенней жухлой траве; и «многолюдная», как Невский, муравьиная дорога; и всегда далекая кукушка; и неожиданно, так, что обязательно вздрогнешь, срывающаяся с ветвей тетерка; и ежик, которого несут из лесу в выдавшей виды кепке, и многое, многое еще.

Лес... А ведь есть еще и река, где и рыбачат, и купаются, и ловят раков, и вообще живут целые дни, забегая домой только затем, чтобы схватить кусок хлеба; и лапта, интереснейшая, очень живая и подвижная игра; и перед домом вороха свежей, пахнущей солнцем и полем соломы, в которую «после полднего июльского зноя так приятно зарыться», — длинный строй деревенских мальчишеских забав. Те из читателей, кто вырос в русской деревне и кто уже прочел книжку В. Солоухина, без сомнения, отметили про себя, как точен он

и в описании этих забав и, главное, в передаче вызываемых ими ощущений. А у тех, кто рос в городе, наверное, шевельнулась в душе запоздалая зависть.

Деревенское детство всегда было по-своему радостно. Демократические писатели и художники дореволюционной России не раз с отрадой останавливали свой взгляд на крестьянских детях. «В их жизни так много поэзии слито», — писал Некрасов, впервые донесший до читателя эту поэзию. Правдивая и талантливая книжка В. Солоухина, тоже рассказывающая о жизни «крестьянских детей», только нашего, советского, колхозного времени, дает материал для интересных сопоставлений. Общего много. Можно сказать так: все, чем кратко было детство Ванюши или Власа из знаменитого некрасовского стихотворения, — все в полном объеме перешло по наследству Вальке Грубову, Володе Солоухину, Борису Чернову и другим героям «Капли росы». Но есть и большая разница. Многократно воспета в старой литературе, в том числе и самим Некрасовым, поэзия сельского труда, но когда в стихотворении «Крестьянские дети» поэт касается этой темы, верность жизненной правде заставляет его омрачить общий светлый тон вещи печально-многозначительными оговорками:

— Довольно, Ванюша! Гулял ты не мало,

Пора за работу, родной! —

Но даже и труд обернется сначала  
К Ванюше нарядной своей стороной...

И дальше:

Положим, он знает лесные дорожки,

Гарцует верхом, не боится воды,

Зато беспощадно едят его мошки.

З а т о е м у р а н о з н а к о м ы т р у д ы...

Героям разбираемой книжки тоже «рано знакомы труды», ее автор очень убедительно показывает, как исподволь, незаметно для себя проходит наша детвора в нормально-живущей колхозной деревне большую школу здорового трудового воспитания. Ребята села Оленина взяты на поля навоз, работают на молотье и вообще принимают участие во многих сельских работах. Имеющиеся в книге превосходные картины крестьянского труда даны в восприятии не стороннего наблюдателя, а деревенского подростка, державшего в руках и топор, и пастушеский кнут, и косовище, и ручки плуга. Но труд здесь не только не противоположен радостям ребячьей жизни,

а, наоборот, становится источником самых лучших радостей.

Например, молотба. «Удивительно радостное охватывает чувство, когда молотба войдет в ритм и все пятнадцать человек, занятых на молотбе, станут как бы одно, и незаметно летит время, только мелькают снопы, только равномерно хрустит в молотилке солома. Я любил становиться на разрезание снопов перед самым Андреем Павловнчем (машинистом.— Ю. Б.) и, чтобы погорячее работать, резал один, а не с кем-нибудь вдвоем. Кроме того, я придумал для этого обламывать серп почти наполовину, и этот короткий огрызок серпа был очень беспощаден в работе. Войдешь в ритм или, лучше сказать, в колею работы — и режешь и режешь одним и тем же экономным движением тугие соломенные пояски, и хотя едва успеваешь делать эту работу, молодое тело, разогревшиеся мышцы хотят, просят, чтобы еще быстрее крутилась машина, чтобы еще чаще мелькали снопы, чтобы еще дружнее шла вся работа».

Молотба описана в книге очень подробно, мы выписали только малую часть этого описания, но надеемся, что и по этой выдержке читатель почувствует, как ярко и сильно передана писателем и извечная поэзия сельского труда и та новая поэзия и красота, которая заключена в дружной коллективной работе.

...Строго говоря, «энциклопедия деревенского детства», представляющая собой — еще раз повторим — лучшую часть новой книги В. Солюхина, тоже не совсем полна.

Но такая абсолютная полнота в художественном произведении и труднодостижима и малообязательна. Важно то, что здесь-то как раз из «как бы отдельных и как бы разрозненных картин» действительно составляется «одна, общая и цельная» картина и что эта картина вызывает у читателя желаемые теплые и светлые чувства. Без sentimentalности, несвойственной характеру русского человека, но с искренней любовью к родному деревенскому миру, с веселой улыбкой или «взрослой грустью сладкой» перебирает писатель свои детские и отроческие воспоминания. И несмотря на то, что внешняя сюжетная занимательность в книге начисто отсутствует (да в ней и нет «сюжета» в обычном смысле этого слова), ее эмоциональное воздействие на читателя очень сильно. Ведь это воспоминания нашего современника, воспоминания о том, что пережито многими из нас. Живые подробности, любовно удержанные памятью писателя, ярким светом освещают кладовые нашей собственной памяти. И хотя при этом в нашем воображении возникают картины, в чем-то отличающиеся от той, которую рисовал себе автор, и вместо владимирского села Олелина мы видим какие-то совсем другие — новгородские, костромские или даже сибирские — места, это не плохо, а, наоборот, очень хорошо. Омытая теплой волной добрых воспоминаний о прошлом, душа становится восприимчивее к прекрасному в настоящем — за это одно можно быть благодарным писателю и его поэтической книжке.

Ю. БУРТИН.

★

## Образы и комментарии

Читателю нового романа Льва Овалова «Партийное поручение» не могут не броситься в глаза многочисленные фронтальные ассоциации, густо разбросанные по всему тексту.

«Добыча угля та же война», — говорят герои романа, и поэтому, например, отказ поехать на периферию рассматривается как бегство с поля боя, отношения руководителей и шахтеров сравниваются с отношениями генералов и солдат, а семейная жизнь Снициных — с неправильно намотанной портянкой.

Лев Овалов. *Партийное поручение*. Роман. «Москва», №№ 7, 8, 9, 1959.

Словом, «à la guerre comme à la guerre» — этими ассоциациями автор стремится внушить читателю впечатление продолжающегося боя, продолжающегося и после 9 мая 1945 года в наших мирных буднях, в простых делах, поступках и отношениях.

Пусть так. Смущает здесь лишь одно маленькое обстоятельство — именно то, что главный герой Сницин и другие сравнивают эту мирную жизнь не с той войной, какая была и какую они, если верить автору, прошли сами, а с той, какая должна быть по незыблемым положениям и параграфам устава. Что это не одно и то же,

что не устав делает войну, а война делает уставы, ясно любому фронтовику, и не только фронтовику. Не ясно это только героям «Партийного поручения».

«— Многие из вас были на войне,— говорит Марченко, бывший партизан, а ныне секретарь обкома,— мыслимо ли, чтобы офицер не был для солдат образцом поведения?»

По уставу это, разумеется, немислимо, а «по жизни» — иногда бывало и так. Рассуждающий строго по уставу Синицын не может себе представить, как можно быть командиром полка, не командуя прежде ротой, между тем как в жизни существовали солдаты, принимавшие на себя командование батальоном. Это уже не говоря о тех героических «нарушителях» правил ведения боя, которые бросали свой горящий самолет на вражескую колонну или применяли таран,— какой параграф какого устава предусматривал это?

Что же удивительного, если Синицыну «там, на войне, все было как-то проще и яснее»? Что же странного, если ему «не так-то просто было сохранять фронтовые навыки в мирной обыденной жизни»? Ту ясность и те навыки, которыми обладает Синицын, мудрено сохранить не только в мирной обыденной жизни, но и на войне.

В том, как он думает и говорит, в том, как он применяет свои представления о войне к мирным делам и отношениям, трудно увидеть непосредственность и сложность человеческой мысли, невозможно предположить итог глубоких раздумий и большого жизненного опыта. Если война — жестокое, трижды сложное дело — обогатила его только знанием уставных положений и мудростью дурно написанных «военных» репортажей, какой же еще — более сильный — опыт сделает его взрослее, умнее и тоньше?

В голове нашего героя до того все просто и ясно, что и самый неопытный читатель не может не видеть, какая ему обещана книга. Он может не ждать от нее ни трудных жизненных коллизий, ни драматических осложнений.

Правда, иные писатели подчас — вольно или невольно — отступают от заданного курса, но Л. Овалов от него не отступает. Разумеется, его Синицын (по профессии горный инженер) малость поартачится, но все-таки поедет на периферию и не захочет

уезжать оттуда, где звезды светят «ярче, чем на Арбате». Разумеется, новое начальство Синицына, председатель совнархоза Кузнецов, поначалу произведет на него впечатление «грубияна и бурбона», но потом окажется очень милым компанейским парнем. Разумеется, кто-то погибнет в горячей шахте, но по своей же ошибке. Разумеется, жена Синицына, Лида, немножко разочаруется в муже и немножко очаруется Кузнецовым, но до серьезного дела не дойдет, все кончится самым достойным образом.

«— Знаете что? — скажет Лида. — Я хотела бы быть вашей дочерью!»

Никакие неожиданности, никакие жизненные сложности не расстроят Л. Овалову боевых порядков, не нарушат систему огня. Буде же они прорвутся где-нибудь на стыке, автор атакует их десятками нравоучительных тирад и назидательных рассуждений от себя и устами своих героев. Например: «Надо уметь думать и надо знать, о чем думать... Мысль, которая не рождает действия, мало чего стоит... В предвидении холодов следует наколоть дров,— это, конечно, полезная мысль и полезное действие, но автору этой мысли, воплотившему ее в конкретное действие, памятника все-таки не поставят».

За непроступными бастионами подобных прописей можно и впрямь чувствовать себя совершенно спокойно. Спорить против банальности так же наивно, как и соглашаться с нею. Но ведь, кроме банальностей, принятых автором на вооружение, существуют и его художественные идеалы. Спорить с ними и можно и нужно, ибо то, что кажется правильным Овалову, может оказаться неприемлемым для других.

Главная фигура, в которой сосредоточены идеалы автора, которой он отдает и львиную долю внимания и десятки страниц, это, конечно, Кузнецов. В нем он хотел создать образ героя нашего времени, человека сильного и внутренне необыкновенно значительного, образ руководителя, коммуниста, вся жизнь которого «есть партийное поручение» — иначе говоря, беззаветное служение народу.

Кузнецов для Л. Овалова — прежде всего человек особенный. Недаром на него «нельзя было не обратить внимания, даже если бы он находился среди тысячи людей...» Недаром «Кузнецов появился перед Лидой, как чудо. Он принадлежал к тем



самым людям, которых Лида ценила больше всего. Он был самым собой. Это и есть чудо...»

Итак, нам обещано самое главное. Герой не притворяется — следовательно, каждый его поступок и жест мы вправе принимать за истину. Вот и рассмотрим с этой точки зрения сцену, в которой впервые встречаются Синицын и Кузнецов.

«— Вас как зовут? — внезапно спросил Кузнецов, обращаясь к Синицыну.

— Сергей Иванович.

— Так вот, Сергей Иванович, с моей стороны это доверие, но если что — не пекляйте... — В голосе Кузнецова прозвучала угроза. — Шахта это не московское метро, удобств в ней маловато, и главное, помните, уголь добывают люди, без них вы ничто, шахтеров надо любить, иначе угля не будет.

Кузнецов поднялся и вдруг как-то сразу преобразился, перед Лидой предстал холодный, злой, беспощадный человек; он был совершенно спокоен, но так стиснул кулак, что Лида без слов поняла, зажди он когонибудь в этот кулак, тому уж из него не вырваться.

— Вы понимаете, почему мы устанавливаем мировые рекорды? — спросил он Синицына и опять сам же ответил на вопрос. — Потому что богаты такими людьми, что все Америки...

Он точно отмахнулся от какого-то невидимого существа, и Лида поняла, что Кузнецов видит перед собой какого-то сильного и страшного противника, которого ей, Лиде, не дано еще, а может быть, и никогда не будет дано видеть».

Здесь я должен сразу же предупредить читателя, что этого сильного и страшного противника ему тоже не дано будет увидеть в романе. В своем беспощадном кулаке Кузнецов зажмет собственного шофера Васку, оказавшегося мелким жуликом. Своим угрожающим голосом он непечатно покрест маленького чиновника Снякина, который тут же сомлеет, как кролик перед удавом. Со своим совершенно спокойным видом он бросится в идеологическую схватку с подвыпившими стилистами в московском кафе, причем стилиги будут говорить заведомо глупо, а Кузнецов парировать необыкновенно умно.

Для чего же понадобилось сопровождать шумовыми эффектами унылые и плоские

афоризмы («Шахта это не московское метро...» и т. п.), которые обидели бы не только квалифицированного горного инженера, но и любого экскурсанта? А видите ли, теперь все, что ни сделает Кузнецов, каким ни покажет себя вельможей и бурбоном, ему все должно проститься, потому что этими начальственно-величественными жестами полномочного над людьми хозяина он отмахивается от некоего «невидимого существа».

Но если под «невидимым существом», «сильным и страшным противником», автор (как естественно предположить) подразумевает поджигателей войны, империалистов и апологетов буржуазного строя, то почему право и умение видеть этого противника дано только Кузнецову? Думается, что и Лида, и Синицын, и тысячи, миллионы простых советских людей, читающих газеты и защищающих мир своим посильным трудом, понимают и силу и опасность этого противника, и необходимость борьбы с ним. Почему же не дать им всем такие же «чрезвычайные полномочия», какими пользуется Кузнецов?

А пользуется он ими широко и вольготно. Старому начальнику шахты Пряху, который, кстати, работал на ней задолго до приезда Кузнецова, он говорит: «Если услышу, что было плохо, не взыщи, можешь заранее уезжать из области». Секретарю, «забывшись», велит соединить его по телефону с возлюбленной. Шофера Васку, которого он иначе не называет, потому что не знает его отчества и фамилии, он готов послать за водкой, а когда старый друг советует быть поскромнее... «— Да что — скромнее? — спросил Кузнецов. — Есть, что ли, не досыта?» И правда, живет он досыта и размахивается порой не по чину. Небрежным росчерком пера утверждает он проект Дворца культуры стоимостью в два миллиона; но маленький страж финансовой дисциплины не дает таких фондов, и Синицыну, уже начавшему рыть котлована, приходится выпутываться не совсем законным образом. Что же Кузнецов? Кузнецов милостиво прощает Синицына.

Все это как будто мелочи; ну, а что же другое, настоящее и крупное, что было обещано автором, есть в Кузнецове? Оказывается, он «доступен для людей»; оказывается, он «не любил дергать своих помощников и сотрудников по пустякам» и «его

собеседники большей частью оставались им довольны» (даже те, которые называли «грубияном и бурбоном?»). Оказывается, он может запросто пообедать и выпить с «простыми людьми», а потом «всех обойти, с каждым распрощаться за руку». И даже когда Кузнецов обуреваем гневом, происхождение этого гнева благородно и чисто: «...Васька в нем вызвал такой гнев потому, что он слушал перед этим прекрасную музыку. Настоящее искусство пробуждает в людях сильные чувства. Не играй Наташа Бетховена, Кузнецову, может быть, не зачотелось бы избить Ваську».

Автор не скупится на комментарии, в которых спешит оправдать своего героя. Впрочем, «оправдание» — это не то слово. Л. Овалов не видит за Кузнецовым решительно никакой вины. Для него он таков есть и такой нужен, а если его поступки и жесты кажутся нам, мягко выражаясь, странными, тем хуже для нас, мы не понимаем, что значит, когда человек обладает не только личным, но и «государственным опытом». Это действительно загадка для нас, и, чтобы разрешить ее, мы вновь обращаемся к тем же поступкам и жестам и не находим в них не только государственного, но и личного опыта. О первом красноречиво свидетельствует история с Дворцом культуры, о втором — история с его собственным, Кузнецова, шофером. Так в романе ясно обнаруживаются два плана, два ракурса — образы и комментарии, то, что видит и пишет Овалов-художник, и то, что хочет увидеть и внушить читателям существующий в нем же резонер. При этом, как часто случается в литературе, первый оказывается много убедительнее второго.

Овалову, например, достаёт умения и наблюдательности, чтобы нарисовать живописный облик Варвары Некрасовой — к слову сказать, самый яркий и достоверный характер во всем романе. Особа весьма надоедливая и горластая, она суется, куда ее просят и не просят, она помыкает своим безобидным и безвольным супругом, заставляет его полоть грядки и выговаривает ему за то, что мал «аванец»; она и квартирантов своих, Синицыных, стремится втянуть в орбиту своей неукротимой, суматошной деятельности, а главное, своего понимания, что правильно и что неправильно.

Во всем этом, повторяю, много правды и колоритности; странно только, что не находится никого, кто бы попытался осадить эту

деятельницу и предложил бы ей не вмешиваться в чужую жизнь. А вмешиваться ей вовсе не обязательно, потому что, при всем ее партизанском прошлом, она в своем нынешнем состоянии домашней фурии являет собой такое же воплощение мещанства, как и те стеклянные шары в ее комнате, в которых в подкрашенной воде плавают восковые лебеди.

Но вот, к немалому удивлению Лиды, которую эта особа тоже успела донять, выясняется, что у нее в кармане партийный билет. Происходит разительная метаморфоза.

«Должно быть, я воспринимала Варю все-таки слишком внешне,— подумала Лида,— воспринимала неприятные черты ее характера, ее грубость, развязность, мелочность, как нечто органическое, а на самом деле они объясняются отсутствием воспитания и образования».

Это еще один образчик такого комментария, в котором мы с удивлением обнаруживаем существование в романе двух разных моралей. Кузнецов видит «сильного и страшного противника», которого другим почему-то не дано видеть,— простим ему вельможный тон и барствленную оскорбительность жестов. Варвара Некрасова не просто домашняя скандалистка и сплетница, она член партии,— поэтому объясните неприятные черты ее характера чем угодно, только не считайте их чем-то «органическим». Всякому неискушенному читателю видна в этом разделении моралей изрядная доля ханжества.

Что это вовсе не случайная особенность романа, доказывается усердно и другими его героями. Что вы скажете, например, о самой Лидии Синицыной, которая не желает спать в одной комнате с мужем, отказывающимся схать на периферию (это — буквально, смотри страницу сорок вторую номера седьмого «Москвы»)? Что вы скажете о девице, которая после случайного поцелуя на лыжной прогулке строго заявляет своему спутнику:

«— Сережа,— сказала она.— Я дала себе слово, меня поцелует только тот, кто станет моим мужем...»

Вопрос поставлен довольно оригинально. Любит Лида Синицына или не любит — это неважно, важно «соблюсти принцип «поцеловал — женись», поэтому, окажись на месте Синицына кто-нибудь другой, она бы и от него должна была потребовать «офор-

мить» поцелуй законным браком. При этом не следует думать, чтобы сам автор считал свою героиню чрезмерно рассудочной или ханжой — она для него «и строга, и умна, и насмешлива», и самая лучшая женщина, если верить таким авторитетам, как Синицын и Кузнецов.

Правда, иным читателям она такой не покажется, они найдут ее и душевно неразвитой и ограниченной в своих взглядах на жизнь. Но для автора она идеал, а идеал — вещь труднооспоримая, позволяющая человеку видеть в предмете такие достоинства, которых иные смертные не замечают. Вот, например, с какой точки зрения смотрит Лидия Синицына на художества своего малолетнего сына:

«Лидя все пристальней и пристальней всматривалась в рисунок, во все эти зеленые кружочки и лиловые полосы. Где-то она видела уже нечто подобное. Она вспомнила. На одной из выставок в Москве, где демонстрировались картины каких-то западных абстракционистов. Володя рисовал не хуже. Но там, на картинах взрослых, это была затухающая мысль, бегство от мысли, а здесь перед нею была мысль пробуждающаяся, поиски мысли».

Вероятно, у многих читателей эта тирада вызовет только улыбку, но, право же, в этих зеленых кружочках и лиловых полосах видится нечто символическое. Все дело ведь в том, как посмотреть, а смотрит Лев Овалов на свой роман, как мать на собственное дитя. Надо полагать, его роман «Партийное поручение» кажется ему донельзя актуальным и острым, ведь затронуты животрепещущие идейные проблемы, вопросы руководства промышленностью, выдвинуты на первый план фигуры, в которых как будто видны признаки новых веяний. И во исполнение своих прекрасных замыслов автор приглашает читателя окунуться в жизнь, в самую что ни на есть глубину действительности.

Читатель видит быт и нравы шахтерского поселка, совнархозовских приемных и кабинетов, изображенные достаточно верно, хотя и достаточно поверхностно. Он слышит слово «добыча» и другие шахтерские слова, тонко подмеченные наблюдательным автором. Он опускается вместе с Лидой Синицыной в шахту и целиком разделяет ее первые впечатления, очень неплохо написанные.

Но ведь это еще не делает «Партийное поручение» романом современной жизни. В любом хорошем очерке встретишь даже больше точных деталей, обнаружишь даже больше понимания вопросов угледобычи, увидишь даже не хуже описанных людей, в которых, однако, есть обаяние и масштабность чувствований. Современность романа — это прежде всего характер современника. Между тем герои, которыми Лев Овалов предлагает нам любоваться, которых он ставит нам в образец, вызывают недоумение, а порой и решительный протест. А ведь мы рассмотрели здесь только три фигуры, которые автору больше всего удались; остальным, в том числе и Синицыну, вообще нечего делать в романе, они слоняются по нему бледными, призрачными тенями, произносят правильные или неправильные слова, пьют, едят, перевыполняют или недовыполняют план. Где же обещанный бой? Где же тот реальный конфликт, который заставляет героев бороться, страдать, мыслить? В «Партийном поручении» они сражаются с ветряными мельницами, они отмахиваются от «невидимых существ» и костылят нашкодивших жуликов.

При этом герои Л. Овалова не согласны, «чтобы в мирное время мы были друг к другу снисходительнее...», — и совершенно напрасно это говорят, потому что больше всех нуждаются в снисхождении именно они, бедные чувствами и не задетые жизнью.

**Г. ВЛАДИМОВ.**

## Остановить мгновенье!

Это — роман о времени. И о том времени, которое сейчас вот реально существует, охватывая собой наши сегодняшние дела и помыслы, и о времени как отвлеченном понятии, о явлении, загадочную сущность которого тщетно пытались постичь все мудрецы мира, о таинственном фантоме, о котором еще Аристотель сказал: «Что такое время и какова его природа — нам неизвестно».

Автор «Университетской набережной» хочет рассказать нам «...о времени и о жизни, и о том, как бесконечно интересна жизнь — каждый год и каждое мгновение,— когда страстно и вдохновенно работает мысль, пытаюсь понять, объяснить и переделать окружающее». По всей видимости, перед нами философский роман, своеобразное произведение, в котором содержится не только рассказ о нескольких человеческих судьбах, но также и попытка «прорваться» к осмыслению философских проблем нашего века. Книга, где наблюдения над жизнью соседствуют на равных правах с результатами этих наблюдений — авторскими размышлениями над судьбами героев и судьбами науки. Наконец, книга, герои которой — крупные ученые — самой своей деятельностью связаны с основными научными, философскими вопросами нашего времени.

Что ж, это интересно. Интересно и нужно. И уже сама попытка создания такого именно романа — вне зависимости даже от того, удалась она полностью, полностью не удалась или удалась только частично, — заслуживает того, чтобы мы отнеслись к ней с сочувствием и вниманием.

В романе четыре основных героя. Старший из них — профессор Адриан Адрианович Соколовский, ученый-генетик, посвятивший себя исследованию законов наследственности, поискам ответа на вопрос о том, что такое жизнь. И три друга, три студента Ленинградского университета: биолог Аляша Шубин, физик Ваня Чухляев и химик Игорь Пустынников. Перед нами проходит жизнь этих людей на протяжении долгих лет — с конца двадцатых годов и до наших дней.

За это время каждый из них успел многого достигнуть, успел стать значительной величиной в избранной им области на-

уки. Бедняцкий сын Ваня Чухляев стал Иваном Васильевичем Чухляевым — академиком, крупнейшим физиком-атомщиком, работающим на самых решающих участках научного фронта. Игорь Пустынников тоже стал выдающимся советским ученым — директором большого исследовательского института, автором многих научных открытий. А Шубин? Кем стал Шубин? «А Шубин так и остался Шубиным...» В свое время ему предрекали блестящую будущность, но он не захотел подсчитывать мутации мушек дрозофил в лаборатории Соколовского, порвал со своим учителем, ушел от него и стал «простым» агрономом-опытником, насаждающим сады на Дальнем Севере.

Кто из троих друзей больше успел в жизни? Этот вопрос не стоит перед читателем. Ведь герои романа соревнуются не в сфере личного успеха, не в погоне за научными званиями и славой. Они соревнуются в области науки, а здесь личные достижения каждого являются вкладом в общее дело, обогащают и двигают вперед это общее, многими усилиями творимое дело.

Как прожитая тобой жизнь служила общему делу, служила своему времени, людям? Не растратил ли ты попусту отведенное тебе — недолгое, в сущности, — время?

Каждый из героев книги по-своему отвечает на эти вопросы, ими поверяет свою жизнь.

Профессор Соколовский много и честно потрудился. Более шестидесяти лет отдал он беззаветному, самозабвенному служению «чистой» науке. Для нее он пожертвовал всем — семьей, любовью, дружбой, простыми человеческими радостями. Но вот жизнь прошла, и оказалось, что прошла она почти напрасно. Лишь в самом конце своего пути понимает безжалостно-умный Соколовский, что его научная деятельность, оторванная от практических нужд времени, была бесплодна. (Правда, с этим выводом Соколовского, к которому вполне присоединяется и автор, читателю как-то трудно согласиться. Сама логика повествования свидетельствует против него. Ведь в конце романа выясняется, что опыты Соколовского, всю жизнь изучавшего мутации вида от поколения к поколению и влияние радиации на наследственность, — что эти опыты в годы, последовавшие за Хиросимой, приобре-

Геннадий Гор. Университетская набережная. Роман. «Нева», №№ 11, 12, 1959.

ли «неожиданную и, пожалуй, жутковатую актуальность», что они могут принести ощутимую пользу складывающейся современной радиобиологии. Категоричность авторского осуждения приходит здесь в противоречие с изображаемым им же объективным ходом вещей.)

Как же сложились судьбы Чухляева, Пустынникова и Шубина? Первые двое немало сил отдали разработке важнейших теоретических вопросов современных физики и химии. Но эта их работа постоянно служила разрешению насущных практических нужд общества — созданию синтетических веществ, нуждам военной промышленности, использованию атомной энергии в народном хозяйстве. Шубин же двигал науку, так сказать, «с другого конца» — он шел от практики, от жизни, от земли. И этот путь тоже был продуктивным. Недаром роман заканчивается как бы апофеозом дружбы науки и практики: Шубину удалось перебросить мост между этими двумя полюсами, сейчас он совместно с Пустынниковым (а отчасти и с Чухляевым) трудится над разрешением важнейшей задачи — применения химии полимеров в области сельского хозяйства. Они пытаются найти полимер, который восстановит структуру почвы, разрушенную временем, и обновит, омолодит древнюю землю...

В одной из последних главок романа мы читаем:

«Недавно в своей статье Соколовский, споря с Пустынниковым, обронил фразу, показавшуюся многим убедительной: «Если можно построить модель пространства, то как создать модель времени, воспроизвести то, что по своей сущности неповторимо?»

Пустынников ответил на этот скептический вопрос старого ученого. Он напомнил Соколовскому общеизвестный факт из истории техники. Человек, желая заменить ноги, ускорить движение, не стал копировать их, а создал нечто совсем не похожее на ноги — сани, лыжи, паровоз, автомобиль... Искусственная модель времени, может быть, и не похожа на живое историческое время, как автомобиль не похож на человеческие ноги. Миллионы лет прошли, пока растения и микробы изменили структуру почв, а полимер может изменить структуру почв за несколько часов. Вот вам и модель времени, уважаемый профессор Соколовский... Соколовский, обмолвившись фразой о модели

времени, чего-то не додумал... Ведь вся человеческая деятельность — не повторение деятельности природы, а нечто принципиально новое. Разве не удивительно, что полимер, созданный в лаборатории Пустынникова, может сделать то, что природа делала в течение миллионов лет?... Соколовский недодумал, потому что забыл о практике...»

Здесь, в этих словах, ключ к пониманию романа, а заодно, пожалуй, и ключ к пониманию его «художественной структуры», если пользоваться «локальной» терминологией.

Как уже говорилось, роман носит интеллектуальный характер, в нем царит атмосфера размышлений, философских обобщений, поисков. И это, разумеется, не может не привлечь к себе интереса читателя наших дней.

И в то же время... И в то же время что-то есть в этом романе такое, что не позволяет вам полностью включиться в описываемое и, несмотря на все ваше заинтересованное внимание, оставляет вас равнодушным, не вызывает истинного волнения, истинного душевного отклика.

В чем же секрет того удивительного бесстрастия, которое разлито в романе и которое, как мне кажется, никак не входило в намерения автора?

Думается, что произошло это потому, что, взявшись говорить о времени, писатель не сумел (или вернее — не всегда сумел) рассказать об одном мгновении.

Этот парадокс так же стар, как старо само искусство. Для того чтобы показать движущуюся, непрерывную, долгую жизнь, художник должен «остановить» одно ее мгновение, отобрать, выделить ряд таких неповторимо-конкретных мгновений. Другого пути искусство пока не знает.

В романе же Геннадия Гора все — или почти все — сделано этими средствами. Приведем несколько характерных отрывков.

«Соколовский был типичным генетиком и цитогенетиком двадцатых—тридцатых годов. Вместе с академиком Н. К. Кольцовым и А. С. Серебровским он разделял все тогдашние заблуждения этой молодой науки. Как и большинство других генетиков и цитогенетиков, он считал, что сома (тело) — это футляр для зародышевой плазмы, и, таким образом, дуалистически отрицал диалектическое единство и цельность организма. Он считал, что ген не подвержен влиянию

окружающей среды, и, таким образом, отрицал диалектическое единство среды и организма. Он считал, что ген остается неизменным не только в течение десятилетий, но и в течение сотен тысяч лет, и тем самым отрицал диалектическое понимание закономерностей природы. Он недооценивал селекцию и, в сущности, разрывал единство между наукой и хозяйством, между мыслью и делом, между теорией и практикой».

«Пустынников был увлечен работой. Ему удалось создать новый тип синтетического каучука, за что он получил орден Ленина. Сейчас он по заданию правительства работал над созданием жароустойчивого полимера. Полимер этот был нужен Чухляеву для новых сконструированных им приборов. С полимером пока не очень-то ладилось. Слишком большие требования предъявляли Чухляев и его институт, требования, далеко выходящие за пределы того, чего достигла экспериментальная и теоретическая наука о высокомолекулярных соединениях. Из-за этого полимера Игорь Николаевич и задерживался в лаборатории, задерживался сам и задерживал всех сотрудников...»

«Буря чувств была в душе Чухляева, когда он вбегал по лестнице в свою квартиру. Дверь открыла ему Жизель. Она, по-видимому, заметила волнение мужа.

— Что с тобой, Иван? У тебя такой вид, словно ты получил Нобелевскую премию.

— Да, если хочешь знать, я действительно получил премию, премию от самой природы. В кармане у меня фотоснимок, в котором мне удалось запечатлеть частицу вещества, удаленного от нас на множество миллионов световых лет... Никому еще... ни одному человеку...

— Ты из всего делаешь событие,— перебила Жизель мужа,— из каждого пустяка... Подумаешь, частица...— Она зевнула.— Хочешь посмотреть, какую я купила себе шляпу?

И она не поленилась, сходила в спальню и принесла новую, сегодня купленную шляпу, одну из большой коллекции дамских шляп, приобретенных ею за три месяца.

— Не правда ли, хорошая шляпка?

— Неплохая,— невесело сказал Чухляев.

Он положил обратно в конверт драгоценный снимок, а конверт спрятал в боковой карман».

«Она (жена Пустынникова, северянка-художница Рагук.— *И. П.*) была та же, с теми же живыми и смеющимися глазами, совершенно та же, несмотря на шестимесячную завивку, на острый запах духов и на модное платье, чрезвычайно шедшее к ее маленькой и гибкой фигурке... Завивка, видно, стоила немало трудов терпеливому парикмахеру. У нее были жесткие волосы, иссиня-черные, поблескивающие, как крыло ворона.

Стол в маленькой и уютной столовой был уже накрыт. И чей-то голос тихо и лирично напевал с крутившейся пластинки стоявшего в углу патефона».

Казалось бы, очень разные, не похожие друг на друга отрывки. На самом деле у них много общего. И это общее в том, что ни в одном из них писателю не сумел «остановить мгновенье» и показать его нам.

Ибо первые два отрывка — это лишь беглая, сухая и бесстрастная информация (о взглядах Соколовского, о занятиях Пустынникова). В последних отрывках изображаются как будто бы живые и характерные сценки; может быть, именно здесь удалось писателю художественно запечатлеть неповторимую картину, чувство? Нет, не удалось. Помешал штамп — этот чудовищный серый грибок, разьедающий все живое, лишаящий его цвета, запаха, вкуса.

«— Да... я действительно получил премию, премию от самой природы...— Хочешь посмотреть, какую я купила себе шляпу?» «Живые и смеющиеся глаза», «маленькая и гибкая фигурка», «волосы, иссиня-черные, поблескивающие, как крыло ворона», «маленькая и уютная столовая», «голос, тихо и лирично напевающий»... Разве можно поверить в эту ситуацию, увидеть эти глаза, эту фигурку, эти волосы, эту столовую, услышать этот голос?

Позвольте, могут сказать нам. Да, в последних отрывках писателю действительно не удалось остановить мгновенье, вернее, «остановить»-то он его пытался, но «удержать» не сумел. Такими безликими, стершимися словами его не удержишь. Но почему вы придираетесь к первым отрывкам? Ведь не все поддается пластическому изображению. Как же в произведении, посвященном людям современной науки, вообще прикажете говорить о деятельности героев, об их поисках и находках? Как «вводить»

в художественное произведение материал науки, философии, производственный, профессиональный элемент — все то, без чего не может существовать ни современная жизнь, ни современный роман?

Если бы можно было один раз — и притом навсегда — ответить на этот вопрос, не было бы, думается, больше ни вопроса, ни искусства. Ибо каждый художник отвечает на него по-своему. По-своему Л. Леонов в «Русском лесе», по-своему А. Бек в «Жизни Бережкова». Нельзя только делать это так, как в «Университетской набережной» Г. Гора, где обо всем — или во всяком случае об очень многом — говорится поспешно, бесстрастно и, главное, безлико, где ничто — или во всяком случае почти ничто — не несет на себе отпечатка авторской личности или личности изображаемого им человека.

Было бы неверно утверждать, что Г. Горю так уж все, абсолютно все, не удалось в его новом романе. Нет, в нем есть куски добротной прозы, есть яркие сцены. Хорошо, вескими и точными словами рассказал писатель, например, о кулаке нивхе Находке, темном и жестоком человеке, пытавшемся задержать бег времени, повернуть его вспять. Г. Гор вообще хорошо знает нравы и обычаи народов Севера. И поэтому, наверное, главки, посвященные описанию Находки и его младшей жены Рагук (впоследствии она стала женой Пустынникова), принадлежат к лучшим в книге.

Хороши и поэтичны (хотя по существу и «не нужны» для романа) страницы, содержащие описание поездки Чухляева в его родное село Медведово.

Интересно воспроизвел Г. Гор спор Чухляева с французским физиком Анкетилем по поводу абстрактного искусства (этот пример, кстати, говорит о том, что и об отвлеченных вещах Г. Гор умеет говорить живо, выразительно и по-своему).

Хороша одна из последних главок романа — та, где рассказывается о том, как восьмидесятилетний Соколовский посещает школу, в которой он когда-то учился. Здесь не меньше, а может быть, даже и больше истинной философичности, чем в иных

философских рассуждениях героев романа.

Можно было бы привести и еще немало свидетельств тому, что писатель обладает художественным вкусом, умеет быть оригинальным и значительным. Но это умение проявляется только тогда, когда он хоть на минуту останавливается в своем безудержном беге.

Кстати, этот безудержный бег, эта поспешность приводят еще и к тому, что многое, очень многое в романе подается облегченно, сглаженно. Почти «мимоходом», почти невредимыми и неизменными (это не относится, пожалуй, лишь к Шубину) «проскакивают» герои романа через годы — и какие годы! — Великой Отечественной войны. Гораздо более напряженной, острой, драматичной, а подчас и трагичной была в реальной жизни та борьба идей (а за идеями ведь стояли живые люди), которую изображает в своем романе Г. Гор. Об этом можно было бы, пожалуй, многое сказать, но это уже другая тема...

Роман Геннадия Гора охватывает большой отрезок времени, многих героев, важные исторические события. По жанру своему он тяготеет к форме романа-хроники. Но форма эта, естественно, не может избавить художника от необходимости создавать своеобразные человеческие характеры, глубоко раскрывать психологию человека (так же как «роман одного героя», например, не избавляет его от необходимости говорить о времени, о событиях эпохи).

Очевидно, существует некая «обратная пропорциональность» — и чем шире замысел художника, чем многолюднее и многопроблемнее задуманный им роман, тем выразительнее, лаконичнее, конденсированнее должны быть его художественные средства, тем выше его умение «остановить» и запечатлеть мгновение, тем смелее поиски новых художественных средств, пригодных для выражения новых явлений жизни, тем сильнее его отвращение к штампу, хроникальной беглости, художественной аморфности.

**И. ПИТЛЯР.**

## Книга о Блоке

За последние годы в изучении творчества Блока наметилось заметное оживление. Появился ряд монографий, опубликовано много статей, носящих как более общий, так и частный характер. Но дело, разумеется, не в количественных показателях. Успех в последнем счете определяется глубиной проникновения в поэзию Блока, достижением того вдумчивого и чуткого ее понимания, когда общие оценки прочно опираются на поэтический текст, верно прочитанный и тонко интерпретированный. Обилие материала, отдельные удачные наблюдения могут не дать необходимого эффекта, если где-то здесь, в исходной позиции, будет совершен просчет, допущена неточность, приближенность.

Недавно вышедшая книга Г. Ременика в этом отношении весьма поучительна. Очевиден интерес самой темы, привлекающей главное внимание автора книги,— работа Блока в области поэмы. «Соловьиный сад», «Возмездие», не говоря уже о «Двенадцати», отмечены крупными завоеваниями поэта; произведения эти тесно связаны с его общими идейно-художественными исканиями. В чем же эта связь и в чем отличие? Иными словами, какое место занимают поэмы в творчестве Блока, как соотносятся они, например, с его лирикой? Решение этих вопросов в книге Г. Ременика во многом определяется общим взглядом на поэмы Блока как на образцы поэтического эпоса. Между тем поэма далеко не всегда эпос, и вообще оперировать этим понятием в применении к поэзии (по крайней мере поэзии нового времени) следует с большой осмотрительностью. Даже у такого «эпика», как Маяковский, поэмы при общей широте их размаха обычно несут в себе яркое лирическое начало. Что же тогда говорить о Блоке, этом прирожденном лирике? Не естественно ли предположить, что в его поэмах лирике будет принадлежать весьма почетная роль? Но, придерживаясь иной точки зрения, Г. Ременик достаточно определенно и прямолинейно делает ставку на эпос. Непосредственно это имеет отношение к поэмам, но вместе с тем заметно отражается и на оценке достигнутых Блоком в области лирики.

Г. Р е м е н и к. *Поэмы Александра Блока*. Редактор Л. Шубин. 180 стр. «Советский писатель». М. 1959.

Уже встречающееся на одной из первых страниц замечание, что в «Стихах о Прекрасной Даме» «лирическое сочетается с эпическим», настораживает: не приведет ли главная тема разговора к перекоосу, к неоправданному и малопродуктивному «возвышению» эпоса за счет лирики? К сожалению, дальнейшее изложение подтверждает эти опасения. Беда не в том, что мысль автора вообще работает в ошибочном направлении. Сплошь и рядом истина лежит где-то близко, но она роковым образом ускользает из рук благодаря предвзятости некоторых исходных представлений.

При анализе, например, цикла «Распутья» верно отмечены усиление повествовательного начала и ряд других, новых для поэзии Блока качеств. Но вот что пишет в данной связи Г. Ременик об одном из стихотворений цикла: «В стихотворении «Из газет» исчезает лирический герой как главный и основной образ... Вместо субъективных переживаний лирического героя в основу стихотворения положен объективный факт реальной действительности. По существу, мы имеем перед собой зародыш жанра эпической поэзии». Сразу возникает ряд недоумений и вопросов. Какое же начало преобладает в стихотворении — эпическое или лирическое? Насколько правомерно это противопоставление «субъективных переживаний» «объективным фактам», из которых последним отдается очевидное предпочтение? И главное, действительно ли исчезает лирический герой?..

Несколькими страницами ниже по поводу стихотворения «Митинг» читаем: «Лирический герой произведения как бы скрывается, уступая свое место образу революционера». Если автор придерживался этого «как бы», то тогда с ним еще можно было согласиться. Однако общий смысл и тон рассуждений достаточно определены: «как бы» — это скорее обмолвка, а в целом об исчезновении лирического героя говорится без фигуральностей, буквально. Анализ небольшой поэмы «Ее прибытие» в этом отношении особенно показателен. И здесь делается ряд наблюдений, самих по себе верных и интересных. Но от этого верного почти ничего не остается на фоне следующего утверждения обобщающего характера: «Важным является исчезновение лирического героя. Его оттесняют рабочие на



рейде, матросы на кораблях, пророческий голос в тучах, буйные толпы народа на площадях. В связи с этим субъективно-индивидуалистические психологические эмоции заменяются в поэме выражением массовой психологии, надежд, чаяний, радости и торжества народных масс, матросов, рабочих». Это звучит совсем по-пролеткультовски! Вот именно так, с нескрываемой радостью и великим тщанием, отмечалось теоретиками Пролеткульта любое проявление «массовой психологии» и столь же настороженным было у них отношение к «субъективным эмоциям».

Понятно, что под огнем такой тяжелой критической артиллерии блоковской лирике приходится весьма туго: ведь она в основном своем составе и во многих лучших, блестящих своих образцах заполнена теми самыми переживаниями, которые автор называет «субъективными», упорно придавая этому слову отрицательную окраску, употребляя его как синоним... субъективизма. Но ведь это совсем не одно и то же!

Между прочим, подобного смещения понятий не избежал в своей книге и Вл. Орлов, где оно было тем досадней, что, по справедливому замечанию внимательного рецензента, противоречило основному направлению и общему духу исследования (см. М. Щеглов. «Спор об А. Блоке», «Литературная газета» от 7 августа 1956 года). В этом отношении борьба с «субъективностью», в ходе которой лирика Блока терпит значительный урон, ведется Г. Ремеником настойчивее, определеннее.

По-видимому, автор и сам чувствует некоторую шаткость своих позиций, так как, заканчивая первую главу («На путях к поэме»), считает нужным специально оговориться: «Когда мы говорим о развитии поэзии Блока к жанру поэмы, то этим мы отнюдь не утверждаем, что поэт перестает создавать лирические произведения и переходит к эпическому творчеству... Лирическое творчество было естественной стихией Блока, которой он отдавался полностью, но из круга которой порой стремился вырваться». Однако оговорка остается оговоркой. А в целом при чтении книги Г. Ременика не раз возникает впечатление, что наиболее «естественным» для Блока было именно это порывание из круга лирики. В итоге же проигрывает разговор не только о лирике, но и об «эпосе», и даже при таких, казалось бы, благоприятных

обстоятельствах, как в случае с «Возмездием».

«Возмездие» действительно заметно тяготеет к эпическому жанру, а отчасти и к эпическому стилю. Справедливо указывает автор книги на эти качества поэмы, как и на ее важное значение в общих исканиях Блока. Но вот итоговая характеристика, которая заслуживает особого внимания: «В творчестве Блока поэма «Возмездие» является магистральным произведением, так как вокруг него концентрируются и группируются все произведения Блока третьего периода, его лирические циклы, его драмы, а также в известной степени и его поэма «Соловьиный сад». Какая-то доля правды здесь есть: в «Возмездии» отразилось, пересеклось многое из того, что волновало Блока в зрелые годы. Но в целом с категорически сформулированным тезисом о «магистральности» «Возмездия» вряд ли можно согласиться.

Прежде всего такая точка зрения неизбежно ведет к однобокой оценке самой поэмы, к игнорированию серьезных трудностей, возникавших в ходе ее создания, наконец, к невольному сглаживанию того существенного обстоятельства, что работа над поэмой осталась далеко не завершенной.

Вместе с тем под углом «Возмездия» начинает рассматриваться и оцениваться поэзия Блока в целом. Хотя вывод о реальности «Возмездия» дается ценой заметного сгущения красок, все же его еще можно как-то понять, так как реалистические тенденции и в поэме налицо. Но вывод этот получается в конечном счете гораздо более широкое значение. Общее развитие поэта прямо ставится в связь с поисками «путей к реалистическому творчеству, что нашло свое отражение и в лирике, и в драме, и в поэмах Блока». Так со всей рельефностью возникает предлагаемый творческий портрет Блока, эпика и реалиста по преимуществу, портрет, не лишенный некоторых черт внешнего правдоподобия, но в целом разительно несхожий с «подлинником».

Существа дела не меняют временные уступки и частные отклонения, хотя они по-своему и показательны. Поэма «Соловьиный сад», в которой без особого труда обнаруживаются «элементы эпического», все же в основном рассматривается как произведение с преобладающей лирической структурой. При анализе «Двенадцати» ав-

тор не считает нужным прямо говорить о реализме. Зато остается в силе другой главный пункт — эпос. «Двенадцать» — сложное явление, плохо укладывающееся в привычные рамки; здесь многое органически сплавлено. Именно поэтому всякое «или—или» слабо помогает уяснить художественное, в том числе жанровое, своеобразие поэмы. Но Г. Ременник уверенно делает выбор в пользу эпоса, и это приводит, например, к тому, что совершенно вне поля зрения автора остается романтический строй поэмы. Ее общая тональность плохо уловлена. При этом условии уже не может особенно удивлять параллель (правда, бегло намеченная) между «Двенадцатью» и «Медным всадником». В другом месте читаем: «В «Скифах» Блок опять обратился к Пушкину». Было бы неправильно полагать, что автор просто неудачно выразился. Такие неточные слова, за кото-

рыми скрывается неточность мысли, подвертываются слишком часто.

Несомненно, есть основание говорить о значении для Блока пушкинской традиции, очевидна плодотворность выявления специфики его поэм в сопоставлении с лирикой и т. д. Но в самой постановке и решении этих вопросов автор обычно перехватывает через край, не там и не так расставляет акценты. В результате основные выводы и обобщения оказались в лучшем случае приблизительными, а по большей части просто неверными. Эта серьезная неудача, которую терпит в целом Г. Ременник, имеет, пожалуй, свой положительный смысл: она заставляет еще отчетливее уяснить определяющие черты и свойства дарования Блока, серьезнее задуматься над природой поэтического творчества вообще, своеобразием его художественного языка и методов.

**А. МЕНЬШУТИН.**



### «...Насколько едина маленькая планета...»

Читая книгу Эренбурга «Индия, Япония, Греция», какое-то время чувствуешь себя подавленным: зарисовки реального быта Индии перемежаются со сказочными сюжетами «Сакунталы» и «Махабхараты», описание храмов Аджанты сменяется рассказом о древнем японском театре Но, а современные греки теснятся в одной толпе со своими легендарными предками. Эренбург говорит обо всем этом легко и свободно, словно не сомневаясь в том, что легенды о совестливости правителя Индии Ашоки, гуманизме Вивекананды и снисходительности бога Вишну памятны всем. Может быть, именно эта сгушенность преданий и фактов, пестрота дат и названий и вызывает поначалу желание как бы защититься от автора. Невольно вспоминается его собственная реплика, когда, восхищенный и потрясенный буйным торжеством индийской природы, писатель воскликнул: «Есть в природе нечто чрезвычайное, она давит человека!»

Смущенный, читаешь дальше; позади двадцать, тридцать, сорок страниц, и постепенно начинаешь понимать, что «стенка» между тобой и автором, которую ты ощущал вначале, исчезает. За внешней сумятицей фактов, за блеском энциклопедической

учености и эрудиции встает единый и цельный облик человека, которому так же, как и тебе, как и твоим друзьям, радостно за встающую из нищеты Индию, больно за страдающую Японию, горестно за попорченную Грецию.

«...Мир огромен и очень мал. Летишь, летишь, то холодно, то нестерпимо жарко, то снег, то океан, то тропические леса, то страшная пустыня, похожая на макет ада, и вот прилетаешь, как говорят, на другой конец света, по часам еще утро, на дворе вечер,— и, оказывается, вокруг тебя такие же люди, с теми же сомнениями, радостями, тревогами. Все удивительно понятно, а казалось, что ничего не поймешь».

О какой бы стране ни писал Эренбург, это чувство удивления — «оказывается, вокруг тебя такие же люди, с теми же сомнениями, радостями, тревогами» — не покидает его. С затаенным изумлением отмечает писатель во время долгих бесед с японскими коллегами, что их, таких, казалось бы, и нынче, волнует то же, что волнует его. В людях современной Греции Эренбургу кажется давно знакомой гостеприимная щедрость. Покидая Индию, задумываясь над самым главным, что дало ему знакомство с новой страной, Эренбург особо подчеркивает, что мир для него «стал не только шире, но как-то осмысленнее. Я почувствовал, — пишет

он,— глубокую связь между Индией и всем, что мне дорого и близко: почувствовал, насколько едина маленькая планета, которая кружится вокруг солнца, насколько многообразны и близки друг другу все народы». Это ощущение близости, казалось бы, заведомо разных народов заставило Эренбурга по-новому взглянуть на хрестоматийную историю цивилизации.

Писатель восстает против традиционной трактовки древнего искусства, противопоставляющей Элладу Индии или Китаю, опровергает ходовые представления о рождении искусства Индии, безнадёжной деградации искусства современной Греции, о несамостоятельности японской культуры.

Эти опровержения и возражения, взволнованная интонация и полемический пафос Эренбурга менее всего похожи на академический спор о частных оценках. «Не все ли равно, — слышится писателю недоуменные голоса, — что танцующий Шива в храме Эллы — родной брат аттического Диониса?» В ответах Эренбурга, приводящего все новые и новые факты, которые говорят о единстве культуры древнего мира, проступает не только энтузиазм просветителя, но и пафос политического бойца: за частными возражениями, нотками недоумения писатель улавливает не только благодушное невежество, покоящееся на кругозоре школьных программ, но и высокомерное презрение европейца, отзвуки расового чванства и колониализма.

В своем прошлогоднем интервью корреспонденту «Литературной газеты» Эренбург говорил о том, что его очерки о Японии, Индии, Греции «не только путевые заметки, но и попытка осознать, продумать силу древнего искусства этих стран». Казалось бы, нет ничего особенного в том, что писатель большой культуры, человек, «связанный работой с искусством», как сдержанно говорит он сам о себе, решил рассказать современникам об огромных культурных богатствах виденных им стран. Однако описание памятников культуры — это только наружный пласт, за которым скрыто главное: разговор об искусстве древних стран явился разрешением острого социального вопроса о судьбах цивилизации, о связи древнего и нового, о единстве человечества. Не случайно этот разговор возник не во «Французских тетрадах», не в заметках Эренбурга о Чехове, а в очерке о таких странах, в жизни и быте которых в силу особых и раз-

ных исторических причин сочетание «естественной» жизни и цивилизации особенно обнажено, а противоречия существуют в несмягченной контрастности.

В противовес тем, кто упрямо повторяет «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись», Эренбург выдвигает свое понимание единства человечества. «В Китае, где я был в 1951 году, потом в Индии, в Японии я многим удивлялся, — пишет Эренбург, — но культура народов Азии не показалась мне запечатанной книгой: то европейское искусство, на котором я вырос, помогло мне понять поэзию Ли Бо и скульптуру эпохи Тан, живопись Аджанты и мудрость Тагора, статуи Нары и архитектуру современной Японии. Сложным путем видения Эллады дошли до островов Тихого океана. Дело, однако, не только во взаимных влияниях, дело и в общности человеческих представлений о любви, мире, добре».

У Эренбурга свой ключ к этой общности человечества. Политическим предрассудкам и расовым теориям, оправдывающим века рабства Индии или падение Греции, противопоставляет писатель человеческие чувства — азбуку человечности, то основное и главное, что, по его мнению, роднит между собою простых людей любой страны, любой национальности, любой веры. Это ощущение общности человеческих чувств выступает в очерках Эренбурга как основа уверенности в завтрашнем дне цивилизации.

В этом апофеозе единства человечества очень много личного, выстраданного.

В свое время в творчестве Эренбурга славилось неизменное естество жизни, перед которым якобы ничтожны все перевороты и всякая политика. Уродной и бесчеловечной цивилизации, с ее войнами, смертностью, гибелью, писатель противопоставлял жизнь человека, богатого естественными чувствами добра, любви, красоты, жизнь с ее «маленькими радостями» «теплого летнего дня», которая казалась нереализованным, но несуществующим идеалом.

Прежняя влюбленность писателя в стихию живой жизни и сегодня не изменила Эренбургу. И теперь глядит он на мир «чувствительными до боли» глазами художника, тонко чувствуя красоту естественной природы, жизни. Но дисгармонию между человеком и обществом Эренбург уже не пытается примирить обращением к абстрактной «человечности». Сегодняшнее возвращение к этим вопросам — это не только и не просто резо-

нанс старых идей. Социальное зрение писателя стало более острым.

Эренбург восхищен естественной культурой жителей Индии, их живостью, непосредственностью, склонностью к философствованию и сосредоточенностью мысли. С жадностью впитывает он древние легенды и поверья, изучает памятники и любит неукрошенной человеком природой. И все-таки сегодня восприятие Эренбургом естественной жизни лишено односторонности, и пафос его не во взгляде назад, не в ретроспекции прошлого Индии, как бы ни было оно значительно и интересно, а в поисках новых путей, которые диктуются современностью. Эта гармония прогресса и исконных национальных традиций, синтез подлинной цивилизации и естественной вековой простоты, оплодотворяет, по мысли Эренбурга, и культуру.

Если в новых очерках Эренбурга цивилизация и оскудение личности перестали быть для писателя синонимами, если в повседневной жизни возрождающихся стран ищет он не утерянную идиллию, а, глядя в прошлое, пытается уловить «извилистый путь в будущее», — это не значит, что старое понимание цивилизации полностью снято Эренбургом. И сегодня он считает, что цивилизация несет с собою много разрушительного, — если она оторвана от человека. В очерках о Японии, рассказывая о трещине, которая расколола жизнь современного японца, о насильственной американизации и внешнем — техническом — прогрессе, Эренбург отмечает искусственное, подчас уродливое соединение благ цивилизации и исконных форм жизни. «Каждый японец, — пишет он, — в течение одного дня столько-то часов живет по-европейски или по-американски, столько-то часов — традиционной японской жизнью. Два разных мира в нем существуют. Я не скажу, что это сосуществование можно всегда назвать мирным». И однако, восхищаясь этой страной «очень древней культуры», ее людьми, «одаренными природным эстетическим восприятием», Эренбург не поэтизирует прошлое, не зовет японцев назад. «Сложность, которая стоит перед ними, — рассказывает он читателю, — в клубке противоречий. Можно и должно защищать искусство составлять букеты, но нельзя защищать многих обычаев, оставшихся от феодального периода... Трудность борьбы в том, что она идет одновременно и

против уродливых пережитков и против наносной мишуры цивилизации...»

Мы видим, что понятие «цивилизация» расслоилось; оно получило не только этическое обоснование, но и четкий социальный смысл; оно дифференцировалось: есть цивилизация тех, кто расщепляет атом во имя будущего, и тех, кто сбрасывает атомную бомбу на жителей Нагасаки.

Можно было бы упрекнуть Эренбурга в абстрактности его гуманизма, если бы поиски человечности, апелляция к таким начальным понятиям, как «человеческие чувства», «душа человека», не были бы у писателя так неразрывно связаны с самым острым и крупным социальным явлением современности — борьбой за мир. Именно это социальное зрение отличает Эренбурга от тех миссионеров и философов, которые тоже апеллируют к характеру народа с целью найти там оправдание угнетения и рабства. «Сосуществование в Индии различных эпох, ее бедность, прялки или деревянные плуги, — пишет Эренбург, — западные авторы любят объяснять характером индийцев, их набожностью, мечтательностью, пренебрежением к технике и комфорту... Однако, чтобы понять глинобитные хижины крестьян или распространенность туберкулеза, напрасно строить психологические гипотезы, лучше заглянуть в историю».

...Вероятно, иному человеку, прочитавшему новую книгу Эренбурга, многое из сказанного здесь покажется странным: Эренбург писал о танцующем Шиве и памятниках Аджанты, о чувстве меры у греков Древней Эллады и героической борьбе кипрских патриотов, о миносском лабиринте и японской архитектуре — при чем здесь старые споры о цивилизации? Действительно, можно было бы подробно и много говорить и об эренбурговских описаниях памятников древних культур, и о том, что портреты народов у писателя напоминают портреты изображаемых им в повестях и романах персонажей, — они так же создаются сочетанием скупых, но выразительных штрихов, составляются, как мозаика. Все это верно, все это есть в книге. Но есть там и то, что так волнует всегда самого Эренбурга в работах других писателей, в жизни и искусстве других народов: стремление к миру на земле, ощущение единства с тем лучшим, что создано человечеством.

Г. БЕЛАЯ.

### Политика и наука

## Новое издание биографии В. И. Ленина

Вышла в свет подготовленная Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС биография Владимира Ильича Ленина. Эта книга долго будет настольной для наших современников, которым посчастливилось жить и трудиться в ленинскую эпоху.

Новая биография является результатом серьезного труда группы авторов, изучавших жизнь Ленина по документам, архивным материалам, мемуарной литературе, искавших и находивших в произведениях Ленина и его письмах вкрапленные в них автобиографические данные.

Прочитав биографию, нельзя не вспомнить знаменательное признание Ленина в письме А. В. Луначарскому в марте 1917 года. Ленин писал тогда о единственной, заветной жизненной цели «помогать пролетариату идти... к коммуне... другим целям служить я не стал бы».

Бесстрашие Ленина при прокладывании путей в будущее для России и всего человечества особенно ясно видно, когда страница за страницей развертывается его подвигническая жизнь, счастливая жизнь борца и вождя, увидевшего результаты начатого им грандиозного дела. Ленин вдохновлял не только на ломку старого мира, мира эксплуататоров, но и руководил созданием нового, справедливого строя на земле, достойного человека.

Такая цель могла быть поставлена только великим революционером, человеком, способным разбудить массы, воодушевить, организовать, призвать к подвигу.

Эти черты Ленина отмечались всеми его соратниками, а порой даже и врагами. В биографии читатель найдет убедительные свидетельства современников о неизгладимом впечатлении, которое складывалось у людей при первой же встрече с Лениным.

Его появление в 1893 году в Петербурге Г. М. Кржижановский — ученый, поэт, революционер — сравнивал с «животворным грозным разрядом». Г. В. Плеханов после

**«Владимир Ильич Ленин. Биография».** Биография написана авторским коллективом в составе: П. Н. Поспелов (руководитель), В. Е. Евграфов, В. Я. Зевин, Л. Ф. Ильичев, Ф. В. Константинов, А. П. Косульников, З. А. Лёвина, Г. Д. Обичкин, П. Н. Федосеев, 610 стр. Госполитиздат. М. 1960.

бесед с Лениным в 1895 году восхищался его эрудицией, целостностью его революционного мировоззрения, бьющей ключом энергией. Поль Вайян-Кутюрье утверждал, что соприкосновение с Лениным «производило на сознание впечатление вихря, ворвавшегося в душную комнату; оно освежало загруженный предрассудками и формальными доктринами мозг... Ленин — это законченный тип нового человека; он являлся для нас прообразом будущего».

Мартин Андерсен-Нексе, писатель-реалист, участник IV конгресса Коминтерна, под впечатлением речи Ленина писал, что мысль его «текла, ясная и прозрачная, и тогда, когда он касался величайших проблем человечества и показывал наглядно для каждого, что будущее неизбежно и прочно развивается из настоящего. Казалось, он жил всеми человеческими жизнями».

В биографии можно проследить на многих примерах этот талант Ленина убеждать, увлекать всех слушателей логикой своей мысли, делать их участниками своих дум, планов, мечтаний. Независимо от того, говорил ли он наедине с сестрой об основах теории Маркса и тех новых горизонтах, которые она открывала, или обращался к деревенской бедноте с призывом вместе с рабочими идти к социалистическому обществу, убеждая, что этому великому делу «не жалко и всю жизнь отдать», — в его словах звучала уверенность в победе своего дела. Когда он рисовал перед большевиками, съехавшимися на III съезд, картину победоносного восстания, говорил об участии представителей рабочей марксистской партии во временном революционном правительстве, «весь съезд стоя слушал его в глубочайшем молчании, так как железная логика теоретика, трибуна и организатора революции увлекла всех делегатов». Как самые счастливые минуты жизни, вспоминали члены VIII съезда Советов, рабочие и крестьяне измученной войной России, речь Ленина, в которой он развернул широкую перспективу социалистических преобразований в результате электрификации страны.

Поднимая людей до тех высоких целей, которым он служил, Ленин, естественно,

вызывал горячую благодарность у всех, кто соприкасался с его духовным миром, перед кем он открывал жизнь, полную глубокого смысла, жизнь для будущего.

Участник одного из первых подпольных марксистских рабочих кружков В. А. Князев писал в воспоминаниях о Ленине, как были воодушевлены слушатели, поняв, что рабочие в состоянии «самостоятельно улучшить свое положение, вывести себя из рабочего состояния». И. В. Бабушкин вспоминал об этом времени: «Просто удивительно становится, откуда только бралась энергия для столь интенсивной жизни».

Ленин любил и умел приобщать людей к высшему знанию, к науке наук — творческому, революционному марксизму, самая глубокая, отличительная черта которого — «его неукротимый, устремленный вперед, творческий революционный дух».

Не удивительно, что единомышленники Ленина становились под его знамя, не сомневались в великом будущем своей вначале немногочисленной партии.

«Партия — сознательный, передовой слой класса, его авангард. Сила этого авангарда раз в 10, в 100 раз и более велика, чем его численность.

Возможно ли это? Может ли сила сотни превышать силу тысячи?

Может и превышает, когда сотня организована.

Организация удесятывает силы».

Так устами Ленина определяла партия свой удельный вес в пролетарских массах.

Эта сплоченная организация, которую недаром прозвали твердокаменной, по призыву Ленина шла в массы, воспитывая и организуя их для предстоящих классовых битв, в революцию 1905—1907 годов вела эти массы в бой и последней покинула поле борьбы в годы реакции, выведя свою революционную армию из боев в наибольшем порядке.

Биография Ленина освещает все перипетии этой борьбы, открытой и тайной, кружковой и массовой, баррикадной и парламентской, во всем многообразии ее форм. Смена этих форм, переплетение их достигались и творчеством самих масс и в результате гениального ленинского анализа быстро разворачивающихся событий.

В годы первой мировой войны Ленин помог рабочему классу России осознать подспудные процессы, ведущие к коренной

ломке раздираемого империалистическими противоречиями мира. «Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией... господствующие классы — буржуазия, и их приказчики — правительства, все больше и больше попадают в тупик, из которого без величайших потрясений они вообще не могут найти выхода», — говорил он 9 (22) января 1917 года, за полтора месяца до свержения самодержавия в России, перед швейцарской рабочей молодежью.

Шаг за шагом прослеживает биография титаническую работу Ленина в течение марта—октября 1917 года. Он и созданная им партия получили наконец возможность воздействовать на миллионные массы трудящихся, пробудить их, убедить, организовать, перевоспитать на собственном политическом опыте.

Ленинская задача соединить пролетарскую революцию с крестьянской войной была блестяще разрешена, подтвердив на практике правильность марксистской теории революции в условиях новой эпохи. С огромным удовлетворением подводил Ленин итоги Великой Октябрьской социалистической революции: «Из империалистской войны, из империалистского мира вырвала первую сотню миллионов людей на земле первая большевистская революция. Следующие, — предсказывал он, — вырвут из таких войн и из такого мира все человечество».

Ленин заслужил почетную ненависть буржуазии и ее явных и замаскированных слуг, ненависть, питаемую страхом перед могучей силой вождя восходящего класса.

Во время одной из схваток с меньшевиками Ленину был брошен упрек, что он губит партию. На иронический вопрос одного из большевиков, может ли один человек погубить целую партию, без иронии, с раздражением ответил Дан: «Да, потому что нет больше такого человека, который все 24 часа в сутки был бы занят революцией, у которого не было бы других мыслей, кроме мысли о революции, и который даже во сне видит только революцию. Подите-ка, справьтесь с таким!» Трудно было бы даже стороннику Ленина дать более точную оценку его целеустремленности, чем сделал это злопыхатель, впоследствии белогвардеец, Дан. Ленин действительно отдавал революции не «свободные вечера», а всю свою жизнь.

Целеустремленность Ленина была далека от ограниченности, от сектантства, от игнорирования тех жизненных процессов и явлений, которые не были связаны прямой связью с революционной борьбой.

Новая биография Ленина уделяет много места фактам, отражающим своеобразие Ленина, чертам его характера, стилю его отношений с людьми, проявлениям его душевных движений, вкусов, многосторонности его личности.

В толпе людей, в театрах парижских предместий, на оживленных улицах вечернего Лондона наблюдал Ленин жизнь простых людей, вступал с ними в общение, мог часами беседовать со случайно встреченным рабочим, высвобождая его из плена социал-демократического шовинизма.

Оторванный от родины, Ленин больше всего работал над тем, «чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) подняты до кознательной жизни демократов и социалистов». Ленин мечтал о том времени, когда можно будет говорить не из «постылой эмигрантской «заграницы», «не из проклятого женевского далека, а перед тысячными собраниями рабочих на улицах Москвы и Петербурга, перед свободными сходками русских «мужиков».

С удовлетворением вспоминал Ленин в тяжелые годы второй эмиграции о митинге в доме Паниной 9 (22) мая 1906 года, на котором он открыто обвинил кадетов в тайной сделке с самодержавием. Необыкновенный подъем охватил всех после речи Ильича, писал участник митинга А. Г. Шлихтер. Рабочие, разорвав красные рубахи на флаги, с пением революционных песен шли с этого митинга по ночному, весеннему Петербургу.

Близне жизни схватывал Ленин в письмах сотен своих корреспондентов, призывал их писать «не только для печати, а и так, для обмена мыслей, чтобы не терять связи друг с другом и взаимного понимания».

Художественная литература, театр, живопись — все, что было здорового в искусстве, «без пытья, без ренегатства», все, что способствовало формированию мировоззрения народа, — все доставляло ему глубокое наслаждение и удовлетворение.

Ленин презирал бездумных потребителей искусства, пресыщенных героинь, скукающие и страдающие от ожирения «верхние десять тысяч» и еще больше — примазав-

шихся к искусству рвачей и выжиг. Не раз горько иронизировал он над писателями, которые пописывают, называл их реппу-а-лпег'ами (писачками из-за построчной платы).

В замечательной статье «Партийная организация и партийная литература» Ленин указывал, что литературная деятельность, как и всякая деятельность в области искусства, всего меньше поддается механическому равенству, нивелированию, господству большинства над меньшинством. «Спору нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию». Но именно эта особенность творческой деятельности обязывает писателя к ясному мировоззрению, обеспечивающему правильное видение и понимание явлений, определенную позицию автора при анализе порожденных жизнью противоречий.

Ленин видел высокую обязанность Коммунистической партии помогать деятелям искусства находить кратчайшие пути к выработке научного марксистского мировоззрения, пути к выполнению своего долга перед народом. Коммунисты, говорил он, «не должны стоять, сложа руки, и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны вполне планомерно руководить этим процессом и формировать его результаты».

Все высказывания Ленина, связанные с вопросами художественного творчества вообще и творчества отдельных писателей, свидетельствуют о том, как ревниво следил он за явлениями литературной жизни, как дорожил «талантами», как требовал терпимого отношения к их «человеческим слабостям». Его отношения с А. М. Горьким свидетельствуют об особо бережном подходе к неукладывающейся в обычные рамки личности основоположника пролетарской литературы. По признанию Горького, Ленин был для него и строгим учителем и добрым, «заботливым другом».

В советах Горькому, переживавшему в 1919 году и политические колебания и творческий кризис, как нельзя яснее отразилась позиция Ленина в принципиальном вопросе об истоках художественного творчества, об обязанности писателя и месте его в обществе. Ленин настойчиво подталкивал Горького к изучению новых

явлений жизни «внизу», непосредственно на фабрике, в рабочем поселке, в деревне, добываясь, чтобы Горький радикально изменил обстановку, изолировавшую его от строительства новых форм жизни, наблюдения новых людей, понимания новой психологии, напоминая ему о долге художника жить среди своих будущих героев, видеть новое и показывать это новое людям в обобщенных, художественных образах.

В одной краткой, как будто мимоходом брошенной характеристике Демьяна Бедного, стихи которого Ленин любил и ценил, он показал самое уязвимое место в творчестве Бедного: «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди».

Биография показывает, каким тесным было общение Ленина с разного рода людьми — от крупнейших ученых до крестьян-ходоков, ищущих у него справедливого решения важных для себя вопросов. Редкостная способность Ленина выслушивать собеседника, огромный такт в отношении с людьми создавали наиболее благоприятную атмосферу для всякого, кто встречался, беседовал, спорил с ним.

Выдающиеся ученые, которым пришлось беседовать с Лениным, изумлялись его огромной осведомленности в вопросах, далеких от сферы его деятельности — политики. Ученые-артиллеристы, узнав, что в разговоре о специальном изобретении их собеседником оказался Ленин, были удивлены: «Как? Не похоже! И — позвольте! — откуда он знает наши премудрости? Он ставил вопросы, как человек, технически сведущий! Мистификация!»

Мечты Ленина о будущем России всегда были связаны с ее исторической миссией: показать образцы коммунистического хозяйственного строительства для грядущей социалистической Европы и Азии.

Любовь к родине, ее языку, ее народу сливалась у Ленина с горячей любовью к человечеству, со страстным стремлением помочь ему вырваться из оков капиталистических отношений, колониальной эксплуатации, духовного и физического порабощения.

Ленин мечтал о том времени, когда раз-

витие техники исключит возможность войн; он первый провозгласил возможность мирного сосуществования двух систем, противоречие между которыми «может и должно быть разрешено не посредством войны, а путем мирного экономического соревнования, в ходе которого социализм неизбежно покажет свое полное превосходство над капитализмом».

Биография показывает, с каким огромным уважением относился Ленин к рядовым труженикам, как верил в коллективный разум масс, какие возлагал на них надежды. «В народной массе,— говорил Ленин,— мы все же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает».

Поэтому так настойчиво требовал он теснейших связей партии с массами.

«Жить в гуще.

Знать настроения.

Знать все.

Понимать массу.

Уметь подойти.

Завоевать ее абсолютное доверие.

Не оторваться руководителям от руководимой массы, авангарду от всей армии труда».

Сам Ленин показывал пример взаимоотношений с людьми, стиля работы государственного деятеля пролетарского типа. «Ленин никогда не принимал индивидуальных решений по вопросам, входящим в компетенцию органов коллективного руководства».

«Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что «Цека, это я»,— писал он А. А. Иоффе.— Это можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления... Зачем же так нервничать, что писать совершенно невозможную, совершенно невозможную фразу, будто Цека, это я».

Читатель, познакомившись с биографией, будет затем возвращаться к ней постоянно, находя ответы на самые насущные вопросы современности в огромном богатстве содержащихся в ней идей и фактов, общаясь при ее посредстве с неповторимым образом великого Ленина.

**Н. КРУТИКОВА.**



## Борцы за свободу Болгарии

Имена выдающихся деятелей национально-освободительного движения в Болгарии шестидесятых — семидесятых годов прошлого столетия Л. Каравелова, Х. Ботева, В. Левского известны далеко за пределами их родины. В Советском Союзе в последние годы публиковались художественные произведения первого, стихи и публицистика второго. Печатались о них и специальные исследования. Однако лишь сейчас, в книге «Избранные произведения болгарских революционных демократов», впервые на русском языке появились пламенная публицистика основоположника болгарской реалистической прозы Любена Каравелова, замечательные письма Василя Левского и многие статьи Христо Ботева, поэзия которого является вершиной болгарской литературы.

Огромной заслугой Каравелова и Ботева было создание ими в эмиграции, в Румынии, органов свободной печати, которые воспитывали болгарскую молодежь в революционном духе. Газеты «Свобода», «Независимость», «Знамя», «Слово болгарских эмигрантов» будили сознание народа, просвещали его, сплачивали на борьбу с врагами. Болгарские революционные демократы были блестящими пропагандистами атеизма и материализма, выдвинули этические и эстетические принципы, соответствующие требованиям и интересам крестьянской революции.

Глубоким стратегом и тактиком революционной борьбы предстает в своих письмах В. Левский. За три года он создал около пятисот подпольных комитетов.

Хотя жизненный путь национальных героев Болгарии был коротким (Левский был повешен турками, когда ему было тридцать семь лет, двадцатисемилетнего Ботева сразила вражеская пуля, а Каравелов в сорок пять лет умер от чахотки), они сделали важный и большой вклад в культуру болгарского народа.

Их деятельность, составляющая славу и гордость Болгарии, тесно связана с русской революционно-демократической обществен-

ной мыслью. Ботев и Каравелов идейно формировались в кругу русской революционной молодежи во время длительного пребывания в России.

Знакомство с сочинениями Белинского и Чернышевского позволило им лучше понять весь вред идеологии славянофильства и панславизма и дать ей должную оценку. Отвергая писания славянофилов, Каравелов указывал: «Ограбленный, растоптанный и полубитый народ не в состоянии размышлять ни о «великих славянофильских идеях», ни об аксаковских «братствах», ни о катковской «общеславянской литературе».

Большое значение для болгарских революционеров имели высказывания Н. Г. Чернышевского в «Современнике». Он призвал балканские народы освободиться от иноземного ига и объединиться в федерацию. В этом Чернышевский видел путь для разрешения различных противоречий между ними, укрепления их национальной независимости. Болгарские последователи великого русского революционного демократа приняли его совет и неустанно пропагандировали лозунг Балканской (Дунайской) федерации свободных народов.

Левскому принадлежат замечательные слова о том, что Болгария будет «святая и чистая республика». Каравелов в брошюре «Болгарский голос», критикуя монархический принцип, писал: «Цари не только не заступники народа, они величайшие его враги, тираны и изменники». В первой же программе болгарского революционного комитета в 1870 году провозглашалось: «Мы желаем видеть в своем отечестве прямо из всего нашего народа и им самим выбираемое правительство».

Буржуазные публицисты всех стран, в том числе и Болгарии, диким воем встретили Парижскую коммуну. Болгарские революционеры высоко оценили значение восстания парижских коммунаров. В своих статьях они солидаризировались с ним и поддерживали их.

Ботев и Каравелов настойчиво боролись с религиозными суевериями. В издаваемых ими газетах они обличали монахов и попов в фарисействе, обмане, разврате, распространении невежества и суеверий. Каравелов заявлял: «Доказано, что чем больше в государстве монахов, тем больше народ невежествен, темен, фанатичен и необразо-

---

**Избранные произведения болгарских революционных демократов. Под общей редакцией члена-корреспондента Болгарской Академии наук П. Зарева и доцента Л. Воробьева. 666 стр. Соцгиз. М. 1959.**

ван; чем больше в государстве монастырей, тем больше разврата, пьянства, лихоимства и безбожия...» («Свобода», № 30, 1870).

Материалистическая и антиклерикальная пропаганда болгарских революционеров играла исключительную роль еще и потому, что так называемые просветители пропагандировали на страницах печати различные формы идеализма, в частности ратовали за религию. Глубокая пропасть разделяла болгарских революционеров и туркофилов, эволюционистов, хозяйничавших в таких изданиях, как «Турция», «Читалище», «Право» и других.

В своей литературно-критической деятельности Каравелов и Ботев большое внимание уделяли вопросам революционно-демократической эстетики. Труды Белинского, Чернышевского, Добролюбова и Писарева хорошо были им известны и высоко ценились.

Болгарские критики отстаивали народность литературы, ее связь с задачами революционной борьбы народа, ее правдивость. Они выступали активными борцами против теории «чистого искусства», разоблачали вредность этой теории, вскрывали ее идеалистическую философскую основу. Л. Каравелов в статье «Наша литература» указывал: «Всякая книга должна наставлять, давать знания... Основная задача любого сочинения — предостеречь человека от ошибок, указать ему пути их преодоления». В той же статье критик говорил о высоких обязанностях писателя, которого он называет «учителем народа».

А вот одно из высказываний Ботева: «Необходимо, чтобы и наука, и литература, и поэзия, и журналистика... сообразовались с жизнью, стремлениями и потребностями народа так, чтобы не было науки для науки, искусства для искусства...»

В обширной вступительной статье Л. Воробьева к рецензируемой книге правильно подчеркивается идейная общность трех болгарских революционеров и отмечаются различия между ними. Но не со всеми положениями статьи можно согласиться. В частности, неправильно утверждение, что Ботев «отдавал дань анархизму» (стр. 51). Хотя в отдельных статьях Ботева и можно найти фразеологические обороты, заимствованные из бакунинской литературы, ни в одном из основных вопросов он не принимал взглядов ни Бакунина, ни Прудона. Не был он связан и организационно с бакунинцами.

Любопытна эволюция взглядов самого Л. Воробьева. В книге «Христо Ботев» (М. 1953) он утверждал, что Каравелов — представитель «беззубого «просветительства» (стр. 21), что он не был «крестьянским революционером» (стр. 30). Ныне он пишет иное: «Будучи крестьянским революционером, Л. Каравелов...» (стр. 32). И далее на протяжении всей статьи Каравелов справедливо трактуется как великий революционный демократ. Л. Воробьеву следовало указать на большую ошибку в этом вопросе, допущенную в его книге.

Неправильно в статье местом издания болгарского журнала «Социал-демократ», в редакцию которого в 1893 году обратился с письмом Ф. Энгельс, показана Женева (стр. 60) вместо г. Севлиево (Болгария).

Не обошлось без досадных промахов и погрешностей в комментариях к текстам, составленным Л. Воробьевым (Любен Каравелов, Христо Ботев) и А. Никольской (Васил Левский).

Там указывается, что Болгарское литературное общество основано в 1867 году В. Стояновым, Марином Дриновым, В. Друмевым (стр. 619). В действительности общество создано 29 сентября 1869 года на специальном съезде в Браиле представителей восьми зарубежных болгарских общин (кстати, представителем от Бухареста был Л. Каравелов). Лица, названные комментатором «основателями», не являлись даже делегатами — съезд избрал их в состав исполнительного органа общества.

Русский славист Ю. Венелин именуется деятелем болгарского просвещения (стр. 618). Датой выхода журнала «Мирозрение» назван 1850 год, тогда как он издавался в Бухаресте на двадцать лет позднее. Газета «Отечество» впервые увидела свет не в 1868, а в 1869 году (стр. 619). Известный русский журнал «Русский вестник» превращен в газету (стр. 645). Народный танец называется не хор, а хоро (стр. 632). Князь Милан с 1882 года стал королем (стр. 646). И так далее.

Имеются расхождения между вступительной статьей и комментариями. В первой утверждается, по нашему мнению правильно, что Каравелов в брошюре «Болгарский голос» (осень 1870 года) «провозглашает народную революцию как единственное средство завоевания свободы» (стр. 26). В комментариях указывается, что в конце 1870 или в начале 1871 года Левский по-

слал Каравелову письмо, стремясь убедить его в необходимости вооруженной борьбы (стр. 636). Если Каравелова надо было в этом убеждать, то как согласовать с этим опубликование им «Болгарского голоса»?

Другое противоречие. Комментатор пишет, что Левскому не удалось во время его пребывания в Румынии (сентябрь 1869—июнь 1870 года) добиться единства действий и создать в Бухаресте Центральный комитет. Такой комитет, по его словам, Левский создал в Болгарии во второй половине 1870 года (стр. 640). Иное находим во вступительной статье. Организация Центрального комитета отнесена там к весне 1870 года (в Бухаресте) в результате согласованных

действий Каравелова, Левского и других деятелей (стр. 25). Читатель поставлен перед необходимостью примирить непримиримое.

Выход «Избранных произведений революционных демократов» дает необходимый материал для многочисленных специалистов — философов, историков, экономистов, литературоведов. В то же время эта книга с интересом будет прочитана широким кругом читателей; она поможет лучше понять прошлое братского болгарского народа, его борьбу и победы.

*Кандидат филологических наук*  
**Л. ЕРИХОНОВ.**

г. Пенза

★

### Западный Берлин как он есть...

Профессор Штейнигер, один из видных борцов за мир, руководил коллективом авторов, написавших книгу о берлинской проблеме, создающей угрозу миру в Европе. Книга носит название: «Западный Берлин. Настольная книга по западноберлинскому вопросу». Это документальный труд, изданный в ГДР, своего рода «Белая книга», где приведен обширный фактический материал и дан глубокий, всесторонний анализ, проливающий свет на подлинное положение вещей.

«Положение, которое, вопреки всем правовым нормам, фактически сложилось за последнее десятилетие в Западном Берлине, явно ненормально, и враги мирного урегулирования в Европе отлично знали, создавая его, какую выгоду они смогут извлечь для осуществления своих преступных целей и намерений, — говорится в книге. — Где в мире существует ситуация, когда внутри государства, и больше того — в его столице — под защитой чужой державы создан очаг милитаризма и провокаций против этого государства и его союзников?»

Героическими усилиями народа Германской Демократической Республики, на протяжении всего лишь пятнадцати лет строящего первое в мире германское государство рабочих и крестьян, достигнуты поистине

гигантские успехи. Бурное биение пульса жизни, творческое горение, подлинный энтузиазм — это ощущаешь на каждом шагу в новой, демократической Германии. Тысячи и тысячи бригад социалистического труда на предприятиях перевыполняют семилетний план развития народного хозяйства ГДР. Подавляющее большинство крестьянских хозяйств объединилось для совместной обработки земли в сельскохозяйственные производственные кооперативы. Здесь, к востоку от Эльбы, совершается подлинное чудо. И оно ничем не напоминает то купленное за доллары «экономическое чудо», которое усиленно рекламируют правители Федеративной Республики Германии.

Все в ГДР служит делу мира. Во имя мира трудятся на заводах, работают на полях миллионы людей. Стремление предотвратить войну, преградить путь темным силам, которые совсем рядом, за искусственной границей, маршируют, вооружаются, сеют смуту, — основа основ политики ГДР.

Берлин, столица государства рабочих и крестьян, живет и трудится спокойно и уверенно, как вся республика. Но тут же, буквально на соседней улице, боннские реваншисты куют оружие, готовя новое преступление против человечества. Дыхание «холодной войны» доносится оттуда, из-за Бранденбургских ворот, вместе с поджигательскими речами западноберлинского бургомистра Вилли Брандта. Изо дня в день американские радиостанции в Западном Берлине — «Риас» и так называемый «Свободный Берлин» — ведут подрывную пропа-

*Westberlin. Ein Handbuch zur Westberlin-Frage. Prof. P. A. Steiniger. Kongress-Verlag. Berlin. 1959 (П. А. Штейнигер. Западный Берлин. Настольная книга по западноберлинскому вопросу. Издательство «Кongress», Берлин. 1959).*

ганду против Германской Демократической Республики, клеветуют и лгут.

Накануне срока, который был намечен для созыва совещания в верхах, боннские провокаторы особенно усердствовали, стараясь создать в Берлине обстановку военной истерии. После того как американская реакция торпедировала встречу глав правительств, Аденауэр и его клика распространили слухи о стремлении Советского Союза «насильственно присоединить Западный Берлин к ГДР».

Достойную отповедь поджигателям новой войны дал Н. С. Хрущев. Выступая в Берлине, он заявил, что Советское правительство рассчитывает на решение вопроса о заключении мирного договора и нормализации положения в Берлине через шесть—восемь месяцев, когда, как он полагает, все же состоится встреча глав правительств великих держав. Цели миролюбивой политики социалистического лагеря были изложены Н. С. Хрущевым с предельной ясностью. Но и это не заставило боннские правящие круги прекратить свои наветы, отказаться от подстрекательской политики.

Западные державы и их боннские прислужники заинтересованы в сохранении напряженности, в том, чтобы Западный Берлин оставался «фронтным городом», форпостом милитаризма и агрессии. В книге «Западный Берлин» на конкретных примерах показано, что эта линия проводилась с первых дней окончания войны. Во имя этого западные державы стремились узаконить, увековечить раздел Германии, ради этого они нарушили условия Потсдамского соглашения.

В Западном Берлине, по данным немецкой печати, сосредоточено десять процентов всех оккупационных войск западных держав. На военных заводах, в тиши конструкторских бюро, ведется подготовка по оснащению бундесвера оружием массового уничтожения. Западная часть Берлина превращена в военный лагерь. Только войска НАТО насчитывают одиннадцать тысяч человек. Резервом служит западноберлинская военизированная «полиция готовности», насчитывающая свыше девятнадцати тысяч человек под ружьем.

Под крылышком Вилли Брандта действуют совершенно легально сотни полуфашистских и откровенно фашистских организаций. Это также резервы НАТО. В Запад-

ном Берлине, говорится в книге, существуют сотни филиалов и явок различных секретных служб, тысячи конспиративных пунктов для встреч агентов. Во главе разветвленной шпионской сети, финансируемой из-за океана,—небезызвестный Аллен Даллес. Центр деятельности его организации — здание на Клейаллее, 170—172, в районе Целендорф, где находится штаб американских оккупационных войск. Для шпионской и диверсионной работы используются такис носящие невинные названия организации, как «Объединение свободных юристов», «Информационная служба вест», пресловутая радиостанция «Риас» и другие.

Автор этой рецензии побывал в Германской Демократической Республике в мае нынешнего года. Работники службы безопасности ГДР с горечью рассказывали о подрывной деятельности западноберлинских провокаторов.

Грязные следы их обнаруживаются повсюду. Провокационные листовки, шифрованные письма находят в дуплах деревьев в парках столицы, в так называемых «мертвых почтовых ящиках», откуда не вынимается почта. «Заботливые» диверсанты кладут туда пакетики с инструкциями, как печатать листовки, вместе с готовыми клише. Такого рода «подарки» из Западного Берлина попадают в руки покупателей в магазинах самообслуживания, спрятанные под товарами. Может быть, кто-нибудь клюнет на эту удочку? Но нет, эти ожидания не оправдываются. Возмущенные берлинцы приносят вещественные доказательства грязной работы в уголовный розыск.

Важное место в планах боннской клики занимает «психологическая война» против Германской Демократической Республики. Тысячи отвратительных книжонок, так называемые «шундбюхер», издаются в Западном Берлине специально для берлинского населения. Это тошнотворная смесь пропаганды войны, прославления убийств, антисоветской лжи и порнографии. Подобные изделия продают по сниженным ценам в книжных лавках у самой зональной границы.

И, конечно, особая ставка делается на растление молодого поколения, на развращение молодежи. В кинотеатрах Западного Берлина, все по тем же удешевленным ценам, демонстрируются не только американские гангстерские фильмы, но и такие антисоветские картины, как «Тайга», «Врач из

Сталинграда». Броская реклама зазывает, кричит, уговаривает...

Раздел города используется Бонном и Вашингтоном и для экономической диверсии, для попытки подрыва благосостояния Германской Демократической Республики. Закрепив раздел Германии на долгие годы, западные державы создали в ФРГ свою валюту. Для западногерманской марки произвольно установлен курс, который берлинцы справедливо называют «политическим курсом». Иначе его и нельзя охарактеризовать.

По официальному курсу одна марка ГДР соответствует одной западногерманской марке. Нет никаких оснований для иного положения, а если и есть, то лишь в пользу повышения курса марки ГДР — стоимость жизни в Германской Демократической Республике неуклонно снижается. За последние годы подешевели мясо, хлеб, сахар, снижена оплата всех видов услуг.

В ФРГ происходит обратное явление: повышена оплата газа и электричества, квартирная плата и стоимость проезда по городскому транспорту. И все же, вопреки фактическому положению вещей, боннские власти создали разницу между валютой двух германских государств. На многочисленных обменных пунктах в Западном Берлине, действующих совершенно легально, хотя они представляют собой по существу черную биржу, одна западногерманская марка обменивается на четыре, а иногда и на пять марок ГДР. Надо ли говорить о том, что этот спекулятивный курс открывает широкую возможность для темных махинаций, насаждает дух наживы?

Мне довелось быть свидетельницей того, о чем рассказывает в своей книге профессор Штейнигер. В Управлении таможен и контроля демократического Берлина товарищ Шубер показал мне фотографию продуктов — масла, мяса, колбасных изделий, — отнятых за один день у спекулянтов, профессиональных «шиберов», пытавшихся переправить их из Восточного в Западный Берлин. На продуктах питания, купленных в Восточном Берлине, эти жулики наживают огромные деньги. В книге приве-

дено множество примеров этой растленной деятельности. Потребление яиц в восточной части Берлина в пять раз превышает их потребление во всей остальной Германской Демократической Республике. Не ясно ли, что за счет столицы ГДР кормится и Западный Берлин?

Но дело не только в продуктах питания. «Шиберы» покупают в восточной части Берлина оптические инструменты, ценное иенское стекло, мейсенский фарфор, тонкие кружева. По спекулятивным каналам это попадает на мировой рынок и используется для подрыва внешней торговли ГДР (между прочим, такова фабула фильма «Товар для Каталонии», демонстрировавшегося в Москве). Так товары становятся предметом международной политики.

Большой раздел книги посвящен преследованиям борцов за мир в Западном Берлине. Покровительствуя военизированным фашистским и полуфашистским организациям, разрешая сборища бывших эсэсовцев, боннские власти одновременно терроризируют тех, кто выступает против политики Аденауэра. Рабочих увольняют за то, что они навестили своих товарищей в восточной части Берлина, выбрасывают на улицу за связи с СДПГ, за участие в работе Общества советско-германской дружбы. Инсценируются судебные процессы за выступления против милитаризации Западной Германии, против службы в бундесвере...

Словно заноза, впивается Западный Берлин в здоровое тело Германской Демократической Республики. И надо отдать должное огромному политическому подъему, спокойствию и выдержке строителей социализма в ГДР.

Аденауэр хочет сохранить за Берлином роль «фронтowego города» в центре Европы. Немецкий народ, все честные немцы уверены в том, что их столица станет городом мира. Они горячо приветствуют миролюбивую политику Советского Союза, всем сердцем одобряют и поддерживают благородный труд Никиты Сергеевича Хрущева на пользу мира.

А. БЕЛЬСКАЯ.

## Ценное издание

**М**естные географические термины... Что это за термины, и нужно ли было издавать посвященный им словарь? На этот вопрос, который могут задать многие читатели, мы смело отвечаем: этот словарь может понадобиться любому человеку. И не только при чтении географической литературы или газет, но даже и при чтении рассказа и романа. Возьмем хотя бы «Тамбовскую казначейшу» Лермонтова. Поэма начинается строками:

Тамбов на карте генеральной  
Кружком означен не всегда...

Нас может заинтересовать: означает ли что-либо название этого города? Оказывается, вблизи Тамбова протекает река Лесной Тамбов с притоком Нару-Тамбов. И вот словарь дает ответ: «Тамбов» помордовски означает «омут». Так оживает мертвое, непонятное название.

Село Тарханы, с которым связана юность Лермонтова, также сразу осмысляется, если мы заглянем в словарь. Мы узнаем, что «Тархан» — это старинное слово, обозначающее «освобожденный от пошлины, неподатной». Мы можем узнать также, что «Нева» — это «моховое болото», и так далее. Читатель, интересующийся историей родного края и его природой, найдет в этом словаре множество полезных и часто неожиданных сведений.

Словарь имеет и большое научное значение. Изучением географических названий, топонимикой, занимались очень многие историки, географы, лингвисты. Ими опубликовано большое количество специальных статей по этим вопросам, написан ряд монографий, составлены словари. Но работы эти охватывают или какую-нибудь ограниченную территорию (например, Северный край, Рязанскую губернию), или же посвящены географическим названиям, связанным с каким-либо одним частным вопросом истории или этнографии. Словарь Мурзаевых — первый сборник, включающий местные термины по всей территории СССР.

Изучение географических названий помогает сделать очень интересные и ценные выводы по истории той или другой терри-

тории. Например, распространение одних и тех же терминов в разных районах указывает, что их население является в настоящее время (или было когда-то) родственным. Установлено, что обилие в Сибири географических названий, обычных для севера Европейской части Советского Союза, связано с первоначальным заселением Сибири выходцами из коренных северных областей Московского государства. Недаром исследователи местного говора русского населения Колымы и Индигирки (например, В. Богораз) находили здесь много слов и оборотов, свойственных северу Европейской части. На глазах у нас русский язык колымчан — в связи с индустриализацией края и появлением большого количества пришлого населения — быстро изменяется. Исчезают старинные слова, и придет время, когда, может быть, только географические названия будут напоминать о происхождении первых русских, проникших на северо-восток Азии.

Географические названия позволяют установить также древний ареал распространения какого-либо народа, ныне живущего на более ограниченной территории или даже совсем исчезнувшего. Иркутский ученый В. Шостакович, анализируя современные наименования рек Сибири, восстановил древние области обитания некоторых сибирских народов — эвенов, эвенков и других.

Чрезвычайно интересны результаты изучения топонимов южной полосы СССР, где не раз сменялись волны новых и новых пришельцев, оставивших свои названия на географической карте. Словарь Мурзаевых содержит особенно много материала по топонимике этих регионов.

Географические термины позволяют судить также о прежней фауне и флоре: часто можно по местному названию установить, что здесь водились те или другие животные, теперь истребленные, или были заросли растений, ныне исчезнувших.

Топонимы, писал в одной из своих последних статей о географических названиях Э. Мурзаев, позволяют нам восстановить физико-географические условия прошлого, теперь сильно изменившиеся под влиянием человека. Бобровое, Медвежье, Лиски, Луговая, Сосенки, Каменки, Боровое, Овражки, Горки, Озерки, Березки, Липки и так

далее — все эти названия говорят о характере современного или былого ландшафта.

Географические названия связаны и с хозяйственной жизнью. По ним можно судить не только о занятиях населения и современных промыслах, но и, что важнее, промыслах прошлых. Хорошо известны каждому москвичу названия «Сокольники», «Сокол» связаны с соколиной охотой — любимым развлечением знати Московской Руси. Кузнецк, Рыбачье, Пушкино и многие другие названия говорят об основном занятии прежнего населения.

Этот краткий перечень важнейших научных проблем, которые могут быть решены путем изучения географических названий, показывает, насколько широки круги читателей и исследователей, для которых предназначен словарь Мурзаевых.

Составление подобного словаря, особенно для такой многонациональной страны, как СССР, — дело чрезвычайно трудное, принимая к тому же во внимание ограниченный объем книги. Чтобы сделать словарь более доступным, авторы включили в него лишь половину (2 800) из имевшейся у них картотеки названий. Конечно, этого количества слов недостаточно для объяснения многих топонимов национальных языков Советского Союза. Как отмечают и сами авторы, неполно отражены термины Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Дальнего Востока. Я добавлю к этому списку и названия на языках многих народов Сибири — тувинцев, эвенов, эвенков, чукчей, эскимосов, коряков и других. Можно пожелать, чтобы в следующем издании словарь был расширен по крайней мере вдвое.

Создание «Словаря местных географических терминов», столь сложного по составу названий и по использованным источникам, является до известной степени экспериментальным. В дальнейшие издания могут быть внесены значительные улучшения, в особенности чисто технического, словарного порядка.

Было бы очень полезно указывать везде ударения, так как читатель далеко не всегда сумеет правильно произносить все слова разноязычного происхождения. Но это задача трудная и требует во многих случаях специальной проверки названий на местах их употребления.

Следовало бы для большинства неславянских терминов указывать их языковую принадлежность. Иногда отсутствие такого указания объясняется просто техническим недосмотром; например, при слове «наледь» указан якутский синоним «тарын», а при слове «тарын» нет сведений о его происхождении.

В словах, происходящих из разных языков, но обозначающих одно понятие, нужно было бы делать «взаимоссылки». В одних случаях в словаре такая взаимосвязь частично указана, в других ее совсем нет. Между тем эти указания безусловно необходимы для сравнительного анализа названий.

Список литературы мог быть расширен, в особенности за счет указания статей и книг на языках народов СССР, кроме русского и украинского.

Все эти пожелания относятся главным образом к словарной технике, а не к содержанию словаря. Авторы выполнили огромную и трудоемкую научно-словарную работу и дали советским читателям и ученым превосходный справочник, необходимость в котором давно ощущалась не только географами. Особенно полезен будет этот словарь для преподавателей средней и высшей школы: любознательные, пытливые ученики и студенты обычно задают множество вопросов о значении и изменении географических названий, на которые часто трудно ответить.

Книга издана хорошо; объяснению ряда терминов помогают фотографии, изображающие соответствующий тип ландшафта.

*Член-корреспондент Академии наук СССР*  
**С. ОБРУЧЕВ.**



# Т Р И Б У Н А Ч И Т А Т Е Л Я

## О РАССКАЗАХ Е. ДРАБКИНОЙ

*С рассказами Елизаветы Яковлевны Драбкиной читатели «Нового мира» впервые познакомились около четырех лет назад. В 1957 году в «Новом мире» появился первый цикл рассказов Е. Я. Драбкиной «Котелок» (№ 10), в 1958 году — второй, «Москва, 1918» (№ 9), затем в 1959 году — «Черные сухари» (№ 4) и, наконец, в 1960 году — «Золотая осень» (№ 4).*

*Читатели тепло встретили эти невыдуманные рассказы Е. Драбкиной. Опубликовать все отзывы и письма невозможно. Ниже мы печатаем часть этих писем.*

«Золотая осень» вызывает чувство глупого, мало сказать, удовлетворения — чувство восторга, что нашелся человек, участник нашего героического прошлого, сумевший так правдиво, так волнующе запечатлеть неповторимую эпоху героики борьбы и побед.

Я читала много воспоминаний об описываемой тов. Е. Драбкиной эпохе, но никто еще, на мой взгляд, не сумел так красочно показать героев Великой Октябрьской социалистической революции, первые годы молодой Советской республики и гражданской войны, как это сделала она.

С большим удовлетворением восприняла я правдивые и так похожие образы великого Ленина и Свердлова, а также других вождей рабочего класса.

Каким ценным материалом послужат воспоминания тов. Драбкиной, если их зачитать на рабочих собраниях, где с таким вниманием слушают выступления товарищей, встречавшихся с В. И. Лениным, каким ценным воспитательным материалом послужат они юным читателям...

**А. ИВАНОВА,**  
член КПСС с 1911 г.

\* \* \*

Воспоминания Е. Драбкиной — «Золотая осень» — произвели на меня сильное впечатление. Автор с непосредственной просто-

той, глазами юности, очень правдиво раскрывает характерную обстановку революционного времени 1919 года. Очень тепло показаны Владимир Ильич и Надежда Константиновна в домашней обстановке. Особенно волнующее впечатление произвело на меня описание Свердловки. Мне, учившейся в ту пору в Свердловском университете, особенно приятно было вспомнить эту обстановку — занятия у поста-мента Пушкина, то, как Олесь Рябов понял Марксову фразу «Призрак бродит по Европе...» Прекрасно! Очень воспитательно для молодежи. Раздел о Мэлоне я перечитала много раз — лучше не расскажешь! Тов. Драбкина, по-моему, дала образец того, как правдиво и интересно надо рассказывать об эпохе гражданской войны. Я не знаю, может быть и не полагается писать свои отзывы, но извините, так уж мне этого захотелось.

**Е. БАРСКАЯ,**  
член КПСС с 1917 г.

\* \* \*

Автор произведений «Котелок», «Черные сухари», «Москва, 1918» с самого начала революции принимала активное участие в партийной работе, в частности в работе с молодежью... Еще совсем молодень-



кой девушкой она в 1917 году работала в Выборгском районе под непосредственным руководством Надежды Константиновны Крупской.

В своих рассказах тов. Дабкина с большой исторической правдивостью и литературным талантом описывает факты и события первых лет революции, участницей которых она была.

Исключительный интерес представляют ее воспоминания — живые и яркие — о Я. М. Свердлове, Н. К. Крупской, о В. И. Ленине, с которыми она неоднократно встречалась.

Ее рассказы читаются легко и с большим интересом не только нами, старыми членами партии, но и нашей молодежью...

**В. Н. ЛАПИНА,**  
член КПСС с 1916 г.  
**О. М. СТЕЦКАЯ,**  
член КПСС с 1917 г.

\* \* \*

Прочла новые рассказы Е. Дабкиной «Золотая осень» в № 4 Вашего журнала. Хочу сказать спасибо за это чудесное партийное, проникновенное произведение. В рассказах передан не только «аромат эпохи» — это подлинно партийный эпос тех героических лет. Как участник событий того времени, могу это подтвердить. Особенно впечатляющи страницы, посвященные гражданской войне, «партийной неделе». Каждый из нас через это прошел, и поэтому «Обещание коммуниста» нельзя читать без глубокого сердечного волнения. Она отражала не только «мечты и чаяния» людей, шедших в партию, чтобы бороться за победу социализма, за мировую революцию, но и высокие думы нашего народа. И заслуга тов. Дабкиной, что она сквозь все годы пронесла и донесла до нас эту глубокую идейность людей того поколения, которых воспитала когорта старых большевиков во главе с В. И. Лениным.

Ваш журнал сделал большое дело, в течение четырех лет публикуя рассказы Е. Дабкиной. Все эти рассказы обладают огромным достоинством: они правдивы, партийны и оказывают большое эмоциональное воздействие на читателя...

**С. БЕРДИЧЕВСКАЯ,**  
член КПСС с 1919 г.

\* \* \*

Дорогая т. Дабкина!

С большим интересом и вниманием читал я в «Новом мире» «Черные сухари». Их страницы воскресили в моей памяти дни Октября и гражданской войны.

Беседуя с молодежью, читавшей Ваше произведение, я убедился, что Вам удалось так передать дух этой суровой, героической эпохи, что она стала ближе и понятнее юношеству, да и вообще тем, кто знает ее лишь по описаниям.

Это произошло, видимо, потому, что Вы воспроизвели такие черты и детали эпохи, которых не найдешь в других книгах и которые характеризуют события и людей того времени ярче, чем целые исследования. Поэтому такими живыми выглядят картинки фронта, Москвы, празднования Октября.

Самые сильные места повести (если не считать строк, посвященных Владимиру Ильичу, где он показан Вами по-своему, по-новому и очень ярко) — это рассказ о сборе сухарей, о чувствах интернационализма, так образно выраженных работницей фабрики б. Жиро.

Неизгладимое впечатление производит то, что Вы рассказали о Германии тех дней.

Яснее становится все происходившее впоследствии — и гитлеровский фашизм и попытки его возрождения на западе.

Хорошо, очень хорошо показали Вы Я. М. Свердлова.

Так много интересного, поучительного в Вашей повести, что хотелось бы видеть ее разошедшей по всем уголкам нашей необъятной Родины, переведенной на языки других стран.

Большое Вам спасибо за нее!

**П. А. ПРИЩЕПЧИК,**  
член КПСС с 1921 г., участник гражданской войны, полковник запаса.

\* \* \*

Большое Вам спасибо. Я сам да и мои товарищи по Институту истории Академии наук очень высоко ценим Ваши рассказы потому, что они, во-первых, читаются с захватывающим интересом, во-вторых, помогают глубоко понять великие исторические события той замечательной, неповторимой

эпохи. Очень хорошо Вы знаете эту эпоху, роль великого Ленина и его главных учеников, роль Коммунистической партии, роль народа — творца истории. Правдивость во всем, даже в мелочах, касающихся великих событий этих дней и их участников. О великом Ленине существует большая литература, в том числе и художественная, но, кроме воспоминаний родных В. И. Ленина и его ближайших учеников, талантливейших марксистских литераторов и историков, я в последние десятилетия не читал с таким захватывающим интересом ни одной книги о Владимире Ильиче, кроме Вашей.

Очень ценно то, что Вы даете о Якове Мпхайловиче Свердлове. К тому, что известно, Вы прибавляете очень много для характеристики этого ближайшего ученика Ленина. Ваши зарисовки многих других учеников Ленина, а также дорогих нам участников гражданской войны, таких, как матрос Маркин, — все это читается с большим интересом.

Ценнее всего в Ваших рассказах — это убедительный показ революционного героизма народных масс и тех поистине невероятных трудностей, которые стояли тогда перед партией и ее вождями. Не менее важно то, что от Ваших рассказов современный читатель получает очень много для понимания позиции представителей различных классов в этот ответственный период нашей Великой революции.

Очень хотелось бы, чтобы Вы продолжил Ваши рассказы и чтобы они стали достоянием самых широких кругов советских читателей.

**Ю. З. ПОЛЕВОЙ.**

\* \* \*

Дорогой товарищ Лиза!

Мне хочется крепко-крепко поздравить Вашу руку и от всей души, от всего сердца поздравить Вас с замечательной вещью, написанной Вами.

В последнее время появилось много воспоминаний и в газетах, и в журналах, и в сборниках, и отдельными книгами, но ничего подобного тому, что опубликовано в № 9 «Нового мира», что написано Вами, мне встречать не приходилось. Хотя хорошо написанных воспоминаний немало, но даже самые лучшие из них вряд ли производят такое сильное впечатление, как то,

что написано Вами. И дело не только в том, что Вами написано, но и как написано. Вы сумели разглядеть, подметить, запомнить, передать такое, что мало кто сумел, — и как передать!..

...Еще и еще раз поздравляю Вас с замечательной удачей и желаю самых лучших успехов. Надеюсь, это лишь отрывок из того, что Вы можете, должны, обязаны написать. Надеюсь, будет самостоятельная книга — вот чего хочется Вам пожелать.

Меня вряд ли Вы помните, а если и помните, то маленьким мальчишкой. Но Клавдию Тимофеевну (Свердлову. — *Ред.*), вероятно, помните. Она целиком согласна с моей оценкой.

**Андрей СВЕРДЛОВ.**

\* \* \*

Среди рассказов и воспоминаний о В. И. Ленине, о первых годах пролетарской революции, прочитанных мною в разное время, большое впечатление произвели на меня рассказы «Золотая осень» Е. Дабкиной, напечатанные в № 4 Вашего журнала за этот год.

Эти рассказы проникнуты светом и воздухом незабываемых лет нашей юности, юности моего поколения...

Как правильно показаны в них настроения и чувства комсомольцев тех лет, когда каждый из нас жил и работал «не переводя дыхания», совершенно не отделяя своего «я» от общего дела революции.

Такие рассказы помогают нашей молодежи прочувствовать живое и горячее дыхание того времени.

Прошу передать автору мою благодарность за прекрасные рассказы, а редакции — за их напечатание.

**Н. КУЗОВСКИЙ,**

член комсомола с 1924 г.

\* \* \*

С первыми рассказами Е. Дабкиной я познакомился года два тому назад. Не помню, как они назывались. Но хорошо, будто сам пережил, помню картину разгона Учредительного собрания, обыски у контрреволюционеров... Очень живо, талантливо это описано! Рассказы Дабкиной обладают ценным, неповторимым качеством насущного искусства — они не просто повествуют, они воссоздают то великое время, которое вызывает волнение у каждого советского человека.

Вот почему, когда я вновь встретил имя Е. Драбкиной в журнале «Новый мир», я начал чтение новой книжки журнала с «Черных сухарей». Читая это талантливое, взволнованное повествование о первых годах революции, я вспомнил ремесленное училище, в котором я несколько лет проработал библиотекарем. Не проходило дня, чтобы ребята не спросили «что-нибудь о комсомольцах первых лет Советской власти». С каким бы удовольствием я дал им тогда книгу Драбкиной!

У нас, к сожалению, еще мало талантливых книг об этом великом времени. А потребность в них огромная. И воспитательное значение таких книг необыкновенно велико.

**П. Е. РУБИН**,  
член ВЛКСМ.

\* \* \*

Уважаемая Елизавета Яковлевна!

Я прочитал в журнале «Новый мир» несколько циклов Ваших рассказов: «Котелок», «Москва, 1918» и «Черные сухари». Часто по прочтении какой-нибудь книги мы говорим: «Интересно...», «Понравилась...» или что-либо еще в этом роде. Но когда я прочел Ваши рассказы, я подумал: а что бы я сказал, если бы меня спросили, как я отношусь к этим рассказам? Сказать, что они очень интересны, что хорошо, как говорится, с душой написаны? Да, это так. Но все-таки, мне кажется, более точное определение Ваших рассказов состоит в том, что это нужные рассказы. Нужные потому, что они о чудесных, скромных, замечательных людях; людях, благодаря которым наша страна теперь делает первые шаги к звездам. Для нас, молодежи, особенно важны каждый штрих, каждая подробность того великого времени. Нам дорог каждый, пусть даже незначительный факт из жизни Владимира Ильича, самого «человечного человека». Вероятно, Ваши рассказы будут изданы отдельной книжкой. Хотелось бы, чтобы это случилось поскорее и чтобы Вы дополнили ее новыми рассказами.

**А. КОНДРАТЬЕВ**,  
член ВЛКСМ.

\* \* \*

Приведенные выше письма не исчерпывают всех откликов на рассказы Е. Драбкиной.

Ветеран трех революций, старый путилевский рабочий **А. В. Иванов**, побывавший 10 мая 1918 года у В. И. Ленина, пишет, что автор приводит подлинные ленинские фразы из происходившей с ним беседы.

**Н. Петров**, член КПСС с 1917 года, присутствовавший на историческом заседании ВЦИКа, аннулировавшем Брест-Литовский договор, высоко оценивая историческое и художественное значение рассказов Е. Драбкиной, уточняет некоторые немаловажные детали.

Участника гражданской войны сибиряка **Д. Толстоухова** особенно взволновал фрагмент из «Москвы, 1918», где шла речь о подвиге председателя комбеда Никиты Горбунова, о героической борьбе за хлеб в 1918—1920 гг. Он интересуется судьбой сына Горбунова, которого в 1918 году крестьяне приносили к Я. М. Свердлову, — жив ли он и что сейчас делает.

**В. Кондратьевой**, работавшей с С. И. Гусевым, хотелось бы, чтобы автор больше написал о своем отце — Сергее Ивановиче Гусеве. «Все знают, — пишет она, — какой это был неггибаемый большевик-ленинец. Все знают, как любил его Ленин и какой скромностью отличался Гусев, несмотря на свои большие заслуги перед Советским государством. Нужно отбросить ложную скромность и написать о нем все, что Вы знаете и что сохранилось в памяти людей. Это нужно для молодого поколения».

Благодарность Е. Драбкиной за правдивый и впечатляющий рассказ о первых годах великой революции выразили гг. **О. Харченко, К. Чуковский, Л. Меерсон, В. Чечунов, Р. Ковнатор, Д. Джерманетто, Б. Рославлев, Н. Лаврентьев, М. Озеранер** и еще многие.

Члены КПСС с 1917 года гг. **С. Бродская, П. Петровский** и многие другие читатели пишут о необходимости издания рассказов Е. Драбкиной отдельной книгой.



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**Э. Б. ГЕНКИНА.** Ленин — председатель Совнаркома и СТО. Издательство Академии наук СССР. М. 1960. 256 стр. Цена 8 р.

Поистине безграничное поле для исследований открывается перед историками, посвятившими себя изучению деятельности В. И. Ленина. Автор книги поставил перед собой задачу осветить наименее исследованную практику государственной работы Ленина как руководителя Совнаркома и СТО в 1921—1922 годах. Характеризуя значение этого периода, Владимир Ильич писал: «Мы поднялись до самой высокой и вместе с тем до самой трудной ступени в нашей всемирно-исторической борьбе». В книге собран тщательно проверенный материал — из Ленинских сборников, архивных фондов, воспоминаний о Владимире Ильиче.

Множество исторической важности задач приходилось решать молодому Советскому государству. Автор останавливается на проблемах восстановления тяжелой промышленности, на развитии науки и техники, на том, как в практике работы СНК и СТО последовательно осуществлялись и претворялись в жизнь ленинские принципы пролетарского интернационализма.

В книге рассказывается о ленинском руководстве социалистическим строительством, ярким воплощением которого был план ГОЭЛРО. В. И. Ленину принадлежал исторический лозунг, сформулированный им еще накануне Октябрьской революции, — догнать и перегнать передовые капиталистические страны в технико-экономическом отношении, чтобы после завоевания власти пролетариатом добиться ликвидации вековой экономической отсталости, унаследованной от царской России.

После победы великого Октября Владимир Ильич выдвинул столь важные экономические и технические проблемы, что они смогли быть реализованы только во время пятилеток, а некоторые до конца осуществляются лишь в наши дни.

**М. ЛОМОВСКАЯ, А. ТРУТНЕВА.** Разведчики будущего. Движение бригад и ударников коммунистического труда. Соцэкгиз. М. 1960. 136 стр. Цена 3 р. 15 к.

Семилетний план, вступление нашего общества в период развернутого строительства коммунизма вызвали к жизни

мощную волну трудового энтузиазма, породили новые формы всенародного социалистического соревнования. Обращаясь к участникам Всесоюзного совещания передовиков соревнования бригад и ударников коммунистического труда, Н. С. Хрущев сказал: «Своим трудом, своим примером в жизни вы открываете новую страницу в понимании высокого призвания советского человека — строителя коммунистического общества».

Книга «Разведчики будущего» — одна из первых попыток проанализировать и обобщить начальный опыт соревнования бригад и ударников коммунистического труда. Используя обширный материал из печати и текущих архивов ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, предприятий и партийных организаций, авторы рассказывают, как зародилось и с необычайной быстротой развертывается это движение, какие формы принимает оно в колхозах и совхозах, среди трудящихся, занятых в сфере нематериального производства, дают характеристику обязательств отдельных коллективов.

В книге затронут и такой важный вопрос, как возникновение новых форм сотрудничества интеллигенции — ученых, преподавателей вузов, артистов, писателей — с коллективами коммунистического труда.

Интересен материал, приведенный в главе «По примеру советских рабочих». Здесь рассказывается о стремлении трудящихся социалистических стран перенять у нас ценный опыт движения ударников и коллективов коммунистического труда.

**С. А. ИГНАТОВ.** Как внедрить хозяйственный расчет в колхозах. Сельхозгиз. М. 1960. 208 стр. Цена 2 р. 10 к.

«Возьмите любой экономически сильный колхоз и проанализируйте, в чем заключаются его успехи и достижения? — спрашивает в своей книжке С. Игнатов и тут же говорит: — Они прежде всего состоят в сознательном отношении всех колхозников к общественному труду, в хорошей организации труда и экономически расчетливом ведении хозяйства». Разумно, расчетливо вести хозяйство — этому и должна помочь система хозяйственного расчета в колхозах.

Автор знакомит читателей с первым опытом внедрения такого расчета в отдельных

колхозах различных зон страны и приводит примеры успешного применения его на практике.

Среди возникших за последние годы многообразных форм колхозного хозрасчета наибольший интерес представляет организация хозяйства на основе производственно-финансового плана, впервые осуществленная колхозом «Приамурье», Амурской области. По примеру этого хозяйства, по-новому стали планировать и вести свою работу и сотни других почти во всех республиках, краях и областях страны.

**А. РУБАКИН. В водовороте событий.** Соцгиз. М. 1960. 272 стр. Цена 4 р. 75 к. «Февраль 1941 года. Долгий зимний вечер. Темно и холодно, темно и голодно... Город молчит, молчит вся Франция. Она прячется в нетопленных квартирах, за ставнями, за занавесками, чтобы не видеть врага, не видеть своего трагического бессилия...»

Так начинает свои воспоминания автор книги, ученый-медик, которого вторая мировая война застала в Париже. Участник революции 1905 года в России, он был студентом сослан в Сибирь и оттуда бежал во Францию. Здесь он жил и учился вплоть до Октябрьской революции, а после революции снова попал во Францию, уже как советский гражданин.

Много испытаний выпало на долю А. Рубакина. Неопишуемые материальные и моральные тяготы оккупационного режима в Париже. Бегство в свободную от гитлеровских захватчиков зону — под видом лесоруба, «напялив куртку и штаны на городской костюм, привесив топор к поясу и перекинув пилу через плечо». А когда цель была уже достигнута — арест властями Виши. Потом заключение в концентрационные лагеря сперва во Франции, а затем в Алжире. И, наконец, освобождение в апреле 1943 года, отъезд на родину.

«Почти два года, — пишет автор, — провел я в тюрьмах и концлагерях Франции и увидел, до какой степени фашизм, будь он германский, итальянский или французский, — тупое варварское орудие отмирающего класса. Он взывает ко всему скверному, что есть в человеке, он стремится превратить людей в бандитов и негодяев».

С большой теплотой и признательностью рассказывает А. Рубакин о той сердечности и симпатии, с которой, узнав, что он русский, отнеслись к нему простые люди Франции.

**И. Ф. СВАДКОВСКИЙ. Записки воспитателя.** Издательство Академии педагогических наук РСФСР. М. 1959. 206 стр. Цена 3 р. 75 к.

Вряд ли сейчас кто-либо будет оспаривать необходимость и плодотворность новой системы обучения, принятой в нашей школе, системы, по которой обучение детей соединяется с общественно-производительным трудом. Однако еще несколько лет назад далеко не все видели преимущества такого

метода. Лишь наиболее передовые школы, детские дома, ремесленные училища смело внедряли принцип соединения обучения с производственным трудом.

Опыт работы этих учебно-воспитательных учреждений, имеющий огромное значение, к сожалению, до сего времени не был достаточно изучен. Действительный член Академии педагогических наук И. Ф. Свадковский своей книгой делает одну из первых попыток в этом направлении. Во время войны он руководил детскими домами в селе Екатерининском, в тайге, на берегу Иртыша. «Задача... заключалась в том, — пишет автор, — чтобы без дополнительных средств, без возможности подобрать коллектив подготовленных воспитателей, без богатых шефов, в условиях тягчайшей войны вывести из состояния полной запущенности два детских дома и превратить их в образцовые воспитательные учреждения». И это было сделано. Сделано благодаря вовлечению детей в «коллективный общественно необходимый труд».

О жизни этих детей, о их воспитании, о трудностях, которые приходилось преодолевать педагогам и воспитателям, и рассказывает автор в своей книге. Здесь же он рассматривает такие важнейшие вопросы, как значение личного труда ребенка в его моральном развитии, организация детского труда, детского коллектива, быта детей.

**МАРК ЖИВОВ. Юлиан Тувим. Очерк жизни и творчества.** Детгиз. 1960. 136 стр. Цена 2 р. 85 к.

Советские читатели хорошо знают и любят стихи замечательного польского поэта Юлиана Тувима.

Автор аннотируемой книги — М. Живов, литературовед и переводчик, — занимается творчеством Юлиана Тувима почти тридцать лет. Изданная Детгизом книга представляет собой сокращенный вариант недавно законченной М. Живовым монографии о жизни и творчестве Тувима, дополненной новой главой «Тувим и дети».

Автор рассматривает творчество поэта в неразрывной связи с общественно-социальными условиями жизни Польши 20—30-х годов — того времени, на которое падает молодость и зрелость поэта; он знакомит читателей с жизнью Юлиана Тувима в эмиграции, с его борьбой за освобождение родного народа от ига фашизма. Из эмиграции, в дар своему народу, Тувим привез поэму «Цветы Польши» — плод его семилетнего труда на чужбине, — поэму, в которой он выразил глубоко волновавшие его в годы войны мысли о судьбах своей родины.

В одной из глав книги М. Живов рассказывает об огромной роли Тувима-переводчика. В богатом переводческом наследии поэта девять десятых занимают переводы из русской литературы. Много сделал Тувим для детей. Его стихи, адресованные маленькому читателю, веселы, жизнерадостны, лиричны. Они завоевали широкую популярность и на родине поэта и в Советском Союзе в переводах С. Маршак,

С. Михалкова, Е. Благиной, Е. Тараховской и М. Живова.

**ГЕНРИХ БЕЛЛЬ.** Дом без хозяина. Перевод с немецкого. Гослитиздат. М. 1960. 302 стр. Цена 8 р.

Новый роман Генриха Бёлля — это роман о сегодняшней Западной Германии, с ее вдовами, с ее детьми, многие из которых никогда не видели своих отцов, с ее отстроенными зданиями и разрушенными семьями, с заботами ее трудового люда и опустошенными душами тех, кто выжил. Бёлля тревожит то, что происходит сегодня в боннском рейхе. Те, кто посылал людей на верную смерть, благоденствуют, делают карьеру. Детям, отцов которых нацизм погнал на самоубийственную войну, внушают, что «наци не столь уж страшны», что «страшны русские». Их готовят к реваншу. Бёлль глубоко обеспокоен судьбой подрастающего поколения западных немцев. Недаром центральное место в романе занимают два мальчика, отцы которых легли костями на полях Украины, куда их погнали нацисты. «Все это пора кончать», — говорит один из героев книги, художник Альберт, участник войны, ненавидящий милитаризм, считающий, «что ничего нет ужасней наци». И хотя эти слова относятся к неустроенной жизни маленького Мартина — сына убитого на войне друга Альберта, — их невольно воспринимаешь и как обобщение.

**САША ЧЕРНЫЙ.** Стихотворения. «Библиотека поэта». «Советский писатель». Л. 1960. 632 стр. Цена 10 р. 80 к.

В ноябре 1905 года в журнале «Зритель» под видом пародии на широко известную в то время песенку была опубликована хлесткая и злая сатира на крупнейших деятелей царского правительства и самого царя. Называлось стихотворение «Чепуха», и было оно подписано неизвестным читателю именем: Саша Черный. Номер журнала с «Чепухой» спешно конфисковали за «подрыв государственных устоев и оскорбление личности государя».

Так состоялось боевое крещение в литературе талантливого и оригинального поэта-сатирика Саши Черного (А. М. Гликберга). Вскоре стихи Саши Черного завоевали широкую популярность в среде передовой молодежи предреволюционной поры. Они публиковались на страницах многих сатирических журналов России, таких, как «Зритель», «Леший», «Скоморох», «Сатирикон», и выходили отдельными сборниками.

Настоящее издание, выпущенное «Советским писателем», является первым собранием избранных стихотворений поэта. В книгу включено свыше восьмисот стихотворений, написанных в разные годы. Почти полностью вошли в сборник книги стихов «Сатиры» (1910) и «Сатиры и лирика» (1913) — лучшее из обширного и многообразного литературного наследия поэта. Созданные в период столыпинской реакции, политической и духовной депрессии значи-

тельной части российской интеллигенции, эти стихи бичуют мелкое обывательское существование, «мертвую жизнь без значенья», пошлость во всех ее видах. Прекрасно владея острым оружием сатиры, поэт в ряде политических стихотворений поднимается до обличения насквозь прогнившего строя царской России.

Кроме сатирических стихотворений, юморесок и пародий, в книге широко представлены стихи для детей и лирика Саши Черного, приоткрывающие другую сторону дарования поэта, полного, как писал Куприн, «добротою восхищения жизнью, людьми, травами и животными».

Сборник открывается интересными воспоминаниями К. И. Чуковского о Саши Черном — человеке и поэте. Критико-биографический очерк жизни и творчества Саши Черного, написанный Л. А. Евстигнеевой, знакомит читателя с литературным путем писателя.

**И. ЕФРЕМОВ.** Юрта Ворона. «Молодая гвардия». 1960. 286 стр. Цена 5 р. 85 к.

В сборнике пять произведений: «Юрта Ворона», «Последний Марсель», «Катти Сарк», «Афанеор, дочь Ахархеллена», и «Сог Serpentis». («Сердце змеи»). Они очень разные и по темам и по времени действия: речь в них идет и о прошлом, и о настоящем, и о будущем.

Инженер-геолог Александров — наш современник. Несчастный случай во время разведки старого шурфа лишил его обеих ног. Воля к жизни, упорство в достижении цели помогли ему стать полноценным строителем коммунизма («Юрта Ворона»).

В один из дней войны фашистские самолеты разбомбили в открытом море советский корабль «Котлас». Гибель экипажа была неминуема. Но мужество и товарищеская выручка спасли моряков «Котласа» от верной смерти («Последний Марсель»).

Всем памятна недавние испытания атомной бомбы, проводимые французским правительством в Сахаре. Огромные бедствия принесли они кочевым народам, населяющим пустыню. Туарег (название одной из народностей Сахары) Тирессуэн и его невеста Афанеор — одни из тех, кто не побоялся вступить в борьбу за свободу своего народа («Афанеор, дочь Ахархеллена»).

«Катти Сарк» (в переводе с английского «короткая рубашка») — название, данное еще в прошлом веке в честь героини поэмы Бернса Нэн Короткая Рубашка одним поэтически настроенным судовладельцем своему кораблю-паруснику. Необыкновенна и поучительная судьба этого парусника, полвека бороздившего моря и океаны и не имевшего себе равных. Человеческий разум и золотые руки умельцев создали это чудо кораблестроения («Катти Сарк»).

Во славу разума человека-творца написана и научно-фантастическая повесть «Сог Serpentis», время действия которой переносит нас на много веков вперед.

Одна общая черта роднит все пять произведений сборника: главный герой всех их — настоящий человек, мужественный, смелый, сильный, человек, могущий творить чудеса.

**А. ДЕРМАН. О мастерстве Чехова. «Советский писатель». М. 1959. 208 стр. Цена 5 р. 30 к.**

Первые работы А. Б. Дермана (1880—1952) — одного из видных исследователей творчества Чехова — появились в печати почти полвека назад. Эта книга — последний труд ученого. В ней рассматриваются главные черты творческой манеры Чехова, его художественного мастерства.

Основную особенность чеховской поэтики исследователь видит в том, что Чехов всегда рассчитывал на активного читателя, на его способность понять мысль автора по самым скупым и сдержанным описаниям, на силу читательского воображения. Чеховская манера предполагает творческое сотрудничество автора с читателем, который сам «добывает» из текста подтекст.

Этот новаторский лозунг Чехова — ставка на «домысливающего» читателя — определил, по мысли А. Дермана, все другие особенности чеховской поэтики: краткость, простоту, отсутствие прямого осуждения героя или открытого выражения автором ему сочувствия (читатель сам, без «подсказки», делает выводы из произведения). С этой же особенностью связывает А. Дерман и своеобразие чеховского сюжета.

**ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ. День открытых сердец. Юмористические и сатирические рассказы, фельетоны. «Советский писатель». М. 1960. 288 стр. Цена 4 р.**

В своих рассказах и фельетонах В. Поляков пишет и о том хорошем, что он увидел, и о дурном, чего не должно было бы быть. Есть здесь рассказы, которые заставят читателя весело посмеяться — и над ревнивой женой заядлого филателиста («Последнее увлечение»), и над незадачливым влюбленным, из-за своей чрезмерной робости попадающим в неловкое положение («Первая любовь»), и над зубным врачом — скептиком и пессимистом, вдруг с удивлением обнаружившим, что люди, окружающие его, совсем не негодяи, как он думал, а честные, добрые, любящие его и ценящие его труд («Наум Моисеевич»).

В других произведениях писатель зло высмеивает бюрократов, болтунов, людей равнодушных, карьеристов, халтурщиков («Бывает и так», «Чрезвычайное происшествие в доме № 17», «Опасный микроб», «Скучный человек» и другие).

Сборник состоит из шести разделов. Упомянутые рассказы помещены в разделе «Весной, летом, осенью, зимой». В других разделах напечатаны рассказы на зарубежные темы; рассказы, написанные под впечатлением встреч на дорогах войны; фельетоны, посвященные некоторым злободневным вопросам развития литературы, театра и музыки...

Заключают сборник маленькие пьесы и юмористические сценки.

## *Письмо в редакцию*

В апрельской книжке Вашего журнала за 1960 год опубликованы «Рассказы о Ленине» — по рукописи, переданной редакции из Центрального государственного архива литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ).

Материал этот в числе других был отобран нами для журнала из весьма обширного рукописного наследия Е. Д. Зозулы, в котором находилась и эта рукопись.

Однако, как установлено теперь экспертной комиссией, действительным автором переданных нами для публикации в «Новом мире» рассказов является на самом деле не Е. Д. Зозуля, а С. И. Мирер. В свое время С. И. Мирер сдал эту рукопись для издания

Е. Д. Зозуле, бывшему тогда ответственным редактором «Библиотеки «Огонька». Рукопись в свет выпущена не была и осталась в личных делах писателя, а затем была приобретена ЦГАЛИ вместе с другими его бумагами.

Очень сожалеея об этой ошибке, происшедшей в силу указанных выше обстоятельств, прошу сообщить читателям Вашего журнала имя подлинного автора рассказов о В. И. Ленине, напечатанных в «Новом мире».

*Начальник Центрального государственного архива литературы и искусства СССР*

**Н. РОДИОНОВ.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Краткий биографический очерк. 160 стр. Цена 2 р.

**О мероприятиях по завершению перевода в 1960 году всех рабочих и служащих на сокращенный рабочий день.** Материалы пятой сессии Верховного Совета СССР пятого созыва (май 1960 г.). 40 стр. Цена 40 к.

**Н. С. Хрущев.** 40 лет Азербайджанской ССР и Коммунистической партии Азербайджана. Выступление на торжественном заседании в Баку, посвященном 40-летию установления Советской власти и создания Коммунистической партии Азербайджана. 23 апреля 1960 года. 36 стр. Цена 40 к.

**Счастье и мир — народам!** Пребывание Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева в Индии, Бирме, Индонезии и Афганистане. 11 февраля — 5 марта 1960 года. 352 стр. Цена 7 р.

**Советско-французская дружба — залог мира!** Пребывание Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева во Франции. 23 марта — 3 апреля 1960 г. 270 стр. Цена 4 р. 60 к.

**Б. П. Бещев.** Железнодорожный транспорт СССР в 1959—1965 гг. 112 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Альберт Рис Вильямс.** О Ленине и Октябрьской революции. 288 стр. Цена 5 р. 50 к.

**М. А. Водолагин.** У стен Сталинграда. 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Леонид Иванов.** Глубокая борозда. Очерк. 128 стр. Цена 1 р. 60 к.

**В. Игнатьев.** Партия на пути к развернутому строительству коммунизма в СССР (1953—1958 гг.). 192 стр. Цена 2 р. 35 к.

**Д. Кайдалов.** Коммунизм, труд и человек. 112 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Джон Р. Кэмпбелл.** Некоторые экономические иллюзии в лейбористском движении. 88 стр. Цена 1 р.

**Коммунистическая партия в период упрочения Советской власти** (Октябрь 1917—1918). Документы и материалы. 480 стр. Цена 7 р. 80 к.

**А. Лабриола.** Очерки материалистического понимания истории. 200 стр. Цена 2 р. 40 к.

**С. Мелюхин.** О диалектике развития неорганической природы. 244 стр. Цена 5 р.

**В. Московский, К. Зародов, П. Малафеев, К. Морозов.** Вдохновляющий пример. Из опыта работы рязанской областной партийной организации. 112 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Том Нелсон.** Голодная мила. 112 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Гарри Поллит.** Годы политического ученичества. 272 стр. Цена 4 р. 65 к.

**Решающие победы советского народа над интервентами и белогвардейцами в 1919 г.** Сборник статей. 664 стр. Цена 14 р.

**Е. Рябчиков.** Рождение темы. 136 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Анатолий Торчинский.** Адрес Факта остается прежним. Очерк. 80 стр. Цена 1 р.

## ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

**Заседания Верховного Совета СССР пятого созыва.** Пятая сессия (5—7 мая 1960 г.). Стенографический отчет. 320 стр. Цена 6 р. 40 к.

## СОЦЭЗГИЗ

**Ян Ауэрхан.** Автоматизация и общество. 171 стр. Цена 2 р. 10 к.

**В. И. Глунин.** Социалистическая революция в Китае. 248 стр. Цена 8 р. 70 к.

**В. В. Готлиб.** Тайная дипломатия во время первой мировой войны. 604 стр. Цена 14 р. 35 к.

**М. Т. Иовчук.** Г. В. Плеханов и его труды по истории философии. 316 стр. Цена 8 р. 30 к.

**И. И. Козодоев.** Земельные отношения в социалистических странах (Очерк теории). 352 стр. Цена 8 р. 55 к.

**М. М. Розенталь.** Принципы диалектической логики. 478 стр. Цена 9 р. 10 к.

**Хрестоматия по новейшей истории.** Том I (1917—1939 гг.). Документы и материалы. 928 стр. Цена 14 р. 45 к.

**Г. И. Шигалин.** Народное хозяйство СССР в период Великой Отечественной войны. 279 стр. Цена 9 р. 75 к.

**Ю. В. Яковец.** Теория и практика социалистического обобществления земли. 288 стр. Цена 8 р. 20 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**П. Автомонов.** Имя его неизвестно. Повесь. Перевод с украинского. 156 стр. Цена 2 р.

**Н. Алексеев.** Костры и зори. Рассказы. 252 стр. Цена 4 р. 55 к.

**А. Афиногенов.** Дневники и записные книжки. 552 стр. Цена 12 р. 85 к.

**Д. Бедзик.** Днепр горит. Роман. Перевод с украинского. 256 стр. Цена 5 р. 15 к.

**А. Белиашвили.** Перевал. Роман. Перевод с грузинского. 316 стр. Цена 6 р. 35 к.

**С. Даронян.** Мирза Ибрагимов. Критико-биографический очерк. 156 стр. Цена 2 р. 70 к.

**А. Исхан.** Встреча в песне. Стихи. Перевод с татарского. 100 стр. Цена 1 р. 10 к.

**В. Канторович.** В молодом городе. Очерки. 288 стр. Цена 5 р. 60 к.

**П. Коган.** Гроза. Стихи. 96 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Е. Кротевич.** По-над Славутичем-Днепром. Роман. Перевод с украинского. 424 стр. Цена 7 р. 10 к.

**Г. Менюк.** Зеленый край. Стихи. Перевод с молдавского. 136 стр. Цена 2 р. 70 к.

**А. Пассар.** Нанайские приметы. Стихи, поэмы, сказки. Перевод с нанайского. 64 стр. Цена 1 р.

**Лев Пеньковский.** Избранные стихотворные переводы. 604 стр. Цена 14 р. 25 к.

**Поиски и свершения.** Сборник литературно-критических статей. 372 стр. Цена 8 р. 75 к.

**М. Рашид.** По дорогам Родины. Стихи. Перевод с курдского. 72 стр. Цена 90 к.



**И. Рождественский.** Костер на льдине. Стихи. 148 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Р. Селис.** Имение Силайне. Роман. Перевод с латышского. 336 стр. Цена 5 р. 85 к.

**М. Сивачев.** Черное сердце. Бунт. Повести. 224 стр. Цена 4 р. 20 к.

**Ю. Смолич.** Разговор с читателем и писателем. Перевод с украинского. 360 стр. Цена 8 р. 70 к.

**М. Стельмах.** Хлеб и соль. Роман. Перевод с украинского. 744 стр. Цена 12 р. 35 к.

**Стенографический отчет третьего съезда писателей СССР 18—23 мая 1959 г.** 272 стр. Цена 15 р.

**Б. Томашевский.** Пушкин и Франция. 500 стр. Цена 12 р. 10 к.

**Я. Хелемский.** Середина лета. Стихи. 116 стр. 1 р. 40 к.

**О. Шварцман.** Стихотворения. Перевод с еврейского. 88 стр. Цена 1 р.

#### ГОСЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин о литературе и искусстве.** Издание второе, дополненное. 784 стр. Цена 14 р.

**Греческая эпиграмма.** Переводы с древнегреческого. 487 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Ирландские легенды и сказки.** Перевод с английского. 183 стр. Цена 3 р. 80 к.

**Лопе де Вега.** Новеллы. Перевод с испанского. 304 стр. Цена 4 р.

**Мексиканские рассказы.** Перевод с испанского. 183 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Сергей Островой.** Стихотворения. Поэмы. 179 стр. Цена 4 р. 40 к.

**Ованес Туманян.** Избранные произведения. В двух томах. Перевод с армянского. Том I. 439 стр. Цена 6 р. 15 к. Том II. 323 стр. Цена 5 р. 90 к.

**Павло Тычина.** Сочинения. В двух томах. Перевод с украинского. Том I. 352 стр. Цена 8 р. 60 к. Том II. 344 стр. Цена 8 р. 20 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Е. А. Будилова.** Борьба материализма и идеализма в русской психологической науке (вторая половина XIX — начало XX в.). 348 стр. Цена 11 р. 85 к.

**В. И. Гренев.** Очерки из истории русских географических исследований в 1725—1765 гг. 428 стр. Цена 32 р. 40 к.

**Мексиканский реалистический роман XX века.** 167 стр. Цена 5 р. 20 к.

**Отдаленная гибридизация растений и животных. Вопросы плодородства, лесоводства и животноводства.** 597 стр. Цена 26 р. 60 к.

**Т. С. Покатаева.** Положение рабочего класса Индии. 187 стр. Цена 6 р.

**В. Г. Полянов.** Англия и мюнхенский съезд (март—сентябрь 1938 г.). 335 стр. Цена 12 р. 45 к.

**Развитие производительных сил Восточной Сибири. Лесное хозяйство и лесная промышленность.** 240 стр. Цена 14 р. 25 к.

**Развитие производительных сил Восточной Сибири. Сельское хозяйство.** 428 стр. Цена 25 р. 30 к.

**Коста Хетагуров.** Собрание сочинений. В пяти томах. Том I. 456 стр. Цена 10 р.

**Н. Ю. Шведова.** Очерки по синтаксису русской разговорной речи. 379 стр. Цена 15 р.

#### ГЕОГРАФИЗ

**Э. Вустман.** Марбу. 127 стр. Цена 1 р. 95 к.

**Д. Н. Костинский.** Непал. 152 стр. Цена 2 р. 35 к.

**Е. А. Радневич.** С геологами по Китаю. 118 стр. Цена 2 р.

**Т. Рефли.** Чудеса барьерного рифа. 238 стр. Цена 3 р. 80 к.

**Е. Соколов.** Встречающие солнце. 166 стр. Цена 2 р. 50 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

**Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик.** С изменениями и дополнениями, принятыми на пятой сессии Верховного Совета СССР пятого созыва. 32 стр. Цена 25 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Дж. Бернал.** Мир без войны. Перевод с английского. 500 стр. Цена 11 р. 80 к.

**Жак Буайон.** Гана. Рождение африканского государства. Перевод с французского. 353 стр. Цена 14 р. 20 к.

**Гюнтер Вейзенборн.** Построено на песне. Роман. Перевод с немецкого. 296 стр. Цена 8 р. 10 к.

**Ф. Винкерс.** Мираж. Роман. Перевод с английского. 291 стр. Цена 9 р. 50 к.

**А. Кронин.** Памятник крестоносцу. Роман. Перевод с английского. 477 стр. Цена 13 р. 65 к.

**Поль де Крюи.** Борьба с безумием. Перевод с английского. 229 стр. Цена 5 р. 75 к.

**Эмиль Мадарас.** Верность. Стихи. Перевод с венгерского. 102 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Немецкая поэзия. 1954—1959.** Перевод с немецкого. 404 стр. Цена 7 р. 60 к.

**Лайнус Полинг.** Не бывать войне! Перевод с английского. 236 стр. Цена 5 р. 30 к.

**К. С. Причард.** Рождество в Иене. Перевод с английского. 67 стр. Цена 1 р. 60 к.

**О. Ржига.** Влияние Октябрьской революции на Чехословакию. Перевод с чешского. 366 стр. Цена 9 р. 55 к.

**Факты о положении трудящихся в США. (1957—1958 гг.).** Перевод с английского. 262 стр. Цена 6 р. 70 к.

**Хенаро Карнеро Чена.** Очерки о странах Латинской Америки. Перевод с испанского. 555 стр. Цена 11 р. 15 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Р е д а к ц и я: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 25/V 1960 г. Объем 18 л. л. Подписано к печати 21/VI 1960 г.  
А 04166. Формат бумаги 70×108/16. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 90.200.  
Зак. № 1028.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.